10.1973

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия»
Москва

Год издания 19-й

ОКТЯБРЬ 1973

№ 10

СОДЕРЖАНИЕ

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — Синий соловей, или Так это начинается... *(Рассказы. Перевод с немецкого Э. Львовой)* 3

АННА СВИРЩИНЬСКАЯ — Стихи *(Перевод с польского и вступление Н. Астафьевой)* 52

АЛАН СИЛЛИТОУ — Начало пути *(Роман. Продолжение. Перевод с английского Р. Облонской)* 61

ЯСУНАРИ КАВАБАТА — Стон горы *(Роман. Окончание. Перевод с японского В. Гривнина)* 119

Критика

Н. НИКУЛИН — О вьетнамской поэзии наших дней 189

Отклики, встречи, впечатления

Т. МОТЫЛЕВА — «Действовать — значит убеждать неубежденных» (Столетие А. Барбюса во Франции) 196

Писатель и время

Беседы Уильяма Голдинга *(Составление, перевод с английского и вступление И. Левидовой)* 204

Публицистика

ЖАН-ПЬЕР ДЕБРИ, АНДРЕ МАНРА — Мы обвиняем *(Перевод с французского Ю. Стефанова. Вступление Мариана Ткачева)* 220

Очерки

ГЮНТЕР КУНЕРТ — Прекрасный пейзаж с отцами. Изрядно забытый день. *(Фрагменты из книги «В дополнение к бедекеру». Перевод с немецкого Г. Косарик)* 238

Культура и современность

В. Перехватов — Новое в жизни — новое в литературе. В. Скиба — Фауст — Мефистофель, сделки не будет 248

Наши гости

В. ФЕОНОВА — Путешествие к тебе (Турецкий поэт Фазыл Хюсню Дагларджа — в «Иностранной литературе») 255

«Кто мы такие...» (Беседа с малайзийским писателем Усманом Авангом и сингапурским писателем Го Бо-сеном. Записала А. Чугунова) 257

Среди книг

Издано в СССР

Л. Харлап — Книга о мужестве. Игорь Мотяшов — Поэзия добра. С. Почивалова — Нет возврата к прошлому 260

Издано за рубежом

Юрий Дашкевич — Гражданский долг писателя. Л. Долгошева — Птицы-мысли, птицы-воспоминания. И. Попов — Уроки Арчибальда Маклиша 265

Из месяца в месяц

273

Авторы этого номера

287

На обложке: большая фаянсовая миска Кутани (Япония. XVII в.).
На цветной вкладке: декоративно-прикладное искусство Мексики.

© «Иностранная литература», 1973 г.

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

Синий соловей, или Так это начинается...

РАССКАЗЫ

Перевод с немецкого Э. ЛЬВОВОЙ

Как я познакомился с моим дедушкой

Я родился в среду, в десять часов утра, если кого интересует точное время. Хотя месяц август дружит с грозами, гром не гремел и солнце не стояло в созвездии Девы, и рождение мое происходило отнюдь не по-гётевски.

Матушка моя утверждала, что, едва появившись на свет, я огляделся вокруг так, словно мир наш был мне давно знаком. Впрочем, рассказала она об этом только после того, как напечатали мою первую книгу. Всезнающий взгляд, которым я огляделся, едва появившись на свет, был с моей стороны уловкой, и мне еще много раз в жизни приходилось прибегать к этой уловке: ведь стоит тебе только показать, что ты удивляешься, как прослывешь наивным и сразу окажешься во власти своих современников-хитрецов.

Правда, мы с матушкой по-разному смотрим на мое появление на свет — ведь для нее я был «здесь» уже в то время, когда сам я предполагал, ошибочно, что нахожусь еще на «ничейной земле». Это доказывает, что я не чудо-дитя, ибо только чудо-дети помнят первые минуты своей жизни и способны описать фартук повивальной бабки; они торжественно возвещают, что фартук этот был «белее снега», и все чудоверцы приходят в изумление.

Пока что мы можем выбраться в этот мир только через материнское лоно, другой двери нет, однако я читал, что уже идут поиски иных возможностей; но если инкубатор для производства человеческого потомства, над которым работают ученые, первыми придумают изобретатели в стране с антигуманистической системой правления, то предприниматели откупят и отнимут у профессоров проект такого инкубатора и наладят серийный выпуск homunculi как дешевой рабочей силы и для военных целей. Это обстоятельство вынудит правительства других стран выпускать подобных же homunculi, и едва я подумаю о последствиях, как мне хочется воскликнуть вместе со Швейком Гашека: «Как раз этого я и боялся больше всего на свете!»

Но я отклонился в сторону. Я не вполне уверен, что такое можно себе разрешить в самом начале рассказа, не так уж много читателей склонно пробиваться сквозь дебри повествования, большинство предпочитает, чтоб их заманивали в эту чащу сладостной, как звуки флейты, фабулой.

Итак, меня родила женщина. Мать моя была прилежна в любви и через три месяца после моего рождения уже приступила к созданию второго человека, она наделила мою сестру ногами и руками, осязанием и обонянием — всеми тонкостями человеческого естества, ибо человеку необходимо множество всякой всячины, чтобы здесь, в нашей видимой жизни, говорить и действовать. Моя бедная матушка ослабила себя двумя этими столь близкими по времени трудовыми достижениями. Жизненные соки ее устремились теперь вовнутрь, для меня их живительный источник иссяк. Я стал чахнуть, и когда мне исполнилось полгода, ПРЕБЫВАНИЕ НА ЭТОМ СВЕТЕ опротивело мне; без помощи сигарет я начал задыхаться от судорожного кашля, получил воспаление легких и приготовился взять у жизни окончательный расчет.

И когда моя дряблая кожа повисла на костях, как парусина на проволочном остове огородного пугала, вмешался мой дед. Он начал прикармливать меня — без него я бы умер; об этом он напоминал мне всю жизнь, даже на своем смертном одре он не забыл об этом.

Итак, я был рожден дважды. И хотя это название модного политического шлягера, такая штука, как второе рождение, существует на самом деле: второе рождение телесное и второе рождение духовное. Мое — было телесным, и рождал меня второй раз дедушка, это отчасти объясняет, почему мы были близки с ним все мое детство и долгое время потом.

В земной жизни человека бывают стечения обстоятельств, которые мы называем НЕСЧАСТЬЕМ. Несчастьем может быть, если человек не знает тех двух людей, которые дали ему жизнь. У меня получилось так, что с создателем своим я познакомился позже, чем с остальными сотрудниками, принимавшими участие в работе над моим «я», потому что я родился в Германии, а в Германии мужчины до последнего времени предпочитали быть на годы откомандированными за границу и сеять в мире зло.

В один прекрасный день я обнаружил, что больше не принадлежу не налагающей на меня никаких обязанностей пустоте, не растворен в нирване, а нахожусь в мире самообязательств, что я актер в фильме жизни и что у меня есть партнеры, к которым я должен приноравливаться. Когда я воспринял дедушку как партнера в моем фильме жизни, мы жили в одиноко стоящем домике без усадьбы в деревне при дороге, и та дорога вела в Силезию.

Мой отец находился на войне. Для меня война была местностью неподалеку от Берлина, деревней, находящейся под непосредственным присмотром императора Вильгельма и его супруги Августы-Виктории.

Моя матушка открыла в доме при дороге швейную мастерскую и тощую мелочную лавочку, ибо она унаследовала от дедушки стремление к приумножению богатств, но при передаче этого стремления по наследству где-то потерялась холодная расчетливость, соответствующая генам накопления.

Жилая комната в доме при дороге в Силезию была декорацией, фоном, на котором я пробудился к моей нынешней жизни. Пробудившись, увидел, что теперь уж ничего не поделаешь — я должен оставаться там, где я есть. При настоящем положении дел в нашей стране было бы лучше, если б я родился месяца на два раньше, потому что тогда мой отец работал еще подсобным рабочим на суконной фабрике. А так, когда я пробился на этот свет, мой отец был солдатом, профессия—подсобный рабочий на суконной фабрике не была его постоянной профессией, и мне пришлось в ста двадцати трех анкетах, без которых моя жизнь превратилась бы в ничто, в графе СОЦИАЛЬНОЕ ПО-

ЛОЖЕНИЕ писать — СЫН ПЕКАРЯ. Но ведь у пекаря чаще всего единственный подданный, его подмастерье, эксплуатируемый из эксплуатируемых; и тем не менее в пролетарской иерархии он подпадает под категорию МЕЛКИХ КУСТАРЕЙ и относится к числу политически несознательных. И в самом деле, среди людей этой касты встречаются иногда политически несознательные, но мне и по сегодняшний день трудно поверить, что у нас, как когда-то в Библии, «ГРЕХИ отцов падут до третьего и четвертого колена». Некая Фрида Симсон [1], хорошо подкованная в кадровых вопросах особа, сказала, когда я показал ей, что я тут написал, что именно в этом и проявляется влияние моего мелкобуржуазного происхождения от подмастерья пекаря. Мне остается только утешаться мыслями о Марксе, Энгельсе и Ленине, которым с отцами повезло еще меньше, чем мне; так не повезло, что Фрида, вероятно, вообще не приняла бы их в нашу партию.

Общая комната в нашем домике при дороге в Силезию служила одновременно швейной мастерской, мелочной лавочкой и местом детских игр. Оба круга деятельности моей матушки разделялись тонкой занавеской. Жилая часть комнаты от деловой ничем особенно не отличалась, и площадкой наших игр служили обе половины комнаты и маленькая кухня, ибо мы, дети, подобно курам, не признавали границ земельных участков. Мы копались то здесь, то там, постукивая клювами и в жилой половине, и в мастерской или лавке, поклевывая зернышки впечатлений вместо семян травы или камушков.

Мелочная лавочка моей матери была наполовину государственным предприятием, но дохода не приносила, в отличие от многих теперешних полугосударственных предприятий; империя кайзера влияла на торговлю моей матушки весьма отрицательно, и от тощих штук сукна позволялось отрезать куски, только когда покупатель предъявлял официально выданный «талон на получение нормированных товаров».

Матушка моя вела швейную мастерскую и мелочную торговлю с душой и вкусом. Все эти кайзеровские талоны она понимала не слишком буквально. «Барышня, вас еще не выдают по талонам?» — начиналась уличная песенка тех времен, и моя жизнерадостная матушка напевала эти куплеты. По своей доброте она то и дело отмеривала лишние полметра ткани, помогая своим покупателям выкроить кусочек на детскую рубашонку или курточку, зато при новых закупках полученных талонов не хватало, чтобы приобрести соответствующее проданному количество товара.

Штуки сукна на полках представлялись мне коровами. Эти коровы кормились бумажками. И если бумажного корму было мало, они худели. Так как суконных коров кормили бумажками, в них от месяца к месяцу содержалось все больше бумаги.

Наши детские фартучки ткались из тонюсеньких бумажных ниточек. Эту ткань пропитывали слоем крахмала, и мой новый передничек стоял торчком так же прекрасно, как кожаный фартук соседа-кузнеца. Но под дождем мой передничек растворялся, как растворяются другие ткани в соляной кислоте.

И нитки с каждым годом рвались все легче, их качество становилось все хуже, а мы заблуждались, думая, что это возрастают наши силы, но в году тысяча девятьсот семнадцатом нитки, наконец, стали рваться так легко, что ими нельзя было привязать даже майского жука; пряжа обратилась в спряденный дым.

Кроме пронизанных бумагой материй и фартуков из грубой бязи в матушкиной лавке продавались ленты и тесьма для отделки дам-

[1] Одно из действующих лиц романа Э. Штриттматтера «Оле Бинкоп».

ских блузок. От этих лент исходило холодное шуршание. Они явно приходились сродни жестянкам, зато в картонных коробках, словно в белых гробах, лежали мужские галстуки из довоенного времени; мягкие и шелковистые, они стали теперь не нужны,— все мужское население носило застегнутое по горло серое полевое обмундирование, и в жизни и в смерти.

В середине войны наша лавка перестала получать иголки и булавки. Было официально объявлено, что весь металл используется для производства пушек, а пушки используются, чтобы стрелять по врагу, и я бы охотно поглядел, как сколотый булавками пушечный ствол выдерживает стрельбу по врагу.

В деревне осталось мало мужчин. Деревенские женщины не знали, ради чего им теперь ходить, вытянувшись в струнку, с высоко поднятой затянутой грудью, как подобает немецкой женщине,— не для дедушек же и не ради конфирмантов? Ну уж нет, такому сраму не бывать! Поэтому косточки для корсетов скучали в ящике мелочной лавки. Мы доставали их оттуда и строили из них заборы на полу в швейной мастерской. Если же в лавке все-таки появлялась женщина и спрашивала косточки для корсета, мы знали, что она приводит в порядок свое «боевое снаряжение» и ждет своего «отпускника».

Предстоящее появление отпускника из Франции или России было заметно и по другим признакам: матушке поручалось изготовить из юбки покойной бабушки для жены героя блузку в стиле королевы Августы-Виктории, с погончиками, металлическими украшениями и красными кантами, скроенными из нижней байковой юбки старой сорбки. Матушка шила всю ночь напролет, заказчица с благодарностью принимала новый наряд и переходила в ковчеге любви из стада тощих в стадо тучных.

Увы, часто не проходило и недели после наполненного любовью отпуска, как получалось извещение о героической кончине героя: «Пал смертью храбрых на поле чести»,— и вдова перекрашивала отделанную красным кантом блузку в черный цвет, и вдовьи стенания возносились к небесам.

Плата, которую получала матушка за переделку бабушкиных юбок в «блузки для встречи героев», не стояла ни в каком соотношении с затраченным временем, если, конечно, не выражалась в виде творога из снятого молока или нескольких яиц; а так как из мелочной лавки в несгораемую кассу деньги поступали исключительно каплями — пфеннигами, матушке нелегко было нас вытянуть сквозь годы войны без голодного истощения и болезней, тем более что за время войны у нас прибавились еще два брата, так называемые ОТПУСКНЫЕ.

И снова за тем, чтобы мы не зачахли, следил дедушка. Я познакомился с ним, когда он наносил нам «визиты ради вспомоществования», и его бытие распространялось на мое бытие.

Дедушка, в прошлом сорбский конюх, пробовал себя в качестве лошадиного барышника, барского кучера, возчика пива, шахтера, управляющего имением, фабричного рабочего, а во времена, когда мы с ним познакомились, он обозначал свою профессию словами МЕЛКИЙ ТОРГОВЕЦ, люди на Лужицкой равнине называют таких БРОДЯЧИМИ КУПЦАМИ.

В течение всего времени, что дедушка бродил по земле, он искал соответствующую его природе деятельность, но так и не нашел ее, мне, по крайней мере, кажется, что он ее не нащел. Он обладал многим из того, что принадлежит к обличью поэта, и трудно установить, какой малости ему недоставало, чтобы сделаться поэтом. Сегодня мне думается, что виной тому был не недостаток книг, ведь существовали

же поэты милостью одной только природы, например Сулейман Стальский, которые жили без книг, а стали великими. Недоставало дедушке ума? Или веры в себя? Видел ли он смысл жизни в том, чтобы обладать осязаемыми ценностями и приумножать их?

И в те времена, когда дедушка бродил по округе в качестве БРОДЯЧЕГО КУПЦА, жизнь его была вполне подходящей для поэта, но дедушкины поэмы состояли только из разговоров. Дедушка вовлекал людей в разговоры, чтобы заставить их покупать; он торговал главным образом сукном военного времени.

Свои сукна дед покупал у фирмы «Шветаш и Зайдель. Ткани и сукна en gros», в Хаммерлахе. Здесь, за городом, русло Шпрее расширялось наподобие пруда, мамины родители жили в старинном доме, улица У МЕЛЬНИЦЫ, НОМЕР ОДИН. Бабушка содержала в этом доме торговлю пивом в бутылках и овощами. Поэтому дедушка арендовал осенью яблони, растущие вдоль дороги между деревнями Грауштейн и Шёнхейде, и скупал у крестьян овощи. Тем самым он освобождал их от необходимости ездить в город. Это было важно для крестьян, так как лошадей призвали на войну, а полевые жандармы патриотизировали все надувные шины с велосипедов. Взамен владельцам велосипедов позволили приобрести эрзац-шины в виде скрученной спиралью пружинящей железной проволоки. Спирали укреплялись на ободе колеса, и езда на велосипеде превращалась в муки мученические, треск и шум достигали шумовой силы сегодняшнего мотоцикла с отпиленной выхлопной трубой.

Итак, дедушка выступал в качестве передвижной меновой и торговой лавки. Каждый день он проходил по песчаным дорогам равнины от двадцати до тридцати километров, таща за собой свою тележку. Тележка была нагружена фруктами или овощами, а сверху лежали дедушкины чемоданы с товаром — труд для него непосильный, но, разумеется, выгодный.

С долгим скрежещущим бр-р-р останавливалась дедушкина тележка на нашем дворе, и дедушка целовал нас. Он покручивал светлые пепельные усы и подмигивал нам, он извлекал из ящика на тележке кусок сала или кружок колбасы, комок масла, горшочек тощего творога или кувшинчик пахты, тайком тащил эти редкости к матушке на кухню,— шкафы для хранения припасов на этой кухне были, как правило, пусты настолько, что даже мухе не нашлось бы там крошки для пропитания.

Затем дедушка показывал нам свои музыкальные карманные часы и давал поиграть компасом. Когда нам надоедали «технические чудеса» и в нас пробуждалась жадность к новому, дедушка хватал нас, переворачивал вниз головой, и мы бегали ногами по потолку низкой чердачной каморки. Мы видели под собой стол и комод с фаянсовым тазом и кувшином для умывания, привычный мир переворачивался и был по-новому привлекателен, и тогда во мне росло стремление переменить точку зрения на мир, привитую мне воспитанием, на поэтическую.

Когда созревали яблоки на яблонях, дедушка являлся из города в старом овчинном тулупе со взятым взаймы биноклем. Он поселялся у нас на несколько недель. И если скипетр и корона на картинке в нашей книжке сказок превращали бородатого человека в короля, то овчинный тулуп и бинокль превращали нашего дедушку в яблочного сторожа, и нас восхищала в отце нашей матери его способность быть сегодня одним, а завтра другим.

По скрипучему щебню дороги двигались крестьянские телеги, военные машины, пешеходы и колонны военнопленных. В военное время, когда все во всем нуждались, находилось немало людей, готовых

воровать яблоки, так им опостылело свекольное повидло. Дед охранял арендованный урожай днем и ночью. Днем сторожить арендованный урожай помогал бинокль, а ночью овчинный тулуп; дед закутывался в тулуп, ложился в придорожную канаву и «ждал» яблочных воров.

Днем мне разрешалось вместе с дедом нести ЯБЛОЧНУЮ ВАХТУ. Когда на шоссе было пусто, дедушка вешал бинокль мне на шею. Бинокль был для меня волшебным стеклышком, с его помощью я приближал к себе далекие деревья, кусты, яблоки, церковную башню и осенние цветы. Я отодвигал стекло от глаз, и цветы и яблоки исчезали. Они съеживались где-то вдалеке. Я переворачивал бинокль, и церковная башня и деревья уменьшались и исчезали в бесконечности.

Волнующая игра с углом и точкой зрения. Она занимала меня в юные годы и занимает до сих пор, ибо я установил, что многие великие умы, ходившие по нашей земле, смотрели на жизнь и рассматривали ее куда более всеобъемлющим взглядом, нежели мы, и делали это единственно при помощи фантазии, без всей той аппаратуры, от веры в которую не можем отказаться мы, люди ВЕКА НАУКИ. Но некоторое время тому назад я узнал, что все изобретенные нами аппараты не что иное, как ставшая осязаемой фантазия, и на этом круг моих наблюдений замкнулся.

Как-то раз помещичье потомство проезжало в коляске мимо арендуемых дедушкой яблонь, и благородные недоросли стали сбивать палками и кнутом золотой пармен и ранеты к себе в коляску. Дед встал посреди шоссе, раскинул руки и пошел навстречу коляске — он схватил лошадей под уздцы и крикнул жующим яблоки дворянским деткам: «Платите или я донесу на вас!»

Дети помещика вывернули карманы. Кучер тоже высыпал мелочь из кармана ливреи. «Твоих денег мне не надо»,— сказал дед кучеру. Но деньги дворянских детей он взял и собрал сворованные яблоки, а когда коляска уехала, сказал мне: «Вот так и богатеешь!»

Дедушка подарил мне собранные монетки. Я вспомнил о своей копилке — блестящей ветряной мельнице. Копить деньги — добродетель, внушала мне матушка: не лги, не укради, копи деньги. Но меня развлекало только, что крылья жестяной мельницы крутились, когда я опускал монетку в щель на крыше.

Было воскресенье, время приближалось к полудню. В бинокль мы увидели закутанную во все черное старушку. Она возвращалась с церковной службы. В белом узелке она несла сборник псалмов, а кроме того она несла плетеную корзинку и в эту корзинку складывала сорванные яблоки — видно, ей не хотелось так уж совсем без ничего возвращаться из церкви к себе на кухню.

Мы лежали в придорожной канаве. Осенние мухи жужжали вокруг нас, пели полевые жаворонки. Женщина подходила все ближе и ближе, дедушка задержал ее и сказал: «По-моему, ты занимаешься воровством, женщина!» Старуха проговорила плачущим голосом: «Ах, добрый человек, не доноси на меня. Я подарю мальчику денежку, да, да, подарю».

Она порылась в глубинах своего кармана на юбке и дрожащими руками вытащила вышитый кошелек, она плакала, и мне стало ее жалко. Я отказался от протянутого мне талера — такой поступок шел наперекор дедушкиной последовательности, его твердолобому упрямству, его стремлению к наживе. Это упрямство и стремление к наживе породили много злого в моем дедушке и в нашей жизни, но тогда я еще не ведал этого, особа дедушки была для меня священна и непогрешима.

Так как я не брал отступного талера старухи, дедушка выбранил меня и добавил: «Хорош делец из тебя выйдет, малый!» Он сгреб та-

лер, отобрал у старушки крестьянки яблоки и сказал: «Ну ступай, старая карга, интересно, тебе бы понравилось, если бы я отряс яблони в вашем саду!» Старуха закивала головой и заковыляла своим путем. Пели полевые жаворонки, мягкие звуки их песни шариками скатывались на нас, и каждое дерево, на которое опускался жаворонок, принадлежало ему.

А в другой день (детство не знает дат) я увидел через стекла перевернутого бинокля крошечного человечка, бредущего по изгибу шоссе. Человечек пригибал граблями ветки яблони и набивал сорванными яблоками карманы.

Я передал бинокль деду. Дед поглядел в бинокль и выругался, потому что воровал яблоки мой другой, сводный дедушка Юришка, он жил в нашей деревне. Оба дедушки не очень дружили между собой, и когда дедушка Юришка подошел, дедушка Кулька произнес: «Какой у меня благородный родственник!»

Дедушки спорили по-сорбски. Они говорили со злобой, растягивая слова, поэтому я мало что понимал, но слово «черт» оба повторяли по многу раз. Потом дед Юришка необычно приветливо обратился ко мне и стал смотреть в бинокль на деревню Шёнхейде, а дед Кулька вытаскивал у него из карманов наворованные яблоки. Зато потом дед Юришка спросил у меня, кто дал нам бинокль, и я, ничего не подозревая, сказал ему. Два дня спустя мы остались без нашего бинокля, ибо все подзорные трубы должны были быть сданы, все подзорные трубы необходимы на войне, чтобы наши герои могли лучше разглядеть врага.

Это была первая дипломатическая напряженность в нашей семье, но в ту пору она не перешла еще в семейную войну, ибо над всеми нами висела большая война.

Я целые недели проводил в городе у бабушки с дедушкой. Там я «лишен не столь многого», говорила матушка. Я не знал, чего я был лишен. Человека нельзя лишить того, о чем он не знает. Я не знал, что такое пшеничный хлеб, и не желал его, я не знал, что такое шоколад, и не испытывал никакого интереса к нему. На свете существует так мало подлинных и так много мнимых потребностей. Я мечтаю о том, чтобы нам, коммунистам, взяться и помочь людям отличить подлинные потребности от мнимых, пусть даже на этом снова «пострадает наша популярность».

В ту пору во мне тоже пробуждались потребности, настоящие и ненастоящие, так как дедушка брал меня в сорбские деревни близ Хойерсверды, где жили его родственники и давнишние знакомые и где была «житуха». Крестьяне из сорбских деревень охотно покупали у бродячего купца-сорба, с которым они могли торговаться по-сорбски. Дед был словоохотлив и остроумен, умел восхвалять женскую красоту; он говорил, например: «Майка, гляжу в твои глаза и горюю, черт дернул меня жениться». И продавал ей передники из миткаля.

Я слушал, как дедушка завлекал покупателей. Мои глаза поглощали изображения мест, предметов, действий, а сам я, маленький человек, попадал на глаза охваченных материнскими чувствами женщин. Меня пичкали бутербродами, гороховой колбасой, и впервые в жизни я попробовал там малину.

Однажды мы взяли с собой бабушкину корзину, которую она обычно носила на спине:

— Зачем тебе мой короб, Матес?

— Подожди, Ленка, увидишь.

Мы пошли в деревню под названием Прошим. Пруды за деревней заросли цветущими водяными лилиями — материализованной нежностью.

Дедушка снял ботинки, дедушка снял чулки. Он подвернул брюки и подбодрил меня. Мы залезли в воду, мы рвали лилии, лилии, лилии и бросали их в короб.

Вода доходила мне до пояса, но дедушку ничто не останавливало. Он рвал лилии и дорвался до того, что живот его уже был в воде, а я погрузился в воду по грудь, но в этот час не было для нас ничего важней белоснежных водяных лилий.

Мы наполнили корзину. Мы стащили с себя штаны. Мы положили их сушиться на солнце, а сами в одних рубахах устроились поблизости в камышах. Дедушка сказал: «Бабушке об этом рассказывать не обязательно», и я исполнился гордости, что у меня с дедушкой есть МУЖСКАЯ ТАЙНА.

Пахло прудовой тиной, жужжали мухи, мелькали стрекозы, крякали дикие утки, всплескивали зеркальные карпы, а в деревне кукарекали петухи. Все вместе переплеталось во мне и образовывало состояние духа, которое теперь я называю ЛЕТО В ДЕТСТВЕ. Я могу вернуть это настроение, если лягу на берегу пруда и если сумею воспринять жужжание и мелькание, кряканье и плеск, как прежде. И хотя я буду воспринимать другие волны звуков и запахов, мне кажется, эти волны хранят в себе нечто от того, что я называю детством.

Мы принесли наши лилии домой. Я ничем не выдал, как мы их добыли, но бабушка сказала: «Мальчишка мог утонуть у тебя за спиной, ты седеешь и глупеешь». Бабушка подкатила чан для мытья, притащила тазы, а под конец мы заполнили лилиями и ведра для воды; белое цветенье осветило бабушкину темную овощную лавку.

Приходили одинокие солдатки. Они покупали наши водяные лилии. Они улыбались и, быть может, вспоминали последнюю прогулку с любимым. Фабрикантши посылали своих горничных и кухарок в бабушкину лавку для бедных людей, и те покупали наши лилии как необычное украшение для гостиной своей МИЛОСТИВОЙ ГОСПОЖИ. Мы притащили целую корзину радости в шинельно-серый фабричный город. И дедушка приговаривал, слушая позвякивание кассы: «Вот так наживают деньги!»

Весной в нашем пруду в неглубокой воде возле берега кишмя кишели колючие рыбешки, их называли колюшка. Самцов колюшки украшала по-весеннему пестрая грудка, они висели в воде перед самочками, строящими гнездо, они дрожали, они ждали, когда самочки начнут метать икру, и волны сжатой жизненной силы пробегали по телу рыбок.

Мы увидели охваченных брачным напряжением самцов, и тут в дедушке шевельнулось стремление поддержать нашу жизнь, потому что была война, люди голодали, и мы тоже голодали. Мы изловили уйму поглупевших от любви самцов колюшки, мы набили ими наш мешок, с которым ходили мешочничать, потащили их домой.

Дед сварил рыбешек. Он варил их очень долго, пока не разварились колючие плавники, и в кипящей воде становилось все больше рыбьих клеток. От них вода стала липкой и тягучей. Когда варево охладили, густой сок застыл в студень, мы называли невидимых теперь рыбок рыбным заливным. Мы ели хлеб с рыбным заливным, а в хлеб добавляли тогда древесную муку, чтобы при выпечке хлеба становилось больше. После еды дед обтер усы и сказал: «Таким вот образом и достаешь что-нибудь».

Несколько самых красивых рыб дедушка оставил в живых. Он посадил их в стеклянный сосуд для золотых рыбок — стеклянный сосуд был вычурной формы, дедушка приобрел его на аукционе.

Дедушка поставил аквариум на бабушкин комод перед зеркалом. Колюшки плавали в воде, и зеркало удваивало их число. Дедушка за-

метил: «Красивей золотых рыбок Шветанихи» — речь шла о золотых рыбках на этажерке у жены торговца сукном Шветаша, чем все и объясняется. Тот барочный стеклянный сосуд для рыбок я сохранил НА ПАМЯТЬ. Он принадлежит к числу предметов, сохраняемых НА ПАМЯТЬ, на которые мы постоянно натыкаемся у себя в доме, и вместе с другими бесполезными вещами, «обступающими» нас, он свидетельствует о моей так и не побежденной до конца сентиментальности.

Матушке хотелось повидать меня, и дедушка переправил тележку, полную разных полезных вещей, в деревню. Я сидел на тележке — стук колес, ритмичный шаг дедушки, шуршание и шорохи сосен, щебетание птиц сливались в мелодию, и мелодия эта обрушивалась на меня.

До тех пор я слышал только хоралы и детские песенки. Хоралы извлекали из изогнутой меди престарелые музыканты духового оркестра в нашей деревне, когда снова кто-нибудь из воинов ПАЛ СМЕРТЬЮ ГЕРОЯ НА ПОЛЕ ЧЕСТИ. Моя ДОРОЖНАЯ МУЗЫКА, рождаемая ручной тележкой, была могучее хоралов; когда я позднее слушал симфонии, они не поражали меня, ничего непостижимого в них не было, я знал, что они сложены из свиста ветра, шума деревьев, шелеста трав, жужжания насекомых и плеска воды, что они висят в воздухе над всей мировой равниной и их услышит каждый, кто может их слышать. Я слышал их тогда, и я слышу их сейчас, но не в состоянии облечь их в форму точек на бумаге, и мне не удается связать их и подчинить себе штрихами такта. Поэтому я пытаюсь уловить и выразить их между фраз при помощи скрипучего словесного искусства, делая это настолько хорошо, насколько хватает сил, и восхищаюсь Бетховеном, Моцартом, Шубертом и другими благословенными властителями музыки.

Веселой и яркой была моя жизнь во времена, когда я познакомился с моим дедушкой: мы жили с ним как на другой планете, никогда не надоедали друг другу, у нас во всем царило согласие, потому что дедушка любил меня любовью сильнее отцовской, и разрешал мне все, и на многое глядел сквозь пальцы, и все, с чем мы встречались, и те куски жизни, что удавалось нам схватить,— все будоражило нас, особенно меня, ведь я был новичком на свете и мою жизнь, как молодой листок дерева, еще покрывал серебристый пушок.

Война длилась четыре года. С каждым годом взрослые все больше говорили о нехватках, голоде, страдании и смерти. Когда мы ждали конца войны, нам казалось, что сама земля содрогнется или хотя бы один день будет дрожать от радости, но ничего подобного не случилось, весть о конце войны прошла по стране как слух, а мы привыкли с опаской относиться к слухам.

Люди радовались, что сохранились на земле, в нашем доступном зрению мире; одни радовались, что их не застрелили, другие — что они не умерли с голоду. Надутые патриотизмом слова на время вышли из моды, военное искусство и искусство голодать стали непопулярными.

Изголодавшийся, оборванный и обовшивевший приплелся с войны мой отец. Его называли ВНОВЬ ОБРЕТШИМ РОДИНУ, и эти помазанные елеем слова — ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ — послужили, по-моему, зародышами грядущих националистических фраз.

Итак, отец был дома. Нас с сестренкой выставили из матушкиной спальни, и мы переехали в маленькую комнатушку на чердаке. Это означало, что отец вернулся к нам навсегда.

— Навсегда, мама?

— Навсегда, навсегда!

В зале трактира у дедушки и бабушки Юришка состоялся БАЛ ВНОВЬ ОБРЕТШИХ РОДИНУ. Вот опять слова — зародыши патриоти-

ческой высокопарности! Отец влез в свой жениховский костюм. Черный костюм висел на нем как на вешалке, матушка облачилась в бледно-голубое платье, она держалась необычно прямо в своем корсете и показалась нам чужой и далекой.

До дня БАЛА ВНОВЬ ОБРЕТШИХ я не знал чувства страха. Меня посылали к соседям, я шел в темноте и передавал, что меня просили передать, но в тот вечер скверная танцевальная музыка долетала до нас, до нашей комнатки на чердаке, и мне стало страшно. Может быть, из-за того, что мама вдруг сделалась совсем чужой, может быть, потому, что, уходя от нас, она втайне радовалась, а может быть, оттого, что мы не понимали, откуда взялась эта радость.

На столике стояла маленькая карбидная лампа. Она стояла в горшке с водой. Карбид, образующий газ, кончался. Я лежал в постели рядом с сестрой и глядел на все уменьшающееся пламя. Я боялся, чувство страха было так ново для меня, я не шевелился; иногда мне кажется, что не за горами день, когда таким новым опытом будет для меня смерть, и что она заставит меня так же оцепенеть, оцепенеть на тысячелетия.

Но и тогда я думал, что как только погаснет маленькое карбидное пламя, погаснет и моя жизнь. Я вспомнил о своем не застывшем в оцепенении голосе и закричал. Проснулась сестра, я заклинал ее покачать лампу.

Сестра покачала лампу, а я лежал, сам себя гипнотизируя, и кричал, язычок пламени увеличился, и я почувствовал, что моя жизнь удлинилась на какой-то срок.

Сестра заснула, и снова пламя лампочки уменьшилось, и снова я закричал и разбудил сестру, я умолял ее потрясти лампу, она потрясла ее, но я все равно кричал, кричал и кричал.

Дверь нашей комнатки отворилась, словно ее отворил ветер. В комнате стояла мама. Она сердилась, ее сердитое лицо подходило к чужому платью. В крошечной комнатке мать казалась великаншей. Она схватила меня левой рукой, вытащила из постели и ударила, ударила правой рукой, на которой надета была тюлевая перчатка, я почувствовал круглую жесткость маминого обручального кольца на голой попке, и мой голос тоже оцепенел.

Матушка задула лампу и ушла. Мне почудилось, что корсет сделал ее не только негнущейся, но и немой. Она закрыла дверь и спустилась вниз по лестнице навстречу БАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ ВНОВЬ ОБРЕТШИХ РОДИНУ.

Когда ко мне вернулся голос, я позвал деда, и дедушка был для меня в эту минуту самым надежным человеком в мире; тихо повизгивая, я переживал первое изменение моей жизни.

В бытность мою конокрадом

Я расскажу о том, как человек становится конокрадом, но если другие события будут проситься мне на язык, я не стану им мешать.

Десяти лет от роду, когда я сторговал первую лошадь для небольшого хозяйства отца. Это было моим испытанием на подручного у лошадиного барышника и вошло в устные предания нашей семьи.

Купленная лошадь была прибывшей из далеких краев «импортной» кобылой с тракишкинского конного завода, следовательно племенной, из тогдашней Восточной Пруссии. На бедре у нее было выжжено тавро: стилизованная лопатка лосиного рога. Другой такой ло-

шади среди лошадей, до тех пор появлявшихся на нашем дворе, не бывало.

Рыжую, золотистую кобылу я обнаружил у одного крестьянина-бедняка в соседней деревне, а к нему она попала от разорившегося помещика.

Лошадь числилась «имуществом несостоятельного должника» и поэтому стоила очень дешево, но своему новому владельцу она не подходила, потому что была слишком слаба, чтобы работать одной в упряжке, он хотел ее продать, но, разумеется, с выгодой. Она продавалась за пятьсот марок.

Цена превышала наши возможности, но я умолил отца не упускать случая и купить хорошую лошадь. и отец уступил, но при условии, чтоб лошадь обошлась не дороже трехсот марок.

Не знаю, захотел ли худосочный владелец лошади посмеяться надо мной или на него произвела впечатление усвоенная мною ловкость лошадиного барышника, так или иначе он согласился на сделку, но его цена — триста семьдесят пять марок — застопорила дело.

Я помчался домой добиваться помощи деда, поступив в этом случае, думается мне, точно так, как поступают дипломаты, занимаясь большой политикой: в разгар переговоров они летят домой, чтобы получить указания о возможности компромиссов.

Дедушка согласился добавить своих семьдесят пять марок к сумме ,отпущенной отцом, и пошел с нами в соседнюю деревню. Но колченогий крестьянин заявил, что заключил со мной сделку в шутку и что за такую цену не отдают лошадей даже живодерам. Я поглядел на него из самой глубины моего детского разочарования, и, видно, он почувствовал, что очутился один на один с совестью всего мира.

Тракишкинская кобыла перешла к нам, она была очень смирной. Человек определяет этим прилагательным и в себе и в лошади одно и то же качество: смирение. Но чтобы разница между лошадью и человеком не стерлась окончательно, лошадь всегда остается СМИРНОЙ и никогда не становится СМИРЕННОЙ. Это маленькое «ен» человек прибавляет себе на всякий случай, но, несмотря на это едва заметное различие, видно, что некогда лошадь и человек были очень близки и лошадь служила человеку сразу и кормилицей и ракетой.

Рыжая кобыла оказалась смирной, это было важно для матушки. Мама вытянула руку и погладила животное. Рыжая лошадь тащила плуг и вывозила на поле навоз — это было важно для деда: он обрабатывал наше маленькое поле.

Рыжая кобыла умела скакать, ее можно было запрягать в коляску, и она была прекрасна. И это было важно для меня. Золотистым отблеском светилась ее рыжевато-бурая шерсть. Каждый волосок ее блестел, и вся она сияла красотой. Если бы у нее были жеребята, моя слава лошадиного барышника еще бы возросла и в семье, и в деревне, но жеребят у нее не было, слишком долго ее не использовали как племенную кобылу, и теперь она больше не могла жеребиться.

Отец ездил с хлебным фургоном по окрестным деревням и любил похвастать своей кобылой, ее широким шагом, ее неутомимой рысью, и все было хорошо, и все были довольны лошадью.

Пришло лето. Прошло лето. Народились серые оводы-буты. Они сосали лошадиную кровь — особый род оводов, питающихся кровью лошадей. Они производили потомство и исчезали. Деревья и кусты производили листья и роняли их осенью. И мы называли листья палым листом. Весной распускались новые листья, и они тоже старели за лето, и становились палым листом, и падали, и казалось, все повторяется: и оводы и листья, но каждое лето это были другие оводы и другие листья, просто мы не чутки и легковерны.

И наша кобыла старилась под своим золотым глянцем. Она стала уже не такой выносливой, как прежде, и однажды судьба ее в образе пьяницы — завсегдатая трактира выглянула из окна и крикнула: «Не задирай нос, пекарь, перед бутылкой все мы равны!» Из уважения к своим покупателям отец не мог оставить этот призыв втуне.

Был холодный и ясный мартовский день, в такой день приятно выпить грогу или пива, и тракишкинская кобыла, разгоряченная поездками с хлебным фургоном, осталась стоять ничем не покрытой на обжигающем ледяном ветру у дверей трактира.

Лошадь заболела. У нее началось ревматическое воспаление, она волочила зад. И хотя я знаю, что у лошади не зад, а круп, я все же пишу зад.

И за это я прошу прощения у всех лошадников, у всех членов скаковых и коннозаводческих обществ, ведь читателей у меня много, и я хочу, чтобы они меня поняли, а они не поймут, если я буду писать на ЖАРГОНЕ различных профессий, например, на языке охотников называть заячий хвост РЕПЕЙКОМ, ПУЧКОМ и ЦВЕТКОМ.

Я не в обиде на ЗЕЛЕНЫЕ МУНДИРЫ за то, что они воротят нос от меня, обыкновенного человека, и я заранее прошу прощения у спортсменов, что не прибегаю к их профессиональному жаргону, ибо я считаю ДАДАИЗМ декадентщиной и стою на том.

Дедушка утверждал, что лошадь заболела по вине отца: он ничем не укрыл разгоряченную кобылу и слишком долго продержал ее у трактирных дверей. Вина виной, а беда бедой — смерть всегда требует причины, и дедушке не к чему было так бушевать; «век живучи, спотыкнешься идучи», говорят в наших краях, и в этих словах заключена мудрость, добытая опытом: оплошность и недогляд, которыми ты попрекаешь соседа, словно тебе дано право судить его, может статься, уже на пути к тебе самому, и рано или поздно они настигнут и тебя, и ты тоже в чем-нибудь оплошаешь и за чем-нибудь недоглядишь.

Дедушка натирал лошадь камфарным спиртом, обкладывал ее компрессами из глины, он испробовал все свое искусство коновала, но ничего не помогло. Глаза нашей тракишкинской кобылы погрустнели, и вместе со здоровьем погасло золотое сияние ее шерсти. Смерть уже приступила к таинству завершения жизни, она засела в крови и в мускулах кобылы и начала разрушать ее изнутри...

Наступала пора отвести нашу рыжую кобылу к живодеру на пустырь возле стеклодувного завода, но кто, кто поведет ее туда?

Дедушка не хотел сопровождать ее в этот крестный путь. Отец был занят. Бабушка считала, что сопровождать кобылу в КРЕСТНЫЙ ПУТЬ НА ЖИВОДЕРНЮ не женское дело. Оставался только один человек, и этим человеком был я, и я гордился тем, что дедушка полагал во мне достаточно мужской твердости для похода на живодерню.

Я засунул в карман два куска хлеба с маслом, надел картуз и пошел в конюшню. Я взял из рук деда веревку, но смотреть на кобылу не мог и уставился взглядом в открытые ворота. Я вел себя, как обычно ведет себя человек при встрече с бедой: я смотрел мимо, а как знать, погляди я прямо в лицо беде, может быть, я и научился бы чему-то, но человек предпочитает смотреть в будущее, и будущее видится ему без невзгод и без несчастий, а между тем из ближайшей ямы на дороге уже светится красный огонек его следующего несчастья, и очень может быть, он сумел бы обойти его, если б внимательнее приглядеался к предыдущему.

У холма ветряной мельницы веревка натянулась. Я был вынужден оглянуться: кобыла смотрела назад, на ярко-желтое здание пекарни. Она словно чувствовала, что ее ждет. Если б я спросил деда, знает ли об этом кобыла, он ответил бы: «Она знает». Дедушка мой был прос-

тым крестьянином, и его утверждение может показаться сомнительным, но так же простодушен был и некий Томас Манн, утверждая, что трансцедентное — врожденный опыт — дано прежде всего животным. Вероятно, он откуда-то узнал об этом. Я верю поэтам так же, как ученым, и не стесняюсь этого, потому что знаю, что в каждом настоящем ученом скрывается поэт, а в каждом настоящем поэте — ученый, и настоящие ученые знают, что их гипотезы суть поэтические предчувствия, а настоящие поэты — что их предчувствия суть недоказанные гипотезы, и многообразие явлений не сбивает с толку ни тех, ни других и не заставляет их считать друг друга противниками.

Когда кобыла повернула ко мне голову, мне показалось, что из ее грустных глаз текут слезы, и тогда из моих глаз соответственно тоже закапали капли, и ветер, вращающий крылья мельницы, развеял все мое мужество. Я скормил взятый в дорогу хлеб животному, надеясь таким образом заслужить прощение за мою непреднамеренную жестокость, повернул обратно и направился домой, а веревка висела свободно и больше не натягивалась.

Дед вышел из своей мастерской. Он увидел, что со мной творится, и глубоко вздохнул. Казалось, весь воздух со двора исчез в его легких, а потом он рявкнул: «Ах ты черт собачий!» Никогда, ни до, ни после, не ругал он меня с такой яростью, как в тот день, когда я привел обратно обреченную на смерть кобылу. Дедушка «взорвался», и слова его разлетались вокруг, как ядовитые осколки, и тот, кому довелось увидеть, как «взрываюсь» подобным же образом я, пусть примет мне в оправдание, что это прорывается наружу та доля наследства, которая досталась мне от моего сорбского дедушки — отца моей матери. Я стараюсь удерживать эту долю наследства на самом дне сундука, где хранятся наследственные черты моего характера, но постоянно возникают поводы, которые заставляют ее посредством телекинеза мгновенно всплывать наверх.

Брехт пытался преподать мне, как надо обуздывать кипящую ярость и подавлять бешеные вспышки гнева, переплавляя их в ТЕАТРАЛЬНЫЕ СХВАТКИ, но чем больше узнавал я Брехта и наблюдал его, тем более убеждался, что и е м у не всегда удавалось то, чему он хотел научить меня. Если после ТЕАТРАЛЬНЫХ СХВАТОК у него судорожно напрягались жилы на шее, значит, жизнь не слушалась его советов.

Дед схватил болтающуюся веревку. Как был босиком, он отправился к живодерне. Он изрыгал проклятия, он плевался, слезы его падали на короткий синий кучерский фартук.

Если составить список угрызений совести, исходя из их силы и длительности, то на первом месте окажутся муки, на которые обрекает себя человекоубийца,— разумеется, если он умертвил другого человека не во имя народа, или родины, или, как нередко говорят, по причинам политической необходимости; в подобных случаях угрызения совести распределяются на всех членов общества, ради которого он убивал, и убийца вполне может чувствовать себя как бы и не убийцей. В самом низу упомянутого списка поместят время, потребное на укусы совести тех, кто раздавил водяную блоху или тлю, и время, потребное для этих укусов, будет весьма кратким, почти не поддающимся измерению; а укоры совести за уничтожение микробов вообще не войдут в список, ибо на нижней границе доступного зрения кончается, видимо, всякая ответственность человека за уничтожение жизни, хотя с давних пор известно, что на самом деле все обстоит иначе, и человек ощущает это, совершая преступления и убивая бактерии почвы, опустошая землю, из которой сам произошел, но тем не менее в подобного рода измерениях мы продолжаем нарушать законы совести.

Нам была необходима новая лошадь. В соседних деревнях ждали постоянные покупатели, поля требовали обработки. Пришлось одалживать лошадь для развозки хлеба, и мы одолжили ее у соседа. В роли просительницы выступала бабушка, а я ходил с ней в качестве возницы. «Лошадь и жену взаймы не дают,— говорят местные крестьяне,— а уж если давать, так жену». Но бабушка просила так жалостливо, от души, что вполне смогла бы окупать расходы на свое содержание, прося милостыню. Когда мы получили одолженную нам лошадь, бабушка, сложив под фартуком руки, обратилась с молитвою к богу, прося его позаботиться, чтобы взятая напрокат лошадь оказалась не слишком норовистой, чтоб не срывалась она с места прежде, чем хозяин взберется на козлы. «Господи Иисусе, яви нам божескую милость!»

Нам была необходима новая лошадь, и отец отправился на велосипеде на конную ярмарку. Он опоздал, всех подходящих для нас лошадей уже продали, но счастливый-пресчастливый случай занес моего отца в пивную и свел там с Карле Зудлером из соседней деревни, время от времени приторговывавшим скотом. И хотя отец и Карле Зудлер были соседями, между дворами которых лежало всего два квадратных километра обсаженного сливовыми деревьями поля, они приветствовали друг друга, словно члены одной экспедиции, отправившиеся с разных сторон к полюсу, ибо мелкий крестьянин боится чужбины, а чужбина начинается сразу за его деревней, и на чужбине он готов помириться со злейшим своим врагом — то, что составляло предмет их ссоры в родной деревне, в широком мире теряет силу.

У Карле Зудлера были черные волосы и пылающие темные глаза. Его матери — безмужней повивальной бабке — вечно приходилось бегать по дорогам туда-сюда, чтоб помочь крестьянским детям родиться на свет божий. Поговаривали, что как-то раз она повстречалась с цыганом и прохлаждалась с ним в придорожной канаве.

Карле Зудлер увлекался УМСТВЕННЫМ СПОРТОМ, хотя эта область спорта тогда еще вообще не была известна, потому что не были еще изобретены кроссворды, а будь они даже изобретены, Зудлеру Карле они не принесли бы никакой пользы, коль скоро он не читал газет. Свои спортивные задачи-головоломки Карле Зудлер придумывал себе сам, но они не были столь безобидны, как нынешние, и большинство из них объединял один вопрос: как извлечь из своей беззастенчивости выгоду за счет людей более застенчивых?

Карле Зудлер приветствовал моего отца многоречиво и пышно и поделился с ним своими заботами честного человека. Он откровенно признался отцу, что с самого утра старается не упустить пару упряжных карих — кобылу и мерина бранденбургского образца — и что суконщик хочет «сбыть» упряжку, чтобы купить себе пару молодых БЕГУНКОВ. Клепера, который привез Зудлерову коляску на рынок, он уже продал, а на лошадей суконщика здорово сбил цену, но денег, которые у него при себе, не хватит, чтобы купить упряжку.

Карле Зудлер возбудил в отце страстное желание приобрести упряжную пару. Он предложил, чтобы отец купил одну, а он другую лошадь, по воскресеньям они могли бы запрягать лошадей вместе, возить свадьбы и пассажиров. «Мы их так прокатим, чтобы пыль столбом! — сказал Зудлер.— И лошади принесут нам такую прорву денег, что у всех от зависти глаза на лоб полезут!»

Упряжку Зудлер сторговал за шестьсот марок, и это было дешево за двух пригодных к работе лошадей. Но у Зудлера Карле в кармане было только двести пятьдесят марок, во всяком случае в том, в который он полез, когда дело дошло до расплаты; отцу стало неловко, что у его компаньона нет денег, и он великодушно и безмолвно добавил триста пятьдесят марок, и Карле Зудлер согласно кивнул, ибо отец

сделал именно то, чего от него ждал Карле Зудлер, и сделал это благородно и молча.

Домой отец и Карле Зудлер ехали в коляске. Старый велосипед отца поскрипывал в одиночестве на заднем сиденье. По дороге они заворачивали в трактиры и хвастались лошадьми для будущих свадебных поездов, и отец оплачивал счета, потому что бумажник Карле Зудлера был, как известно...

Наконец они добрались до нашего трактира, и там Зудлер Карле в присутствии мужской половины населения нашей деревни поделил лошадей, он сказал отцу: «Для твоего хлебного фургона нужна резвость» — и отдал отцу более легкую кобылу, и остальные мужчины согласно кивали, потому что новые лошади становились теперь жителями деревни и должны были представлять собой нашу деревню в соседних деревнях и в городе.

Итак, кобыла здесь, а мерин — там. Резвая кобыла подходила для наших целей. Дедушка все еще сердился на отца за погубленную тракишкинскую кобылу, но и он не устоял, он оглядел новую лошадь и нашел ее почти безупречной, а «кто ящура и шпата боится, у того в конюшне лошадям не водиться».

Дедушка жаждал испробовать бывшую выездную на полевых работах. Он испробовал ее, и казалось, ей не так уж незнакомы были навозная телега, плуг и борона, она быстро освоилась со всеми работами и хорошо ходила в одиночку.

Мы нарезали каравай вечности на ломти часов, дней и недель. Ломти крошились на крошки — минуты, и мы рассыпали немало крошек, мы расточали время и вообразили ненадолго, что прочно держим свою жизнь в руках, но в один прекрасный день на нашем дворе появился Карле Зудлер с мерином, и та выгода, которую, как казалось отцу, он извлек, вступив в подготовленную Зудлером сделку, потребовала расплаты и доплаты.

Черные глаза Карле Зудлера прострелили двор, словно пулеметная очередь. Он плакался, что его мерин плохо ходит в одиночку. Он не приёзжен, например, когда на нем пашешь, он не умеет проложить прямую борозду. Зудлер Карле не может как следует обработать свое поле, и он просил, он умолял: «Дайте мне кобылу, ну совсем на немножко и, ради Иисуса, приучите моего мерина к работе».

И дедушка взял мерина на выучку.

Мерин в одиночку вел себя не глупее кобылы, просто он был ленив и его требовалось без передышки погонять, а, значит, кнут все время держать на весу, как для удара, и это утомляло Зудлера Карле.

Через три недели в воскресенье я потрусил рысцой через поля к хутору Зудлера. «Дядя Зудлер, ваш мерин уже приучен к плугу, вы можете забрать его». Черные глаза Зудлера избегали моего взгляда: «Мне еще нужна кобыла, ну совсем немножечко».

Мы подождали еще неделю, и отец снова послал меня к Зудлеру. «Еще немножко, паренек, совсем немножко».

И снова в воскресенье отец шел через поле к Зудлеру, и я шел с ним.

Отец на конной ярмарке выложил за Зудлера пятьдесят марок. Он потребовал эти пятьдесят марок. Зудлер Карле не отдавал пятидесяти марок, он утверждал, что торговался за лошадей на рынке, а отцу лошадь досталась безо всякого труда, пятьдесят марок полагаются ему за посредничество. Кроме того, он отказался возвращать кобылу, так как лошади были куплены в паре, теперь у нас мерин, а у Зудлера кобыла, а раньше мерин был у него, а кобыла у нас — так что все в порядке.

Отец родился в городе Гамбурге на берегу Атлантического океана, в раннем детстве он видел страну Америку. Он был джентльменом по природе и не мог сказать: «Давай кобылу, а не то разнесу твою лавочку!» Это было тем более невозможно, что мы находились во дворе Зудлера и притом в меньшинстве, к услугам Зудлера был его батрак, и батрак этот, между прочим, прозывался ПОЛИТИК, на защиту Зудлера поднялась его жена, а она славилась языком, грубым, как рашпиль. На защиту Зудлера Карле поднялась его мать, единственная повивальная бабка на семь окрестных деревень. Мать Зудлера была отнюдь не груба на язык, но на лице ее постоянно играла многозначительная улыбка, вечно эта многозначительная улыбка, вполне уместная на лице женщины, хлопочущей у входа в наш мир, но никто не решился бы поссориться с Зудлеровой бабкой зазря.

Батрак по прозвищу ПОЛИТИК на каждых выборах в рейхстаг голосовал за другую партию. Он голосовал по очереди за противоположные партии, сначала за Немецкую национальную, потом за коммунистов, после социал-демократов за партию некоего господина Винтера, ратовавшего за восстановление стоимости денежных знаков, обесцененных девальвацией. Его «выбор» зависел исключительно от партийной принадлежности того, кто подносил политоману бутылку шнапса, когда тот шел «выбирать».

По слухам, ПОЛИТИК имел прежде газетный киоск в городе Кёнигсберге. Изо дня в день он читал и перечитывал газеты всех партий и впитывал при этом импульсы противоположных политических течений, от этого в его мозгу произошло внезапно короткое замыкание и некоторые клетки его головного мозга обуглились.

Мой дедушка отнюдь не имел честолюбивого желания прослыть джентльменом. Он считал, что кобыла наша и должна вернуться к нам, а про Зудлера Карле говорил: «Пусть он мне только попадется, я ему покажу!..»

Несколько недель между отцом и дедом царило сладостное согласие, а мы извлекали из этого всю выгоду, какую могли, потому что на короткое время зажили жизнью без нашей обычной семейной дипломатии; рассказывая о чем-нибудь, мы теперь не думали: этого нельзя говорить при дедушке, а того — при отце.

Приятное согласие, знакомое нам по тем передышкам в классовой борьбе, которые в нашей стране приходятся обычно на рождественские каникулы или время летних отпусков.

Стояла середина осени, наступил вечер, и солнце близилось к закату, дедушка сеял озимую рожь, отец полол картофель на участке, что мы брали в аренду, мотыгой подсекая в бороздах корни пырея, а я дожидался, пока начнут боронить посев. Я сидел, посвистывая, на мешке зерна, а мерин пощипывал пырей на меже.

По краю нашего поля тянулся густой соснячок. Его окружали поля, и он служил заказником для помещичьих фазанов. Я стал рыскать по фазаньему заповеднику. По ту сторону сосняка тоже тянулись поля и там тоже сеяли рожь. По всей широте полей виднелись мужчины с рядном или лукошками через плечо, они ритмично отбрасывали руку в сторону и описывали рукой полукруг.

Мы жили в стране ржаного хлеба. Нашу рожь мы сеяли по эту сторону сосняка, а по ту сторону сосняка сеяли рожь другие люди: Карле Зудлер, его ПОЛИТИК и Зудлеров сын, Вилли. Зудлеров Вилли был старше меня и готовился к конфирмации. Этот Вилли тоже сидел на телеге с мешками зерна и от скуки вырезал себе тросточку из прута. Я увидел их и увидел у Зудлеровой телеги нашу кобылу, а еще я увидел, что она насторожила уши, заметив меня, потому что она ведь,

собственно говоря, была наша кобыла. Вилли продолжал обдирать кору со своего прута, он меня не заметил.

Я вернулся к нашим и рассказал деду, что делается по ту сторону сосняка. Позже, в тяжелые годы, я узнал, что такой разведывательный поход именуется «поиск дозора», но тогда я этого не знал. Дедушка сказал: «Вот сегодня-то мы ее и уведем» — и дал мне соответствующие указания. Его слова были для меня священны, как слова Моисея для сынов израилевых. Я говорил уже, что была середина осени, птицы замолкли и в воздухе стояла тишина. От подготовленной к посеву земли веяло миром. В ту пору я не знал, что такое затишье бывает перед началом войны и что солдаты народа, задумавшего напасть на другой, ведут себя так же безобидно, как проповедники мира.

Я спрятался в сосняке, держа взнузданного мерина на коротком поводу, он был совсем голый, дедушка снял с него всю упряжь. Тихонько выглянув, я увидел, что Зудлеры сеют рожь, а Вилли по-прежнему сидит на телеге. Теперь он играл в камушки пятью круглыми гальками — по-сорбски это называлось «камушковать», не знаю, как называется эта игра по-немецки, ибо никогда не видел, чтобы в нее играли немецкие дети. Играть можно одному, вдвоем, вчетвером или впятером. Играющие садятся и кладут перед собой по пять камушков. Один из камушков подбрасывают в воздух, и пока он летит, надо схватить с земли остальные четыре и поймать той же рукой на лету пятый. Или наоборот: четыре камушка подкидывают вверх, схватывают с травы пятый и ловят все четыре — игра, требующая ловкости и сноровки. Существует в ней и много дополнительных трудностей: например, сжимают руку в кулак, оставляя небольшое отверстие, через которое пятый камушек должен проскользнуть к остальным четырем, схваченным с земли, и эту «фигуру» называют ГОЛУБИНЫЙ ЛАЗ.

Несомненно, сорбские дети изобрели эту игру, когда пасли коров на лужицком каменистом пастбище, почти все свое детство они проводили на пастбище, словно братья и сестры коров.

Мне кажется иногда, что эту игру следовало бы завести в некоторых поликлиниках и в приемных отдельных учреждений; честное слово, имело бы полный смысл разложить на столах гладкие камушки, а игра возникла бы сама собой, и терпение ожидающих не испытывалось бы больше видом полных кофейников, которые проносят мимо, ну и, сверх того, подобная игра способствует развитию ловкости и сноровки.

Теперь пора объяснить, что мы с мерином скрывались в левой части сосняка, иначе вы не поймете того, что сейчас произойдет. Справа раздался крик фазаньего петушка, я-то знал, что фазан этот — мой дедушка, но Зудлер Вилли и не подозревал, в скольких искусствах был мой дед мастером, и поверил в фазаньего петушка. Он встал, полез в правую часть сосняка, чтобы добыть себе перо из хвоста фазана, и возле телеги Зудлера не было никого, кроме кобылы. Мы с мерином подошли к телеге, я крепко-накрепко привязал его к задней перекладине, а от передней отвязал кобылу, и я уже почти скрылся в сосняке, когда меня заметил ПОЛИТИК и поднял тревогу. Бегом через поле ко мне помчался Зудлер Карле с железными граблями в руках — он не задумываясь проткнул бы меня зубцами грабель, если б из соснячка не выскочил дедушка и не принял на себя и гнев и грабли. Едва Зудлер Карле замахнулся на дедушку, дедушка закричал так, чтоб было слышно далеко вокруг и всем, кто сеял рожь на окрестных полях: «Я действую в порядке самообороны! Я действую в порядке самообороны!»—вырвал у растерявшегося Зудлера грабли, сломал деревянное грабловище, отбросил железную колодку с зубьями в сосны и стукнул грабловищем Зудлера. Тогда заорал Зудлер Карле, и он тоже

кричал так, чтоб слышно было всем вокруг, только он звал на помощь. Соседи подняли головы, увидели, что ругаются двое, но никого, нуждающегося в помощи, не обнаружили, поэтому снова опустили головы, чтоб не пришлось им быть свидетелями, если дело обернется судебной тяжбой, и продолжали сеять, заботясь о хлебе насущном.

Зудлер Карле позвал на помощь ПОЛИТИКА, но ПОЛИТИК хотел знать заранее, получит ли он за оказание помощи бутылку шнапса. Зудлер Карле пообещал ему бутылку, но ПОЛИТИК снова спросил: большую или маленькую? Зудлер Карле заорал: большую.

Тут из сосняка вышел мой отец, и ПОЛИТИК попросил его засвидетельствовать впоследствии, что его хозяин обещал ему большую бутылку шнапса. Отец согласился дать соответствующие свидетельские показания, но вместе с тем помешал ПОЛИТИКУ выступить на защиту Зудлера от дедушки.

На поле разгоралась драка, но я ничего не могу рассказать об этом, так как не имел возможности принять в ней участие. Поле сева превратилось в поле битвы, и это тоже было так, как бывает в войнах между народами.

Я снял с кобылы Зудлерову упряжь и сложил на краю сосняка, надел на нее нашу сбрую, запряг ее и галопом поскакал домой; ничего этого дедушка мне не приказывал, а Зудлер Вилли все еще выслеживал в сосняке фазаньего петуха.

Дело дошло до суда. Зудлер подал в суд на моего отца и деда, обвинил их в том, что они, применив насилие, обменяли его хорошую лошадь на свою плохую.

Теперь самое время сказать об одной черте в характере моего деда, о которой мне следовало, пожалуй, упомянуть несколько раньше.

Но, по-моему, нет никакого смысла с самого начала рассказа заставлять литературных героев обрастать чертами характера, как капустная кочерыжка листьями, и наводить скуку на читателя. Можете мне поверить, что требования, предъявленные развитием повествования, не заставили бы меня присочинить то свойство характера моего деда, о котором сейчас пойдет речь. Было бы весьма некорректно в художественном отношении, если б я вздумал воспользоваться теми приемами построения рассказа, которые были в моде во времена Гёте и достигли наибольшего совершенства в «ВИЛЬГЕЛЬМЕ МЕЙСТЕРЕ».

Мой дед был деятельнейший сутяга, зачинщик и главное действующее лицо уймы мелочных тяжб: дел об оскорблении личности, споров о наследстве, о пограничных межах, о взыскании процентов.

Отец, которому дедушка навязал несколько тяжб, утверждал, что жизненный путь дедушки вымощен судебными процессами, и, к сожалению, так оно и было, потому что дедушка совсем еще молодым человеком затеял тяжбу со своим собственным отцом. Действительно, дед судился с той же страстью, с какой торговал лошадьми, и ему, должно быть, доставляло духовное наслаждение доказать свою правоту, но не забывайте: он был сорбом, он принадлежал к народу, которому хозяева дома, пруссаки, предоставляли по доброй воле не так уж много прав.

Дедушка обычно предварял свои намерения завести тяжбу следующими словами: «Буду в городе, зайду к Магеру».

Магер был стряпчим в окружном городе, так называемым судейским крючком. Маленький, седой, поблекший, он напоминал смерзшуюся сосновую шишку, заглянуть ему в глаза было невозможно, так как их прикрывали тяжелые веки. Для дедушки Магер воплощал собою букву закона, повелителя всех законных параграфов и незакон-

ных уловок, ибо уже в процессе против прадедушки Магер «защищал» дедушку.

Каков был Магер, я лучше всего объясню вам, рассказав о поведении одного моего приятеля, с которым мы в юности немало побродили вместе по нашим местам. Став профессиональным военным, лейтенантом, он захотел показать мне, что не сделался от этого высокомерным. Мы попробовали снова погулять вместе, но ландшафт был теперь для лейтенанта только стратегической местностью; едва мы приближались к холму, он начинал соображать, сколько пулеметов и минометов можно разместить на позиции за этим холмом, деревья и пригорки были всего лишь укрытием, он исследовал их и выставлял им отметки: «Очень хорошо, очень хорошо».

Воздушное пространство над землей стало для него пространством, предназначенным для траекторий винтовочных пуль и гранат, и в бывшем моем друге буйно разрастались споры ГЕРОИЧЕСКОЙ СМЕРТИ, и пал он этой смертью позже у Ильмензее; между нами говоря, вполне рядовой смертью ландскнехта.

Так же было и с мелким стряпчим Магером, все, что он видел, он превращал в судебные процессы. Его сограждане существовали лишь для того, чтобы домогаться правоты или совершать над ней насилие, и жизнь без судебных дел стала бы для Магера жизнью, лишенной основы существования, невозможной жизнью.

В приемной магеровского бюро царил сернистый полумрак, его создавало желтое стекло в коридорной двери, в приемной обитал белый шпиц, который тоже казался желтым в этом сернистом сумраке. Он кружил вокруг чужих, как раздраженная оса, и иногда кусался, а если клиенты жаловались, Магер убеждал их, что щипки шпица есть благоприятное предзнаменование для исхода процесса.

По вечерам стряпчий Магер с поджатыми губами делал променад по набережной. На его поблекших щеках красовались серебристые бакены ЗАЯЧЬИ ЛАПКИ. Он выглядел словно в двести раз уменьшенный Шопенгауэр. Шпиц, не желая утруждать себя постоянным подниманием задней ноги, семенил от дерева к дереву на трех ногах. Магер не видел извилин реки, поросшей вербой, не слышал песен малиновки и зорянки. Скрипучим голосом он призывал к порядку своего шпица, и кроме этого шпица для Магера не существовало ни людей, ни других живых существ, и над черной его шляпой танцевала не мошкара, а рой скрюченных параграфов.

Белый шпиц Магера знал меня и не лаял, когда я приходил. Под зеркалом в прихожей стоял на задних лапах черный шпиц и смотрел на меня просящим взглядом стеклянных глаз. Это было чучело магеровского издохшего шпица. Он стоял на задних лапках, «служил», а в передних лапах держал плевательницу, и в этой плевательнице был насыпан чистый белый песок. Когда мы с дедушкой ходили к Магеру, я всегда доставлял Магеру удовольствие и плевал в плевательницу, которую протягивало мне чучело собаки, и Магер каждый раз помирал со смеху, глядя на это. Он смеялся скрипучим смехом, напоминающим крик коростеля, и трудно сказать, смеялся ли Магер из предупредительности по отношению к клиентам, или его смех был результатом старческой немощи. Но у всякого чудачества есть свои причины, и если бы в каждом случае нам были известны эти причины, мы больше бы сочувствовали чудакам и меньше бы потешались над ними.

Магер был импотентом, и жена, которую он любил, ушла от него. Он долго тосковал по ней, потом взял другую жену, и она тоже бросила его. Вторая его жена была состоятельна, и Магер не побрезговал тем, чтобы извлечь для себя выгоду из ее ухода. Так как его любовь была отвергнута с презрением, из молодого Магера с его скрытым

недугом выработался тот старый холостяк, которого я знал и который, чтобы опровергнуть слух о своей импотенции, дважды в неделю посещал бордель, потому что бордель помещался на той же улице, где он жил, где он возился со своей стряпней из параграфов, где за ним наблюдали, где про него знали все.

Вижу, что я отвел в своем рассказе истории стряпчего Магера больше места, чем ей подобает. Я допустил, чтобы человек, в жизни помещавшийся на галерке, очутился на СЦЕНЕ. Прошу читателей извинить меня и прошу их вместе с тем подумать — быть может, существует определенное отношение между писателем и действительностью, еще не изученное нашими литературоведами, и, может быть, я уполномочен жизнью вызвать к маленькому Магеру ту толику сочувствия у будущего, в которой ему отказало настоящее.

Наша тяжба с Зудлером могла решиться одним-двумя заседаниями суда, если бы после протоколирования обстоятельств дела опросили тех людей, которые могли показать, что наша кобыла принадлежала нам, но этого не сделали, потому что в окружном городе было трое или четверо стряпчих, каждому из них нужно было существовать, и они превращали процессуальную муху в процессуального слона, и адвокат, приводивший тяжбу к концу с наименьшим количеством судебных заседаний, имел наименьший успех.

Наша тяжба поглотила множество денег, данных в задаток, и моя мать жаловалась, но дедушка одергивал ее: «Замолчи, я знаю, что делаю, я был у Магера».

На последней стадии процесса я тоже присутствовал на суде и до сих пор не понимаю, как удалось Магеру протащить меня в зал суда, как он добился, чтобы меня выслушали; наверное, дал взятку.

Вот дверь, через которую в течение года проходило несусветное количество людей, выигравших или проигравших дело. На двери висело объявление, где были перечислены назначенные на сегодня дела в порядке их слушания, и там было написано: ЗУДЛЕР ПРОТИВ ШТРИТТМАТТЕРА — КОНОКРАДСТВО.

Я прочел и испугался. Неужели мой дедушка конокрад? Но разве конокрад не хладнокровный, жестокий и кровожадный разбойник с черной бородой, косящим глазом, с ружьем и краденой женой? Не меньше двух жандармов нужно, чтобы притащить его в город и поставить перед судом.

Нет, конечно нет, Магер доказал, что дедушка никакой не конокрад, а порядочный человек и ничем не запятнанный житель нашей деревни, но затем этот маленький человечек широким жестом указал на меня и сказал: «Конокрад? Вон он сидит. Допросите его!»

Я побледнел и ждал, что меня тотчас возьмут под стражу, но маленький Магер успокаивающе помахал мне рукой, и председательствующий явно против воли вызвал меня вперед, всем своим видом показывая, что совершает нечто совершенно ненужное. Он спросил меня: «Тебе дедушка велел гнать кобылу домой?»

И я ответил: «А что, я и сам с усам!» — и слушатели расхохотались, услышав мой ответ, а председатель пригрозил удалить слушателей из зала суда. Стряпчий Хундертмарк, защитник Зудлера Карле, выразил протест против привлечения несовершеннолетнего к участию в судебном заседании, но каким-то образом мое высказывание оказало влияние на исход дела, и все это благодаря Магеру.

Мы выиграли процесс, и я тоже стал уважать Магера, я его почти полюбил за то, что он такой умный и искусный в толковании закона, но первого школьного дня после рождественских каникул я боялся, потому что думал: в школе мне теперь дадут прозвище КОНОКРАД, но случилось совсем иначе. Я стал на несколько дней героем класса, и

все мои товарищи хотели гулять со мной по двору, положив руку мне на затылок. У нас, в деревенской школе, это было внешним выражением дружбы, а если при этом всем остальным говорилось: «Мы друзья, мы друзья, бе-е-е, бе-е-е, бе-е-е», то это было выражением такой дружбы, которая сегодня обозначается словом «нерушимая».

Никогда в жизни не имел я стольких друзей, как в этот раз, все мои школьные товарищи почитали за счастье прикоснуться ко мне, признанному в судебном порядке конокрадом. Я был сбит с толку, ведь на уроках закона божьего всякий разбой определялся как злодеяние; впрочем, гнев господень не миновал меня и выразился, вероятно, в том, что ни одна из девочек не коснулась рукой моего затылка, и та, на которую я давно заглядывался, тоже не сделала этого, нет, она не сделала этого.

Теперь наша кобыла снова была у нас, и нам полагалось быть счастливыми, ибо человека томит тоска по счастью и он воображает, что стоит ему получить вон тот автомобиль, вон тот домик среди зеленых деревьев да вон тот сад на берегу реки, этот костюм да те ботинки, стоит ему перещеголять своего соседа в достатке, и он будет счастлив и нечего ему будет больше желать; и хотя нам кажется, что существуют тысячи и тысячи видов счастья, слово «счастье» не имеет множественного числа, а жизнь не очень-то озабочена недиалектическим представлением человека о счастье. И жизнь идет своим путем, и она в своем праве, и она не имеет конца, и мы вовлечены в ее поток, и все, к чему мы привязываемся сердцем, преходяще, и ценность всего меняется, и то, что сегодня делает нас счастливыми, заставит нас плакать прежде, чем трижды прокричит петух.

Дедушка и отец выиграли у Зудлера тяжбу, а это мало кому удавалось до сих пор. Дедушка и отец мирно и дружески жили друг подле друга, и мы верили, что такое состояние — прочное состояние, откуда нам было знать, какие стечения обстоятельств образовывались в том мнимом ничто, которое человек называет будущим; они скапливались, уплотнялись и словно туман подымались из бесплотной пустоты, чтобы в противовес отсуженной кобыле обрести плоть для нас в виде паровоза НЕМЕЦКОЙ ИМПЕРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

Дедушка с моим младшим братом отправились в крытой брезентом повозке на железнодорожную станцию неподалеку от стеклодувни. Они приехали туда за товаром для мелочной лавки, и дедушка отпряг лошадь с одной стороны. Он намотал вожжи на ступицу колеса и для «двойного обеспечения» поставил возле кобылы моего брата. Но чем поможет человеку, чем поможет наиумнейшей плановой комиссии самый тщательный, заранее составленный план, если вдруг начнет действовать непредусмотренный *X*, который нельзя было скормить никакому компьютеру?

И этим *X* для моего дедушки оказалось то, что он недооценил благоговения моего брата перед машинами.

К станции подошел товарный состав, и паровоз пленил моего брата: лошадей он видел каждый день, а паровозы редко. Он «дезертировал» и оставался у паровоза, пока тот не тронулся. Он наблюдал за цилиндрами и рычагами. Машинист спустил давление в котле, шипя и свистя, пар вырвался наружу. Шипение и свист были испытанием для нервов нашей кобылы, и нервы ее этого испытания не выдержали, она бросилась прочь, волоча за собой на одной постромке повозку. Никто и ничто не могло остановить ее, в ста метрах от станции ее гнал вперед грохот и треск волочащейся за ней повозки, гнал к спасительной конюшне, к дому. Повозку кидало из стороны в сторону, и наконец она зацепилась за березу, росшую на тропинке посреди пастбища.

Ствол березы заклинило между правым передним колесом и его осью, от толчка дышло резко взметнулось и вонзилось в бедро лошади.

Лошадь погибла. Ничего особенного для тогдашней деревни в этом не было, и деревенские приняли это так же, как сегодня принимают автомобильную катастрофу.

Кто-то из шахтеров увидел на выгоне разбитую повозку и сообщил об этом нам, сообщение гласило: «Там ваша кобыла приклеилась к березе».

Я поехал туда на велосипеде, поглядел на распухшие мускулы лошади, ощупал перелом. Кобыла застонала. Я не стал ждать, пока придут дедушка и брат, и снова сделал то, чего мне не приказывали: я помчался в деревню и позвонил по телефону живодеру.

Я и сам с усам!

Кобылу увезли, и сквозь свои слезы я увидел слезы на глазах деда, не слезы сострадания, а слезы гнева. Дедушка был в ярости на самого себя, на свою собственную недальновидность.

Разве не был он человеком, который всегда все взвешивает? Был, разумеется был, он действительно был таким, но от этого возрастала его самоуверенность, и его самоуверенность вознеслась до вершин дубов, что стояли перед окнами его комнаты, но «век живучи, спотыкнешься идучи»...

И снова мы с бабушкой отправились по соседям одалживать лошадь, и снова необходимо было ехать на конную ярмарку, и снова мы думали: вот появится на дворе новая лошадь, и все опять наладится, и наше счастье будет полным и прочным.

Снегурочка

Дядя Филь работал в городе, но работать он не любил, больше всего он любил вообще не работать. В конце недели он приезжал в гости к нам и к бабушке с дедушкой. У него были влажные ладони и обкусанные ногти, мы, здороваясь, очень неохотно протягивали ему руки, и, видя, как мы боимся его влажно-голых пальцев, дядя Филь хохотал как леший.

Дядя Филь во всем хорошо разбирался, и наши уши впитали все, чем он бахвалился и похвалялся. Мы думали тогда, что жизнь в городе благородна и занимательна, а наша жизнь в деревне ничем не примечательна и скучна.

На губах дяди пенилась тонкая ложь и пузырилась грубая полуправда. Слушая шитые белыми нитками истории дядюшки, взрослые перемигивались, но дядюшку это мало трогало; он купался в лучах нашего детского восхищения, и это удовлетворяло его; он проходил героем во всех своих историях, побеждал своих противников в словесных схватках и расстреливал их ругательствами и божбой, ибо грубые слова умеют прикидываться вероятной правдой и сходить за поступки.

Случалось, дядя спускал свой недельный заработок уже в пятницу, тогда он являлся к родителям с пустыми карманами и вынужден был сочинять всяческие небылицы. В этих рассказах бедный дядюшка выступал жертвой разбойничьего нападения, а нападали на него весьма часто, и эти нападения были весьма драматичны.

«— Ты что, зарезать меня хочешь? — спрашиваю я.

— Зарезать,— говорит он.

— Нападаешь на меня сзади, чертова задница?

— Спереди слишком опасно, боюсь,— говорит он.

— Клади нож,— кричу я.

Ну, он ножа не кладет на землю, мне ничего не остается, как кинуться на него; я выкатываю глаза, как лев, я топаю ногами и ору: «Убирайся прочь отсюда!» Он бросает нож и убегает, и мои деньги с ним».

«Где нож, дядя Филь, покажи нож!» Бедный дядя Филь еще дальше углубляется в дебри лжи: нож он зарыл, его теперь не найти, врет он: «Представляете, что будет, если жандармы схватят меня с разбойничьим ножом!»

Отец и рабочие-шахтеры пили пиво на кухне и потешались над дядей Филем и его историей ограбления, но бабушка защищала своего любимца Филя и колко замечала: «Он лучше знает, он же был там», отец с рабочими смеялись над бабушкиной простотой, а бабушка ругалась: «Тьфу на вас!»

Она уводила дядю Филя наверх, в их с дедушкой комнату на торжественную трапезу в честь его приезда, и дядя Филь начинал быстро есть, но хотя ел быстро, ел он долго.

Подобно тому как нити грибниц оплетают корни деревьев, страсти и пороки опутывают все клетки человеческого организма, и никто не спрашивает человека заранее, до того как он явится на этот свет, сколько страстей и пороков он себе желает; один человек тащит за собой много страстей и пороков, а другой влачит за собой всего одну страсть и один порок, но сочеловеки твои жаждут знать, справляешься ли ты со своими страстями и пороками, иначе они повергают тебя наземь и затаптывают обратно в землю.

Дядя Филь был лишен страстей, зато сгибался под тяжестью трех главных и многих второстепенных пороков, и главными его пороками были чтение, курение и карточная игра.

Если после еды ни отец с дедушкой, ни обе бабушки не расположены были играть в карты, дядя Филь разводил пары, и казалось, клубы табачного дыма сочились не только у него изо рта, но и из карманов, и даже из петель куртки. Читал дядя Филь, как ел: много и быстро. Из букв и дыма он строил свой мир и исчезал в нем, и так же, как не шло ему впрок съеденное, не шло ему впрок и прочитанное; он принимал к сведению, но не принимал сведений.

Сначала дядя Филь читал сложенные в стопку номера «БЕРГФРИД» — «ГОРНОЙ ВАХТЫ», а «ГОРНАЯ ВАХТА» была семейной газетой, и кто ее выписывал, тем самым страховал свою жизнь, и близкие подписчика получили б несколько сотен марок «в случае, если б застрахованное лицо покинуло жизнь посредством смерти», так там было написано.

После «ГОРНОЙ ВАХТЫ» дядюшка Филь принимался за «ЖУРНАЛ МОД ДЛЯ ГЕРМАНСКОГО ДОМА И СЕМЬИ» Вобаха и прочитывал его тоже; он разворачивал образцы выкроек и читал на этих выкройках указания, как сшить плиссированную юбку самого изысканного покроя, ибо он читал все, что могло быть прочитано, он укладывал все прочитанное в свою черепную коробку, и эта черепная коробка поросла взъерошенными и, как правило, не очень чистыми волосами.

Затем дядя Филь возвращался к читаным-перечитаным книгам: это были два тома «ДОМАШНЕГО ВРАЧА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ДНЕЙ». В своей жизни я видел больных людей, но ни разу не видел больного дня. Оба тома лежали на чистом белье в матушкином комоде, и их называли Хюльзеновы книги, потому что их автора звали доктор фон Хюльзен. Доктор фон Хюльзен сообщал дядюшке посредством цветных таблиц об устройстве мускулов, костей и половых органов человека, особенно охотно дядя изучал внутреннее строение

женщины и, в противоположность матушке, ничего не имел против, если мы заглядывали ему через плечо.

Человек состоит в основном из незаполненных полостей, объяснял доктор фон Хюльзен, и химические составные части двуногого имеют стоимость всего лишь в шесть марок восемьдесят пфеннигов золотом.

ОЦЕНКА человека как результата научных исследований определяла весь ход дядюшкиных речей, и он то там, то сям приправлял свои рассуждения любимым изречением, а рассуждения его состояли из вычитанных отовсюду научно-популярных сведений. «Мода оказывает влияние на человека лабильного по складу характера, а людей с твердым характером, не поддающихся моде, она превращает в посмешище, а все это вместе взятое штучки дельцов. Да, да. Что есть человек? Пустые полости и только, химического содержимого, если его вытопить, всего на шесть марок восемьдесят».

Мы слушали эти подсчеты, и нас бросало в холод, но мы не подозревали, что пройдет немного лет и наши озверевшие соотечественники применят научные рассуждения фон Хюльзена на деле и будут вытапливать из человека содержимое его тканей. Мы не подозревали, что ученые, тупо уставившиеся в узкий отрезок своей науки и видящие в человеке то, что видел в нем доктор фон Хюльзен, становятся иногда более страшными злодеями, чем круглые невежды.

После ХЮЛЬЗЕНОВЫХ КНИГ дядя Филь читал «Книгу для чтения», книгу, которая сопровождала деревенских школьников во все годы их учения; для интересующихся читателей и потому, что я таскал ее в школу, как Библию, каждый день, я расскажу немного об этой книге, а неинтересующиеся читатели могут продолжить чтение с того места, где я закончу свой рассказ о ней.

«Книга для чтения» содержала краткий обзор прусско-бранденбургской истории, неизбежные даты рождений, восшествий на престол и смертей неизбежных королей и полководцев, и, судя по этому историческому очерку, немцы появились на этой земле ради того только, чтобы послужить удобрением для истинного пруссачества.

Исторический отдел включал в себя и зоологическую главу, где весьма важным животным был представлен обыкновенный еж, вероятно потому, что в школьном букваре, по которому мы учились читать, первой буквой алфавита была буква «е» в слове «еж», за ежом следовали некоторые сведения о домашних животных, в особенности о корове как источнике молока и о лошади и ее значении как обрабатывающей поле скотины, а также в качестве боевого коня; зоологическая глава оканчивалась описанием белки — обезьяны прусско-бранденбургских лесов, это был своего рода аншлюс с животным миром других стран.

Возвышенность Флеминг, пограничный вал Нидерлаузица и долина древнего потока Глогау — Барутер объединялись в «Книге для чтения» в нечто вроде географии, а из главы по космографии мы узнавали, что земля есть планета, солнце — неподвижная звезда, а луна — ночной светильник, отсвет солнца.

В главе «Ботаника» рядом с немецким дубом рассматривалась кокосовая пальма; несмотря на потерю Германией колоний, она все еще продолжала расти в немецкой юго-западной Африке, и мы узнали, что именно из-за ПАЛЬМИНА — кокосового масла — «злые враги» обесчестили нас Версальским договором. Но здесь же нам сообщали, между прочим, что древние германцы, можно сказать, вообще не употребляли в пищу никаких плодов и, только обратив древних бражников в христианство, монахи приобщили их к потреблению плодов, что доказывает, сколь значительна роль церкви в обеспечении немцев фруктами.

Впрочем, моему младшему брату, которому довелось ходить в школу во времена двенадцатилетнего рейха, рассказывали, что арийские германцы не нуждались ни во французских сливах, ни в римском вине, ибо издавна знали, сколь богаты витаминами дикий лесной крыжовник и красная смородина. Виноградарство процветало тогда в Грюнеберге, в Силезии, в Вейсенфельсе, и в Наумбурге, и в Мейсене тоже. «Немного кисло, правда, но ценно тем, что укрепляет силы».

Мои дорогие немцы, любовно именующие себя то УДОБРЕНИЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ, то СОЛЬЮ ЗЕМЛИ, испокон веку покорялись лженауке, но настанет время, и, понукаемые «тпру» и «ну» их собственной истории, они, наконец, чему-то научатся и начнут отличать псевдонауку от науки истинной.

Такой была субботняя литература, к которой принуждало дядю Филя безденежье, зато в городе он читал детективные, любовные, ковбойские и напыщенные назидательные романы, а также и произведения классиков, ибо какие книги приносил дяде Филю поток дней, те он и выуживал и обгладывал своими быстрыми голубыми глазами.

Он читал за едой, он читал в уборной и, если ему было скучно, читал во время ходьбы, и гётевский ВЕРТЕР был для него любовной историей с притянутым концом — смертью любовника, а «ОБРУЧЕННЫЕ» Маццони — другой любовной историей, где автор книги вставлял между обручением и свадьбой всякую всячину, чтобы «набить книгу до отказа».

Наука, именуемая орфографией, несмотря на то, что дядя Филь ежедневно сталкивался с ней, энергически ускользала от него. Он писал, только когда попадал в беду, особенно когда просил одолжить ему денег. В таких случаях уже с середины недели он подготавливал мою матушку письмом к предстоящей атаке. «Милая Ленхен, волею судьбы я снова остался без всяких средств, один как перст на белом свете. Все, кроме своей души, которая одна у меня и осталась, отдал я тем, кто называли себя моими друзьями, и вот в наказание за мое несокрушимое добросердечие я предстаю теперь пред тобой наг и сир...»

В письмах с фронта к своей простодушной матери в первую мировую войну дядя Филь облекал свои просьбы и требования в одежды трогательнейших историй:

«Дорогая матушка!!!

Ты одна знаешь, как привязан я был к своим карманным часам, дару отца среди подарков по случаю конфирмации, и вот теперь меня постигло ужасное несчастье: благодаря промаху осколка гранаты, находясь в кармане жилета, они обращены в кашу, и я должен благодарить создателя, что этот осколок задел мои часы, а не мое тело. Если окажется это в пределах возможного, пришли мне новый измеритель времени, дабы я знал, который пробьет час в ту минуту, когда я уйду в страну, откуда нет возврата...»

Ах, будь у дядюшки Филя задница покрепче да окажи он чуть побольше внимания капризной даме орфографии!.. он вполне мог бы состряпать произведение из тех, что пишутся будто на промокательной бумаге, так они впитывают в себя обкатанные обороты и образы и отштампованные драматические сцены того рода литературы, что творят напыщенные борзописцы да медоточивые журналистки — подруги из дамских журналов. Они не спят, но «покоятся в объятиях Морфея»; Берлин, Дрезден, Ленинград ничего не говорят им сами по себе, и поэтому они пишут об «Афинах на Шпрее», о «Флоренции на Эльбе» и «Метрополии на Неве». Они не женятся, но «сочетаются браком» и при этих обстоятельствах «пьют сок виноградной лозы» и «драгоценную живительную влагу», они «отправляются в плавание навстречу медовому месяцу» не на берлинском прогулочном катере,

но на «корабле из армады запланированного досуга». Изображая классическую образованность, они превращают рыболовов в «рыбарей святого апостола Петра», а наездниц — в «амазонок»; они творчески «отображают в образах» и победы и поражения, подушки для детских колясок и погребальные венки и считают, что преображают свою тупость в творчество, называя магазин Цейса на Александер-плац в Берлине «Мини-Меккой фотолюбителей».

Дедушка скептически относился к литературным оборотам дяди: «От выстрела вылетели часы из жилетного кармана? А с каких пор солдаты носят жилеты?»

«Он имел в виду вязаную фуфайку, которую я ему послала».

«Как, мою новую вязаную фуфайку?»

«Там на рукаве все равно уже была дыра».

«Правильно, две дыры на рукавах, на каждом рукаве по дыре. А зимой ты, что ли, за меня мерзнуть будешь?»

Разразился скандал, но эрзац-часы дядя все же получил от бабушки, тайком, что доказывает силу даже плохой литературы.

Влюблялся дядя частенько, но для женитьбы на «разумной» женщине, как выражалась бабушка, вынужденно признавая тем самым, что дядя человек неразумный, у него не хватало средств, ибо места работы он менял чаще, чем носовые платки; как только работа переставала ему нравиться, он сейчас же начинал «ставить им всякое лыко в строку».

Однажды дядя Филь работал в красильне и в конце недели появился у нас на кухне с желтым, как у турка, лицом и лимонного цвета руками, а неделю спустя он был весь совершенно синий, а еще через неделю — зеленый, цвета первой зелени.

При некотором терпении дядя Филь вполне мог бы соскрести с себя всю краску, но он не любил мыться и ему, как я уже говорил, льстило наше детское восхищение. Бабушка, однако, оплакивала его — работа его, мол, такая вредная для здоровья,— и это помогло дяде бросить красильню, как только мы перестали восхищаться им в достаточной мере, привыкнув к меняющимся оттенкам его кожи.

Дядя Филь нанялся в ночные сторожа. «Уж ты-то усторожишь!»— сказал дед, он знал, как и мы все, что дядя Филь трусоват.

Страх страхом, но речь шла о работе, где дядюшка сможет читать. Он запирался в сторожке, чтоб его вместе с сукном не утащили воры, и с легким сердцем записывал утром в свою сторожевую книгу: «Ночь прошла положенным образом. Никаких происшествий». И в этом рапорте не было лжи, потому что дядя Филь читал и, значит, ночь проходила для него положенным образом, а все остальное, что творилось ночью на фабричном дворе, дядя Филь считал не своим делом. Но старшие сверхсторожа, зародыши нынешних компьютеров, контрольные часы, расставленные вдоль фабричной ограды, на которые дядя Филь не обращал ровно никакого внимания, отомстили ему, предали его и погубили его тайные ночные чтения.

Во времена своих ночных чтений дядя Филь снимал угол в семье мусорщика, в средневековом домишке в конце нашей городской Фридрихштрассе, и окна одноэтажных провинциальных домиков поднимались над улицей не больше, чем на тридцать сантиметров.

Я был деревенским школьником, и всякий раз, как попадал в город, бродил возле этих домов — заглядывал в комнаты и наблюдал, чем заняты там люди. Мне казалось, что таким образом я приобщаюсь к городской жизни, столь привлекавшей нас в детстве, и мне страстно хотелось войти в одну из этих комнат. Иногда я думаю: не потому ли, что это давешнее желание мое было таким сильным, мне потом гораздо чаще, чем хотелось бы, приходилось бывать в таких комнатуш-

ках, и не только когда я посещал дядю Филя, но когда я сам, как изгой, жил в трущобах немецких городов?

Соседка мусорщика, у которого жил дядя Филь, была гладильщицей и в дни своей юности, лет за шесть-семь до того, как я с ней познакомился и она стала моей тетей Элли, слыла красавицей, несколько в цыганском роде.

Некий «благородный», она всегда это подчеркивала, господин «в опьянении любви» обрюхатил ее, но по весьма прозрачным причинам не имел возможности приехать на свадьбу, и с тех пор моя будущая тетка жила одна, она ждала и ждала «возможности» и того господина и заботилась о своей дочери, моей будущей кузине.

Большая комната тетушки служила не только кухней, столовой и спальней, но также и прачечно-гладильным заведением. Маленькая вывеска при входе, на которой все буквы разъехались вкривь и вкось, указывала, что в полуподвале принимается в стирку и глажку мужское и дамское белье, а также вытягиваются гардины для окон.

С тех пор как дядя Филь познакомился с гладильщицей, он стал бывать у нас гораздо реже. Его пустой кошелек, обычно тайком пополняемый бабушкой или мамой, теперь, казалось, получал новое содержимое где-то на стороне, и дедушка говорил, чтобы позлить бабушку, что дядя Филь живет теперь на деньги, которые пускал на ветер. Но как-то в субботу дядя Филь снова появился у нас и рассказывал, рассказывал, рассказывал! Он вытащил из кармана крикливо сверкающий серебром портсигар. Дядя Филь обстоятельно вынул из портсигара сигарету одной из самых дешевых марок МОЯ ДЕВОЧКА, потом из пыльной трухи кармана извлек на вечерний солнечный свет божий блестящую зажигалку.

— Что это у тебя так блестит, дядя Филь?

— Элли подарила.

— Элли?

— Моя невеста.

Наша фантазия заработала: невеста дяди Филя обязательно должна быть красивой девушкой, раз она дарила ему такие блестящие серебряные вещи, невеста из сказки вроде Снегурочки.

Позднее мы узнали, что портсигар и зажигалка, которые так ярко сверкали и так нас вдохновляли, предназначались для «благородного» господина, не сумевшего принять участие в своей свадьбе. Тетя Элли ждала и ждала господина, но наконец устала ждать и подарила блестящие предметы дяде Филю.

Если идти в город прямой дорогой, прошагаешь добрых тринадцать километров. И вот в один прекрасный день наша бабушка с котомкой, полной припасов, за спиной и с букетом полевых цветов отправилась в путь, но сначала она прошла пять километров до станции, чтоб оттуда в тряском вагоне сделать крюк в тридцать пять километров и попасть на свадьбу дяди Филя.

— Только этого мне не хватало,— сказал дед,— интересно, что за курочка позволила потоптать себя этому неоперившемуся петушку.

Свадьба! Какую роль играет она в жизни человека! Разве это не второе наше рождение — рождение, после которого человек выступает перед себе подобными существом о двух головах, четырех руках и четырех ногах. И родители жениха и невесты взывают к судьбе, взывают к счастью, особенно в день свадьбы; судьба или счастье, пусть позаботятся они о том, чтоб две головы, с которыми человек будет ходить впредь, не ссорились друг с другом, чтоб не колотил он сам себя своими четырьмя руками, чтоб четыре его ноги не шагали в разные стороны,— короче говоря, чтоб составленный из двух полови-

нок человек существовал, не распадаясь, и послужил хорошим примером тем молодым головам и ногам, что подрастут у него со временем.

Вскоре после свадьбы дядя Филь приехал представить дедушке с бабушкой и всем дорогим родственникам тетю Элли и свою обретенную в браке дочку. Действительность несколько повредила Снегурочке, созданной нашей детской фантазией: тетя Элли была маленького роста и склонна к полноте, ее лицо поблекло от пара прачечной и гладильни, и забота уже наложила на него свои отметины. Черные волосы тети жили по своей собственной воле, и сколько она ни приглаживала их, они все равно вылезали из пучка. А может быть, тете Элли не хватало шпилек, чтобы сражаться с пышными цыганскими волосами? Так или иначе, черные пряди постоянно взметывались над теткиными щеками, словно крылья черной наседки, и походка тети напоминала торопливую походку курицы.

Тетя Элли говорила благородно, по-городскому, по-шпрембергски, говорила охотно и хорошо разбиралась в провинциальных нравах и обычаях, а во время ознакомительной прогулки по деревне она делала назидательные замечания дяде Филю, бросавшему камни в деревенский пруд и принимавшему участие во всех наших проказах: «Филь, возьми меня под руку и иди, пожалуйста, кэк пэдабает».

«Кэк пэдабает» был благородный шпрембергский выговор и значило это: «как подобает».

Тетя Элли была «начитанной», как принято выражаться, но у нее не хватало времени для чтения, и свой роман с хорошо известным нам дядей Филем она пересказывала так: «Знаете, как оно бывает на свете. Живешь одна-одинешенька и совершаешь ЛОЖНЫЙ ШАГ. Так ведь... (Мы, дети, оглядывались на «ложный шаг», на нашу симпатичную кузину.) Ищешь возможности искупить свой грех, молишься богу, так ведь? И в один прекрасный день милосердный господь посылает вам такую возможность. (Мы глядим на нашего дядю Филя, посланца божьего.) Мне так жаль его было, так жаль, мужчина один-одинешенек в городе, без родителей. Выспится он после своей ночной службы (под ночной службой дяди подразумевались чтения в сторожке), а потом тоскующим взором заглядывает в окно, так ведь? Лето, жара, сами понимаете, откроешь окно, поболтаешь немножко, поглядишь друг другу в глаза, так ведь? Слово за слово, у меня и мысли о замужестве не было, но вот однажды вечером я дала ему ломоть хлеба».

— А зачем ты дала ему хлеба?

— Дар любви, как говорится, так ведь?

— Наконец-то, вот оно! — говорит дедушка.— Значит, он просадил все свои денежки и стоял под окном как жалкий попрошайка.

Тетя Элли встает на защиту дяди. Дядя Филь не попрошайничал. Она дала ему бутерброд с фаршем и луком не через окно, ведь она же знает приличия. «Так ведь?» Она пригласила дядю к себе в комнату. «Одно за другим, так ведь? Он пришел снова, и вспыхнула любовь».

Мы узнали, что любовь прокладывает себе путь через бутерброд с фаршем и луком, «опутывает человека цепями», как предпочитала выражаться тетя Элли.

Итак, у нас непредвиденно появились в городе тетя и кузина, и тетя весьма неодобрительно относилась к тому, что мы, приезжая в город, останавливаемся не у родственников, как полагается «порядочным людям, так ведь?», а у старинной маминой подруги, вместе с которой мама работала когда-то на суконной фабрике.

Мы, дети, различали дядей и тетей, которые принадлежали нам

«всегда», и тех, что обрушивались на нас, когда мы уже твердо стояли на ногах, потому что их ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕМЬЕ определялось случаем. Ведь мог же дядя Филь взять за себя и девушку из нашей деревни, одну из тех, что присмотрел ему дед.

Осенью мы сеяли рожь, а весной сажали картофель; летом мы жали рожь, а осенью копали картофель, и из года в год на наших полях выстраивались копны хлеба, осенью возле костров, на которых жгли картофельную ботву, выстраивались тугие мешки, из года в год. Луга косили во второй раз, и мы пасли на них корову и ее годовалого теленка, и нам не казалось это скучным, ибо это была жизнь, и она выступала перед нами в своем постоянном обновлении.

Но в деревенской школе, где мы пять лет подряд повторяли одно и то же, было скучно, потому что здесь перед нами представала не жизнь, а абстракция жизни и потому что, когда человека постоянно пичкают одними и теми же абстракциями, в нем пробуждается отвращение. Я рвался и рвался в городскую школу, стремился, стремился, не сознавая этого, столкнуться с новыми абстракциями, научиться самостоятельно мыслить, я просил и умолял, и наконец родители сдались и отдали меня на пансион к одной из товарок матери еще по фабричным временам. Мамина прежняя подруга была женой дворника в городской школе для девочек, и они жили в подвале этой школы, и мне устроили постель в их спальне.

Тетя Элли обиделась: «Уж наверное их квартира в подвале не выше нашей комнаты. Куда приличнее мальчику жить у родственников. Так ведь?»

Так-то так, но мои родители не хотели, чтоб в комнате дяди Филя и тети Элли поселился еще и я, и, чтоб умилостивить тетку, я время от времени наносил своим родственникам визиты. Главным образом потому, что жизнь в прачечно-гладильном заведении в конце Фридрихштрассе притягивала и волновала меня, ибо к постоянным клиентам моей тетки принадлежали девушки из некоего дома, в городе находилось три таких дома, и белье этих дам составляло предмет особых забот тетушки, оно должно было быть чище, нежели нижнее белье угловых жильцов и «меблированных господ».

Веселые девицы платили щедро, они не считали копеек, и обыватели морщили нос: «как нажито, так и прожито»; я желал тогда, чтоб обывательские носы навсегда остались сморщенными, и, по правде сказать, сегодня желаю им того же.

Мне перепадали монетки, если я случайно оказывался у тети Элли, когда приходили веселые девицы, и я все чаще и чаще навещал ее, чтоб не пропустить прихода дам за бельем, в скором времени я знал всех «доступных» дам города, а они знали меня, и если дяде удавалось выклянчить у них на сигареты или пиво, они посылали меня за вином к Бомбелю, торговцу спиртным, потому что пива они не признавали, и вскоре я уже получал плату за доставку вина.

Я знакомился с девицами легкого поведения — новенькими, приезжавшими в город к началу месяца, и с теми, кто оставался подолгу, у меня были некоторые сведения о тех их качествах, от которых зависело, ангажированы они на месяц в заведение или на более долгий срок; встречая их на улице, я здоровался с теми, кто оставался надолго, и с теми, кто только приехал, и не обращал внимания ни на предрассудки, ни на ужас на лицах моих соучеников. Часто случалось, что девушки обнимали меня на улице, гладили по щекам, обцеловывали и приглашали в кафе на ПИРОЖНОЕ СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ,— все это будоражило меня, и веселые девицы задавали мне немало головоломок.

Тетка любила поучать и во мне нашла любознательного ученика — в ней и в самом деле наверняка погибла учительница. Но жизнь никогда не отступается от того, что задумала: не получится в одном поколении, получится в следующем. Может статься, что свобода, обретаемая нами вместе с человеческим достоинством, в том и состоит, что мы в силах ускорить наше духовное развитие, а в сущности только это идет в счет. Дочь моей тети, то есть моя кузина, стала именно в наше, столь богатое возможностями время тем, чем не смогла стать ее мать,— даровитой учительницей.

Не обтянутый сукном конец гладильной доски все сильнее обгорал, светло-коричневые, темно-коричневые и черные, обуглившиеся пятна получались оттого, что тетушку часто и надолго отрывали от глажки посторонние необходимые дела, и на этом конце доски стояла железная подставка, куда тетя ставила утюг, когда отходила от доски. Рядом с подставкой помещалась чашка величиной с небольшой ночной горшок, полная черным, как болотная вода, настоящим кофе, приправленным щепоткой соли.

Бабушка попрекала тетку «копеечкой», в которую «влетает» ее «черная бурда»,— так бабушка называла кофе. Тетя оправдывалась: «Ты этого не понимаешь, мама, нет!» И она показывала на боящегося работы дядю, читающего у окна: «Один курит и читает, чтобы приподняться немного над землей, ну, а другой пьет кофе, так ведь?»

«Чего ради вам подниматься над землей? — спрашивала бабушка.—Вот уж чего мне не надо. Мне бы тошно стало»,—и она плевалась: «Тьфу на вас», как всегда, когда ей что-нибудь было не по нраву.

Тетя показывала мне различные принадлежности туалета дам, составлявших ее основную клиентуру: «Вот видишь, это корсет, это сейчас не модно, такой носят только дамы, у которых торчит живот, так ведь? А вот другой корсет, это модный, а это обыкновенные штанишки, да ты сам знаешь. Зато вот эта вещь — трико, последний крик моды».

Затем она показывала мне разнообразные модели бюстгальтеров, объясняла, где у них потайная толщинка, добавляя: «Лучше всего ни в чем таком не нуждаться, так ведь?» Она смотрела на плоский нагрудник своего фартука, отхлебывала изрядный глоток кофе из огромной чашки, стонала от удовольствия и начинала петь:

Ах, дай прижаться страстно
К груди прекрасной.
В ответ сказала с грустью:
Не обладаю грудью,
А что видал вчера ты,
Была из ваты...
Скажи, ты мне прощаешь,
Ты обещаешь? [1]

Пение тети тоже походило на квохтанье довольной курицы, она сновала взад и вперед вдоль гладильной доски — бедная тетя! — а на подкрахмаленной манишке подскакивало под утюгом кофейное пятно. Шаркая матерчатыми шлепанцами, она бежала от гладильной доски к выварке, которая обычно стояла на плите, полная серо-голубого щелока.

Тетя пыталась состирать пятно с манишки, терла и скребла его, потом шлепала с манишкой в руках к окну, чтоб проверить, сошло ли пятно, прищуривала близорукие глаза, звала на помощь меня, и если я решал «сойдет!», снова начинала гладить манишку «меблированного господина», снова отхлебывала глоток кофе, забывала про манишку и опять спешила к плите, тыкала вилкой картофель, варившийся в ду-

[1] Перевод Б. Слуцкого.

ховке, проверяла, достаточно ли накалился утюг, торчавший из топки, спрашивала: «Что я хотела сделать?», вспоминала манишку, бросалась к доске, смотрела на паленое пятно от утюга, срывала с доски утюг, хваталась за голову, приглаживала пряди волос на щеках — черные крылья наседки, снова отхлебывала из чашки кофе и запихивала манишку в топку печи.

Заменить утраченную манишку было нетрудно: всегда в избытке оставалось невостребованное белье МЕБЛИРОВАННЫХ ГОСПОД или угловых жильцов, уехавших столь внезапно, что им не хватило времени собрать свои пожитки.

Дядя Филь, который в этот день снова считал себя больным, неподвижно сидел у окна и не принимал никакого участия в сожжении манишки. Он сидел возле комода, курил и странствовал в иных мирах. Когда в тоненькой книжице происходило что-нибудь волнующее, дядя Филь подносил к носу скрюченный палец с обгрызенным чуть ли не до самой лунки ногтем, пыхтел и шмыгал носом, и это шмыганье повторялось каждые полминуты, пока его захватывал сюжет. А если история, заключенная в двадцатипфенниговой книжке, не устраивала дядю Филя, он швырял книгу об стенку, иногда отлитые в буквы грабители и детективы с размаху ударяли в полчища мух, сидевших на увеличенном и забранном в раму фотопортрете тети Элли, сделанном еще до ее ЛОЖНОГО ШАГА. Книжка падала, падала на столик швейной машины и на стопку свежевыстиранных гардин на нем, и раздавленные мухи сыпались черными семенами будущих неприятностей на белизну ГОТОВЫХ ЗАКАЗОВ.

Дядя Филь тут же начинал листать новую книжицу, исчезал в голубом облаке табачного дыма, похожий на пифию, гадалку из Дельф, тоже исчезавшую в дыму курящихся мхов с греческих гор.

Как раз в это время в соседнем округе в городе Котбусе произошло событие, превзошедшее все теоретические ужасы из книжек дяди Филя. Исчезла девочка, ученица гимназии, исчезла, и ее не нашли, полиция искала и доискивалась и пришла к выводу: истопник гимназии «безнравственно посягнул» на нее, как осторожно, но витиевато сообщали «Городские известия» обоих городов, а после «безнравственного посягательства» он испытал угрызение совести и задушил девочку, разрезал ее труп на куски и сжег в школьной котельной.

Жители обоих городов и всей округи содрогнулись. Положительный мелкий городской служащий оказывается извергом, возвращается к состоянию кровожадного зверя... Кому же тогда верить? Какой же слой общества считать тогда людьми, чтобы не испытать разочарования? А вдруг во всех мелких городских служащих возобладает звериное начало и они начнут кидаться на мирных детей человеческих?

В газете немецкой национальной народной партии, именовавшей себя ШТАЛЬХЕЛЬМ — «СТАЛЬНОЙ ШЛЕМ»,— то обстоятельство, что истопник состоял в партии социал-демократов, послужило подходящим поводом предостеречь читателей от «красной опасности», которая восхваляет учение Дарвина,—ложное учение, будто человек произошел от обезьяны, следовательно, от дикого зверя, и СТАЛЬНЫЕ ШЛЕМОНОСЦЫ воспользовались случаем, чтобы обругать и опорочить всех лево настроенных граждан. Зато социал-демократический «ФОЛЬКСШТИММЕ» — «ГОЛОС НАРОДА» — свел зверство истопника к страху перед выплатой возможных алиментов, чего не смог бы себе позволить низкооплачиваемый истопник, и увенчал все рассуждения об убийстве требованием к городским властям о повышении заработной платы низшим городским служащим. Вот так.

Моя хозяйка, жена старшего дворника школы для девочек, рвала и метала и кричала мужу, которого звали Георг, но которого она звала по-благородному, как принято в нашей округе, Георигом: «Георик, если ты мне изменишь со школьницей, я не знаю, что сделаю...»

Мой хозяин вытирал клетчатым носовым платком вспотевшую лысину и бормотал в ответ: «Чепуха!»

И в гладильне моей тетки подробно обсуждали сексуальное убийство. Дядя только что оставил службу заведующего складом у одного бакалейного торговца, так как там, среди мешков с кофе и ящиков с сыром, он не мог ни читать, ни курить, и опять сидел дома; тетушка поставила его с ведром воды возле утыканной сотнями гвоздей рамы для натягивания гардин, чтоб он время от времени сбрызгивал тюль водой.

Тетя гладила, то и дело отхлебывая глоток кофе из огромной чашки, и всякий раз это служило сигналом дяде — гардинному сторожу: он зажигал новую сигарету. При этом тетушка болтала со мной, своим любознательным племянником, об убийстве. «Он использовал девчонку, ты же знаешь, как это делается, так ведь?»

Я кивал, словно мог сослаться на бог знает какой опыт в изнасиловании девочек.

«Он ее использовал, и тут его охватил страх, и рассудок у него помутился, и тогда-то он ее, так ведь?.. Ты-то знаешь, как оно бывает!»

Мой дядя, специалист по книжным убийствам как в целях ограбления, так и на почве половых извращений, вмешался в разговор. По его мнению, этот случай не для провинциальных криминалистов, не для этих халтурщиков, нет, это дело для Гарольда Харста, героя последнего выпуска детектива из «Ско-о-отланд-ярда», как выговаривал дядя, ведь до сих пор не сообщили, чем задушил бедную девочку упомянутый истопник. Моему дядюшке Филю, считавшему самого себя одним из людей Скотланд-ярда, все было ясно: «Он удавил девчонку ее же собственной косой. Ничего нет легче. Что есть человек? Слизь, роговица и вода, пустота в пустоте, общая стоимость химических элементов шесть марок восемьдесят...»

Дядя Филь прикладывал скрюченный палец к носу, пыхтел и шмыгал носом, на этот раз повод для волнения был и без книг; но тетя глядела на него критически, отпивала глоток своей «черной болотной воды» и говорила: «А теперь, господин Ско-о-отланд-ярд, сбрызни-ка гардины, так ведь?»

Мои мысли обратились от убийства к языковой загадке, ибо языковые соотношения из-за моего полусорбского происхождения занимали меня с детства. Здесь меня заинтересовал двойной смысл в предложении: «Он использовал ее». Я знал, что мы пользуемся помощью человека, если попадаем в беду, но здесь глагольной приставкой «ис» дополнению придавался особый характер, в данном случае характер инструмента, который после употребления выбрасывают. Затем мне пришло в голову, что в таком сексуальном использовании обвиняют всегда мужчин и никогда женщин. Но разве не бывает женщин, которые используют мужчин? А как обстоит дело с моей тетей Элли? Она старше дяди Филя (уж не помню теперь насколько). Давно перестала быть красавицей и не могла надеяться, что какой-нибудь мужчина извлечет ее вместе с ее ЛОЖНЫМ ШАГОМ, о котором она постоянно упоминала, из ее комнаты — кухни, спальни, прачечной и гладильни одновременно, и в то же время она еще недостаточно стара, чтобы поставить крест на любви. И разве она, находясь в беде, не завлекла почти совсем опустившегося дядю Филя в свою паучью нору, чтобы использовать его?

Может быть, так оно и было, но тетя Элли не использовала дядю Филя как орудие, а если даже и использовала, то ухаживала за этим орудием, ухаживала, помня об одиноких тоскливых ночах без любви, которые проводила бы без дяди Филя; и хотя днем она не верила ни единому его слову и осуждала все его поступки, давала ему указания и воспитывала его, ночью она верила всем ласковым словам, всем объяснениям в любви, и чем псевдолитературнее они звучали, тем более правдивыми казались они тетке.

Дядя Филь и тетя Элли произвели на свет двоих детей. Мальчик дожил только до полугода, но в рассказах тети Элли он продолжал жить. «Ребенок, ну точно сливки с медом, иначе не скажешь, а ручки какие красивые, так ведь?» Девочка выжила и стала очень веселой девчушкой, и если ты хочешь знать, как поет канарейка, моя кузина споет тебе, а если хочешь позабавиться тем, как ходит или говорит вон тот деревенский краснобай или вот этот недотепа, она представит тебе их как живых. Если ты хочешь знать, жива ли она, я отвечу тебе: «Да, жива», но если спросишь, где она живет, я тебе не скажу, потому что муж ее ревнив. Двух детей произвела на свет моя тетя, хотя не могла рассчитывать, что дядя сумеет прокормить хотя бы одного, двух детей произвела на свет моя тетя как свидетельство счастливых ее ночей.

Каждую неделю к городской бирже труда стекался батальон мужчин с шелушащимися мозолями на ладонях — безработные; они выстраивались в очередь в ожидании штемпеля, который официально узаконивал их незаслуженное безделье.

Казалось чудом, что дяде удалось устроиться в такое время на работу разносчиком газет и журналов, но причина была вот в чем: тетя сочла бы оскорблением, если б дяде пришлось стоять в очереди безработных, и она, владелица прачечно-гладильного заведения, дала за него денежное поручительство.

Разноска газет доставляла дяде удовольствие. Он посещал множество домов и видел разные разности, он узнал, в каких домах в пределах его разносчичьей деятельности «плохи семейные дела», и хвастался этим; кроме того, он знал, кто из женщин имеет любовника и приятно проводит время, отправив мужа на фабрику, а детей в школу,— все это подогревало дядино любопытство, и он, сболтнув здесь, сболтнув там, изрекал сентенции, щеголяя вычитанной мудростью, и некоторые подписчики считали его «образованным человеком», которому не повезло и который «не думал, не гадал», что придется ему быть разносчиком газет, а дядюшка ничего не имел против такой славы и не возражал, когда его считали жертвой вероломной судьбы; он принимал сигарету, которой его угощали в утешение, в трактирах, куда заносил газеты, не отказывался от ГЛОТКА из кружки, подставленной под кран бочки с пивом, а если у прилавка стоял щедрый пьяный завсегдатай, ему перепадала и стопка КОТБУССКОЙ ХЛЕБНОЙ из бутылки с проскочившей внутрь пробкой. Все это поднимало дядино веселое настроение, он наслаждался жизнью, все это, с его точки зрения, подтверждало, сколь он необходимый человек и каким всеобщим расположением пользуется.

Но дядя Филь не был бы дядей Филем, если б не попытался умножить радости своей жизни, ибо сколь невзыскателен он был во всем, что касалось одежды и ухода за своей внешностью, столь взыскателен он становился, когда речь заходила о том, что он считал радостями жизни.

Дядя Филь сумел и в должности разносчика газет предаваться в рабочее время своей страсти к чтению и курению. Он усаживался утром с полной сумкой газет на скамью за живой изгородью на пло-

щади Кайзера Вильгельма — таковая оставалась еще в нашем окружном городе, несмотря на правительство Эберта,— и для начала прочитывал сам то, что предполагал вручить своим подписчикам, ибо противно натуре дяди Филя было бы узнавать о последних случаях убийств не из первых рук, а этой «первой рукой» была «Берлинер моргенпост» — «Берлинская утренняя газета»; после «Моргенпост» подымалось солнце, дяде Филю становилось на садовой скамейке очень уютно, и он читал другие изделия издательства Ульштайн: «Ди коралле», ежемесячный журнал, посвященный науке и технике. Дядя Филь прочитывал его вплоть до последнего объявления, гласившего: «Почему вы не изучаете джиу-джитсу, японское искусство самообороны? Сильнейший противник падет от удара ребром вашей ладони! Укрепляйте ребро ладони согласно указаниям нашего специального японского преподавателя Хукеити Такаёто!»

Затем дядя Филь читал журнал для детей «ДЕР ХАЙТЕРЕ ФРИДОЛИН» — «ВЕСЕЛЫЙ ФРИДОЛИН». На цветочной клумбе благоухала мать-и-мачеха, пели черные дрозды в кустах сирени, иногда в тени деревьев присоединялся к ним и соловей. Дяде Филю было хорошо. Он пребывал в приподнятом настроении, курил и читал. Если кто-нибудь из подписчиков случайно проходил по площади Кайзера Вильгельма, дядя Филь вручал ему газету, но если то был хозяин распивочной, дядя Филь газеты не вручал — в этом случае имело смысл доставить ее по всем правилам, дело могло обернуться кружкой пива или даровым шнапсом.

Иногда дядя Филь разносил утреннюю газету всем подписчикам только к вечеру, чем предвосхищал будущее, достигнутое в некоторых деревнях нашей республики только к 1970 году.

Уже вытягивались тени, и дядя Филь с висящей через плечо сумкой, которую он, собственно говоря, должен был сдавать, отправлялся домой. В конце концов агентство все равно уже закрылось. Вскоре выяснилось, что принесенная домой сумка сулила дяде Филю еще одну радость жизни, подарок божий; казалось, бог любил дядю Филя за то, что тот проводил свою жизнь, подобно птице в поднебесье и лилии на лугу. В сумке (кто мог бы подумать!) находился изрядный материал для чтения в вечерние часы: «Желтые Ульштайновские выпуски», по марке за штуку; Карл Ойленбург «ОБЕЗДОЛЕННЫЕ»; Вики Баум «ЛЮДИ В ОТЕЛЕ» — первое произведение typewriter'ши — писательницы, делающей карьеру. Книги с броскими названиями приятно сокращали вечера дяди Филя, но если их содержание, а в особенности конец был ему не по нраву, он и их тоже швырял об стену, и они покрывались царапинами, шрамами и пятнами от раздавленных мух, что, разумеется, уменьшало вероятность их продажи.

Дядя Филь редко приносил домой хотя бы часть своего жалованья, если не считать карнавальных масок, которые он на масленицу покупал для всей семьи, не забыть про скребок для мозолей, который всучил ему на ярмарке какой-то языкастый коробейник, и не упоминать о зонте-трости, которым запасся дядя Филь в преддверии осенних дождей, но на этой службе он их не дождался, так как с течением времени и в профессии разносчика газет к нему подкрались свои невзгоды или дядя Филь, как всякий человек, являющий собою некий центр, притянул эти невзгоды к себе, а может быть, случилось и то и другое, как мы и должны допустить, будучи честными диалектиками.

Все чаще и чаще дядя Филь приходил домой куда более веселый, чем ВЕСЕЛЫЙ ФРИДОЛИН, упившись шнапсом или пивом, пуская клубы дыма из ноздрей и ушей, и требовал, чтоб тетя немедленно ложилась с ним в постель. Бедной тете очень трудно было сказать «нет», ведь она же видела, не ей одной люб ребячливый дядя Филь,

трактирщики тоже очарованы им и снова угостили его даровым пивом.

Но склонность трактирщиков угощать его даром существовала только в рассказах дяди Филя. Своим растущим воодушевлением и усилившимися любовными желаниями он был обязан содержащемуся в пиве и шнапсе алкоголю, который покупал на деньги, внесенные за газеты. К сожалению, к великому сожалению, в обязанности дяди входило получение помесячной платы за подписку.

Сумма недоплаченных дядей Филем в агентство денег за газеты в результате воздействия ВЫСШИХ СИЛ все возрастала, и в агентстве заметили, что слишком уж часто дядя, разнося газеты, не застает никого из подписчиков дома.

Однажды тетю пригласили заказным письмом в агентство, и источник дядиного хорошего настроения и счастливого блаженства иссяк, но и тетя лишилась своей весенней вечерней радости, единственной, кроме кофе, которая ей еще оставалась. «Нет, все-таки я верю в его искреннее расположение ко мне, так ведь?» — объявила она в агентстве и взялась сама получать деньги за подписку и обязалась уплатить дядин долг.

Интерес дяди к разноске газет угас, не помогли ни теткины головомойки, ни призванная на помощь бабушка, потому что дядя целиком предался болезни. К болезни он прибегал постоянно, когда его принуждали делать то, что ему разонравилось. Теперь это снова были руки, им велели, а они не хотели, и дядя показывал их всякому желающему: «Поглядите на эти подагрические узлы — что твой биллиардный шар, а?»

Ну мог ли дядя Филь с такими руками отвечать за свои поступки? Что удивительного, что такими руками не отделишь один тонкий газетный лист от другого такого же?

Чтобы поскорее избавиться от обременительного хождения с сумкой, портившего ему приятные утренние чтения, дядя засовывал в почтовые ящики своих клиентов больше газет, чем они выписывали и чем хотели получать. Пусть подписчики сами распределяют газеты между собой, пусть договорятся!

На пальцах дяди действительно виднелись узлы, но никто не знал, новые они или появились много лет назад. Дядя утверждал, что получил подагру во время работы на суконной фабрике, и эта подагра находилась в явной зависимости от надобностей дяди: в нужный момент наступало ухудшение, и бедняга Филь, едва ему это требовалось, превращался в достойного сожаления калеку.

Охваченная сочувствием тетя заново перестраивала свою жизнь, утром в агентстве она вешала через плечо сумку и мчалась по улицам как спасающаяся бегством карликовая курочка, спешила вверх и вниз по лестницам, обегала все дома. Я встречал ее, когда она бежала по Длинному мосту, или около почтамта, мимо которого я шел в школу.

Уже поседевшие крылья наседки — непослушные пряди волос свисали почти до плеч, она торопилась, и ее повернутые внутрь ступни двигались несогласованно, затравленная женщина спотыкалась. «Бог мой,— обращалась она ко мне сквозь свистящее дыхание,— Филь, он, ты понимаешь, не разнес газеты, кэк пэдабает, так ведь?»

Я ругал дядю Филя, повторяя слова, которыми обзывал его дед: «свинья собачья» и «чертова перечница», но тетя Элли тотчас же заступалась за него: «Нет, нет, надо отдать ему должное, у него сейчас подагра, надо с ней считаться». И тетя мчалась дальше в страхе, что дети и дядя Филь перевернут все в доме вверх дном.

Дядя Филь сидел дома в качестве няньки при детях, а дети меньше всего мешали ему читать, если он возможно дольше держал их в

постели и если давал им в постель утюг, скалку, накрахмаленный мужской воротничок и тюлевую гардину, чтоб они играли в СВАДЬБУ.

Но наконец голод сражал детей, и они грозили покинуть постель вместе с жениховым воротничком и вуалью, и если дома находилось несколько марок, по рассеянности забытых теткой и не засунутых в кошелек на груди, дядя Филь тотчас относил их в обмен на круглые пирожные со взбитыми сливками или франкфуртские колбаски, он устраивал себе и детям КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ и разговаривал сам с собой: «А что еще остается нам в жизни, а? Что есть человек? Слизь, клетчатка и вода...»

Тем временем в духовке выкипала вода в котелке с картофелем, и картошка в мундире, варившаяся на обед, подгорала и постепенно обугливалась. Дядя Филь никогда не чистил картошку. Чистка картофеля уменьшала время, посвященное чтению, и лишала детей ценных витаминов, которые, по его утверждению, содержались в кожуре.

Тетя Элли стирала и гладила теперь вечером и по ночам, она литрами пила черный подсоленный кофе, а дядя лежал в постели, читал и шмыгал носом, и когда кончал читать, он ворковал, глядя на тетушку, словно влюбленный самец морской свинки, и тетя не могла устоять, нет, она не могла устоять, и она ложилась к дяде Филю и... вставала, когда он засыпал, стирала и гладила, складывала выстиранное и выглаженное белье в стопки на гладильной доске и прикалывала к ним ярлычки: «для барышни из БЕЛОГО КОНЯ» или «для господина, что живет над Стопрассами».

Дядя выдавал готовое белье в заведении своей супруги, и если, пока он читал и приглядывал за детьми, у него кончались сигареты, он брал мелко нарезанный табак и крутил из записок, приложенных к сверткам с бельем клиентов, эрзац-сигареты, а когда клиенты приходили за бельем, Филь путал пакеты, заказчики ворчали и больше не приходили.

Как-то, разнося газеты, тетя уцепилась за трухлявые перила, чтобы не упасть с лестницы, споткнувшись о собственные ноги, и всадила себе в руку занозу. Дома она выковыряла занозу острием ножниц из подушечки на ладони около большого пальца, не обращая внимания на ранку, возилась вечером с серо-голубым щелоком, насквозь пропитанным бактериями, в котором скопилась грязь не меньше чем от двадцати пяти клиентов, и заболела сепсисом — заражением крови.

Несмотря на это, на следующее утро она бегала с газетами вверх и вниз по улицам, вверх и вниз по лестницам, она уже не могла двигать правой рукой и раздавала газеты левой, она примчалась домой и стирала и гладила левой рукой. Только поздно вечером она легла в постель и потеряла сознание и умерла, лежа рядом с дядей,— ребячески уверенный в своей неотразимости, он полагал, что тетя легла в кровать из-за его влюбленных взглядов.

Гроб тети стоял на том месте в комнате, где обычно стояли два стула, на спинках которых лежала гладильная доска. Морщины на тетином лице — наверно, заражение крови тому причиной — разгладились, женщина, обмывавшая труп, укрепила вечно свисавшие пряди волос, ноги карликовой курочки покрыли белой простыней. Тетины щеки чуть отливали розовым, откуда взялся этот оттенок, знала только смерть, подстерегшая тетю на лестнице в облике неумолимой деревянной щепки. И вдруг мы увидели, и сестра и я: тетя — Снегурочка, какой мы ее представляли себе, услышав о ней впервые из дядиных уст.

В этот день дядя не читал. Он вел себя, как подобало себя вести в этом случае, о чем он много, много раз читал. Он грустил, как сле-

довало: псевдолитературно и для каждого посетителя, входившего в комнату, прикладывал к груди и ко лбу сжатые в кулак, лишенные ногтей пальцы и скулил, как брошенная собака, но эти стоны были такими же ненастоящими, как причитания плакальщиц, которых я слышал много лет спустя на окраине Тбилиси; он испускал жалобные вопли по пять зараз, а потом шмыгал носом, как обычно, когда поглощал волнующее чтиво, пошмыгав носом, он опускался на колени и целовал тетю в отравленную руку и в лоб, потом подымался, вытягивал из кармана пачку сигарет, открывал ее, выкуривал сигарету, на свой лад воскуривая фимиам усопшей, а я все время ждал обычной фразы: что есть человек... но дядя, казалось, в тот день позабыл ее — знал, что скорбь все-таки внесла некоторое расстройство в клетки его мозга, и это было утешительно после всего, чему нам довелось быть свидетелями.

А тетя смотрела своими закрытыми глазами с легкой улыбкой мимо нас всех, мимо бабушки, мимо меня, мимо мужа, дымившего сигаретой, мужа, которого она использовала, и если ни для чего другого, так для смерти, которой она умерла.

Синий соловей [1]

Случилось так, что, освобождаясь из объятий возлюбленной, я увидел летящего синего соловья; я не смог забыть синего соловья, я помнил о нем весь день, я вспомнил все, что мне рассказывали о соловьях, и, судя по всему этому, соловей был птицей из рода воробьиных, уничтожающей насекомых, кладущей яйца и не имеющей ничего общего с млекопитающим человеком. Но чем больше думал я о соловье, тем более сомнительным и поверхностным представлялось мне все, что я учил о нем; он явился предо мной в воздушном пространстве, словно поющее растение, мне казалось, что издавна есть между созданиями природы отношения, еще не объясненные нами, ибо мы объясняем только то, что может принести нам пользу.

Но бесполезность — суть синоним незнания. Прежде чем человек открыл, что из глины можно изготовлять сосуды, она была только своего рода липкой желтой землей, мешающей нам ходить, а морская водоросль фукус представлялась нам бесполезной и загрязняющей морскую воду. Мы и не подозревали, что настанет время, когда человечество вынуждено будет питаться ею.

Не обязаны ли многие из нас желанием глубже вникнуть в собственную свою жизнь пению соловья? Говоря о жизни, я имею в виду то состояние, в котором мы зримы друг для друга; не подумайте только, что я спирит или верю в духов, утверждая, что существует и незримая жизнь: вспомните атомы!

По романтизированным рассказам матушки, толчком к моему появлению на свет в чердачной комнатке провинциального дома на самом берегу маленькой речки послужил соловей, певший в кустах самшита на Георгенберге.

Детство я провел на песчаной равнине, где соловьев нет, но, впрочем, я ловлю себя на неточности, говоря «нет», ибо это «нет» относится только к короткой человеческой жизни; когда бурый уголь, который мы ныне выгребаем из песка, был зарослями хвоща, там води-

[1] Голубой и синий цвета обозначаются в немецком языке одним словом blau. Поэтому каждый читатель вправе представить себе соловья синим или голубым. *(Прим. переводчика.)*

лись медведи и тигры, так почему бы не водиться на нашей равнине и соловьям в те времена или в более поздние? Итак, чтобы быть точным, я пишу: в начале моей короткой жизни соловей появился только однажды весной, его пение доносилось из можжевельника за кладбищенским холмом, он пел по ночам, когда кусты можжевельника любят представляться призраками или великанами.

Следовательно, соловей был в то время чужаком, залетным певцом в местности, которую я зову родиной, и старики крестьяне никогда не слышали его пения, впрочем, это опять-таки значит только, что крестьяне, жившие там этой весной, измеряли время и мир своей жизнью, ибо каждое людское поколение, населяющее нашу планету, считает себя тем поколением, вокруг которого вращается вся вселенная. Земной человек есть «венец творения», считалось доныне, но если ученые и космонавты в скором времени выяснят, что земной человек не есть ВЕНЕЦ, весьма вероятно, мы скажем им: знаете что, милые, один раз вы нас убедили, что мы происходим от обезьяноподобного зверя, но на этот раз, если вам втемяшилось найти обезьян, более высоко развитых, нежели мы, люди, будьте любезны, убирайтесь к ним, да поживей!

Старики крестьяне вышли ночью в палисадник, чтоб помочиться с пользой для фруктовых деревьев, услышали пение соловья и испугались. Что это за птица столь заносчивая, поет ночью на кладбище, лишая покоя усопших и, не дай бог, приманивая своим пением живых ко двору мертвых?

Вечера в мае прохладные, дует ветер из березовых рощ Силезии, слышатся звуки сигналов с копра. Погребенные в земле живые скоблят угольные пласты под песком равнины, и до нас долетают звуки их работы; от сигнала до сигнала проходит много времени, исчезновение пустой и появление полной угольной вагонетки отделяет огромное пространство, и в нем можно услышать бормотание ручья на Мельничной горе и сильные, глубокие звуки соловьиной песни.

Я был мальчиком двенадцати лет, но, услышав пение залетной птицы, почувствовал ветерок, летящий из вселенной; это была любовь; не любовь к матери или братьям, а любовь, которая прикасалась к каждой клетке моего тела: я приближался к состоянию, обозначаемому понятием ПОЛОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ. Но какое значение имеют научные определения в подобных случаях? Мы говорим «инстинкт», и мы говорим «комплекс», мы говорим «сексуальность» и воображаем, что этим все объяснили, и при этом мы самоуверенны, как картежники, утверждающие, что туз стоит одиннадцать очков.

Учитель спросил, кому из нас удалось услышать песню варакушки.

— Той птицы, которая поет ночью?

— Да, той.

— Я слышал. Это соловей.

— Нет, это не соловей, это варакушка, а ты, видно, шляешься по ночам где не надо, если ты ее слышал.

Учитель объяснил, почему эта птица не соловей, а варакушка, объяснение его показалось мне обстоятельным, но сомнительным; только знаток птиц мог по песне отличить варакушку от соловья. Учитель объяснил, что варакушка один из членов соловьиного семейства, только помельче, ее называют северным соловьем, все это звучало вполне достоверно и научно, но не вполне ясно.

Соловей или варакушка, не все ли равно, уже тогда я ощущал, что суть не в названии, которое мы даем тому или другому предмету или явлению, а в том, пробуждают ли они в нас самим своим существованием великие чувства, помогающие нам жить.

Проходило, исчезая, время, опять я выразился неточно — ведь преходящи мы, и наше созревание есть начало нашего исчезновения. Я говорю об этом без грусти и без тоски, без мировой скорби и без чувства усталости от жизни. Я говорю это с любопытством, все растущим во мне любопытством к тому, что должно наступить.

Итак, я стал подмастерьем пекаря и ношу в кармане свое удостоверение, оно служит мне не столько доказательством, что я овладел начатками пекарского ремесла, сколько паспортом, дающим мне право безнаказанно курить сигареты, пить пиво и заводить любовные шашни.

Мне не пришлось бродить «с цветами на шляпе и палкой в руке» в поисках работы, нет, я ехал поездом, и для того чтобы отвезти меня к мастеру, уголь с нашей равнины становился давлением пара в водяном котле, а в стальном цилиндре — вращением колес.

В багажном вагоне за паровозом в плетеной ивовой корзине с замком ехала моя постель. В объявлении, помещенном в газете, на которое я откликнулся, указывалось, что «постель» надо взять с собой. Встречалась вам когда-нибудь птица, например соловей, которая таскала бы за собой свое гнездо? Может быть, вы видели, как обезьяна волочит за собой свою хижину из ветвей деревьев? Нет, право на это сохраняется исключительно за пекарскими подмастерьями, представителями одной из разновидностей мыслящего человека, драгоценнейшего алмаза в венце творения, но, впрочем, так же и за моллюсками и другими низшими животными; интересно, как ведут себя в этом отношении существа, которых нам предстоит обнаружить в космосе?

Скорый поезд едва не отбыл в дальние края без меня на борту. Дальние края, дальние края... Для дедушки далью был соседний округ, а для меня — преддверие Саксонии, и таким образом я сменил край, где винительного падежа личного местоимения — «меня» боялись, как кисейная барышня крепкого словца, на местность, где как черт от ладана бежали от дательного — «мне».

Я ринулся на отходящий поезд, как гепард кидается на убегающего бизона. Я, как принято выражаться, вступал в жизнь; словно раньше я не жил и словно все, кого я покидал, находились вне жизни.

Все развернулось, как в кинокадре. Молодой человек, на ходу втащивший меня в вагон, оказался подмастерьем цирюльника, притом уже вкусившим от жизни. Он покидал свое «положение в жизни», покидал наш городок и ехал в город побольше и к мастеру получше, он был специалистом по стрижке «под мальчика» — «бубикопфу» и называл себя не цирюльником и не парикмахером, он называл себя «бубикопфмахером», он пользовался большим спросом и был в почете среди женщин, которые тогда еще не без колебания возлагали свои длинные волосы перед ним на плаху. Он был своего рода милосердный палач, служитель sex-appeal, творческий искоренитель волос, и сам он носил стрижку «бубикопф», причем «бубикопф», искусно завитую, и этот стрижконосец был, пожалуй, ни то ни се, ни мужчина ни женщина — бубикопфмахер!

Его кожаное пальто шафранно-желтого цвета, состряпанное из чаевых, полученных от дам, которых модернизировало это создание среднего рода, показалось мне верхом элегантности. Кожаное пальто бубикопфмахера стало моей мечтой на долгое, долгое время. И тот, кто видит меня сегодня щеголяющим в шафранно-желтой кожаной куртке, пусть примет во внимание, что благоговение перед подобного рода предметом одежды родилось во мне в ту минуту, когда я на ходу вспрыгнул в поезд, дабы умчаться прочь от родных мест, куда я приезжал с тех пор только в качестве гостя.

На вокзале маленького городка «на чужбине» в честь моего прибытия не играл оркестр, и от вагона до кареты не разостлали алой дорожки, и кареты, чтоб повезла меня к президенту, не было, и никогда в моей жизни не будет такой мягкой алой дорожки: не только фрака недостает мне, чтобы стать дипломатом. Я приземлился в маленьком курортном городке, а может быть, сел на мель? Это был грязевой курорт, и больных лечили железистой болотной тиной, у нас дома ее называли попросту ДЕРЬМОМ; а так как дамы и господа, пачкаясь подобным образом, выздоравливали и резвились вовсю, я более уважительно стал думать об одном таком МУДРЕЦЕ у нас дома в стране сорбов, этот МУДРЕЦ все болезни лечил коровьим навозом.

Мастер встретил меня приветливо, и тому были свои причины, позже выяснилось какие. Супруги мастера дома не было, она уехала лечиться. Да, ей приходилось лечиться на другом курорте, так как здесь все врачи знали ее, а она знала всех врачей, болезнь же ее была не того свойства, чтоб лечить ее в своем городе, некоторым образом у родного очага.

Итак, я столкнулся с жизненной загадкой, но в то время мне многое представлялось загадочным и каждый человек неповторимым и загадочным. Впоследствии различные события жизни притупили мое восприятие, и окружающее утратило таинственность в моих глазах, и какое-то время я думал, что все люди одинаковы, но сейчас мне думается, словно бы в юности я был более прав и словно бы мне с полной сумой жизненного опыта следует вернуться в обитель наивности. НАИВНОСТЬ? Нужно ли объяснять, что это такое, раз мы уже сошлись во мнениях о произвольности и относительности человеческих понятий?

В доме мастера жила так называемая воспитанница, то есть нечто вроде ученицы по ведению домашнего хозяйства, она работала не разгибая спины с утра до ночи под началом супруги мастера, но родители воспитанницы соглашались, чтоб их дочь работала не разгибая спины, и ежемесячно платили деньги, оплачивая этими деньгами титул «воспитанница»; они не перенесли бы, если бы их дочь называли СЛУЖАНКОЙ, нет, нет, уж лучше доплачивать воспитателям еще и за то, чтобы платье и белье ВОСПИТАННИЦЫ содержалось в порядке.

Пока супруга мастера лечилась на другом курорте, образованием воспитанницы занялся сам мастер, и он не упустил ничего, чтобы сделать ее украшением среднего сословия.

Мастер, ученик, воспитанница, судомойка, приходящая прислуга, дворник Леппхен и я — все мы обслуживали пекарню, кондитерскую, лавку, кафе и козью ферму, и мастер тянул из нас все жилы, как только мог, впрочем, не лучше и не хуже всех остальных городских ремесленников, для которых делом чести было выкачивать из своих работников все что можно, и если б кто-нибудь поступал иначе, его сочли бы неспособным вести свое дело, ну, а кто же захочет прослыть неспособным, если его не вынуждает к тому духовная необходимость.

Вот теперь вдруг во мне заговорила моя писательская совесть: а нужно ли все то, что я здесь понарассказал для доказательства, что мой синий соловей взаправду существует на свете? А может быть, это вовсе не моя совесть, может быть, это в голове моей зазвучали знакомые вопросы знакомых апостолов полезности? Навязшие на зубах вопросы заботливых людей: зачем я мараю бесполезными каракулями драгоценную бумагу — ту же валюту? Что такое бесполезность, я доказал на примерах с глиной и фукусом, так что теперь, по-моему,

я имею право без помех продолжать розыск синего соловья. Откуда он взялся?

Я вставал в четыре часа утра, готовил в пекарне тесто и посылал ученика будить мастера. Все вместе мы работали часов до семи, потом мастер снова ложился спать, а мы с учеником тащили только что выпеченный хлеб в коробах в город и разносили по домам.

Потом мы работали дальше, мы работали в обед и после обеда до самого позднего вечера. Мы изготовляли из размолотых в порошок хлебных зерен, воды, щепотки соли и палящего печного жара съедобные продукты, по которым нельзя было заметить, что они сделаны из размолотых в порошок хлебных зерен, воды, щепотки соли и палящего печного жара. Мы окрашивали масло в розовый цвет розы, в фиалковый — фиалки, в зелень хлорофилла и в коричневый цвет гриба-боровика; из окрашенного масла мы создавали лягушек и лебедей, грибы, и розы, и цветочные орнаменты, и мы напускали их на жителей маленького городка, на больных и здоровых, и люди с открытой душой и разинутыми от изумления ртами встречали наше искусство и пожирали творения его, например розы, которые мы, затаив дыхание, создавали, выдавливая из тубы крем, вкладывая в них наш тонкий вкус и наше стремление к прекрасному.

Под вечер я преображался, обсыпанный мукой, облепленный тестом, перемазанный шоколадом пекарь перевоплощался в расфранченного кельнера. Черные брюки — в них я мог показаться в любой церкви, белая куртка — в ней меня приняли бы в любую секту, под кадык я повязывал галстук бабочкой и тщательно укладывал волнами свои волосы, о которых ныне не напоминают даже складки моей лысины. Я играл две различные роли, ибо я смотрел на профессии как на театральные роли. Мне хотелось выучить побольше ролей, это доставляло мне удовольствие, но когда я их выучивал и несколько времени исполнял, они переставали меня привлекать, мне становилось скучно. А когда мне становилось скучно в роли какой-нибудь профессии, я искал новую, пока, наконец, не нашел профессию, в которой могу играть все роли.

Я обслуживал гостей в кафе и мог брать десять процентов надбавки за услужливость, расторопность и быстроту ног. Чувствовал я себя как артист, который весь день работает в хлеву, а вечером в свете прожекторов демонстрирует почтенной публике своих зверей (в моем случае лягушек и лебедей из масляного крема) и в заключение обходит публику с тарелкой и получает свои чаевые.

Уже в первые дни работы кельнером я заметил некое соотношение между временем суток и пивной пеной: чем энергичнее приближалась к полуночи стрелка электрических часов, венчавших короной шкаф с шоколадом, тем старательней заботился мой шеф и мастер о высоте пенной короны на кружках с пивом, которые я подавал.

Я должен был обслуживать гостей до часу ночи, но многие вовсе не хотели уходить. Одни пили и веселились, другие ругались или тосковали, в конце концов это было их частное дело, но они ни за что не хотели идти домой и в первом часу ночи, предпочитая выпить кружечку с кельнером, только бы не уходить.

Уходил, наконец, последний гость; я убирал со столов; иногда на одном из кресел или на диване в нише, где вечером сидела какая-нибудь дама, сохранялся тонкий аромат, он повисал, осязаемый и плотный, как кусок шелка, в скрученных струях табачного дыма, в нем скрывалось лживое обещание, он волновал меня, несмотря на усталость.

Я сдавал деньги, сумму, подсчитанную кассой, бабушкой современного компьютера, а мелочь, остававшаяся в моих карманах после

того, как я отдавал деньги, была мои проценты, мои чаевые. Почему, собственно, чаевые, почему дают на чай, а не на еду или на сон?

Ох, как же я уставал! Я думал тогда, что только тот, кто работал с четырех утра в пекарне, а вечером и ночью кельнером в течение пяти из семи дней недели, сможет понять, что такое усталость, но я заблуждался, и к этому мы еще вернемся.

Вечером, пока жужжали аппараты в обоих городских кино, народу в кафе было мало. Сидел обычно один помещичий сынок, он служил в чине лейтенанта в прошлую мировую войну и не скрывал, что ждет следующей. Лейтенант не признавал «киноигр».

«Скажите мне, кельнер,— спрашивал он,— что это за люди смеются и плачут над картинками на крутящейся целлулоидной ленте?» Я не знал.

«Эти люди — ни к чему не пригодный сброд, белобилетники».

Другими посетителями кафе в часы застоя были влюбленные парочки: проезжий коммерсант и страдающая женскими болезнями курортная дама, они встретились, как две бабочки на цветке маргаритки, и вытянули хоботки навстречу друг другу; когда в кафе сидели две или три парочки, для меня наступали особо спокойные часы, ибо влюбленным тоже требовался покой. Казалось, взаимная любовь двух есть источник и всеобщей любви к человеку, избытки этой любви распространялись и на меня. Уже к концу первой недели работы моей в должности кельнера я изобрел способ, позволивший мне спать, когда в кафе сидели только влюбленные и киноненавистник. Я нацеплял вешалку моей кельнерской куртки на крючок на стене в кухне, куда вешали свои платки приходящая прислуга и судомойка, да, да, я подвешивал себя в застегнутой на все пуговицы кельнерской куртке на крюк рядом с посудными полотенцами и благодаря этому не падал, засыпая, а засыпал я сразу и спал крепко; иногда в полусне я чувствовал, как у меня подгибаются колени, но не падал, потому что висел на вешалке. Недостатки этой методы состояли в том, что когда внезапно раздавался крик «кельнер» или «обер» и сердобольная судомойка пинала меня в бок, чтоб я услышал зов посетителей, я не мог свободно распоряжаться собой, ведь я висел на крюке, вешалка на моей куртке легко рвалась, и приходилось возиться дополнительно, пришивая ее и отрывая время от сна. Всякий раз, пробуждаясь, я словно рождался заново, прежде всего следовало вспомнить свою роль. Я забывал, где, собственно, во вселенной я вишу на самом деле.

Со временем я заменил холщовую вешалку куртки на другую, из тонкой сероватой кожи, но это произошло, когда уже вернулась с курорта супруга мастера, и новая вешалка ей совсем не понравилась, потому что после небольшого сеанса сна вешалка никак не желала заправиться под воротник, упрямо торчала вверх, словно хвостик копченой колбасы, и мне пришлось отказаться от моего способа возмещать недостаток ночного сна, если можно так выразиться, в пфеннигах; супруге мастера пришлась не по душе не только кожаная вешалка на моей куртке, но, как выяснилось, и я сам, больше всего ей во мне не нравился мой взгляд, но я был безвинен в своем взгляде, потому что его сделал не я, а мой отец и моя мать, и они тоже были всего лишь слепыми посредниками, создавая меня и мой взгляд, они, так сказать, действовали, повинуясь воле некоего соловья.

Будьте терпеливы, я рассказываю вам, как привык спать, потому что это самым непосредственным образом связано с нашей историей; появление синего соловья связано с моим сном, и, клянусь, я не отступлю от принципа полезности в искусстве.

Наступила суббота, в те времена я двигался по жизни, как по горизонтально натянутому канату, перехватывая руками названия дней

недели, и ценил субботу так, как нынче ценю поездку на Кавказ ранней осенью.

На нашем курорте жили ревматики, дамы, страдающие женскими болезнями, просто скучающие женщины, зажиточные ремесленники, жаждущие приключений, и жены средних государственных чиновников. По субботам обитатели курорта встречались в курзале, в торжественной обстановке, и эти ежесубботние встречи (последний раз они виделись накануне, в пятницу) назывались курбалом, и это звучало почти так же мило, как сегодня «май хо-о-обби», и чтоб не помешать этой светской вершине курортной жизни, мы закрывали по субботам наше кафе. Мастер сказал: пойдемте на КУРБАЛ, я вас там со всеми познакомлю, и мы пошли. Я удивился: зачем мастеру, который всю неделю заставлял работать на себя такую прорву муки и пива, тортов с масляным кремом и фруктовых тортов из агар-агара, и нас, своих наемных слуг, который выступал перед нами как представитель господа бога, заботясь о нас, ибо забота о нашем хлебе насущном, по сути дела, лежала на боге, зачем ему идти на курбал с бедняком подмастерьем, чье состояние определялось чаевыми и процентами за обслуживание; но тому были свои причины.

Я забыл, что собирался выспаться, что мне необходимо было выспаться; мастер пригласил меня, и я забыл про сон.

На столах в курзале все было очень белым, эстрада для музыкантов сверкала хромированным блеском; только что вновь открыли латунный рог, изобретенный неким господином Саксом и притом безо всякой пользы, потому что (вот вам еще!) эту трубу он изобрел раньше, чем пришло ее время, зато теперь время пришло, и она блестела со всех сцен, со всех эстрад, и немного спустя ее даже приняли в самом консервативном и варварском из всех бродячих оркестров мира — в военном духовом оркестре, ибо у нее не было вульгарной потребности упираться в землю одной ногой, как, например, у виолончели; она была поворотлива, многоприменима, не требовала церемонного обращения и великолепно подходила для маршировки.

Одет я был в короткую куртку, которая кончалась там, где начиналось седалище, куртка была черной, так как черный цвет означает торжественность, чего я никогда не понимал и никогда не пойму, потому что мои сорбские матери закутывались в белые платки, когда им хотелось казаться серьезными и торжественными.

Мое седалище и тощие, слегка искривленные от таскания мешков с мукой пекарские ноги погрузились в брюки, чьи штанины расширялись над черными полуботинками наподобие колокола и были столь длинны, что я, когда стоял на полу, казался безногой марионеткой.

Пусть вспомнят об этом мои сверстники, которые сегодня воротят нос, видя, как молодые люди в брюках точно такого же фасона отбивают чечетку на улицах.

Я чарльстонил, как огородное пугало на ветру, и об этом тоже не без намека хочу напомнить моим равновозрастным товарищам, потому что мы тоже подчинялись моде, занесенной к нам западным ветром, но тогда мы были безвластны, а теперь? Почему теперь мы не создаем моду сами? Наморщенный лоб, воздетый указательный палец — весь облик брюзгливого немецкого обер-лерера не имеет шансов стать образцом юношеской моды, но, опасаясь, как бы профсоюз учителей не стал добиваться, чтобы рассказ мой остался ненапечатанным, я утверждаю: встречаются и хорошие старшие учителя.

Чарльстон я танцевал с воспитанницей, а взглянув в лицо мастера, я заметил на нем выражение, какое бывает на лицах наших сограждан, когда у них из-под носа уплывает пароход или уходит поезд; больше с воспитанницей я не танцевал; не помню теперь, как ее звали,

припоминаю только, что она была маленькой блондинкой из Висмара и говорила на звучном мекленбургском диалекте. Впрочем, звуки саксонского диалекта убаюкивали меня, они походили на голубиное воркованье, голоса берлинских гостей звучали, как стук дятла: тук, тук, тук, а мой собственный голос — как болтовня галки, затесавшейся в весеннем лесу в общество голубей и дятлов.

Мастер заказал вино, самое дорогое вино в этом заведении. Мастер был обязан «держать марку» и тратился, чтобы доказать свою поставленную под сомнение платежеспособность. В понедельник «господа» из управления курорта посетят наше кафе и с лихвой «возместят затраты», они будут пить шампанское, а дамы — поглощать разноцветное мороженое: княжеское, порция которого напоминала по объему и высоте небольшую бомбу.

Много существовало на свете вещей и, как я слышал, в некой стране существует до сих пор, с помощью которых человек доказывает своим согражданам, что он достоин кредита, способен на платежи и в состоянии поддерживать свой образ жизни,— для этого служат платье, автомобили, украшения, редкостные камни и драгоценные металлы, и если представители некой клики в один прекрасный день договорятся, что с нынешнего дня наиредчайшее и наидрагоценнейшее суть конские яблоки, то и они, и их дамы ничтоже сумняшеся оправят в золото и платину эти роняемые четвероногими фрукты и станут носить их в виде галстучных булавок, запонок и колье.

Мне было безразлично, чем заливать пламя сжигающей меня усталости, грушевый сок казался и по сей день кажется мне вкуснее вина.

Танцы в курзале прерывались сольными выступлениями, «артисты», их исполнявшие, полагали свое «соло» гвоздем программы и потому обращались с музыкантами курортного оркестра, как со слугами. Исполнителями сольных номеров были ревматики, проходившие курс лечения в нашем городке и «от сердца полноты» великодушно предоставившие себя для приукрашения бала, а управление курорта в свой черед великодушно предоставляло им тоже «от сердца полноты» бесплатное угощение на субботний вечер, в результате чего опереточник с приплюснутым носом спел обязательную арию из «Цыганского барона», и ему даже поверили. Другой «артист», лысина которого отражала свет люстры, исполнил партию из «Белой лошади», и дамы, обладавшие всеми разновидностями болезней, пожирали глазами певца вместе с его белым фраком.

Выступления утомили меня, я начал клевать носом. Мастер заметил и заказал кофе, он терзал меня своим курбалом, но тогда я не терзался, потому что меня, как шестимесячного щенка, интересовало все вокруг. Двойной мокко, заказанный мастером, на короткое время превратил меня в марокканца, и чтобы южный импульс, коий я получил, не толкнул меня снова на приглашение воспитанницы, мастер представил мне нескольких дам. Этих дам мне уже приходилось обслуживать в нашем кафе, и я взыскивал с них мои кельнерские проценты, но сейчас я был не кельнер, а человек с фамилией, мужчина, посетивший курбал вместе со своим хозяином и воспитанницей последнего, участник курортной жизни города.

Вероятно, в то время я ничего не имел бы против, чтобы жители городка, больные женщины и девушки с прибрежных лугов Эльбы обращали на меня побольше внимания, но изготовлением кремовых лягушек, роз и лебедей этого достигнуть невозможно. Сегодня мне часто хочется вернуться к безликости моего кельнерского существования, что вполне естественно и имеет некоторое отношение к диалектике — это жизнь.

Из городских дам, представленных мне мастером, одну я еще ни

разу не видел в нашем кафе. На ней было длинное бальное платье, сине-фиолетовое, как цветок вероники (шифон или крепдешин). На ее лице господствовал тонкий нос, производивший благородное впечатление, и крылья ее носа трепетали, как крылья бабочки на солнечной стене дома. Когда она смеялась, в середине верхнего ряда зубов виднелся золотой: она демонстрировала его, как золотое кольцо, скорее, как украшение, нежели как необходимость. О ту пору я испытывал большую симпатию к веснушкам и золотым зубам, любовь к веснушкам сохранилась, к золотым зубам — улетучилась. Оказалось, что если составить списки всего, что мне было некогда мило, и того, что стало мне милым в течение жизни, они заполнили бы большую папку и научно доказали, что человек незаметно, часто не отдавая себе самому в этом отчета, становится другим.

За курзалом лежал парк. На дубах, буках и липах, не обращая внимания на курбал, спали птицы. Зал и парк соотносились друг с другом, как два сообщающихся сосуда, но сосуд, образуемый парком, был погружен в темноту и насыщен химикалиями, имя которым — весенняя ночь; танцующие пары, вернувшиеся из темноты паркового сосуда на свет сосуда-зала, явно претерпевали психофизические изменения.

В те времена парк именовался курортным парком, как его называют теперь — я разузнаю весной. В более давние времена он носил имя замкового парка, а в дни своей парковой юности был продолжением тюремного двора, так как замок служил тюрьмой, а в тюрьме сидела королева. Королеву звали Эбергардина, и ее муж, что было тогда делом обычным, приговорил ее к тюремному заключению. А мужем ей был Август Сильный, курфюрст Саксонский; он принял католичество, чтоб быть польским владетелем по всем правилам и согласно паспорту тоже. Эбергардина не изменила протестантской церкви, она осталась как бы социал-демократкой веры.

А на эстраде пока что изощрялся колченогий «солист». Представившись как щеко-вокалист, он обрабатывал свои весьма уже морщинистые половины лица двумя деревянными ложками, и по мере того, как он надувал щеки или втягивал их то слабей, то сильней, изо рта его вырывались звуки, которые при желании можно было расшифровать как мелодию песенки «О, ты в сердце, ты в сердце моем»; щеко-вокалист округлял при этом рот в форме буквы «о», как те вырезанные из дерева человечки в Музее народного творчества в Москве, оказавшиеся пчелиными ульями. Курортный оркестр сопровождал песенку, которую колченогий вокалист выбивал у себя на щеках, и кое-как склеивал ее мелодию.

Мой мастер не переставал удивляться, что можно музицировать при помощи мяса собственных своих щек, и щеко-вокалист представлялся ему стопроцентной творческой личностью. «Думайте про меня что хотите!» — и он тут же попробовал чайной ложечкой извлечь звуки из своей небритой щеки, это ему не удалось, но удалось рассмешить воспитанницу, что тоже имело немалое значение. Мне показалось, что мастер барабанил ложкой по щеке единственно с целью рассмешить воспитанницу, стремился всеми средствами вызвать ее расположение, он искал и искал в других женщинах то, чего, по-видимому, не нашел в собственной жене, и он достоин сочувствия. Не знаю почему, сочувствие к мастеру снова напомнило мне об Эбергардине: я никогда не помышлял о королевах — ни о монархических, ни о небесных, ни о постельных, ни о королевах моды и красоты.

Август Сильный из Дрездена при помощи агентов тайной полиции довел до сведения народа, что верноподданные дети его страны должны отныне называть свою августейшую мать, не захотевшую вернуться

в лоно католической церкви, БОГОМОЛКОЙ САКСОНИИ. Кроме того, он потребовал, чтобы польский народ не давал протестантской Эбергардине разрешения на въезд в католическую Польшу, а когда все было сделано, он предоставил ей право добровольно удалиться в тюрьму для защиты от «ярости народа». Все обстояло весьма просто: Эбергардину надлежало удалить с глаз ее Августа и некой графини фон Козель, а также других дам и матерей двух сотен тридцати пяти верноподданных детей Августа, а чтоб народ понял это правильно, Август перевел все в область идеологии.

Эбергардину вынудили заменить подобающие ей наслаждения телесные духовными, и она влюбилась в покойного переводчика, поэта и реформатора церкви доктора Лютера, она была приверженкой реформации и мечтала, стремясь в мечтах вниз по течению Эльбы, о ВИТЕНБЕРГСКОМ СОЛОВЬЕ. Соловей, вот где собака зарыта, вот почему я снова вернулся к Эбергардине.

Ну, а теперь к делу. К делу! Потому что l'art pour l'art хуже, чем холера.

За парком среди лугов текла Эльба, весной она со страстью и яростью вспоминала, что была когда-то первобытным потоком, и тогда луга служили ей брачной постелью; а когда кончалось брачное опьянение и Эльба возвращалась к своей жизни матроны, в уплату за ночлег она оставляла на лугах разводья, и из этих разводьев колокольными вскриками звучало кваканье жерлянок.

Я молча танцевал с дамой в бальном платье цвета вероники; я прекрасно знал, что молчать не подобает, но слишком устал, а кроме того, боялся, как бы дама не сказала чего-нибудь, что разрушит мое представление о ней.

До сих пор не знаю, сильная ли это сторона моего характера — видеть в людях, которых встречаю, больше, чем в них есть на самом деле, или это моя слабость, и я недостаточно терпелив, чтобы обнаружить в них те значительные черты, которые привношу в них заранее.

Молча, без слов между мной и моей дамой свершилось то, что принято называть любовью. Опереточник с приплюснутым носом доказал это словами своей песенки: «Молчат уста...» и так далее. Расположение, которое я испытывал к даме, не оставалось без ответа, и я чувствовал, что она считает меня достойным доверия в Деле Любви. После танца я проводил ее на место и украсил свою немую благодарность шелковым бантом улыбки. Улыбка была настоящей, работал я кельнером недавно, но уже успел выработать себе кельнерскую эрзац-улыбку, чтобы не слишком часто пользоваться настоящей. Я перестал быть кельнером, но не выбросил эту вторую улыбку в мешок старьевщика, я нуждался в ней, ее требовали от меня снова и снова, и хотя мы революционизировали наше общество, время от времени ее требуют от меня и сейчас.

Во всяком случае, дама в платье цвета вероники ответила на мою настоящую улыбку, и ее золотой зуб засветился во рту, словно маленькое солнце.

Потом мой мастер пригласил ее на танго, но танго танцевал он на манер фокс-марша, и этот фокс он танцевал скособочась, ибо по-настоящему комплекции мастера соответствовал вальс. На подбородке у него росли, вернее сказать он торжественно носил, остатки бороды, над верхней губой — будущие гитлеровские усики, и фокс-марш, который он танцевал, отвечал его тяге ко всему военному. Приглашение на танец дамы в платье цвета вероники было знаком вежливости со стороны мастера, но тем самым он делал ее м о е й дамой и партнершей, а это, в свою очередь, заставило меня, достойного зав-

сегдатая танцплощадок, снова пригласить воспитанницу. Мы вступили в круг танцующих; я танцевал танго по всем правилам. Особенно мне удавались те фигуры танца, когда деревянным рывком марионетки кавалер швыряет даму на себя, а потом почти волочит ее по полу, я танцевал танго как настоящий аргентинец, только белокожий. Я превращал эту фазу танца в акт такой мощи, что зрители пугались, как бы я, высадив стену, не вышвырнул свою даму наружу. Но у самого препятствия я внезапно осаживал свой «run» [1], и мы все-таки оставались в зале, а потом, потом по требованию ритма на меня накатывала новая волна страсти и снова аргентинизировала мою кровь. Воспитанница из Висмара целиком «отдалась во власть танго», как принято выражаться в кругу знатоков, и я спросил, как она себя чувствует. Она ответила, что чувствует себя как рыба в воде, только слегка побаивается... при этих словах она взглянула на мастера, я успокоил ее и сказал, что ей некого бояться, кроме себя самой. Мой ответ понравился ей, и она сказала, что сразу увидела во мне человека образованного, а это польстило мне. В те времена я еще испытывал почтение перед образованностью, теперь же этого почтения у меня поубавилось, особенно после того, как один из моих некогда близких друзей собрал и переписал цитаты из двадцати четырех книг и сделал из них двадцать пятую книгу, за которую удостоился титула доктора наук, впрочем, говоря об этом своем друге, я не хочу сказать ничего плохого о докторах наук вообще.

Итак, я преодолевал трудности этого вечера-бала. Не то чтоб он вызывал у меня отвращение, нет, для этого я был слишком молод, но беда состояла в том, что я устал и засыпал, едва успев сесть, а любое удовольствие омрачается, если само тело отказывается повиноваться вам, показывая, что вы не уважили законных его прав. Но несмотря на усталость, я завязал разговор с дамой, которую мне подбросил мастер взамен воспитанницы. Мне нельзя было приглашать ее на танец три или четыре раза подряд. Мы бы стали притчей во языцех. Вдобавок она ангажировала меня на дамский вальс, и почти без слов — то ли в результате демарша, то ли просто сделки — был заключен договор, гласивший, что я гарантирую надежность ее доставки домой; я не помню, настаивала ли дама на этом или, несмотря на усталость, я повиновался чувству приличия.

Все остальное время я, как говорится, спал на ходу, продолжая двигаться, приглашать на танцы и, возможно, даже танцевать. Я очнулся или проснулся на скамейке — чуть не написал «в парке», но вовремя спохватился, получилось бы название модного в то время боевика («На скамейке в парке»), и меня можно было бы заподозрить в плагиате. А тут случаются удивительные вещи; не так давно я был свидетелем, как автор одного реферата обвинил в плагиате автора другого на основании фразы: «Проблема, к которой мы сейчас обращаемся, подверглась тщательной разработке».

Скамья стояла в молодой рощице лип неподалеку от плотины, от реки доносился запах сырости. Я открыл глаза, те щели на нашем лице, благодаря которым световые волны проникают нам в мозг,— говоря простым человеческим языком, кругом занималось утро, и за плотиной жерлянки уже забили в гонг в своих лужах, и я услышал среди широких листьев липы звуки, что пенятся в крови птицы,— трели соловья,— такие, как я мальчишкой слышал у нас на равнине, все равно была ли то варакушка или соловей, но на этот раз это был, наверно, потомок того соловья, который щелкал в парке во времена Эбергардины, а то и еще раньше. Может статься, мой взгляд сначала

[1] Бег *(англ.)*.

скользнул по синеватому платью цвета вероники, но соловей, когда я увидел его, оказался синим, я не удивился, я глядел сквозь горы непреодолимого сна и не удивился бы, если б дама, обнимавшая меня бог знает сколько уже времени, назвалась Нефертити или царицей Савской.

Едва дама заметила, что я проснулся, она склонилась ко мне, и дорога от ее губ до моих оказалась не столь уж далека, дама не выпустила меня из объятий и склонилась ко мне...

Внутреннее сопротивление мешает мне описывать то, что всякий сам знает, а тот, кто не знает, узнает в свой час. Я оставляю в рассказе пробел, а за каждым — возможность заполнить его в меру своих знаний. Собственно говоря, я сдержал свое обещание, честно написав, почему первый соловей, увиденный мною, был синим, но даже здесь, на моем рабочем месте, за моим письменным столом в каморке, бывшем стойле конюшни, я чувствую недовольство читателей, привыкших к законченным историям и кроме всего прочего ссылающихся на пресловутое чеховское ружье, то самое ружье, которое висит на стене и обязательно должно выстрелить. Да будет известно этим читателям, что мне не суждено было встретить воскресное утро в своей постели, в чулане подмастерья, за пользование которым у меня вычитали деньги из жалованья: когда я вернулся домой, комната была заперта изнутри, я возмущенно рванул ручку, и в щель выглянула воспитанница. На ней было весьма мало надето, и она напомнила мне, что еще во время танцев намекала, что боится. Я никак не мог понять, почему она все еще боится мастера, раз она в безопасности в моей комнате. Но оказывается, она боялась не мастера, а супруги мастера, потому что мастер был с ней, и оба они заняли мою спальню.

Воспитанница объяснила, что ни судомойка, ни служанка или дворник, ни даже ученик не подумают ничего плохого о ней, если мастер до полудня выйдет из комнаты подмастерья, и так далее. Она предложила мне свою комнату и свою постель, потому что, если увидят, как я выхожу из комнаты воспитанницы, никто ничего не скажет хозяйке, и так далее.

Жизнь подчас выступает перед нами в сложном обличье, и здесь предо мной был случай, когда она была переосложнена, а ведь мы говорим всего-навсего о маленькой, можно сказать домашнего печения, постельной истории; я даже подумать боюсь о больших происшествиях, восходящих к вершинам мировой дипломатии.

Я не воспользовался ни комнатой, ни постелью воспитанницы, а отправился, несмотря на неистребимую усталость, на прогулку в парк, и то, что я разыскал скамью, на которой я уснул, как мне казалось теперь, много недель назад и на которой мне явился синий соловей, доказывает, что я влюбился. Каждый влюбленный думает, что если он вернется на место, где его настигла или где он настиг любовь, все останется там безо всяких изменений, но нет, не останется, потому что мир есть река, хотя мы и не знаем какая.

Разумеется, я больше не увидел соловья, ни синего, ни серого, потому что он спал где-то в сумеречно-сером уголке в тени листьев, отдыхал после брачной песни.

Я видел тьму соловьев и в Сочи на Черном море, и в Карелии, возможно, это были варакушки, я видел соловьев на Наксосе и Санторине в Эгее, соловьев в Киеве на Днепре, я видел соловьев на мельнице у Вустерхауза на Доссе и в Никитском саду подле Ялты — много сотен соловьев, но все они носили серое оперенье, ни одного синего среди них не было, и я был поражен, когда спустя столько лет я вдруг снова увидел синего соловья, освобождаясь из объятий возлюб-

ленной. Я говорил об этом, и то, что я повторяю это снова, свидетельствует о моем смятении.

Но вот в чем разгадка. Я собирался написать один рассказ и много дней не мог ни о чем думать, кроме этого рассказа. Я спал мало, а когда спал, спал плохо, а два дня я не спал вообще и все из-за того, что я х о т е л написать рассказ.

Когда-то я был нужен моему мастеру, маленькому знатоку своего дела, потому что он превратил меня, своего подмастерья, без затрат для себя и своего дела еще и в кельнера, а кроме того, о чем мне стало известно позже, он во время фокс-марша зафрахтовал даму, которая должна была задержать меня как можно дольше в грязевой ванне, в том состоянии изнурения, когда являются синие соловьи. Но теперь, когда мне не приходится больше заботиться о каждодневном куске хлеба, кто перенес меня в состояние, из которого вылетают синие соловьи? Если это подсознание, как я сужу по высказываниям ученых из среды психологов, то это самое подсознание — величайший из кровопийц, какого я только встречал, и к тому же в его власти наплевать на рассказ, который я х о т е л написать, над которым я работал дни и ночи, из-за которого совсем ослабел, и заставить меня написать рассказ, который я должен был написать: «Синий соловей».

Послесловие

Я считаю себя еще слишком молодым, чтобы писать «Воспоминания о юности старого человека» или мемуары, но я уже годы размышляю и размышляю вот над чем: откуда возникает в детстве и юности та поэзия жизни, то состояние невесомости, которое кажется нам потом ушедшим навсегда? Нельзя ли вернуть его? Правы ли мы, считая его безвозвратно потерянным? А не можем ли мы вернуть его хитростью и упорством?

Представленные здесь истории (некоторые лежат пока еще в пресловутом ЯЩИКЕ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА) есть своего рода исследовательская работа. Удовлетворительных выводов моя разведка еще не дала, но уже вырисовывается заключение, что это состояние невесомости суть мгновения вне всякого действия и всякого ему противодействия. Сидишь в тележке деда, и на тебя обрушивается музыка из вселенной, лежишь на берегу пруда, заросшего водяными лилиями, и впитываешь шумы летнего дня... Всего лишь мгновения, но их искренность и душевная чистота пронизывали целое «временное пространство».

Я спрашиваю себя, а что, если подобные мгновения вне всякого действия и противодействия ему, сознательно и с прежним результатом вводить в свою жизнь?

Я не хочу отступаться, я хочу открыть эту тайну, поэтому моя книжка остается «незакрытой книгой», и время от времени я буду добавлять в нее новые сообщения о своих изысканиях в указанной области.

Э. Ш.

АННА СВИРЩИНЬСКАЯ

Перевод с польского и вступление Н. АСТАФЬЕВОЙ

Анна Свирщиньская родилась в Варшаве, в семье живописца, скульптора и этнографа-любителя, участника революции 1905 г. В мастерской отца, где они жили, «...маленькая лампочка горела высоко, рядом с крюком, на котором предыдущий жилец — художник повесился от голода и нужды... не раз — когда не хватало на буханку хлеба — призрак его появлялся у нас перед глазами...» — вспоминает А. Свирщиньская. Здесь же, в мастерской, спали, мать варила щи, стирала, а вечером латала форменное гимназическое платье дочери (учившейся по милости начальницы гимназии, разрешившей не платить за обучение) или надставляла его очередной полоской другого материала. «Это платье, в котором я долгие годы сидела за школьной партой рядом с элегантными дочками фабрикантов и директоров, повлияло на мое юное мировоззрение».

Единственным утешением были отцовские книги по искусству и репродукции: «Достаточно было протянуть руку, чтобы засверкали в пальцах, как драгоценности, Эль Греко и Хокусаи, Франс Хальс и Будда индийский или китайский, Кирико и лиможские эмали, Дюрер, «таможенник» Руссо и Ренуар». Девочка мечтала стать художницей, но о дорогостоящих занятиях живописью нечего было и думать.

Польскую деревню (которой в ее последних книгах посвящены многие стихи) Анна Свирщиньская узнала еще ребенком. Она сопровождала отца в его странствиях по отдаленным деревенькам Мазовша, где он собирал для выставки народного прикладного искусства крестьян-мазуров их вырезки из цветной бумаги, украшения из простой соломы, битые глиняные тарелки с петухами. Девочка помогала крестьянам на жатве и на сенокосе, слушала их песни.

Упорство помогло ей окончить гимназию и поступить в университет. Она бегала с одного конца города на другой, давая уроки латыни все тем же элегантным дочкам, чтобы заработать на кусок хлеба.

Детскую мечту А. Свирщиньской — стать художницей — как бы воплотили ее книги для детей. Первая из них вышла в 1936 г., сейчас их около двух десятков, многие переизданы по четыре-пять раз. Это декоративные, яркие рассказы и сказки в стихах и в прозе, полные экзотики польской и древнеславянской старины либо экзотики далеких стран. Да и «взрослые» стихи А. Свирщиньской (первая книга издана в том же 1936 г.) были поначалу полны богатых метафор, за ними поэтесса, детство и юность которой прошли в нужде, укрывалась, как за пышной драпировкой.

В 1936—1939 гг. она работала в Союзе польских учителей, в 1936 г. участвовала в известной политической забастовке польских учителей, которой руководила Ванда Василевская. В годы оккупации А. Свирщиньская принимала участие в конспиративной литературной жизни Варшавы, стихи ее появлялись в печатавшихся подпольно сборниках и журналах, на тайном литературном конкурсе она получила первую премию за драму «Орфей», изданную и поставленную затем в 1946 г. (Впоследствии А. Свирщиньская написала еще несколько драм, одна из которых «Выстрелы на улице Длугой» была переведена на чешский, словацкий и французский языки.) Ее душу и ее поэзию перевернули те месяцы, когда она была санитаркой в варшавских госпиталях: во время обороны Варшавы в сентябре 1939 г. и в период варшавского восстания 1944 г.

«Война сделала меня другим человеком,— пишет А. Свирщиньская в автобиографическом предисловии к «Избранным стихотворениям» (1973).— Тогда впервые вторглись в мои стихи моя собственная жизнь и время, меня окружавшее». Она осознала, что должна писать совсем иначе, чем писала. Но еще тринадцать лет понадобилось ей, чтобы найти тот единственный язык, каким она могла говорить о войне.

Цикл стихотворений в прозе «Война» из книги «Лирика» (1958) напоминает лучшие кадры итальянских режиссеров-неореалистов. С ними сближает А. Свирщиньскую не только «кинематографичность» видения (и слышания: например, в стихотворении «Сожженная улица», где потрясает именно «звуковая запись», сопровождающая этот «фильм»), но и взгляд на вещи. Отныне она пишет предельно просто, пишет лишь о самых простых и главных вещах: о войне, о труде, о любви, о рождении ребенка, о старости, смерти и о бессмертии.

«Они необычайно аскетичны, лишены всякого украшательства»,— писал польский литературовед Я. Славиньский о стихотворениях из цикла «Война» (1958). «Дословность» — так говорит польский поэт и критик З. Беньковский о стихах из книги «Я — баба» (1972).

Предельная лаконичность, концентрированность мыслей и чувств Свирщиньской, сила и сжатость ее стихов так поразили З. Беньковского, что он восклицает: «С тех пор как существует поэзия, ни один женский голос в поэзии не прозвучал столь убедительно!».

Один из рецензентов назвал А. Свирщиньскую «последней эмансипанткой». Действительно, А. Свирщиньская похожа на первых эмансипанток — на Элизу Ожешко и Марию Конопницкую (хотя, разумеется, стих и стиль А. Свирщиньской принадлежат исключительно нашему времени). С выдающимися польскими женщинами в литературе конца XIX века ее сближает крупность характера и крупность идеалов; «первые эмансипантки» занимались не только «женским» вопросом, но и «польским», и «крестьянским». (Да и слово «эмансипация» еще сохраняло тогда свою всеобщность: говорили об эмансипации женщин, эмансипации негров, эмансипации русских крестьян, эмансипации рабочего класса, наконец, о духовной эмансипации общества.)

«Самая большая трудность профессии поэта,— писала недавно А. Свирщиньская в польской газете «Культура»,— состоит в том, чтобы, глядя внутрь себя, увидеть три миллиарда людей». Как бы перекликаясь с Маяковским, она утверждает в этой своей программной статье, что поэт должен «быть горлом тех, которые сами говорить не умеют». Она подчеркивает, что ощущение общности с людьми необходимо прежде всего самому поэту: «Что может привлечь людей к поэзии, которая не выражает человеческих забот? Только снобизм. Но разве примириться с таким фактом — не унижение для писателя?»

«Я строила баррикаду» — таково название будущей книги стихов, над которой сейчас работает А. Свирщиньская. Она вновь обращается здесь к жестоким и героическим дням оккупации и Сопротивления, когда польский народ сумел выстоять и не сломаться. Она показывает, как самые обыкновенные люди, которым «было страшно», преодолевали страх и дорастали до героизма.

В поэзии А. Свирщиньской исповедь сочетается с проповедью, ее поэзия восхищается, негодует, борется и воспитывает. Молодые польские поэты и молодые польские читатели приняли эту поэзию как свою. Их привлекают молодая горячность А. Свирщиньской в борьбе за правду в поэзии, беспощадность к себе и нравственный максимализм. «Поэт,— пишет А. Свирщиньская,— должен иметь нравственность на вырост, нравственность завтрашнего дня».

Из цикла «Война» (1958)

Сожженная улица

Продолговатые предвечерние тучи проплывают над руинами тлеющих домов и медленно догорающими пожарами. В тишине, такой совершенной, что звенит в ушах, время от времени слышен шум падающей балки, которая рушится с высоты в самый огонь, в беловатое сердце пламени.

Но этот последний звук — другой, и причина у него другая. Это маленький слепой котенок, которому выжгло огнем глаза, ощупью добрался до края лужи и, высунув язычок, осторожно лакает холодную воду, в которой отражается луна, подымающаяся над пустыней.

Грузовик

Ночами по этой улице часто бывает движение. Подскакивая на булыжниках, проезжает большой грузовик, в котором стоят на лютом морозе люди с непокрытыми головами, в бумажных одеждах. Руки у каждого за спиной связаны колючей проволокой. Рты залеплены гипсом.

Конвоирующий солдат с огоньком сигареты между губами, с винтовкой наизготове, хмуро обводит глазами глухие окна и подворотни замершего города.

Однако он еще полусонный после вчерашней пьянки и поэтому, наверно, не замечает, что на втором этаже замерцало в блеске луны стекло. Кто-то бесшумно отворил окно и стоя, движеньем руки, провожает тех, кто едет на смерть.

Один из едущих увидел его.

Летчик

В самом углу палаты лежит тот молоденький летчик, которому неделю назад нож хирурга отнял обе руки с обеих сторон великолепного торса.

Облако предельного несчастья окружает его тело и выделяет его неизлечимо из общества людей. И когда он порой тихонько улыбнется проходящим, его улыбка вызывает смятенье, как крик о помощи на языке, которого никто не понимает.

Из книг «Ветер» (1970) и «Я — баба» (1972)

Смерть за отечество

Я отдаю свою жизнь отечеству.
Отдаю счастье дышать и счастье глядеть,
огромное счастье ходить и бегать,
маленькую толстощекую радость от того, что ешь
черный хлеб и синюю сливу и пьешь
молоко из цветастой кружки.

Я не знаю, велик ли мой дар, отрекаюсь ли я
от пяти лет или от одного часа, а может быть, от двадцати лет.

О, что это за богатство:
сколько лесов можно излазить за двадцать лет,
сколько получить закатов солнца, сколько
ящериц на майском лугу,
в скольких объятьях
обрести теплое счастье сна, сколько рук живых
обнять живыми руками.

Все это я отдаю не для того,
чтобы получить взамен на небесах
под мистическим солнцем спасения
совершеннейшую ящерицу и нежнейшую лужайку, чем эта,
и прирученных ангелов, которых можно
гладить по крыльям и целовать в глаза.

Я отдаю свою жизнь для того,
чтобы приблизиться к труду умирания,
к нищете последней минуты.
Ибо я не знаю, что будет,
когда смерть подойдет ко мне,
когда то, что я уже отдал ей
великодушно в час моего богатства,
она начнет вырывать у меня силой,
словно кость из пасти собаки,
когда она прыгнет ко мне на грудь
и у меня, удавленного ее руками,
выплывут глаза
из орбит.
Тогда, быть может,
я крикну: нет! — уже не имея горла,
и брошусь бежать на несуществующих ногах,
и, будучи почти уже трупом, так испугаюсь
своего трупа, что волосы встанут дыбом.

Я отдаю свою жизнь
не за посмертную славу.
Потому что какая вселенная,
преклоняющая предо мной колени,
может заменить мне
один-единственный вдох моих легких.

Я отдаю свою жизнь
отечеству.

Я полна любовью

Я полна любовью,
как большое дерево ветром,
губка океаном,
долгая жизнь страданьем,
время смертью.

Слезы

Старая женщина плачет.
Прячется в плач,
как птица в гнездо.
Опускается в глубину
плача.

Погружается в него
с головой.
Слезы бегут по ее лицу,
как маленькие теплые зверушки.
Ласкают старое лицо,
жалеют.

Последнее наслажденье
слез.

Старая женщина

Красота ее —
как Атлантида.
Еще только будет открыта.

О ее любовных желаниях
писали тысячи юмористов.
Гениальнейшие из них
входят в программу школьного чтения.

Лишь связь ее с дьяволом
была серьезна,
как огонь костра.
И умещалась в человеческом воображении,
как костер.

Человечество придумало для нее
самые отвратительные на свете
слова.

Взгляд

Молодые парни взглянули мельком
на старую женщину.

И в мгновение ока
растоптали, как червяка,
равнодушным взглядом.

Корова ее любит

Дети
давно перестали писать ей письма.
Теперь
любит ее только ее корова.

Не удивительно, ведь она растила ее
еще теленком.

Баба

Тащит на себе
дом, огород, поле,
корову, свинью, телят, детей.

Хребет ее удивляется,
что не сломался.
Руки ее удивляются,
что не отвалились.
Она не удивляется.

Ее подпирает, как кровавый костыль,
каторжный труд
умершей матери.
Прабабку
били кнутом.

Этот кнут
сверкает над нею в тучах
вместо солнца.

Прачка

Стирает грязное белье своего мужика,
грязное белье своих сыновей,
грязное белье своих дочерей.

Нечеловечески чистая,
как убитая жизнь,
вытирает изредка грешную слезу мечты
чистыми руками
прачки.

Бессмертная

Уже давно
она переселилась в других.

С каждым новым внуком
она начинает жить сначала,
как река, что каждое мгновенье
начинает от истоков.

Глядя все время в небо
глазами младенцев,
она не заметит
смерти своего тела.

В голубой пижаме

Я сплю в голубой пижаме,
справа от меня спит мой ребенок.
Я никогда не плакала,
никогда не умру.

Я сплю в голубой пижаме,
слева от меня спит мой мужчина.
Я никогда не билась головой об стенку,
я никогда не кричала от страха.

Какая широкая эта постель,
если уместилось на ней
такое счастье.

Право на убийство

Трогательный мушиный младенец,
родившийся час назад,
греется на солнце,
сидя на руке моего ребенка.

Я его убила.
Люди говорят, что мухи разносят заразу.
Может быть, мухи
то же самое говорят о людях.
Люди — сильнее.

Рожаю себя

Я должна родить саму себя.
Это огромный труд.
Я кричу, я вою,
с волос моих течет пот и кровь.
Я страдаю, как зверь,
мне некогда спросить,
кто, собственно, велит мне
рожать саму себя.

Шекспир. «Укрощение строптивой»

Актер эпохи Ренессанса,
щелкая бичом,
гоняет по сцене женщину,
которая взбунтовалась
против жребия
женщины.
Мужчины двадцатого века
кричат: браво.

Отвага

Я не буду рабыней любви.
Никому
не отдам я цель своей жизни,
свое право неустанно расти
до последнего вздоха.

Связанная темным инстинктом материнства,
жаждущая нежности, как астматик — воздуха,
с каким усилием я воздвигаю в себе
прекрасный человеческий эгоизм,
все права на который веками
принадлежали мужчинам.

Против меня
все цивилизации мира,
все священные книги человечества,
продиктованные мистическими ангелами,
высеченные молнией в камне.
Десять Магометов
на десяти изысканно замшелых языках
грозят мне вечными муками
на земле и в небе.

Против меня
мое собственное сердце,
воспитанное тысячелетиями
в жестокой добродетели самопожертвования.

Из цикла «Я строила баррикаду»

Двадцать моих сыновей

В моей палате —
двадцать солдатских животов.
Рваные, окровавленные,
они отчаянно бьются
за жизнь.

Я знаю их все наизусть,
днем я приношу им судно, смываю кал.
Ночью мне снится,
что я приношу им судно, смываю кал.

Когда какой-нибудь из животов
умирает в моем сне,
вскакиваю
и на цыпочках подхожу к кровати.

В моей палате
бьются с небытием до последнего
двадцать моих сыновей.

Нам было страшно

Нам было страшно,
когда мы строили под немецким обстрелом
баррикаду.

Владелец пивной, парикмахер, невеста ювелира,
все из трусливого десятка.
Упала на землю горничная,
которая тащила булыжник, нам было очень страшно,
все из трусливого десятка,
дворник, базарная торговка, пенсионер.

Упал на землю аптекарь,
тащивший дверь от уборной.
Нам было все страшнее,
спекулянтка, портниха, кондуктор трамвая,
все из трусливого десятка.

Упал мальчишка из исправительной колонии,
тащивший мешок с песком,
теперь уж нам было страшно
по-настоящему.

Никто нас не заставлял,
но мы построили баррикаду
под обстрелом.

Глаза человека

Ему было пятнадцать лет,
он был первый ученик на уроках польского.
Он бежал с пистолетом
на врага.

Он увидел глаза человека,
он должен был выстрелить в эти глаза.
Заколебался.
Лежит на мостовой.

Не научили его
на уроках польского
стрелять в глаза человека.

АЛАН СИЛЛИТОУ

Начало пути

РОМАН

Перевод с английского Р. ОБЛОНСКОЙ

Администратор гостиницы проникся ко мне доверием, и теперь не надо было оплачивать счет каждые три дня, можно было не платить хоть целую неделю. Администратор был тощий, лицо розовое, и остатки светлых волос тоже совсем тощие — он был бы, наверно, унылый и грустный, да шалишь: на такой должности полагается быть оживленным и бодрым, от этого зависело все его благополучие. Он называл меня «мистер Крессуэлл» и, похоже, не прочь был бы узнать, куда это я все хожу и чем занимаюсь. Раз вечером я угостил его в баре двойной порцией коньяку и гаванской сигарой — свистнул ее у хозяина Бриджит,— и с тех пор мы стали с ним друзьями, насколько это допускала его служба. Я ничего не рассказывал ему про себя, обмолвился только, будто приехал по делам семьи, разыскиваю кой-какие документы в Соммерсет-хаузе [1]. Это внушило ему почтение, и он не стал больше ни о чем спрашивать, только иной раз заговорщицки мне подмигивал: мол, надеюсь, дела у вас идут хорошо,— будто была у нас с ним общая тайна, или, может, он думал, я не нынче-завтра получу кругленькую сумму. Трудно сказать, что у него было на уме, но мне казалось, чем меньше мы разговариваем, тем лучше, и чем больше намеков, подмигиваний, подталкиваний локтем, тем верней я заслужу его доверие.

Доктор Андерсон вел весьма светскую жизнь, и мы виделись с Бриджит почти каждый вечер, хотя немало труда стоило сладить со Смогом. Если мы обещали взять его потом с собой на кухню, он, довольный, оставался в своей кровати и спокойно строил что-нибудь из кубиков. Но один раз он все-таки зашел в спальню, и потом пришлось объяснять ему, чем мы занимались. Я сказал: мы играли в любовь — взрослые часто играют в эту игру, а Бриджит отвернулась и хихикала. Он спросил: а мама с папой тоже так играют? И я сказал: иногда, наверно, играют. Ведь так еще и детей делают. Потом пришлось объяснить, как же получаются дети,— этим я его окончательно покорил, он примостился у меня на коленях, придумывал все новые дельные вопросы и совсем вогнал меня в краску. Наконец, очень до-

Продолжение. Начало в №№ 8, 9.

[1] В Соммерсет-хаузе хранятся архивы, дающие возможность установить право на наследство.

вольный, он пошел к себе в комнату и лег спать. С тех пор как я ткнул его кой-куда носом, Бриджит уже не приходилось за ним подтирать, а меня теперь, как погляжу на его серьезную, беззащитную рожицу, почему-то сразу жалость берет. Ведь совсем еще кроха, такого всякая малость может ранить. Скорей бы он дорос до восьми лет. Жилось ему, конечно, хорошо, а я все равно беспокоился, пускай бы уж скорей стал постарше и пускай лицо станет грубее, жестче, а тело крепче — тогда мир будет ему не так опасен.

У меня оставалось всего несколько фунтов, пора было смываться из гостиницы. Я задолжал за десять дней, а это штука опасная: администратор может в любую минуту потребовать, чтоб я заплатил по счету, а мне платить нечем. По-моему, он никогда не спит, оттого, наверно, и такой тощий. Когда ни приду — в полночь или еще поздней,— он сидит за своей стойкой, и утром, в какую рань ни встану, он непременно заглянет в столовую, когда я завтракаю. Проскользнуть мимо него незамеченным, да еще с раздутым чемоданом, нечего и думать.

В день, когда я решил сняться с якоря, было очень холодно. Завтракал я за одним столом со скандинавским журналистом и думал, как бы с ним распрощаться, не выдав своего намерения сбежать. Нет, похоже, это никак невозможно, и я просто из вежливости расспрашивал про его статью о сексе и пороке в Лондоне. Работа у него вроде не больно двигалась, но от его прежнего уныния не осталось и следа, да оно и понятно: он с головой погрузился в постижение предмета. Лучше жить, чем писать, сказал он. В Лондоне это дешево, но все-таки, пока он не исчерпал тему или пока тема не исчерпала его, он просил, чтобы ему слали из дому деньги. В последнее время он стал другим человеком, в два счета съедал свой завтрак, а при случае пытался ухватить и от моего. Чем глубже ввалились у него щеки, чем больше он сутулился при ходьбе, тем больше ел, тем радостней было у него на душе. Я спросил, к какому это злачному местечку он так пристрастился. Он сказал — к «Золотой лягушке», и я пообещал как-нибудь вечерком туда заглянуть.

— Я куплю вам девицу,— сказал он и, растянув в улыбке свои тонкие губы, подцепил мой кусок поджаренного хлеба.

В номере я разделся донага и стал напяливать на себя весь свой гардероб. Сперва надел три пары чистого белья и так сразу разогрелся, в случае чего вполне можно бы сэкономить шиллинг на отоплении. Потом надел три лучшие рубашки — это уж было неудобно: пуговицы третьей рубашки насилу удалось застегнуть. К счастью, последний месяц я много ходил пешком, да еще забавлялся с красоткой Бриджит и здорово похудел, не то могло быть и хуже. Вот натянуть на себя две пары брюк оказалось уже трудней. Поверх первой пары я надел две пары носков — так они внизу плотней обхватили ногу,— а потом уж натянул вторые брюки. Застегнуть до конца молнию не удалось, и подняться с кровати, на которой сидел, я тоже не смог — сразу опять на нее плюхнулся. Пот лил с меня ручьями; я уж думал, провалилась моя затея: ведь как только я выйду на воздух — если мне вообще удастся выйти,— мигом схвачу трехстороннее воспаление легких. Я ухватился за спинку кровати, поднатужился, встал — и чувствую: физиономия вся вспухла, точно красный воздушный шар. Тут я чуть не заревел: ведь надо еще надеть туфли, значит, опять садись. А потом взял, опрокинул стул и с маху поставил на него ногу. Я хотел проверить, смогу ли я это проделать, оказалось — могу, и я опять опустил ногу на пол. Туфли стояли на полу, и я стал медленно, осторожно нагибаться, причем держался за спинку и ножку кровати, чтоб не шлепнуться на протертый ковер.

Пока все шло хорошо. Я улыбнулся, очень довольный, и протянул руку за туфлей. Это еще не так трудно, но вот удастся ли встать на ноги — ведь руки и ноги у меня будто в деревянных колодках. До туфель было несколько шагов, я лег на бок, пополз и наконец с торжеством схватил их. Это и есть жизнь, думал я, попутно соображая, как бы их теперь надеть, это и есть проверка на изобретательность, такое может случиться с каждым в любую минуту. Лучше уж испытать себя и узнать себе цену. Первый раз всегда самый трудный. Легче всего, конечно, отказаться от затеи, снять с себя лишнее и уйти, а остальное кинуть в гостинице, но упрямо, выбиваясь из сил, так что на глазах проступали злые слезы, я старался надеть хотя бы одну туфлю. До метро уж как-нибудь доковыляю. Я с облегчением улыбнулся — одна туфля на мне. Значит, если как следует поднапрячься, надену и вторую.

Раздался стук в дверь. В мыслях у меня замелькали лица: Клодин, мисс Болсовер, мать, мистер Клегг (за своими часами), Бриджит, даже Смог — со своими вопросами про то, как делают детей,— всем им или кому-то одному вздумалось навестить меня в эту решающую минуту моей жизни.

— Кто там? — прохрипел я.

— Кундт,— донесся голос скандинава.

— Я моюсь! — крикнул я.— Весь голый. Увидимся позже.

Он открыл дверь и вошел.

— Да вам плохо, мистер Крессуэлл,— сказал он, глядя на меня сверху вниз.— Я скажу администратору, надо позвать врача.

— Не надо,— сказал я, пытаясь улыбнуться.— Я здоров.

— Вы весь красный.

— Наденьте мне туфлю, и я буду вам благодарен по гроб жизни. Но сперва закройте дверь, будь она неладна.

Он исполнил мою просьбу и засмеялся.

— В Англии мужчины излишне много на себя напяливают. Не то что женщины. На них почти ничего нет. Слишком быстро достигаешь цели.

Рассуждая о податливости англичанок, он затолкал мою ногу в туфлю, завязал шнурки, поставил меня на пол, точно колоду. И сел.

— Я влюбился в одну женщину,— сказал он так уныло, словно вот-вот начнет лить слезы,— а она вчера уехала. Я только сегодня утром понял, что влюблен, и я хочу ей написать. С вашей помощью.

— А почему вам просто не поехать к ней?

— Она у мужа. Но через неделю вернется.

— Вы неплохо владеете английским, вполне можете написать сами.

— Да, конечно, мистер Крессуэлл, но я хочу с вами поделиться.

— Встретимся в десять у метро,— сказал я.— Выпьем кофе и поговорим.

— Хорошо. Я ухожу и буду вас ждать. Но сперва мне надо побриться, а у меня нет лезвия.

Я предложил ему взять одно, и он ушел довольный.

Теперь предстояло надеть два пиджака. Подкладка на рукаве второго пиджака лопнула, но вообще они налезли легче, чем можно было ожидать. В каждый карман я засунул по паре носков, а в нагрудный кармашек — зубную щетку и бритву. Потом наконец надел пальто, небрежно обернул шею шарфом и натянул шерстяные перчатки. Да еще нахлобучил кепку. Но как теперь ходить? Я двинулся по комнате, будто деревянный манекен, и повалился. Упал я без шума — уж очень много всего было на мне надето, но спинка кровати оказалась далеко, а без нее не встать. Зато поблизости ручка две-

ри — я ухватился за нее. Поднимался медленно, точно большая муха ползла вверх по двери, и почти уже встал на ноги, но тут ручка отлетела, и я шлепнулся, так и не выпустив ее из рук. Ну и чертовщина, подумал я, но мигом обуздал свою ярость. Теперь на глаза мне попался умывальник — до него было совсем близко, и его стальные кронштейны наверняка достаточно крепкие. Я снял перчатки — так будет ловчее ухватиться. Если это называется жизнь, тогда я предпочитаю смерть. А смертный пот с меня и так катится. Я всегда думал — я сильный, но вот встать на ноги не могу, а как иначе без шума скрыться из гостиницы? Меж тем весу во мне хватает: когда я уцепился за раковину, она вместе с подпорками медленно отошла от стены и повисла прямо у меня над головой.

В отчаянии я опять соскользнул вниз и пополз по полу, точно собака, потерявшая кость. У кровати я сел, потом поднялся на четвереньки, потом на колени и наконец с помощью все той же верной спасительницы — кровати понемногу встал на ноги. Перчатки остались на полу, ну и черт с ними, пускай пропадают. Да и вообще куда естественней, если я пройду эдак небрежно, ленивой походочкой, руки в брюки. Только получится ли у меня ленивая походочка? Ведь я двигаюсь, будто неведомое, только что сработанное чудище с жесткими, негнущимися конечностями, которое, того гляди, кого-нибудь сокрушит или задавит. Нет, это не годится — выйти из гостиницы надо примерно так же, как я выхожу каждое утро.

Я открыл окно, напустил холоду с улицы и полчаса ходил взад и вперед по комнате. Это было невыносимо трудно. Мне казалось, у меня нет ни рук, ни ног, словно я лишился их на войне, я герой и мне дали искусственные конечности, самые грубые, а я с неукротимым, яростным мужеством из последних сил стараюсь ходить и действовать ими, как все люди, только бы снова оказаться в своем самолете, снова расстреливать фашистские бомбардировщики. Достойная задача для настоящего мужчины, и уже после первых десяти минут я обрел силу и самообладание, каких прежде в себе и не подозревал. Что творилось в Лондоне и вообще в мире, пока я был отрезан от всех этой всепоглощающей борьбой? Не знаю, ведь я занят был только этой борьбой и ни о чем больше не помнил. Через двадцать минут я вроде уже шагал, как всегда, но мне все было мало. Надо ходить еще лучше — вдруг мне только кажется, будто походка у меня стала самая обыкновенная? Нельзя рисковать — я знал, именно это упорство и отличает меня от большинства людей, они-то уже давно бы отступились. Но ведь на карту поставлена не только часть моего достояния, под угрозой оказалась и моя честь и самоуважение, а я и не подозревал, что они так для меня важны.

В последнюю минуту, когда походка была уже окончательно отработана и можно было отправляться, я из озорства схватил со стола вчерашнюю газету, сложил ее, сунул под мышку и вышел вон. Я принялся насвистывать лихой, пустопорожний мотивчик, который насвистывали в те дни все, запер номер и зашагал по коридору. Я совсем упустил из виду лестницу и сейчас старался спускаться как можно быстрей, лишь бы не загреметь по ступенькам, а все мои внутренности под многочисленными одежками скрипели и стонали, точно переборки старого парусника. Администратор, как всегда, дружески кивнул мне из-за стойки:

— Опять в поход, мистер Крессуэлл?

— Сегодня немного задержался,— с улыбкой ответил я.— Надо было написать отчет.

— Трудная у вас жизнь,— усмехнулся он.

— Бывает и потрудней,— сказал я.— Вернусь к обеду.

— Кстати, у меня для вас счет,— сказал он мне вслед, когда я повернул к выходу.— Все подсчитано.

— Я как раз в банк,— сказал я.— Расплачусь, когда приду.

Он улыбнулся.

— Спеху нет. Но он готов, так что можете спросить в любую минуту.

Я посмеялся над его добродушием, а он пожелал мне удачи. И тут у меня выскользнула газета.

Я жутко сдрейфил, но виду не подал. На мне столько всего было надето, я весил, наверно, чуть не полтонны и потому просто взял да и запихнул ее ногой под вешалку.

— Все равно она вчерашняя.

А он ничего не заметил и теперь вскинул на меня глаза:

— Что вы сказали?

— Какое холодное утро.

— Мороз,— заметил он.— Говорят, зима будет суровая.

В первом же писчебумажном магазине я купил оберточную бумагу и шпагат — решил зайти потом в уборную, снять с себя все лишнее и аккуратно завернуть. К метро я пришел после десяти, и Кундта уже не было. Кундт такой, он ждать не станет — ему время дорого. Его суденышко подхвачено бурей — и нет у него ни минуты передышки. Он вынашивал и обдумывал хитрый распорядок своей жизни, бездельной и бестолковой, наверно, как ни у кого во всем Лондоне, и каждое ее мгновение у него на счету, каждое полно смысла — да, можно не беспокоиться, что он помешает мне, и, точно заводная кукла, я двинулся к схеме линий метро.

Я доехал до Лестер-сквер и всю дорогу стоял, так как вагон был битком набит. Поднять руку и ухватиться за ремень я тоже не мог, и когда поезд останавливался и вновь трогался с места, меня кидало из стороны в сторону, и какой-то тип в котелке стал кричать, будто я толкаю его нарочно.

— В морду захотел? Так пошли со мной, когда выйду,— сказал я.— А нет — заткни хайло.

Он смерил меня взглядом, но, видно, решил не связываться, и слава богу — я был скован по рукам и ногам, он мог повалить меня одним мизинцем.

Из мужской уборной я вышел с большим свертком, одетый как всегда зимой, а казалось мне, будто одеяние мое из папиросной бумаги. У меня зуб на зуб не попадал, и я шел самым скорым шагом, хотя идти было некуда.

Только что две пары белья защищали меня, а теперь я снова вернулся из космоса на землю — младенцем, которого распеленали в трескучий мороз. Я зашел в телефонную будку и набрал номер. Ответил мне детский голос:

— Кто говорит?

— Позови Бриджит,— сказал я.

— Ее нет.

— Слушай, Смог, ты же знаешь, кто это говорит. Позови-ка ее.

Он засмеялся, и трубка брякнулась на столик. Когда подошла Бриджит, я спросил, как насчет сегодняшнего вечера.

— Они будут дома,— сказала она,— давай где-нибудь встретимся.

— Приходи к «Крэмборну», ровно в шесть. Я обедаю с матерью. Будем решать, как быть с Элфи. Он спалил консервный завод и потопил лодку. На этот раз она хочет надеть на него смирительную рубашку, но я попытаюсь ее отговорить. Это не по мне. Да, кстати, я теперь в другой гостинице. Мать явилась вчера вечером и заставила

меня переехать. Сказала, моя гостиница чересчур убогая. Мне там нравилось, но что поделаешь?

— Вот это жизнь! — вздохнула Бриджит.— Ну, надо кончать, а то тут Смог лягается. Он сует заколку в электрическую розетку.

В трубке щелкнуло, разговор был окончен.

С той минуты, как я снова похудел, дышать и ходить стало легче. Когда в тесной кабинке уборной я стягивал с себя лишние одежки, у меня было такое чувство, будто я вновь родился на свет, узнал наконец истинную цену свободе. Я перестал быть толстым, снова вступил в братство тонких, мог быстро, свободно шагать по улицам. Я забрел в Сохо, прошел мимо «Клевера». Однажды, месяц назад, я уже заходил сюда, надеялся увидеть знакомую дружелюбную морду Билла Строу, но тут его и духу не было — человека с таким именем никто знать не знал. Я, конечно, с самого начала не верил, что он и правда Билл Строу: надо быть круглым дураком, чтоб при таком прошлом назваться настоящим именем. Конечно же, он, как и я, живет под покровом своих легкомысленных врак, но сочиняет их лишь для того, чтобы другим людям легче было его понять. Он не прячется за свои враки, наоборот, с их помощью объясняет самого себя, но чтоб вступить на этот путь, надо прежде всего назваться вымышленным именем.

Я не искал его, просто шел мимо и заглянул, а через него вспомнил и про Большой северный тракт. Как-то ночью мне приснилось наше путешествие на машине: с десятком разных людей я ехал в допотопном экскурсионном автобусе, а Клод Моггерхэнгер летел над нами в своем личном серебристом бомбардировщике и то и дело пикировал на нас, и в конце концов все мы разбежались по полю, а обломки нашего шарабана пылали посреди дороги. Этот дурной сон будто хотел окончательно отодвинуть в прошлое ту поездку из Ноттингема в Лондон, и казалось, только через такой вот нелепый кошмар и можно как-то понять сумасшедший сегодняшний день.

Я прихлебывал черный кофе и думал, в какую бы киношку пойти вздремнуть до встречи с Бриджит. Но что-то неохота было сидеть среди жареных кукурузных зерен, плевков, окурков, и я пошел опять шататься по улицам. Когда денег у меня куры не клевали, я не решался сойти вниз по ступенькам стриптиз-клуба, а вот теперь, когда у меня оставалось всего ничего, я смело внес вступительный взнос, заплатил за вход и уселся; тут было еще десятка два усталых мужчин, которым негде посидеть передохнуть, больше все пожилые или иностранные туристы, которым здесь порастрясут карманы. Ко мне стала подъезжать проститутка — хотела выставить меня на выпивку, но я и не глядел на нее, ждал, когда начнется представление. Публика ворчала и шаркала ногами, а заправилы этого злачного местечка не теряли надежды, что народу прибудет. Вот еще какой-то молодчик нехотя спустился по лестнице, и тут из скрытого усилителя грянула музыка и занавес раздвинулся. На заднике была надпись: «Мисс Фелисити Лэш. Искусство красоты для мужчин и женщин». Какой-то мужчина из публики громко ухнул от восторга, и на сцене появилась немолодая женщина, одетая по моде столетней давности. У стены стояла кровать, женщина аккуратно разгладила покрывало и стала раздеваться.

Я помирал со скуки и охотно ушел бы, да податься было некуда. По-моему, такое представление скорее для женщин, чем для мужчин, и все-таки мужчинам, которые сидели в зале, оно доставило кой-какое удовольствие. Во втором отделении чинная девица читала книгу, скорее всего Библию, но, похоже, ее мысли, как говорится, заняты были другим: в нескольких шагах, в противоположном конце ком-

наты, мужчина и женщина раздевали друг дружку. Зрелище это все больше и больше возбуждало девицу — и в конце концов она захлопнула книгу...

Во всем представлении меня заинтересовала только женщина из той парочки, что раздевала друг дружку, я наверняка видел ее прежде — и не так давно. Это была Джун — та самая, что провела несколько часов в моей машине, когда я ехал по Большому северному тракту. Меня даже пот прошиб, когда я ее узнал, и я едва дождался конца представления. Наконец зажгли свет, я подозвал одного из официантов и сказал — хочу угостить стаканчиком эту замечательную артистку. Он сказал, он ей передаст и она выйдет, но, может, пока что я ему тоже поднесу? Я посоветовал ему убираться ко всем чертям, а он ответил: как бы не так. Тогда я предложил: выйдем, мол, на минутку на улицу, там разберемся, но он пропустил мое приглашение мимо ушей и сказал — если такое мое настроение, он, пожалуй, обойдется без выпивки, а мисс Бут он, так и быть, позовет, и на мои слова он не обижается, потому как он теперь видит — я из здешних парней, по разговору ясно.

Джун вышла из-за портьеры, и он подвел ее ко мне. Она вмиг меня узнала.

— Вон что,— сказала она,— а я-то думала, какой-нибудь миллионер меня сейчас озолотит.

— Надеюсь, вы оклемались после нашей поездки,— сказал я.

— Почти,— со смехом ответила она.— Но я целую неделю была не в себе.

Я прямо обрадовался ей, честное слово, будто старому товарищу, с которым мы вместе глядели в глаза смерти. Джун была последней былинкой, запах которой я вдохнул на севере, и первым цветком, который я углядел в Лондоне — не считая голландского тюльпана, именуемого Бриджит. Ее темные волосы были зачесаны назад, разделены на пробор и схвачены двумя лентами; блуза на талии завязана узлом, и между ней и короткой юбчонкой виднелась полоска голого тела.

— Как дочка? — спросил я.

— Она прелесть. Ходит в школу в Кэмден-таун. Моя подружка, с которой мы живем в одной квартире, встречает ее после обеда, а утром я отвожу ее дочку и свою. Очень удобно.

— Толково. Моя мать тоже такая. Еще и сейчас работает на фабрике.

— Скоро опять мой выход,— сказала Джун.— Но вы еще побудьте здесь. Я скажу хозяину, что вы мой знакомый. В эти часы у нас не слишком много народу.

— Кстати,— сказал я, покуда она еще не исчезла,— а как дела у Билла Строу?

Она поглядела на меня огромными глазищами.

— У кого?

— У того парня, с которым вы вместе уехали.

— А, этот! О господи. После расскажу. Не уходите, ладно?

Она застала меня врасплох, пришлось ждать. Если мне предстоит услышать какую-нибудь историю, я всегда прирастаю к месту и весь обращаюсь в слух. Один слушает, другой говорит, и уж третьему ни словечка не ввернуть, так вот, до сих пор я всегда был из породы слушателей. Хуже нет, когда схватятся рассказчик со слушателем, ведь тот, кто только слушает, хитрец, а кто только рассказывает — чересчур доверчив, и уж если они разругаются — беда: слушатель никогда не сумеет пристойно проиграть, а рассказчик — по-настоящему выиграть.

Но мой размышления были прерваны внезапно и грубо: во время следующего номера какой-то тип через два стула слева от меня принялся орать — это, мол, все обман — и требовал назад деньги.

— Они все просто шлюхи! — кричал он про Джун и других красоток. Он вскочил, и казалось, вот-вот кинется на крохотную сцену.— Жулье, в Манчестере такие штуки делают получше.

Управляющий кинулся к нему прежде меня — и, точно выбитая кегля, враз вылетел через завешенную портьерой дверь. Я рванул скандалиста сзади, обхватил полунельсоном, и он чуть было не вздернул меня к себе на спину, точно флаг на мачту: рука у меня дрогнула, ноги едва не оторвались от земли. Все же я устоял, не ослабил хватки и зашептал в его здоровущее левое ухо — заткнись, мол, будет хуже, у них тут есть свой Джек Потрошитель, он из тебя сделает отбивную котлету. После этого я его выпустил, и он тяжело рухнул на стул. Как раз подоспел еще один здоровенный детина — его, наверно, кликнули из соседнего заведения, и он бегом спустился по лестнице. С ним бежал и управляющий. А что там с девчонками по ту сторону занавеса? — подумал было я, но в этот миг манчестерский буйвол разом выпрямился и взревел на весь зал:

— Ах ты ублюдок! — и с маху мне врезал.

Едва я услыхал это ненавистное слово, я, как и в прежние годы, рассвирепел и кинулся на обидчика, саданул его что было мочи, он отлетел и наткнулся на стул. Потерял равновесие и, точно могильная плита, рухнул на управляющего и на подоспевшего вместе с ним детину, подмял их под себя — им не сразу удалось скинуть эту тушу и встать на ноги. Но тут я снова вспомнил, как он меня обозвал, и так ему двинул, что он потерял сознание. Когда он очухался, его заставили раскошелиться на двадцать фунтов в возмещение убытков, а не захочет платить, отправим в участок, пригрозил ему управляющий — тощий верзила в университетском галстуке (и по выговору тоже сразу ясно было, что из грамотных). Потом он подошел ко мне и поблагодарил.

— Пустяки,— сказал я.— Просто я боялся, этот пьяный ублюдок накинется на девчонок.

Представление продолжалось, а управляющий поднес мне стаканчик.

— Хотите у нас работать? — спросил он.— От вас только и требуется, что быть под рукой. Двадцать фунтов в неделю. Нам с самого открытия не хватает человека на это место. Надо еще, чтобы утвердил мистер Моггерхэнгер, но порекомендую вас я, так что можете не беспокоиться.

При этом имени я чуть не проглотил язык, но спросил вполне спокойно:

— А драк бывает много?

— Немало,— сдержанно ответил он.— Но в общем ничего страшного.

А почему бы и в самом деле не согласиться?

— Когда приступать?

— Вы уже приступили,— засмеялся он.— Если считать это пробой, вы ее выдержали с блеском.

Джун поздравила меня.

— Вам здесь будет хорошо,— сказала она.

— Тогда я, пожалуй, соглашусь,— усмехнулся я.— Будет, по крайней мере, где оставить мой сверток.

— А я как раз думала, чей он,— сказала Джун.

— Это мои пожитки. Мне еще надо подыскать ночлег.

Она дала мне свой адрес:

— Если ничего не найдете, переночуете у меня, в кухне на полу.

— Очень мило с вашей стороны,— сказал я. Меня не больно привлекал такой приют. Так низко я еще не падал.

— Долг платежом красен,— сказала Джун и этим меня обезоружила.

Управляющего звали Пол Дент, и я сказал ему: если он не возражает, я приступлю к работе завтра в два. Он не возражал, так что я поболтался в клубе еще с полчасика, а потом вышел на улицу свободным человеком: сверток я оставил в клубе. А все-таки работать ради куска хлеба радости мало, не для того я приехал в Лондон, но сейчас, видно, больше ничего не остается. Не один Джек Календарь считает, что от нашей сволочной системы надо урвать побольше. Он, может, только тем и занимался, ну а я хоть на прокорм постараюсь заработать. У него мозги набекрень, вот он до сих пор и радуется, что эдак развязался со своей прошлой жизнью (а может, он просто наврал с три короба?), где уж ему понять, как я понимаю, что вовсе он не прошлое отрубил, а только сам себя зарезал — и все равно опять наполовину увяз в том же болоте.

Как мы и договорились по телефону, в условленный час на условленном месте я встретился с моей красоткой Бриджит. Мы сидели в закусочной, перед ней стоял томатный сок, передо мной — черное пиво, и из ее дивных голубых глаз, таких невинно-развратных, что хоть сию минуту вали ее на постель, вот-вот готовы были брызнуть слезы.

— Ты должна мне все сказать,— убеждал я (она говорить не хотела).— Я-то без оглядки тебе доверился, рассказал все как есть. Все наши тайны, весь позор нашей семьи. Знай об этом мать, она бы очумела. Только она не знает.— Я засмеялся.— Так что пей, моя сладкая, прими еще одну дозу этого пьянящего зелья.

— Да нет, ничего такого не случилось.— Бриджит улыбнулась.— Докторша уехала на несколько дней, а Смог сегодня ночью пришел ко мне в кровать. Он это не в первый раз, ему так уютней, а когда он уснет, я отношу его обратно в его кроватку. А в этот раз я его еще не отнесла, и вдруг входит доктор и раз — содрал с меня одеяло. Он думал, я одна, и я даже не знаю, чего ему было надо. И вдруг он видит — рядом со мной свернулся Смог, засунул палец в рот и крепко спит. Он взбеленился, подхватил Смога, будто щенка, и потащил в детскую. Смог всю ночь ревел, а я не могла к нему пойти, боялась, доктор на меня бросится; ну я и сидела запершись, Смог плакал, а доктор крутил эту свою бонго-музыку. Он, видно, тоже сумасшедший вроде своих больных. Сегодня за завтраком он сказал — если я не исправлюсь, мне придется уйти. Надо мне искать другое место. Вот только посмотрю, как пройдет сегодняшняя ночь. Если будет как вчера, я уйду.

— А когда возвращается его жена?

— Не знаю. Может, она его совсем бросила.

— Он вечером куда-нибудь пойдет?

— Наверно, нет. Не то я должна была бы сидеть дома. Он у себя в кабинете что-то пишет.

— Я пойду с тобой и войду в квартиру. Останусь у тебя в комнате и буду тебя защищать. Знаю я этих типов. Им доверять нельзя. Он тебя изнасилует и зарежет. Ты ведь в Англии. У нас есть такая давняя традиция. Помнишь, я рассказывал про своего брата Элфи? Так вот, одно время к нему в Палаты приезжал психиатр. Подружился со всей нашей семьей, все его полюбили, особенно мать, и он стал у нас прямо придворным психолекарем. А раз вечером как зверь набросился на одну шестнадцатилетнюю родственницу, которая при-

ехала к нам погостить. Хорошо еще, его увидел егерь и поднял тревогу. Бедная девочка была на волоске. Да это и не удивительно. В них во всех есть что-то от Распутина. А вообще-то они славные ребята. Я против них ничего не имею. Только скромной девушке у них в доме надо быть начеку. В общем, лучше мне сегодня остаться у тебя.

— Да,— согласно кивнула она.— А завтра, может, вернется его жена, тогда мне будет не опасно. Но даже если ты войдешь, а как же потом выйдешь?

— Ну, уж как-нибудь, что загадывать заранее. Главное, пригляжу, чтоб с тобой ничего не случилось. Остальное неважно. Я попозже должен был встретиться с матерью, но это ничего. Она допоздна засидится у своих поверенных, они старые друзья, а мне к ним не обязательно. Пожалуй, мамаша была бы даже рада, если б я не пришел, только она ведь такого не скажет, воспитание не позволяет. Беда с ней: то орет на меня, как бешеная, а то уж такая деликатная и заботливая — дальше некуда. Трудно с ней, да ведь, наверно, всем нам приходится мириться с чужими слабостями.

Бриджит коснулась моей руки.

— Я люблю тебя.

— Очень рад слышать,— сказал я.— Пойдем пройдемся.

В половине одиннадцатого мы поднялись на лифте на ее этаж. Я разулся и вошел вслед за Бриджит в квартиру. Она шла по коридору к своей комнате. Все лампы горели, и я на цыпочках ступал сзади. Но вот наконец она затворила дверь у меня за спиной. Дело сделано. На радостях оттого, что сумели тайком сюда пробраться — ведь от докторского кабинета нас отделяли всего несколько дверей,— мы внезапно бросились друг к другу. Потом я откинулся на подушку и закурил, а Бриджит пошла сказать доктору Андерсону, что вернулась, а главное — прихватить для нас в кухне полный поднос всякой жратвы. Я лежал на спине, коленки торчком, а на коленях, как на пюпитре, развернул голландскую газету и пробовал разобраться в путанице непонятных слов. Пытался даже прочесть задом наперед— все равно никакого толку, тогда я взял карандаш и занялся анаграммами, выкурил одну сигарету, вторую, третью и вдруг сообразил: а ведь моей милой что-то уж очень долго нет, вряд ли это хорошо для меня, да и для нее, наверно, тоже. Я сунул ноги в туфли и отворил дверь — коридор освещен, и в нем ни души. На стене — картины: шотландский замок, окутанный туманом, дальше — жуткие трущобы Глазго и всюду на веревках сушится белье, потом — загородный английский домик. У входной двери я налетел на вешалку для шляп, и раздался такой грохот, что я в два скачка снова очутился в комнате Бриджит.

— Тебе что надо? — услышал я хорошо знакомый голосишко.

— А ты чего не спишь, непутевый?

— Я путевый,— сказал Смог.

Где-то хлопнула дверь, и я втащил его в комнату Бриджит.

— И мне сигарету,— сказал он и почесался.

— Нельзя. Тебе еще и семи нет.

— А что ты здесь делаешь?

— Жду Бриджит.

— Она, наверно, сидит на коленях у папы,— простодушно сказал он.

— А она часто так сидит?

— Только когда он ее посадит.

— Вон что.— Я с облегчением перевел дух.— А он часто ее так сажает?

— Только когда мамы нет дома. Маме это не нравится. Она из-за этого ушла. Она, наверно, ушла в больницу за разводом.

— Сдается мне, ты видишь и слышишь все на свете.

— Почти все,— сказал он.

— Знаешь, Смог, по-моему, я тебя люблю.

— И я тебя,— сказал он.

— Давай-ка иди спать. А то Бриджит увидит тебя здесь и рассердится.

— А вы будете ночью танцевать?

— Твоему папе это не понравится.

— Он потому что сам так не умеет.

— Ну, все равно,— сказал я,— давай поцелуемся и иди к себе в комнату.

Он подсел ко мне на кровать.

— У меня знаешь как скучно. Я люблю нюхать дым. Только не от сигар. Когда от сигар, я кашляю.

— Пойди погляди, где там Бриджит.

— Нет,— сказал он.— Вдруг папа меня увидит. Он сказал: только посмей встать с кровати, я тебя уничтожу, но это он шутил.

— Тогда погоди здесь, пока я вернусь. Никуда не ходи, сиди смирно.

Я пошел по коридору, заглядывая во все открытые двери. Бриджит стояла в кухне у плиты и варила кофе. Я прошел так, что она меня не заметила. Следующая комната вся была уставлена книгами, за письменным столом сидел человек и писал. У него было бледное, круглое, желчное лицо, огромная лысина и крохотные усики. Без пиджака, в галстуке бабочкой, он выглядел уж до того трезвым, усидчивым, будто готов трудиться так всю ночь. Тут же на столе стоял поднос и на нем чайник и чашка. Я уже хотел уйти, но он как раз поднял глаза и увидел меня.

— Что за черт, кто вы такой?

— Просто иду мимо.

— Ну и убирайтесь к дьяволу, не то я вызову полицию.

— Я приятель Бриджит.

— Ах, вон оно что. Тогда другое дело. Давайте-ка распрощаемся — и скатертью дорога.

— Вы не против, если я сперва допью в кухне чашку кофе? — спросил я.

— Делайте что хотите, черт подери. Только закройте мою дверь. Я занят.

Я захлопнул дверь и вернулся в комнату Бриджит.

— Ты зря бродишь по квартире,— сказала Бриджит.— Вдруг бы доктор увидел?

— Ну что ты. Я тихонько.

И мы взялись за салями, сыр и пикули, джем, черный хлеб и кофе, а на закуску Бриджит прихватила мне в гостиной сигару. Смог пировал вместе с нами.

— Вы будете жениться? — спросил он.

— Мы женатые,— сказал я.

Бриджит покраснела — вообще-то она при Смоге могла бы краснеть куда чаще. Пока Бриджит доедала свой ужин, я посадил Смога к себе на колени. Потом она уложила его и вернулась.

— По-моему, сегодня доктор не опасен. Если хочешь, иди к своей маме.

Мне это совсем не понравилось, ведь тогда придется ночевать у Джун, под благоухающей газовой плитой.

— Нет. Я останусь. Мало ли что может случиться. Я сейчас поглядел на него, он очень взвинченный. Хотя, конечно, может, ты и не боишься оказаться одна с этим погубителем мозгов.

— Ой, нет,— сказала она.— Лучше останься.

Пол Дент был прав. Жизнь в стриптиз-клубе состояла не из одних выпивок и пинков под зад. Я приходил к двум дня и уходил около часу ночи, с перерывом часа на два перед вечером. Сколько я там продержусь, сказать было трудно, наверно, пока не надоест. Иной раз случалось пускать в ход кулаки, и это была самая неприятная часть работы. Не то чтобы я трусил, хотя всякий разумный человек на моем месте мог бы и испугаться. Просто мне было не по нутру коршуном налетать на какого-нибудь дебошира — либо совершенного осла, либо уж до того пьяного, что он позволял, чтоб с него содрали десять фунтов за убытки, которых он вовсе и не причинил. В общем, я решил распрощаться с этим заведением, как только подвернется какое-нибудь такое же бессмысленное занятие.

Немного погодя я опять остался ночевать у Бриджит и рассказал ей, какая у меня работа. Доктор уехал к своей любовнице, а Смог крепко спал после утомительного школьного дня и пяти скандалов, которые он успел закатить между чаем и сном.

— Сегодня я окончательно порвал с матерью,— сказал я, закуривая гаванскую сигару.— И очень рад. Отказался от всего — от богатства и от всех связей с семьей. Мать хотела, чтоб я подписал кой-какие бумаги, а я швырнул их ей в лицо. Не могу я весь век, будто сутенер какой, жить за счет трудящихся, на доходы с земли и прочей недвижимости. Не подходит мне это, крошка. Мать, конечно, разъярилась, ведь я пошел против всех ее святынь и принципов. Ничего подобного еще не бывало. Никто никогда не решался на это, да еще с такой легкостью. Бедняга Альфред даже умом повредился, а не пошел поперек ее воли. Мать меня и этим шпыняла. Ох и крику было, но я стоял на своем. Ну, и вот теперь я остался без гроша, без крыши над головой. Счастье еще, что нынче я получил работу — буду помогать в одном увеселительном клубе, его содержит мой приятель. Работа не больно завидная и рабочий день длиннющий, зато ни от кого не буду зависеть, а это для меня сейчас важней всего. Конечно, я бы всегда мог получить у матери тысчонку-другую в год и ни к чему бы это меня не обязывало, только не хочу я замарать себя даже такой малостью.

Мне уж стало казаться, что у Бриджит каких-то винтиков не хватает: надо же, верит всем моим россказням! А может, я здорово насобачился врать? Да нет, это я только ей здорово вру, а раз так, наверно, мы просто немного влюблены друг в дружку, не то мои байки не имели бы никакого успеха. Мы доверяли друг другу, и потому, что бы я ни нагородил, все не имело значения.

Я ходил в клуб каждый день, но чем дальше, тем меньше проводил там времени, и хотя по-прежнему думал бросить эту службу, но она уже не так меня тяготила. Вторым вышибалой там служил Кенни Дьюкс, в прошлом боксер среднего веса. Теперь он растолстел, от развратной жизни потерял форму, кожа у него стала розовая, светлые волосы наполовину вылезли, одевался он лихо, и от него всегда несло духами. Девчонки, работавшие в клубе, его боялись, хотя с виду он был вроде мягкий и даже кроткий. По-моему, такой может держать канареек, любовно их растить, а в недобрый час покажется ему, будто его обижают, так он, чтоб отвести душу, с наслаждением свернет им шею. Потом, наверно, ревет в три ручья, а наревевшись, чувствует себя другим человеком. Джун говорила, он не

боится никого, кроме Клода Моггерхэнгера, но того все боятся, прибавила она, хотя почему, она не знает, с ней-то он всегда мил и обходителен.

— А ведь это он хотел разбить мою машину в лепешку, когда мы ехали в Лондон,— сказал я.

У нас обоих выдался свободный часок, и мы сидели в забегаловке и потягивали коньяк.

Джун рассмеялась:

— Да. Я тогда сразу его узнала, только не стала говорить. Это он смеха ради хотел согнать вас с дороги, потому что увидел меня.

— Ух, черт! — изумился я.— Да кто ж он вам?

— Любовник.

— Ну, так учтите, я-то его не боюсь. Буду в большой машине, попадется он мне на дороге, постараюсь отплатить ему тем же.

— Да он просто хотел позабавиться,— сказала Джун.— Уж поверьте. И вообще, вы же теперь на него работаете. Он хороший человек, хотя в этом квартале его и не обожают.

Раз он ее любовник, я не мог уж очень на него наваливаться и предпочел прикусить язык.

— А помните Билла Строу? — спросила Джун. Я кивнул.— Ну так вот, когда мы бросили вас в Хендоне у разбитого корыта, он поехал со мной на метро и напросился проводить до моей квартиры в Кэмден-тауне. Я говорила, не надо, но он не послушался, а когда мы пришли, там уже сидел Клод и ждал меня. В дверях Билл хотел меня поцеловать, я сказала, чтобы он не дурил, а он взял и ввалился в комнату. Клод встал и пошел ему навстречу. Билл узнал его и побледнел, как смерть. У него прямо челюсть отвисла, стоит и держит мой чемоданчик — он любезно его нес всю дорогу. Клод вынул несколько полукрон и дал ему, будто носильщику, а потом легонько толкнул, так что наш Билл вылетел в дверь и повалился на спину. С тех пор я его не видела.

И я подумал: так этому подонку Биллу и надо,— обрадовался случаю, бросил меня в беде с развалившейся машиной и даже не подумал помочь.

— Еще объявится,— сказал я.— Он, когда ехал в Лондон, надеялся получить с кого-то несколько тысчонок наличными.

— Лучше ему не совать сюда носа, когда здесь Клод,— сказала она.— Клод — собственник. Он будет недоволен, даже если увидит меня здесь с вами, хоть и знает, что вы меня тогда подвезли. Он не желает, чтоб я спала с другими мужчинами.

Клод Моггерхэнгер оказался легок на помине — и недели не прошло, как наведался в клуб проверить, хорошо ли идут дела. Увидел меня у дверей и наверняка сразу узнал: уж очень свирепо он на меня уставился. Я ответил ему тем же. Через десять минут меня тронул за локоть управляющий и сказал — меня, мол, хочет видеть мистер Моггерхэнгер.

— Зачем? — резко спросил я.

— Не знаю,— ответил он на ходу.— Может быть, хочет дать вам работу.

— Я и так работаю.

— Постарайтесь показать себя с наилучшей стороны,— сказал управляющий. Он был такой бледный, серьезный, я даже засмеялся.

Моггерхэнгер заполнял собой весь крошечный кабинетик, и сразу было видно, кто здесь хозяин.

— Я тебя помню, Майкл. А ты меня?

— Да,— отвечаю.— Я хорошо вас разглядел.

— Так вот, Майкл, лучше нам с самого начала определить наши

отношения. Я думаю, доверять тебе можно. По крайней мере так говорит мистер Дент. Кроме того, ты здорово водишь машину, в этом я сам убедился. Хочу дать тебе работу лично у меня. Доктор говорит, язва моя разыгралась вовсю, и, хотя водить машину для меня одно удовольствие, он советует взять шофера. Предлагаю это место тебе, если только у тебя есть права и нет судимостей.

Я уже хотел сказать, об этом, мол, он может не беспокоиться, но он поднял руку — всю в кольцах — и сказал:

— Молчи и слушай. Во-первых, будешь звать меня сэр — усек? Дальше: получаешь комнату в моем доме в Илинге. Годится? Жалованье то же, что и здесь. Согласен?

Я не успевал слова вымолвить, только коротко кивал.

— Если считаешь это повышением, тогда мы поладим,— продолжал Моггерхэнгер.— От тебя требуется немного: классно водить машину и соблюдать верность. Иначе говоря, держи язык за зубами. Чтоб все видеть, все слышать — и никому ни звука. Распустишь язык — останешься без языка. Болтунов не держим. Понятно?

— Да, сэр.

— Молодец,— сказал он.— Будешь стараться — далеко пойдешь!

Ну и вот. Так я стал личным шофером самого богатого и самого могущественного лондонского гангстера.

Мистер Моггерхэнгер поселил меня под самой крышей в своем большом доме в Илинге. Апартаменты эти, как он выражался, представляли собой комнату с покатым потолком, вечно приходилось гнуться в три погибели, точно углекоп в забое, не то на голове мигом вспухнет шишка. Была тут кой-какая разномастная, уже не нужная в доме мебель, и мне ее вполне хватало. Пол — дощатый, в белых кляксах: какой-то придурок вздумал красить стены и заляпал все вокруг.

Едва я водворился на новом месте, Моггерхэнгер велел мне сесть за руль «бентли» и часок поездить, освоиться с незнакомой машиной. Мне казалось, я сижу не в машине, а в просторной гостиной. Тут можно было встать чуть не во весь рост, а если не сдрейфишь, гони со скоростью больше ста миль в час. Я сидел за рулем и только о том и думал, как бы привести машину обратно в целости-сохранности. В тот первый раз я хотел одного: поскорей вывести ее на кольцевую дорогу, за город, где движение поменьше. Поначалу я вел ее осторожно, но быстро заметил, что ее мощность и скорость, а уж вид — и подавно, внушают страх и почтение чуть ли не всем встречным водителям. Если я хотел, чтоб какой-нибудь коммивояжеришка в своем новеньком драндулете посторонился, мне стоило только прибавить ходу, словно я готов смять его в лепешку, и рано или поздно он непременно уступал дорогу. Иногда не сразу, но все-таки уступал. Опасаться можно было только владельцев заграничных машин: эти свято верили в превосходство своей машины над всеми английскими и сдуру или из упрямства нипочем не желали убираться с дороги — вот тогда приходилось тормозить. Но я не злился на них, по-своему они были правы: чего ради уступать какому-то пижону только потому, что он уселся в «бентли», да притом «бентли»-то чужой?

Если Моггерхэнгер сидел со мной на переднем сиденье, он распоряжался так, будто сам вел машину.

— Давай, давай,— говорил он.— Жми, не стесняйся — тогда проскочишь, пока не зажегся красный. Обгони вон тот «купер». Сразу видно, этот ублюдок корчит из себя самого господа бога. Вот так и

держи, тогда на следующем повороте стукнешь его и прижмешь к обочине.

Ночью, когда мы возвращались с его фермы в Беркшире, он говорил:

— Этот псих забыл промыть фары. Обгони его, Майкл. Вильни поближе, пускай наложит в штаны со страху. Чиркни по нему, как по спичечному коробку, пускай его зажжется. С удовольствием раскошелюсь на банку эмали для нашей машины.

— Да, мистер Моггерхэнгер,— говорил я, но никаких этих подлостей с попутными машинами не проделывал, разве только они и впрямь того заслуживали и можно было их проучить без всякого риска для себя.

Но Моггерхэнгеру нравилось почесать язык — ну и на здоровье. Если б я принимал его болтовню всерьез, он бы в два счета вышвырнул меня вон, это уж как пить дать, ну, а я просто глядел прямо перед собой, а что у меня на уме, по моей морде нипочем не прочтешь — этому я живо научился и знай твердил одно: «Да, мистер Моггерхэнгер» и «Нет, мистер Моггерхэнгер».

Одно было нехорошо: он без конца рыгал, и оттого в машине всегда воняло. Улыбаться мне не разрешалось, приходилось терпеть. Поначалу ему вроде было из-за этого неловко, раза два он даже сказал:

— Я только тогда и здоров, когда рыгаю, Майкл. Мне не рыгать — все равно что не дышать.— На полном серьезе сказал.

Чаще он усаживался сзади, а на коленях держал портфель и пачку газет. Всякий раз, как приходилось добрый час ждать его у адвокатской конторы, я утыкался в них носом, а тут были все утренние газеты, и теперь я всегда был в курсе новостей и скандальных происшествий, это вроде как стало частью моей работы.

Во время дальних поездок на Моггерхэнгера иногда нападала охота порассуждать.

— Самая большая роскошь в нашей жизни — это когда у тебя не одно жилье, а несколько. Все остальное ерунда. Можно есть хлеб с подсолнечным маслом и ходить в отрепьях, но если у тебя и там и сям свое жилье, да в придачу к нему пяток паспортов, тебе уже никто не страшен. Вот только мне никак нельзя ходить в отрепьях, не то меня ни в грош не будут ставить, и обед поневоле уминаю из четырех блюд, не то подумают — плохи мои дела и хватка у меня уже не та. И ходить всюду пешком или ездить автобусом мне тоже нельзя: с делами не управлюсь, ничего не успею. Но у меня по крайней мере есть квартира в городе, загородный дом в Беркшире, бунгало в Корнуэлле и шале на Мальорке, да еще гнездышко в Илинге и домишко в Кенте. Вот это собственность, Майкл, без дураков. И при каждом жилье — машина. Если мне вдруг изменит удача, всерьез изменит, я могу тихо-мирно прожить на это до конца дней. Жене моей это, понятно, пришлось бы не по вкусу, а моя неженка дочка и вовсе на меня бы взъелась, но уж если до этого дойдет, у меня в Швейцарии припрятана кой-какая мелочишка, хватит, чтоб их утихомирить. Все это у меня взвешено и решено, одного только не знаю: сколько весит мой кулак. Это другим виднее, да они нипочем не скажут, потому как тогда им и костей не собрать. Ты не думай, Майкл, вовсе я не считаю, будто с людьми иначе нельзя. Я не зверь. Одним насилием всего не добьешься, и не всегда оно годится. Прежде я только на него и полагался, а потом вижу — чаще всего оно без надобности. Главное, все знают — рука у меня тяжелая, и этого довольно, все к моим услугам. Иной раз, понятно, приходится накосты-

лять какому-нибудь бедолаге или вспороть шкуру, все равно — за дело или без дела, не то подумают, у меня теперь кишка тонка. Я чем дальше, тем лучше обхожусь крепким словцом да грозным взглядом, об меня всякий обломает зубы, это мне теперь самому себе и то не больно нужно доказывать. Такая уж она жизнь. Меня таким война сделала или, может, война только помогла. Мне тогда было уже под тридцать, и столько за мной числилось всякой уголовщины, даже армия и та отвернула от меня нос. Для меня-то война вовремя началась. А когда кончилась и я увидал, что она с людьми натворила, я подумал: лучше бы ее не было. Такого я не ждал, Майкл. Такого никто не ждал. Но все равно я ею воспользовался — что мне еще оставалось? Таким уж меня сделали — и я сам, и другие. Ты не думай, я своему отечеству не враг. Я не хуже других, такой же англичанин... Ну, может, не до мозга костей. Просто я помогал переправлять кой-какое продовольствие куда следует и устраивать всякие развлечения — без нас нашим клиентам ничего бы такого не видать как своих ушей. А люди-то ведь все на один манер. Недвижимость шла по дешевке — вот я и ухватил несколько лакомых кусков. Дальше — больше, дела мои шли на лад, и теперь, когда иной раз по ночам не спится, я твержу себе: вон, мол, сколько у меня денег, ну, округляю, конечно. Хочешь — верь, хочешь — нет, а это и впрямь успокаивает. Богатство — хорошая надувная подушка, держит на плаву. Если б не все эти деньги, я бы спятил. Но я не спячу, Майкл, дудки, так что смотри не переметнись на другую сторону. В пятьдесят лет, в самом, можно сказать, расцвете я нажил язву — кто ее знает, откуда она взялась. Всю жизнь, стоило мне глянуть на человека, я сразу видел, можно с ним иметь дело или нет. Да только, наверно, меткий глаз — штука вредная, от него у меня за столько лет и разъело нутро. И теперь мне уже сама язва говорит, с кем стоит вести дела, а с кем — нет. Как схватит — не то чтоб невтерпеж, а все-таки, бывает, я здорово ее чувствую. Если погляжу на человека и язва молчит, стало быть, человек подходящий. А схватит — зову подмогу, чтоб силком содрать с него, что требуется. Язвомер у меня первый класс, Майкл. Надо патент на него взять. Может, всякому не худо завести такое у себя в кишках. Умей из всего извлечь пользу, особенно из плохого, хорошее — оно всем помогает, а ты старайся, чтоб тебе и плохое шло впрок. Но не думай, я от жизни получаю далеко не все. Этим и не пахнет. Во-первых, я даже не знаю, чего хочу. Знаю только, чего у меня нет. Можно подумать, это одно и то же, а на самом деле — ничего подобного. Вот нет у меня до сих пор сына. Я, конечно, не ем себя поедом, а все ж нет-нет да и куснет обида. Дочерей полно — правда, законная только одна. А вот сына еще не было, хотя, говорят, от настоящего мужчины как раз дочери и родятся. А у меня их столько всюду порассыпано, и уж я всегда знаю, когда ребенок мой: раз дочь, тут и сомневаться нечего. Если у какой-нибудь моей бабенки родится сын, я точно знаю: обманула меня. И уж я так ее отделаю — сама себя не узнает, ну а настоящему папочке, сутенеру ее, еще не так достанется. Только это все одна трепотня, Майкл. Теперь я редко даю волю рукам, все больше языком действую, но и этого хватает, а уж если не хватит, так я живо научу кого надо уму-разуму.

Вскоре он и впрямь попытался кого-то поучить на свой манер и угодил за решетку по обвинению в вымогательстве. Сперва я обрадовался, что великий Моггерхэнгер наконец загремел, хоть и слушал его всегда с восторгом. Ну, думаю, и работа моя тоже полетит к чертям, только вдруг он подкатывает на такси и вваливается в дом: отпустили под залог в пять тысяч фунтов. И право слово, я рад был его

увидать. Жена прильнула к нему, будто он двадцать лет отсидел в тюряге.

— Пора тебе все бросить, Клод,— сказала она.— Чтоб ты больше не имел касательства к таким делам.

Она, видно, воображала, будто он директор-распорядитель какого-то добропорядочного предприятия и пострадал из-за махинаций разной мелкой сошки.

Он и сам так ей все представлял:

— Нет, Агнесса. На кого же я все оставлю? Ведь все тогда пойдет кувырком. От меня зависит слишком много народу. Не волнуйся, дорогая. Все образуется. Им нечего мне предъявить, и они это знают. Они изредка пробуют сфабриковать какое-то обвинение, думают, а вдруг попадут в точку. Но все зря. Просто сыскному инспектору Лэнторну не хватает ума оставить меня в покое. Надо же ему иной раз проявить рвение, показать себя главному инспектору Джокстрэпу, а вообще-то он малый неплохой. Я многим ему обязан, не стоит сейчас распространяться...

Тут он заметил, что я прислушиваюсь, и хоть я знал — он мне доверяет, врожденная осторожность заставила его замолчать. Надо сказать, мы с ним чуть что не подружились, хотя, понятно, кой-какое расстояние сохранялось. Была в его рассуждениях эдакая жесткая мудрость, но по молодости и глупости я не мог себе представить, что и сам тоже когда-нибудь обрету ее. Не скажу, чтоб я хотел стать таким, как он, нет, слишком уж он был страшен, но все равно я им восхищался.

Одно только досаждало Моггерхэнгеру: когда его отпустили под залог, ему запретили выезжать из города, а он, истый игрок, очень надеялся, что его борзые — Длинный Том и Авель-Каин будут участвовать на собачьих гонках в Девоне. Ему важен был не только изрядный выигрыш, главное — чтоб его великолепные псы еще больше прославились: когда они выдохнутся и он захочет их продать, можно будет взять за них подороже. Он бесился из-за этого дурацкого запрета целыми днями, пока я возил его из одного клуба в другой, и вечерами по пути в Найтсбридж — там я по нескольку часов дожидался в машине у одного дома, а потом Моггерхэнгер выходил усталый, отрывисто отдавал мне приказания, но я сразу видел: собой он доволен. Он всегда так: мечется, проклинает свое невезение, а это прочищает ему мозги, помогает сообразить, как половчей обтяпать новое дельце. Он решил пригласить инспектора Лэнторна на обед, и в семь часов меня послали за ним в полицейский участок, чтоб я доставил дорогого гостя в Илинг.

Лицо у инспектора было замечательно тем, что его нипочем не запомнишь — таких лиц сотни. Сам длинный и тощий, как жердь. Весь он был какой-то тусклый, неприметный, в сером костюме, и глаза тусклые, стеклянные, такого в толпе, особенно в английской, просто не заметишь, тут он как рыба в воде, и чем больше я на него глядел, тем ясней видел: он ужас до чего похож на рыбу, никаких других черт у него в лице не отыскать.

Он спустился по лестнице, и, как мне и было велено, я выскочил из машины и распахнул перед ним заднюю дверцу. Он сел и даже спасибо не сказал. Что у них там было за обедом, мне вовек не узнать. Я прохаживался по газонам, и из окон то и дело слышно было, как там чокаются и эдак грубовато по-приятельски смеются. Я думаю, немногие могут похвалиться, что они обедали и напивались за столом у Моггерхэнгера, но когда в тот вечер я вез Лэнторна к нему домой в Уимбли, он всю дорогу распевал «На бегах в Кемп-тауне»,

даже когда вылез из машины и навалился на крохотную калитку, так что она прямо затрещала.

Через два дня меня позвали в шесть утра и велели везти их на собачьи бега в Девон. За час Лэнторн и Моггерхэнгер не произнесли ни слова, они удобно расположились на заднем сиденье, укутались в пальто и даже ни разу не взглянули на зловещую кроваво-красную зарю. Два холеных борзых пса растянулись у их ног и время от времени зевали — разинут пасть, потом щелкнут челюстями, точно ножницами, а пасти такие огромные — того гляди, целиком автомобиль проглотят. Так мне представлялось, когда они, зевая, громко взвизгивали — даже сквозь шум мотора слышно было. От Уимбли я поехал на юг, и небо было до того яркое, красное, словно господь бог перерезал себе глотку и залил кровью весь мир. В общем, обычная сырая и недобрая лондонская заря, и в Хестоне я с радостью свернул на Большой западный тракт и оставил ее у себя за спиной.

Я гнал со скоростью пятьдесят, а то и шестьдесят миль, а разрешалось там не больше сорока — интересно, что на это скажет полицейское начальство, которое расположилось на заднем сиденье? Начальство помалкивало — ну, думаю, ладно, может, нас нагонит патрульная машина и арестует, полюбопытствует, почему это мы так спешим. Погляжу, какими глазами они тогда посмотрят друг на друга. Машин на шоссе было не густо, и я подумал: хорошо бы я вообще катил один и чтоб на несколько сот миль ни спереди, ни сзади — ни души. Будь я королем, я бы издал указ, чтоб в такие-то и такие-то дни мои подданные не появлялись на магистрали, и тогда садился бы вместе со своим премьер-министром, военным министром и начальником полиции в мощный «роллс-ройс» и на самой большой скорости мчался куда вздумается. А пока на английских магистралях порядочный шофер каждую минуту рискует головой. Эта поездка была отличной школой для моего самообладания: мчишься вроде из одного города в другой, а это все Лондон, и ему нет конца, охота ругаться на чем свет стоит, да из-за пассажиров приходится молчать. А тем двоим на заднем сиденье и горя мало. Наконец Моггерхэнгер раскатисто рыгнул, и тогда Лэнторн шевельнулся и спросил:

— Что вы сказали?

— Ничего не сказал,— ответил Моггерхэнгер.

Услыхав голос хозяина, Длинный Том прыгнул к нему на колени, но тот брезгливо его согнал. Моггерхэнгер поставил на своем, только это и было важно для него и всей его шатии. Сперва он спросил Лэнторна, может, тот махнет рукой на инструкцию и позволит ему на денек отлучиться, свезти своих любимых собак на бега в Девон? Поначалу Лэнторн вроде даже прикидывался, будто ничем не может этому посодействовать, но потом смягчился, только поставил условие: он самолично будет сопровождать Моггерхэнгера, да притом поставит на хваленых моггерхэнгеровских псов и, может, кой-что выиграет. Моггерхэнгер поклялся, что они выиграют любые гонки, и уж я-то знал — так оно и есть. Не могли они не выиграть, и я готов был поставить на них все до последнего гроша. Утром перед отъездом я видел: Клод сунул в свой чемоданчик допинг и шприц с иглами, хотя Лэнторн про это, может, и не знал. Да нет, экий я дурак, как же он может не знать, ясно — знает, Джеймс Лэнторн и Клод Моггерхэнгер друг друга стоят, оба — мошенники самого крупного калибра, это я понял, когда гнал к Бейсингстоку со скоростью шестьдесят миль в час. Если и был в нашей машине ангел, так только я, и я твердил себе: гляди, мол, не возгордись, это уж ни к чему.

Лэнторн, должно быть, не спал; когда нас обогнал какой-то «ягуар», он сказал:

— У этого подонка скорость больше семидесяти. Будь я в полицейской машине, я б его задержал.

— Ужас что за нахалы разъезжают нынче по дорогам,— сказал Клод.— Моя бы воля, я поднял бы цену на машины до десяти тысяч фунтов наличными, а нет у тебя таких денег, ходи пешком или садись в автобус. Сразу бы полегчало. А становится все хуже и хуже.

Он достал бутылку коньяку и серебряный стаканчик, налил до краев и передал Лэнторну, а тот молча его осушил.

— Как насчет карт? — спросил Клод. И тот, наверно, кивнул: я слышал, открылся чемоданчик, зашелестели карты — их тасовали уверенной рукой. На меня пахнуло сигарным дымом, донесся звон монет.

Я остановился перед светофором и обернулся было, хотел посмотреть, какая игра, но Моггерхэнгер рявкнул:

— На нас не глазей и разговоры наши не слушай. За то тебе и платят. Не за то, что правишь. Править всякий дурак может.

Довольный собой, он засмеялся, засмеялся и Лэнторн, тут как раз дали зеленый, я в сердцах рванул машину, карты у них чуть не смешались. Уж не знаю, почему Моггерхэнгер не полоснул меня бритвой по шее или не уволил тут же, не сходя с места. Видно, ему вдруг подфартило, и теперь уже Лэнторн приуныл. Мы остановились перекусить, и я подумал: из них двоих Моггерхэнгер куда больше смахивает на фараона — самый что ни на есть несгибаемый полисмен. Мы закусили, выпили чаю, и все повеселели.

В одиннадцать часов, уже недалеко от стадиона, я услышал — они спрятали карты. Моггерхэнгер был явно не в духе: он проиграл пять фунтов. Понятное дело, миллионер проигрывать не любит, а о потерянных деньгах горюет куда больше какого-нибудь бедняги, у которого утекли последние гроши.

— Отыграетесь на обратном пути,—дружелюбно сказал Лэнторн.

— Отыграюсь, черт возьми,— пообещал Моггерхэнгер.— А сейчас пора заняться псами,— прибавил он.— Держите этих стервецов.

Взвизгнула одна собака, другая, потом шлепки по собачьему заду — чтоб снадобье лучше всосалось, и оба мои пассажира решили: теперь полный порядок.

Так оно, в общем, и оказалось. Они пошли делать дело, а мне велено было ждать. Я попросил Моггерхэнгера поставить мои десять фунтов на Длинного Тома — ведь сам-то я не могу пойти на бега. Он схватил деньги и сказал, что уж постарается, но вообще-то не годится мне привыкать к азартным играм, эдак и погубить себя недолго. Лучше послал бы эти деньги матери, уж она бы потратила их с большим толком. В собаках клокотала энергия, и они тащили его за собой, не то Моггерхэнгер проповедовал бы еще целый час.

Я пошел в закусочную и взял бифштекс с картофельным пюре, капусту и хлебный пудинг. С такими типами не угадаешь, когда еще удастся поесть. Они на этих псов до того бешеные деньги ставят, что им уж вроде не до еды. Потом я сидел в машине, слушал по радио музыку, читал газету, курил, после этого растянулся во всю длину на сиденье и часок поспал, а поодаль, на стадионе, время от времени объявляли победителей, оттуда доносились восторженные крики и шум.

В четыре часа появились Моггерхэнгер и Лэнторн, оба красные, полупьяные от выпитого вина и от успеха своей затеи — вот ведь как удачно скатали, а теперь все уже более или менее позади.

— Ну, Майкл, двигаем к дому,— сказал Моггерхэнгер и впихнул в машину собак, обмякших, как пустые мешки.— Поторапливайся,— весело скомандовал он.— Жми. Возвращаемся с богатой добычей.

Здорово мы их обчистили, а, Джимми? — прибавил он, когда они уселись, и подтолкнул Лэнторна локтем.— Это уж точно. Можешь радоваться, Майкл, за эту поездочку у тебя прибыла сотняга-другая. Здорово, а? Везучий он парень, верно я говорю, Джим?

— Да уж,— усмехнулся Лэнторн.

И мы взяли курс на восток, туда, где собирались грозовые тучи. Остановились мы в каком-то уилтширском базарном городке под названием Пигминстер, выпили в гостинице чаю. Собаки после гонок уснули мертвым сном, а теперь проснулись и пошли за нами в гостиницу; администратор оказался ярым любителем борзых, пришел от них в восторг и позволил им улечься подле нашего стола. Моггерхэнгер налил в два блюдца — мое и свое — чаю и поставил на пол. Собаки жадно лакали, и мы спросили еще чаю — всем до чертиков хотелось пить. Моггерхэнгер и Лэнторн были все еще под мухой, без конца ржали, и их гогот гулко отдавался в большой комнате, где никого, кроме нас, не было. Моггерхэнгер целиком кидал сандвичи с огурцами в собачьи пасти, и псы заглатывали их, щелкая челюстями, точно крокодилы. Глаза у них горели жадностью, бока ходили ходуном; если б сейчас их не накормили, они, кажется, тут же подохли бы.

Я тоже взбодрился и повез всех дальше. Моггерхэнгер опять затеял игру в карты, но оба они сорвали такой солидный куш на бегах, что карты их уже не увлекали. Я попытался было подсчитать, сколько же они заграбастали, да не смог. Если уж я выиграл две сотни, так они наверняка получили вдесятеро. Но вдруг ветровое стекло стало рябое от дождя — тут уж было не до подсчетов, и я включил дворники. По небу катились низкие серые тучи, зато движения здесь, можно сказать, не было никакого, и я несся со скоростью семьдесят миль в час — на такой узкой и скверной дороге это совсем не плохо.

Собаки поднялись и стали царапать когтями по ковру.

— Помочиться хотят,— сказал Клод.— Остановись, как только сможешь, Майкл.

Неподалеку от Стоунхенджа была площадка для стоянки, и, едва я открыл дверцу, собаки вырвались из машины с такой силой, что я шлепнулся в мокрую траву.

Я подошел к собакам, хотел отвести их в машину, но Длинный Том подпрыгнул, перевернулся в воздухе, что твой акробат, а когда очутился на земле, морда его глядела в противоположную сторону и он кинулся обнюхивать одно дерево за другим. Я подошел к Авелю-Каину, а он щелкнул челюстями, хотел цапнуть меня за руку, но, видно, решил, она не больно вкусная, и кинулся вслед за Длинным Томом.

Я наклонился, протянул руку, будто на ней кус сырого мяса лежит, и тихонько пошел за ними, ласково их окликая. Псы обернулись, вроде заинтересовались, а на самом деле просто решили меня помучить — враз отвернулись, проскочили через живую изгородь и кинулись в поле. Я — за ними и слышу, позади свирепо орет Клод. Лэнторн, задремавший было, очнулся, и они побежали: один — влево, другой — вправо, а я помчался прямо. Туфли и брюки у меня намокли, а дождь припустил сильнее.

Собак и след простыл, но мы не прекращали погони — уверены были, что они где-то здесь, в пределах нашей непрочной сети. С одного боку до меня доносился кашель Лэнторна, с другого — ругань Моггерхэнгера. Было сумрачно, тихо, только мы кричали — звали собак да изредка с дороги, от которой мы быстро уходили все дальше, доносился негромкий рокот проносившейся мимо машины. Мы боялись: вдруг собаки повернут назад и проскочат на дорогу — ведь там

машины. Но похоже было, они по-прежнему где-то впереди и удирают от нас все дальше. Я стал думать, что работа моя — не сплошь сахар и, если погоня затянется, я не поспею на свидание с Бриджит. Из-за непредвиденных моггерхэнгеровских дел я не виделся с ней уже несколько дней, и мне не терпелось прикорнуть подле моей подружки.

Резкий ветер и унылый дождь разогнали эти веселенькие мысли.

Я бегал среди дольменов, и легкие у меня трещали по всем швам. Прыгнул вперед, упал, растянулся на мокрой земле и мелких камнях и высыпал на растреклятых друидов всю брань, какую только знал. Моггерхэнгер и Лэнторн дожидались в разных концах поля у ограды.

— Держи его! — кричал Клод.— Давай, Майкл, давай! Поймаешь — в накладе не останешься. Молодец. Молодец.

Я сворачивал, петлял, кидался то взад, то вперед, то вправо, то влево, вертелся на месте, опять бежал, описывал круги, расшиб руку о каменный столб и, когда на миг остановился и лизнул ее, почувствовал во рту вкус крови. Дождь лил как из ведра. Лэнторн вернулся к машине, сказал, надо подвести ее поближе: легче будет втолкнуть в нее собак, когда поймаем.

Подлые твари совсем осатанели. Я уж не рад был и двум сотням, пусть бы эти черти ими подавились. Я совсем было решил — хватит с меня, все равно их не поймать, но тут за ограду вступили Моггерхэнгер с Лэнторном, а за ними и сторож, только в облаве он не участвовал, стоял в сторонке и ухмылялся. А между тем собаки стали поспокойней, наверно, зелье, которое им вкатили перед гонками, уже перестало действовать. Может, они теперь вконец выдохнутся и мы сумеем втащить их в машину, точно две груды сонного мяса.

Вдруг у них опять прибыло сил, и они умчались от нас. А мы опять заметались безо всякого толку. Лишь бы они не выскочили за ограду Стоунхенджа, тогда лови их по всему Уилтширу. Если они отсюда вырвутся, пиши пропало: нельзя же дать объявление в газете, что они сбежали, раз Моггерхэнгер не имел права выезжать из Лондона. Вряд ли Лэнторн ему позволит заявить о пропаже, ведь тогда он потеряет работу — разве что Моггерхэнгер сам возьмет его на службу и положит такое же жалованье.

Мы гонялись за собаками дотемна и уж совсем валились с ног, а поймали в конце концов только Длинного Тома, и любящий хозяин яростными пинками затолкал его в машину. Авель-Каин как сквозь землю провалился. Мы рыскали до полного изнеможения, исколесили всю округу, прочесали ее не хуже военной поисковой партии. Моггерхэнгер ценил эту сволочную зверюгу на вес золота, но чтоб ее теперь изловить, и впрямь нужна была воинская часть. В девять часов мы сдались и, угрюмые, не в силах произнести ни слова, уселись в пивной.

Моггерхэнгер сказал: завтра, едва развиднеется, надо продолжать поиски, а Лэнторн сказал — невозможно, ведь он покуда под залогом. Я думал, Моггерхэнгер тут же, не сходя с места, его прирежет и мы удерем, но он опрокинул еще рюмочку коньяку, побелевшие было от злости губы его растянулись в улыбке, и он опять стал похож на человека.

— Плачу еще несколько сот сверх тысячи, которую вы получили сегодня.

— Не могу, приятель. Завтра возвращается главный, и тогда мне несдобровать.

Моггерхэнгер подъезжал к нему и так и эдак, но Лэнторн только тверже стоял на своем. Это вовсе не значило, что он и впрямь не мог спустить Клода с крючка. Мог и знал, что может безо всякого

риска. И Моггерхэнгер тоже это знал. Но почему-то Лэнторн уперся, и тут уж ничего нельзя было поделать. Мрачные, мы возвращались в Лондон, дождь лил как из ведра, мы будто и не ехали, а в лодке плыли. Час был поздний, движение на дороге небольшое, но последний перегон, уже около полуночи, я вел машину на одних нервах. Сзади не слышалось ни шелеста карт, ни бульканья коньяка, от такой тишины я чуть не уснул. В одном месте я проехал прямо на красный свет, но все обошлось. Сзади лишь изредка жалобно подвывал Длинный Том — он уже начал скучать по своему дружку, притом, наверно, у него еще ныли бока от моггерхэнгеровских пинков. К тому времени, как мы доехали до дому, Лэнторн, должно быть, чувствовал, что его сейчас люто ненавидят, и, если он имел хоть какое-то касательство к суду (а он конечно же имел), он, наверно, только и мечтал, как бы припаять Моггерхэнгеру самый долгий срок, какой полагается за все, к чему по закону можно прицепиться. Моггерхэнгер и сам это понимал, но я надеялся — он как-нибудь да вывернется, ведь из двух негодяев, которых я вез домой, я твердо знал, на чьей я стороне. Наверно, отчасти из-за этого Моггерхэнгер и взял меня на службу, он быстро во мне разобрался и понял, что может на меня положиться. Но хоть я был еще желторотый, его одобрение не так уж меня и радовало, ведь это вовсе не значило, что я и сам себя одобряю, хотя, похоже, к этому быстро шло.

На другой день Моггерхэнгер вручил мне пачку денег, я поблагодарил и сунул деньги в карман.

— Сосчитай,— сказал он.

— Я вам доверяю, мистер Моггерхэнгер.

— Даже от тебя не ждал такой дурости. Никогда никому не доверяй. Не то в один прекрасный день сделаешь роковую ошибку — поверишь сам себе. А кто себе верит, сам себе яму роет.— Разговаривали мы в столовой: Моггерхэнгер завтракал.— Налей себе кофе,— со смехом прибавил он.— И садись, нечего стоять, когда со мной разговариваешь.

Слуга-испанец не будил меня до десяти утра, так что после вчерашнего восемнадцатичасового рабочего дня я вполне отдохнул. Я налил себе большую чашку кофе и плеснул в него молока.

— Пока пьешь, сосчитай деньги,— настаивал Моггерхэнгер.— Я не обижусь.

— Все точно,— сказал я и засунул их в бумажник.

— Текущий счет у тебя есть?

Если нет, поучал он, надо завести, и предложил замолвить за меня словечко в своем банке; я не отказался.

— Внеси туда эти две сотни,— продолжал он,— и забудь про них до тех пор, пока не сумеешь внести еще.

— Я подумывал купить машину, буду катать свою подружку.

— Кто такая? — резко спросил он.

— Цветная из Западной Кении, учится в лондонском университете. Мы поладили в автобусе по дороге в Хемпстед. Правда, дальше слов дело не пошло.

Клод улыбнулся.

— Желаю удачи. Только сперва накопи в десять раз больше, чем машина стоит, а уж потом покупай. Подыщи хорошую и пользуйся в свое удовольствие. И еще мой тебе совет. Не покупай подержанную. Который побогаче, он сумеет купить выгодно, а тебя как пить дать облапошат. Я завел машину, когда у меня в банке набралось пятьдесят тысяч. Купил новую, заплатил наличными. А до тех пор

ходил пешком или брал такси, и вовсе это не шло во вред моим делам и в ущерб самолюбию. Меня такими пустяками не пошатнешь. Я живу по своим собственным десяти заповедям. Я их обдумывал месяц за месяцем, когда еще молодым сидел в тюрьме, только потом они у меня малость изменились. Жизнь — она сглаживает острые углы. Налей себе еще кофе, и я вкратце их тебе изложу. Заповедь первая: Ни в чем не иди против друга, если он еще может тебе помочь, и против врага, если есть надежда уговорить его оказать тебе услугу. Неплохо, а?

— Здорово,— поневоле признал я.

— Вторая: Не убивай из-за денег, со зла и из-за любви. А только чтоб отобрать у другого, если он чем завладел, а ты считаешь — оно твое.

— Сурово.

— А как же! Третья: Когда кладешь деньги в банк, радуйся не тому, что богатеешь, будь счастлив до небес, точно пустил их на ветер. Но знай копи: деньги дают власть над людьми... Только вот над самим собой они власти не дают.

Его здравый смысл поразил меня, даже ошарашил — только бы ничего не забыть. Но он еще не кончил.

— Четвертая: Относись к полиции так, как ты бы хотел, чтоб относились к тебе, если бы ты сам был полицейским. Они поставлены на это место обществом, чтоб помочь тебе сохранить твое достояние, откуда бы оно у тебя ни взялось. Они всего лишь люди. Пятая: Когда не знаешь, сказать «да» или «нет», говори «да». Шестая: Приучайся никого не любить и никого не ненавидеть. Седьмая: Хочешь делать деньги — продавай людям то, что им на самом деле нужно, а не то, что им вдолбили, будто им не хватает. Вот тогда подзаработаешь. Восьмая: Люди всегда глупей, чем тебе кажется. Оттачивай свое чутье и каждый шаг толково рассчитывай. Примечай, где тебя могут накрыть, будь заранее готов и это обернуть себе на пользу. Девятая: Никогда не трусь — ни перед богом, ни перед человеком, ни перед зверем. Другие всегда трусят больше тебя. Десятая: Всюду, где только можно, действуй по закону — кроме тех случаев, когда закон мешает тебе получить то, что тебе нужно. Одиннадцатая и последняя: Чти отца своего и матерь свою. Если бы не они, тебя не было бы на свете, и если будешь жить по моим правилам, это им тоже пойдет на пользу.

— Заповеди хороши, да не так-то просто им следовать.

— Не все сразу,— согласился Моггерхэнгер.— Но если постараться, к тридцати годам научишься. И даже когда еще только стараешься, тебе все равно лучше, чем тем, кто про них не знает.

— Может, мне сегодня скатать в Стоунхендж, поискать Авеля-Каина? Вдруг он еще где-нибудь там?

Моггерхэнгер встал, застегнул пиджак.

— Я уж знаю, когда на чем надо поставить крест. Он теперь сидит взаперти у кого-нибудь в сарае или в конуре. Нам его больше не видать как своих ушей, по крайней мере под прежней кличкой. Но все равно, спасибо тебе. Через полчаса поеду к адвокатам, приготовь машину. Я так ловко обтяпаю свое дельце, этот ублюдок Лэнторн будет его помнить до конца жизни.

Следующие несколько дней я с утра до ночи крутился как белка в колесе: помогал Моггерхэнгеру соблюдать его треклятые заповеди. Съездил в Хендон, отвез ящик всякой снеди его восьмидесятилетней мамаше. Но глянуть на нее мне не пришлось — ящик приняла служанка.

Бриджит упрекала меня, говорила, я к ней охладел, и как-то раз, когда я уходил от нее, Смог расплакался. Жена доктора Андерсона вроде вернулась, и конечно же он снова-здорóво стал подъезжать к Бриджит. Меня это мало трогало — я не из ревнивых. Но Бриджит сказала — должен же я вмешаться, и раз я ее не ревную, значит не люблю. Смог прижался к ней и сказал: «Зато я все равно тебя люблю». Тут она обхватила его, и по ее пухлым, румяным щекам ручьями потекли слезы — нос пуговкой был между ними как остров. Я сказал ей: послезавтра кончится эта волынка — суд над Моггерхэнгером, и тогда я смогу проводить с ней больше времени. Если его засадят, я останусь без места. Если оправдают, он поедет отдыхать и я тоже вздохну.

— А пока,— сказал я, когда Смог уснул невинным сном младенца,— если эта грязная скотина, этот доктор Андерсон, опять начнет тебя лапать, ты купи губную помаду, только не такую, как у тебя и у его жены, и сунь ей под подушку, она увидит эту помаду и поднимет шум. И опять его бросит, а он станет по ней убиваться и ему будет не до тебя.

Я подкинул ей эту мыслишку от нечего делать и даже думать не думал, что она так и поступит. Зато на этот раз я на прощанье успокоил ее и потом мог с чистой совестью выполнять поручения Моггерхэнгера.

Дело против него было прекращено за недостатком улик. Вечерняя газета вышла с крупным заголовком: «Моггерхэнгер оправдан»; и когда я вез его с Чансери-лейн от адвокатов, я тоже испытывал кой-какое удовлетворение. Он вышел из суда и на ступенях обменялся рукопожатием с Лэнторном — незабываемая картина, век буду помнить! Он молча сел впереди, рядом со мной, а сам чернее тучи, хуже, чем до суда,— похоже, придумывал, как бы покруче отомстить тем, кто хотел с ним разделаться. Вот только рыгал он чаще, чем последнее время, словно теперь, когда все осталось позади, он опять мог дать себе волю.

Дома все было готово, чтоб отпраздновать это событие тихо, в семейном кругу с женой, темноволосой красоткой дочерью и братом, Чарльзом Моггерхэнгером,— он служил директором-распорядителем в универсальном магазине где-то на севере и заодно присматривал за владениями Клода в тех краях. Чарльз Моггерхэнгер был спокойный, язвительный и недоверчивый; худощавый, среднего роста, двигался он тихо, неторопливо, был лысый. и черты лица потоньше, чем у Клода. Но еще вопрос, кто из них опасней, если наступить ему на любимую мозоль.

Они наливались шампанским и каждую минуту подзывали испанца, который прислуживал за столом, а я незаметно смотался к Бриджит. Предупредить ее по телефону я не удосужился, я поднимался на лифте и предвкушал: вот сейчас притяну ее к себе, позвонил — не открывают. Что за черт? Ведь кто-то там должен быть, не могли же они все уйти и бросить беднягу Смога одного. Я позвонил еще раз. Даже постучал. Потом вышел на улицу и позвонил из ближайшего автомата. Стоял и таращил глаза на зеркало, будто меня заворожили бесконечные гудки, на которые так никто и не отозвался. Наконец повесил трубку и даже не нажал кнопку, чтоб получить назад монету.

Шел дождь, я надел плащ и двинулся в клуб, где прежде работал. Поспел я как раз вовремя, к концу номера Джун. Пол Дент заговорил со мной, как со старым другом, и даже Кенни Дьюкс подмигнул мне — мол, я на тебя не в обиде. Джун как-то рассказала: когда Моггерхэнгер взял меня к себе, Дьюкс чуть не целую неделю исхо-

дил лютой завистью, но сейчас он был вполне приветлив. Даже угостил меня стаканчиком.

Через несколько минут к стойке подошла Джун.

— Здорово, что у Клода все обошлось!

— У него бы — да не обошлось! — сказал я.— Вам виски?

— А ведь они и правда хотели с ним разделаться. Томатного соку, милый.

— Он умеет их окоротить.

Мы выпили каждый свое, и я так и просидел там весь вечер в каком-то оцепенении — только болтал с Джун между ее выходами. Поздно ночью я предложил подвезти ее на такси, и она согласилась.

— Иногда на работе я и не замечаю, как время летит,— сказала она, мы уже сидели в машине, и она уютно ко мне примостилась.— А сегодня, пока не узнала, что Клод выкрутился, прямо измучилась, время будто остановилось.

— Вы в него влюблены? — спросил я и одной рукой обнял ее за плечи, а другую положил ей на колени.

— Он единственный мужчина, с которым у меня все как полагается. Но не надо о нем. Поцелуй меня.

На крыльце ее дома я спросил, может, она пустит меня к себе.

— Нет,— сказала она,— у меня там подружка.

— Ну, нет так нет...— сказал я и пошел прочь.

Неоновые огни сверкали и пылали на Кэмден-роуд, а я шагал обратно, и в душе у меня был мрак и сумбур. Потом-то ясно стало: лучше бы добраться до своей комнаты в Илинге и лечь спать, чтоб во сне все улеглось, да только ноги нипочем не желали нести меня туда. В последние месяцы я поддался этим живоглотам Моггерхэнгерам куда больше, чем следовало. Но сегодня мне не терпелось хоть на несколько часов сбросить с себя путы, побродить на воле, и пропади они пропадом все его самодельные заповеди.

Не прошел я еще и полмили, как опять набрал номер Бриджит, но по-прежнему никто не отозвался. Что же там такое произошло? Я гадал-гадал, и все догадки говорили, что стряслось какое-то несчастье, а в это я поверить не мог. Оставалось только ждать неизвестно сколько времени, пока что-нибудь не прояснится, и на сердце у меня кошки скребли. Тянуло пойти туда и потихоньку пробраться в квартиру, но как бы не так — огромные парадные двери оказались на запоре, прямо как ворота замка где-то в диком краю, где кишмя кишат разбойники.

По Лестер-сквер проносились такси, а когда я проходил мимо закрытого на ночь кинотеатра, фараон смерил меня подозрительным взглядом. Я пошел по Виллер-стрит и поднялся по ступеням на Хангерфордский мост. Вода внизу текла медленно, словно здесь было не глубже фута. Над неровной линией домов на фоне неба стоял ореол света — он исходил от них самих, а чудилось, будто он рождается из приглушенного уличного шума. До чего ж хорош Лондон ночью — почти все восемь миллионов его жителей спят, и кажется, он весь — твой.

Я закурил сигару и зашагал по мосту — все, что связывало меня по рукам и ногам, исчезло, и я снова радовался, что живу на свете. В углу на верхней ступеньке кто-то скорчился — видно, пытался спастись от ветра и моросящего дождя и уснуть. Заслышав мои шаги, человек этот поднял голову и спросил:

— Закурить не найдется, приятель?

Я остановился и протянул ему сигару.

— Последняя,— сказал я. Мне хотелось облаять его: зачем валяется в такую ночь на улице, поучить его уму-разуму — как же это он не может себя обеспечить, а под конец выдать ему моггерхэнгеровские заповеди. Только, пожалуй, в такую критическую минуту жизни он вряд ли их оценит.

— А, сигара! — сказал он.— Курну разок, хотя на пустой желудок толку будет мало.

А ведь и этот голос, и профессиональная уверенность, которая слышалась в его жалобе, мне знакомы!

— Что, не отказались бы от парочки шиллингов на сандвич?

— За такие гроши и сандвича порядочного не купишь,— сказал он.— А вот за пять шиллингов я бы еще и тарелку супа получил.

Я получше в него вгляделся.

— Кого я вижу? Похоже, это сам знаменитый Джек Календарь?

— А вы кто, полицейский? — огрызнулся он в ответ.— Если да, так знайте: я перед законом чист как стеклышко. В свое время я довел кой-кого до сумасшедшего дома, но кроме этого меня не в чем обвинить. А впрочем, у каждого из нас есть что-нибудь на совести. Если вы для этого еще слишком молоды, так у вас все впереди.

Я сказал ему, кто я такой.

— Неохота нарушать ваш сладкий сон, но у меня уже четырнадцать часов не было во рту ни крошки, наверно, я поголоднее вас. Хотите — пошли на рынок подкрепимся.

Он вскочил на удивление проворно для такого бородатого оборванца.

— Меня ограбили,— сказал он, шагая рядом со мной.— Какие-то хулиганы с Лэмбета накинулись на меня и похватали мои календари. Расшвыряли их по Нортумберленд-авеню, сели в свой «зодиак» и унеслись как бешеные. Нынче такое случается чуть не каждый день. Надо обзавестись ножом. Тогда эти головорезы ко мне не подступятся.

Я сказал, что работаю у Моггерхэнгера, и он даже присвистнул.

— Надеюсь, вы у него удержитесь. Говорят, подолгу он никого у себя не оставляет.

— А мы с ним отлично ладим.

— Продолжайте в том же духе, тогда иной раз сможете меня накормить.

— Уж постараюсь,— сказал я.

Покуда мы шли, он постепенно распрямлялся и под конец стал даже выше меня.

Мы отыскали подходящее местечко и всласть наелись за мой счет. Сандвичи с беконом и сыром мы запивали чаем — его тут подавали в огромных кружках. В забегаловке полно было грузчиков и шоферов с грузовиков — я как будто снова очутился в ноттингемском кафе возле фабрики: туда постоянно приходили такие вот ребята, хорошие столовские обеды были им не по нутру. В этой обжорке было тепло, накурено, парно, даже не поймешь, день ли сейчас, ночь ли, и я вдруг почувствовал себя таким же усталым и вымотанным, каким был с виду Джек Календарь.

— Не пойму, зачем вы продаете эти календари? — сказал я.— Только до смерти запугиваете людей всякими пророчествами.

— А им того и надо,— ответил он.— Иначе и покупать бы не стали. Люди они люди и есть. Если какой-нибудь чужой стране не грозит землетрясение или война, им и жить не интересно.

— Вы же сами не верите в эту муру.

— Не верю. Зато они верят. По мне, война еще и глупость.

Он откинулся на спинку стула, сунул в зубы мою сигару и эдак неторопливо выпустил первое колечко дыма, будто фокус показывал: вот станет оно уплывать, а он возьмет и вернет его. Вокруг кое-кто учуял незнакомый запах и стал поглядывать на нас неодобрительно, но Джек и впрямь наслаждался, словно запах сигары вернул ему давным-давно утраченную ясность мысли.

— Любители войны, видно, получают от нее огромное удовольствие, и уж если начнут, не могут остановиться, все равно как когда занимаешься любовью. В сущности, война — тот же гомосексуализм, только тут партнеры — два государства, оба изъявили согласие — ну и действуют на глазах у господа бога. А иначе войны бы так не затягивались. Мои календари ничего тут не меняют. Вы пробовали когда-нибудь предсказывать мир? Не купят ни одного экземпляра. Да еще вы же окажетесь бессовестным лжецом.

Мне вовсе не так уж приятно было услышать от него, будто я лжец, но заработанное моим тяжким трудом угощение ударило ему в голову, и теперь его, пожалуй, не остановишь, разве что мне встать и уйти. А как же я уйду — ведь у меня еще чай не допит и сандвич не съеден.

— Я могу подхватить ваши мысли — знаете, как уборщик в парке накалывает на острую палку бумажки от конфет. Еще когда вы увидели, как я дремлю на Хангерфордском мосту, вы сразу подумали: ему бы надо побриться и подыскать себе работу. Не отрицайте. Но оттого, что вы чей-то там слуга, вы еще не вправе смотреть на меня сверху вниз. Вы шли по мосту, увидели, что я дрожу от холода, почувствовали себя виноватым и накормили меня, но, если б не вы, рано или поздно подвернулся бы другой какой-нибудь олух. Вот я и правда смотрю на вас сверху вниз, приятель, я-то спрыгнул с общественной лестницы, и теперь мне не в чем себя винить. Уж поверьте, в нашем мире подняться выше невозможно. Так что когда вы оказываете мне дружескую услугу, я не испытываю особой благодарности: я делаю для вас не меньше, чем вы для меня. Безработным надо бы в ножки кланяться, они для государства великое благо, ведь если б они по широте души не согласились быть безработными, все никудышники, которые получили работу, не могли бы на ней удержаться. Безработных надо холить и нежить и платить им вдвое против того, что они получали бы, если б работали. Надо учредить особые пункты, где бы им ежедневно в порядке очереди выдавали сигары. Один из главных лозунгов моей демократической республики, которую я назвал бы Эйфория, гласит: «Да здравствуют безработные и да населят они землю, ибо благодаря им одержимые чувством вины психопаты нашего мира получили работу».

И тут я почувствовал, как Моггерхэнгер изо всех сил тянет меня в одну сторону, а Джек Календарь — в другую. Голова его поникла, и уже через мгновение он крепко спал. Я встал и вышел, всю дорогу до Илинга я отшагал пешком и все время размышлял о черной неблагодарности хитрецов вроде этого Джека. По дороге, в четыре утра, я опять позвонил Бриджит, стоял в телефонной будке, как одержимый вслушивался в размеренные, нескончаемые гудки — они нестерпимо отдавались в мозгу — и понимал: в квартире сейчас ни души, будь там хоть кто-то, он бы ответил, не то ополоумел бы вроде меня от этих звонков.

До полудня Моггерхэнгер меня, слава богу, не требовал, а потом мы лишь ненадолго съездили к его поверенным. Моггерхэнгер и не думал отдыхать после напряжения тех дней, когда ждал суда. Не такой он был человек, и мне следовало бы это понимать. Он стал еще задиристей, еще запальчивей прежнего, и я ненавидел его всеми печенка-

ми, а уходить не хотел — уж больно мне нравилась эта моя работа и надо было за нее держаться хотя бы до тех пор, пока я не узнаю, куда девалась Бриджит,— эта загадка не давала мне покоя. Да еще оказалось, мне здорово не хватает Смога, я и сам на себя удивлялся — ну, что я за человек? Он так вошел в нашу с Бриджит потайную жизнь, словно был не докторский сын, а наш.

Работенка у меня была — сдохнуть можно, Моггерхэнгеру нужен бы не один шофер, а три: я заступал теперь в восемь утра и вкалывал, не зная передышки, иной раз до десяти вечера. После того как его оправдали, дела у него пошли в гору. По всему Лондону он открывал клубы, бордели, игорные притоны, не считался ни с какими порядками и запретами, он был сам себе закон. Вот попыталась полиция его прищучить, а он отбился ее же оружием, и теперь она относилась к нему с куда большим почтением.

Как-то раз в десять вечера я гнал по Бэйсуотер-роуд со скоростью пятьдесят миль в час, и вдруг нас остановил фараон на мотоцикле. Заглянул в машину и сразу говорит:

— Виноват, мистер Моггерхэнгер, я не знал, что это вы.

— Ничего, ничего. Я просматривал газеты и не заметил, что он так гонит.— И прикрикнул на меня: — Езжай потише, дурак! — А когда мы отъехали, извинился: — Иначе нельзя было, Майкл. Эти ребята любят, когда с ними считаются. Только минуешь Ноттингхилл-гейт, гони вовсю. Опаздываем.

Так я и гонял день за днем — от Арки к Ноттингхилл-гейт, через весь Лондон. Я чувствовал себя заметной личностью — ведь мне не заказан был вход в самые диковинные заведения, которыми заправлял Моггерхэнгер, и чего-чего я там не нагляделся...

Как-то раз объехали мы клубы и прочее моггерхэнгеровское хозяйство, вернулись домой, и он позвал меня к себе: мол, ему надо сказать мне несколько слов. Я устал до смерти и даже не удивился, чего ему от меня надо. Вошли мы в гостиную, а он мне и сесть не предложил.

— Я слыхал, ты на прошлой неделе был в клубе, где раньше работал.

Я кивнул.

— И еще я слыхал, ты ушел вместе с Джун и провожал ее домой.

— Я проводил ее только до дверей.

— Возможно. Но сюда ты вернулся в пять утра.

— Я бродил по городу.

Он рассмеялся.

— Ты сам себе вырыл яму. Мне ни к чему, чтоб мой же шофер путался с моей девчонкой. Получишь за месяц вперед. Сматывай удочки. Сегодня же. Сейчас.

— Это несправедливо,— сказал я.

— Ладно, завтра утром. А застану тебя, когда приеду обедать, завтра же вечером твой труп, а может половинку, найдут в Темзе.

— Да что ж это так вдруг? — сказал я, словно бы раскаиваясь: может, он проговорится, кто ему накапал про нас с Джун.— А кто ж у вас теперь будет шоферить?

И по глазам вижу — его взяло сомнение: может, я и не виноват.

— Кенни Дьюкс.

— Так это он? Этот жирный змей всегда завидовал, что я у вас служу. Ну, если уж он получит мое место так легко, пусть ему больше повезет. У меня с Джун никогда ничего не было.

— Он мне еще не врал,— сказал Моггерхэнгер, плевать он хотел, что я остаюсь без хлеба.— Он мне доносит, за то я ему и плачу.

Эх, дать бы себе волю, разгромить бы все в этом его шикарном модерном логове... Но нет, я повернулся и вышел — скорей бы очутиться подальше от Моггерхэнгера. Я даже не думал, что будет так тяжко расстаться с этой работой, жаль было зверски, хотя жизнь моя, конечно, не покрушилась. Пока я здесь работал, мой новый чемодан успел наполниться лишь наполовину, я без труда донес его до автобуса и покатил в город, а за спиной у меня полыхал уж такой кровавый закат, какого я сто лет не видал.

Часть IV

Идти мне было некуда и не к кому, но это ничуть меня не беспокоило. То есть беспокоило, конечно — ведь я тоже человек,— и все же это не помешало бы мне действовать. Да только вот беда: я знать не знал, как теперь надо действовать. Чего мне хочется — и то не знал. А пока — сидел себе в полупустом автобусе, ехал на запад, и мне этого было достаточно; меня хлебом не корми, дай взобраться на верхотуру автобуса и глазеть оттуда на дома и на людей, тем более сейчас — ведь сколько месяцев шоферил и, когда сидел за рулем, не было времени глядеть по сторонам. А сейчас я был кум королю — расселся, закурил, похлопал себя по карману: при мне ли зажигалка. Я прихватил ее напоследок в нижнем холле моггерхэнгеровского особняка, и солидная, оправленная в серебро, навсегда потерянная для своего хозяина — при первом же удобном случае я ее заложу — она оттягивала сейчас мой карман. Эта красивая штучка давно мне приглянулась — да только не зря ли я ее увел? Рука мщения может оказаться у Моггерхэнгера длинней, чем я думал. Он из тех, кто дорожит каждой своей вещичкой, даже самой пустяковой, а эта зажигалка — не пустяк. Но если ты завладел чьей-то собственностью, даже и моггерхэнгеровой, считай, она на девять десятых твоя — и в конце концов я действовал по его же звериным заповедям: если их стиснуть в комок и выжать самую суть, они сводятся к одному — бери все, что надо, и на всех плюй. Может, Моггерхэнгер не сразу хватится своей зажигалки, и если к тому времени Кенни Дьюкс уже успеет водвориться у него в доме, Клод подумает на этого жирного борова и перережет ему глотку, и так этому паршивцу и надо.

Я сошел с автобуса на Пикадилли, постоял там, поглядел на огни реклам, но они меня не радовали — не то было настроение. Я и всегда-то предпочитаю смотреть на лица — ведь в ответ на тебя тоже могут поглядеть, и тогда — кто знает?.. Может, мы и приглянемся друг другу. И я пошел в Сохо. Не то чтоб я затосковал от одиночества. Нет, я буду отрицать это и в свой смертный час, но, конечно же, я опять задумался, куда подевалась Бриджит Эплдор, и даже вспомнил былое — мисс Болсовер и Клодин Форкс. Я стоял в пивной, у стойки (чемодан был тут же, у моих ног), потягивал горькое пиво и поглядывал на женщин, но все зря. Мои пристальные взгляды даже не вызывали ревности у их спутников. Тогда я зашел в другой кабачок, а потом двинулся по какой-то кривой узкой улочке неподалеку от Стрэнда, причем старался не напиться — душа не лежала.

В одной мерзкой пивнушке народу было битком — не продохнуть, но у длинной стойки мелькнуло знакомое лицо, только я не сразу вспомнил, где его видел и когда — недавно или сто лет назад. Это был рослый дядя в свитере с высоким воротом и в дорогом твидовом пиджаке, но этот небрежный наряд стоил, наверно, куда дороже хорошего костюма. По лицу видно — из чувствительных: надутые губы, бледная кожа, рассеянный взгляд. Он был в шляпе, но все равно за-

метно, какое длинное у него лицо и голова тоже, прямо удивительно, а только это вовсе его не безобразит. И тут меня осенило: да я же видал его в обжорке, когда ехал из Ноттингема, мы зашли туда с Джун и с Биллом Строу и востроглазая Джун сказала — это писатель Джилберт Блэскин. Только вроде тогда он был не такой высокий, но все равно это он, уж точно он, на лица у меня память — лучше некуда, считай, только их и запоминаю, и еще здорово помню, когда что со мной приключилось в прошлом,— это у меня сызмальства, едва только стал понимать, что от разных событий меня отделяет какое-то время, и крепче всего помню события, как-то связанные с другими людьми.

Итак, я незаметно пододвинулся поближе к Джилберту Блэскину — интересно, что это он говорит девушке, а она эдак почтительно ловит каждое его слово. Девушка маленькая, тоненькая, в очках, мордочка бледная, кроткая, волосы короче моих, на переносице веснушки. Писатель небрежно оперся спиной о стойку, и у его локтя — двойная порция коньяку.

— Есть у меня тетушка, она живет в Найтсбридже, но приходится простить ей этот роскошный квартал,— говорил он.— Правда, она — чудовище, от таких лучше держаться подальше. Когда я был молод, бился из-за куска хлеба и питался письмами издателей, которые объясняли мне, что я пишу вздор, тетушка мне помогала. И недавно, в ознаменование выхода моего десятого романа, я преподнес ей подарок. Маленькую собачонку, самую беспокойную и кусачую тварь, какую только удалось отыскать, и выложил за нее ровным счетом двадцать фунтов. Тетушке она понравилась, но только пока не залаяла. А вот собачонке тетушка не понравилась — и она лаяла не переставая. Настоящая истеричка. Я зашел к тетушке через неделю — собачонка все лаяла, замолкала, лишь пока уписывала бифштекс. Я предложил: давайте отдадим ее усыпить, но тетушка не соглашалась и взирала на собачонку с обожанием. Дальше — хуже, эта тварь стала еще истеричней. Вообще-то в доме она вела себя прилично, как полагается воспитанной собаке, но тявкала непрерывно, заберется на свой любимый стул — и хоть уши затыкай, и тетушка не выдержала. Она откопала где-то пластинку с гитлеровскими речами, и словоизвержения этого маньяка заставили собачонку замолчать — она заслушалась, поистине впала в транс. И с тех пор, как только собачонка заливается лаем, тетушка ставит эту пластинку и собачонка восхищенно умолкает. Я, конечно, так никогда и не узнаю, где она раздобыла пластинку, но ее изобретательность меня восхищает.

Пока он рассказывал, девушка не сводила с него глаз, и они раскрывались все шире и шире, но вот он кончил, и она потянулась за своей кружкой пива, а Блэскин загоготал и так двинул локтем, что опрокинул рюмку с коньяком.

— Вот дерьмо! Никогда тебе этого не прощу,— сказал он девушке, вытирая рукав куртки.

— Разрешите вас угостить, мистер Блэскин,— вмешался я и заказал: — Двойной коньяк и кружку горького. С вашего позволения, я большой поклонник ваших книг. Прочел все до одной. Они, можно сказать, не дали мне сойти с ума. Я жил в городе Ноттингеме, а прочел ваши книги — и решил: надо оттуда удирать, особенно эта мировая книга про человека, который жил себе поживал и вдруг стал писателем. Здорово это. И я кой в чем чувствовал — ну совсем как он. Даже сказать не могу, как меня подбодрила эта книга.

Он эдак привычно протянул мне руку, чтоб я мог ее пожать, и сказал: ему очень приятно, что его труд не оставляет равнодушными

таких людей, как я. А я вовсю расхваливал его книги, хотя, по правде сказать, читал только одну, верней, пытался читать, но на середине бросил и подарил Клодин на день рождения, она тогда сразу поняла: я не чета другим ее кавалерам, они-то никогда не дарили ей книг. Она прочитала книжку до самого конца и пришла от нее в восторг.

Я сказал Блэскину, что видел его в обжорке на магистрали А-1, да не посмел заговорить, и он вспомнил эту обжорку: он останавливался там на обратном пути из Шеффилда, куда ездил читать лекцию про современный роман и его место в современном обществе. Он тогда как поел в той обжорке, так и заболел дизентерией, пришлось неделю просидеть дома.

— Еще чудо, что вы не подцепили там чего похуже,— сказал я.— В этих придорожных обжорках теперь черт знает чем кормят.

И он сказал, насколько приятней путешествовать на машине по Франции, а я сказал, что еще не имел этого удовольствия. Он представил меня своей девушке, сейчас он не больно обращал на нее внимание, а все потому, что уж очень она его боготворила, даже не в силах была расхваливать, как я. Звали ее Пирл Харби, и на меня она тоже глядела во все глаза. Он не объяснил, кто она и чем занимается, но отпил еще коньяку и пожелал узнать, чем занимаюсь в Лондоне я.

— Я шофер,— сказал я,— верней, был шофером. А нынче вечером отказался от места. Я служил у одного туза, везу его сегодня, а он больно спешил вернуться в Лондон, ну — и велел мне превысить скорость, да еще в очень людном квартале. Я подумал, это опасно: как раз кончились уроки, ребятня расходилась по домам. Мы здорово с ним поспорили, и, когда приехали, я сказал, я больше не желаю у него работать.

Блэскин рассмеялся.

— Вы дерзки и молоды, не то нашли бы другой выход. Ну, а кем еще вы работали?

— Агентом по продаже недвижимости, конторским служащим, вышибалой в стриптизе, механиком в гараже — и это еще не все. Кем я только не работал.

— Вы умеете печатать на машинке, дорогая? — спросил он Пирл Харби.

— Нет, мистер Блэскин.

Он обернулся ко мне.

— А вы?

— Умею.

— Быстро?

— С любой скоростью.

Он заказал всем нам еще выпивку.

— Мне надо перепечатать мой роман. Секретарша меня бросила — я, видите ли, вел себя по-хамски: сегодня утром, когда она принесла мне завтрак, попытался затащить ее в постель. Жена ушла от меня на прошлой неделе, значит она тоже печатать не станет, а издатель торопит и наседает. Когда вы можете начать?

Ответ мог быть только один:

— Хоть сейчас.

Это ему понравилось — такое всегда всем нравится, потом он спросил, где я живу, и я сказал: живу, где стою.

— Вот везучий ублюдок,— весело сказал он.

Я враз озлился.

— Я вам покажу ублюдка, никому еще не спускал,— сказал я, сжал пивную кружку и хотел раскроить ему башку.

Он засмеялся.

— Ну, пусть я буду первый. Давайте радоваться и веселиться. Терпеть не могу серьезных людей. Они кидаются в политику и все гробят.

Он вдруг одной рукой обхватил Пирл Харби, крепко прижал ее к себе и смачно поцеловал. Теперь уже не с руки было стукнуть кружкой по его лысине, пришлось ждать, когда он выпрямится, а к тому времени было уже слишком поздно. Гнев мой остыл, и впервые в жизни я подумал: не все ли равно, черт возьми, ну, назвали ублюдком, велика важность! Ведь это так, смеха ради, а правды им все равно не узнать.

Почти все посетители стали проталкиваться к лестнице.

— Мы идем слушать стихи,— сказал Джилберт Блэскин.— Пошли с нами. Вероятно, будет драка... Когда собираются поэты, всего можно ждать.

Я опрокинул в глотку остатки пива и тоже стал проталкиваться вперед, прокладывая путь чемоданом. Девушке, которая двигалась передо мной, это пришлось не по вкусу, она обожгла меня холодным огнем своих голубых глаз и сердито фыркнула. Я только и мог что улыбнуться, но тут обернулся ее дружок, решил, видно, я с ней заигрываю, и я состроил постную рожу. Джилберт и Пирл поднялись за мной по лестнице.

— Что у вас в чемодане? — спросил он.

— Прах,— ответил я.— Матери, отца, двух братьев, сестры и еще четырех родичей.

Он угрюмо придержал меня за плечо.

— Послушайте, а вы, часом, не писатель?

— Я и без того не скучаю на свете.

— А может, все-таки подумываете стать писателем?

Нас остановили у столика и попросили заплатить за вход полкроны.

— И в мыслях такого нет,— сказал я.

Он с облегчением улыбнулся, я заплатил за всех троих, и мы прошли в большую комнату, там стояли рядами деревянные стулья.

— Сегодня хорошая приманка,— сказал Блэскин, наклонясь ко мне через голову Пирл Харби.— Рабочий поэт из Лидса.

— Да ну! — воскликнул я.

— Рон Делф. Клуб пригласил его почитать свои стихи. Поэты здорово этого не любят, но, мы надеемся, со временем они станут сговорчивей.

— И за это хорошо платят? — спросил я.

— Пять фунтов — и все расходы. Делф не желает жить в Лондоне. Он работает в конторе пивоваренного завода и не собирается бросать место. А вот и он!

Едва я услыхал имя «Делф», в памяти встала Джун — как она рассказывала про свою жизнь, и я увидел ее лицо в зеркале своей машины. Она ведь говорила, он сделал ей дочку — интересно, какой же он из себя. Он встал у стола, лицом к зрителям и долгие две минуты вглядывался в зал. Потом вынул из кармана то ли автобусный, то ли железнодорожный билет и громко, ровным голосом стал читать:

Свобода — синь,
В ней белый шарф:
В конечном счете волосы девичьи,
В конечном счете — флаг.

Это нам понравилось, может, ничего особенного в его стихах и не было, а все равно прозвучало здорово. Он разорвал билет на четы-

ре части и кинул в нас, точно конфетти. Он был высокий, с черными прямыми волосами и похож был на фокусника — прочитал стихи, потом вынул из хозяйственной сумки рулон туалетной бумаги, разворачивает ее, отрывает листок за листком, а сам приговаривает: «Дерьмо» — и так раз сто кряду.

Напряжение в зале было как перед грозой, особенно под конец, когда он раскрутил весь рулон и, отрывая последний листок, произнес то же самое слово не нараспев, как все время, а раздельно, по буквам. Зал оглушительно захлопал, казалось, с треском бьется о прибрежные скалы старинный деревянный корабль.

Потом Рон Делф читал стихи про человека, который нечаянно наступил на бабочку, раздавил ее и со слезами кается в своем зверстве.

— После последних всеобщих выборов моя мать стала министром культуры! — выкрикивал Рон.— Она переменила имя и стала подбирать себе другое прошлое, потом зашагала по Уайтхоллу под свадебный марш попугаев.

— Вот это талант! — сказал Блэскин, закурил сигарету и откинул голову назад, на густой прокуренный воздух, неизменную подушку шизофреника, которая всегда была при нем.

— Нет, я не угрызаюсь по пустякам,— закричал Делф, оторвал с куртки пуговицу (уж наверняка она у него нарочно висела на ниточке) и кинул в рот кому-то в первом ряду, кто как раз зевнул.— Знайте все: я хочу побыстрей зашибить деньгу, и пускай мне оплатят все расходы. Я не жук-могильщик, я не собираюсь разъедать наш строй. Пускай кто побогаче купит мне хорошую прачечную, я буду сидеть в тепле, а денежки сами пускай плывут мне в карман. Если кто знает миллионера с подходящим настроением, я мигом запишу его адрес в мой черный блокнотик...

— Давай стихи! — выкрикнул кто-то из задних рядов.— Ты, разгильдяй, пролетарий! Давай читай стихи!

Делф свирепо глянул туда, откуда раздался голос.

— А ты поосторожней, не то угодишь в мой список смертников.

Он сразил нас всех ловкостью рук и легкостью мозгов, вдруг вытащил из нагрудного кармана бумажный фунт стерлингов и передал в первый ряд — настоящий, можете сами убедиться. Потом забрал его и взял кончиками пальцев, будто боялся об него испачкаться. Подвинул пепельницу на середину стола, выудил из кармана спичечный коробок и зажег банкноту — держал ее при этом прямо, чтоб она горела медленно, и пока пламя не подобралось к самым пальцам и не заставило ее выронить, громко, не спеша читал заклинание:

Дым — не шутка, дымом дышать жутко,
А когда деньга горит, тут уж смех не зазвенит.
Деньги жечь опасно — даже мухе ясно.

Он растер сгоревшую банкноту большим пальцем, словно не чувствовал жара, дунул — и черная пыль полетела на зрителей.

— Лети, вонючий прах, с богом в дальний путь!

Потом он принялся читать «Элегию на смерть Пеннинских гор» — попросту читал по карманному словарю подряд все слова на «п», продолжалось это минут двадцать, и тут я пожалел, что не остался у Моггерхэнгера, мне казалось, что я вот-вот спячу, а, может, Рон того и добивался — я чуял: он вытрюшивается, а на самом деле он— хитрый и ловкий подонок, и каждая выходка у него точно взвешена и рассчитана. Несколько человек не выдержали этого непрерывного обстрела, закричали, будто от острой боли, но Рон Делф неуклонно пер вперед с каким-то нутряным непостижимым упорством, точно

танк, вгрызался в уши и мысли — и пришлось беднягам снова сесть и дослушать до конца. У Джилберта Блэскина начали дергаться ноги, и я подумал — уж не собирается ли он вдарить по этой самодовольной морде, ведь тогда плакала моя новая работа, но нет, лицо у него было прямо блаженное, ангельское, а сделанные на заказ башмаки на молнии постукивали в такт этому чертову колдовству — перечню самых обыкновенных слов.

Люди не вдруг поняли, что он кончил. Они были ошеломлены. Он погрузил их на дно морское, а теперь они всплывали на поверхность, бешено кричали, хлопали, просто с ума сходили. Он стоял у стола — прямо как идолище какое-то,— измученный, измочаленный, весь в поту. Блэскин протолкался вперед, кинулся его поздравлять.

Потом они стояли и разговаривали, и Джилберт Блэскин поминал рукописи, издателя. Делф стряхивал куда попало пепел сигареты, ему этот разговор был вроде не очень любопытен. Рыжая зеленоглазая девчонка держала его под руку и при каждом слове Блэскина хихикала. Делф похлопывал ее по голове, словно ободрял.

— Моя Пэнди,— сказал он,— плевать она хотела на вас, коты столичные, подонки паршивые.— Его все еще одолевали слова на букву «п».— Пошли вниз, выпьем пива.

Зрители тоже хлынули к выходу, и я подумал: надо бы ему накостылять по шее, но попробуй намекни здесь на это — пожалуй, костей не соберешь. Ну, и я подхватил чемодан и стал проталкиваться следом за ними.

— Я не все свои стихи пишу,— говорил Рон, жуя сандвич.— Некоторые просто нахожу, подбираю, репетирую, полирую... иногда ворую их и поставляю вам, здешним подонкам. Тебе портвейну, пупсик? — спросил он Пэнди.— В прошлый раз я тут устроил роскошное представление. Читал карту метро, просто и ясно, название за названием, снова и снова. Сошло гладко. Был спокоен, как пороховая бочка. Обжег пальцы на этой карте, потому как нашелся в публике один наглый боров, встал и кричит: «А как насчет авторского права? Эту поэму написало городское транспортное управление». Тогда я принялся читать сначала, добрался до Кокфостерс и пошел ходить маленькими кругами, пока не оказался в Илинге, но к этому времени он уже бесновался вместе со всеми остальными.

— Ох, Рон, ты сегодня такой нахальный,— сказала Пэнди.

Он сунул в рот еще один сандвич, а за ним и маринованную луковицу.

— Я еще не спустил пары, рычаги ходят ходуном. Со мной всегда так после представления.

Блэскин понял, что так и не сумеет ввернуть словечко.

— Пошли,— сказал он.

Я подхватил чемодан и вышел на улицу, под свет фонарей и звезд. Блэскин шел впереди по узкой улочке, и Пирл Харби уцепилась за меня. Какая-то она была сейчас тихая, но я вовсе не собирался лезть на рожон и отбивать у Джилберта Блэскина девчонку. А все-таки приятно было, что она ко мне жмется, и когда мы вышли на простор Сен-Мартин-лейн и она отпустила мою руку, я огорчился.

Блэскина малость пошатывало — даром, что ли, он несколько часов кряду хлестал двойные порции коньяку; он кое-как добрел до своей машины, попытался открыть дверцу, качнулся, и полицейский, который стоял в тени и наблюдал за ним, сказал:

— Надеюсь, не вы поведете этот «ягуар»?

Джилберт круто повернулся, и лицо у него было такое — кажется, вот сейчас, если не обложит полицейского, его вырвет.

— Я шофер мистера Блэскина,— сказал я,— и довезу его до дому.

С этими словами я отворил дверцу, и Джилберт, раздумав запускать в фараона своей отборной прозой, пригнулся и сел в машину.

— Ладно, порядок,— сказал полицейский и зашагал прочь.

Пирл съежилась на заднем сиденье, и скоро я уже мчался по Трафальгарской площади.

— Я решил избавить вас от неприятностей,— сказал я.

Он вроде уже достаточно протрезвел.

— Правильно сделали. Месяц назад у меня вышел прескверный камуфлет, правда, не по моей вине. Какой-то безмозглый стервец-рекламщик вдруг выскочил у меня под носом, и я смял его, крутанул вбок, треснулся о грузовик, отлетел к легковушке, поцарапал автобус и стукнул в зад какой-то фургон. Остановил меня фонарный столб — я чуть не врезался в него передними колесами. А мою машину, можно считать, и не поцарапало. Полицейские только в затылках чесали, думали, я пьян. Когда меня кидало из стороны в сторону, я прямо наслаждался — и потом вдруг сообразил: да ведь все это было наяву, и чудо, что я остался жив.

Он закинул руку через спинку сиденья, и в зеркальце я увидел: Пирл взяла ее обеими руками и стала с жаром целовать пальцы; при всем при том эти двое не обменялись ни словечком.

На Слоун-сквер мы поднялись на третий этаж, к нему в квартиру. Он включил магнитофон — запись Дюка Эллингтона, но негромко, чтоб мы услыхали, если ему захочется поговорить. В дверях прихожей он снял пальто и шляпу и предложил мне тоже раздеться. Я поразился, какая у него длинная голова и к тому же совсем лысая — блестящая розовая лысина начиналась от бесцветных бровей, поднималась до макушки и дальше спускалась по затылку до самой шеи. Посредине ее пересекал аккуратный шрам; после он рассказал — это его полоснул ножом кровожадный супруг, когда застал со своей женой.

Из-за этой давно зажившей раны, которая наверняка чуть не стоила ему жизни, голова его, особенно сзади, напоминала тот самый инструмент, который и втянул его в беду.

Блэскин послал Пирл в кухню варить кофе.

— Женщины и ученики на то и существуют, чтоб мыть за вами стаканы, набивать трубку и подтыкать одеяло, когда вы ложитесь спать навеселе,— сказал он и развалился в большом кресле.

— По-моему, с ними можно бы и получше обращаться,— нарочно сказал я, как заправский ханжа, мне хотелось вызвать его на откровенность.

— Просто вы еще молоды,— сказал он со смехом.— Станете постарше — поймете.

Вечно мне это твердят, и я обозлился. Я-то считал, что и так уже все понимаю, но мне еще предстояло понять, что я сильно ошибался.

— Люди дольше при вас остаются, если с ними хорошо обращаться,— сказал я.

— А пускай не остаются. Этого добра всюду полно. Да к тому же они никогда не умнеют, так что вы мне про них не говорите.

Пирл принесла поднос.

— Вам черного кофе или с молоком, мистер Блэскин?

— Лучше черного, дорогая. Такое у меня сегодня настроение. Так что, когда ляжем в постель, берегись. Сегодня я настоящий сексуальный маньяк.

Она вся залилась краской, отвернулась от него и стала наливать мне кофе.

— Мне уйти? — спросил я Джилберта.

— Пока нет,— ответил он.— Разве что вам уж очень не по вкусу

мои шуточки по адресу Пирл. Ты ведь не против, моя прелесть, правда?

Она ничего не сказала, попыталась улыбнуться, но кофе попал ей не в то горло, и она закашлялась. Я предложил сейчас же сесть печатать его роман.

— Лучше с утра,— сказал он.— А то мне неохота его искать. Он, наверно, в хлебном ящике. Или, возможно, у меня под подушкой. Короче говоря, не приставайте ко мне с такими пустяковейшими пустяками. Меня, кажется, сейчас осенит.

Он чуть приподнялся, и комнату сотрясла одна из его глубокомысленностей.

— Все это прекрасно,— сказал я,— а все-таки сколько вы мне собираетесь платить? На старом месте я получал двадцать фунтов в неделю.

Он кинул сигарету, метя в электрический камин, но она упала на ковер.

— Что за спех?

— Мне ведь надо еще сегодня подыскать себе ночлег — ночевать-то негде.

Он свирепо взглянул на Пирл — она по-прежнему сидела, уткнувшись в свою чашку.

— Ночуйте здесь,— сказал он.— У меня есть лишняя комната. А об условиях поговорим утром.

Что ж, это совсем не плохое убежище на случай, если Моггерхэнгер хватится своей драгоценной зажигалки и вздумает за мной поохотиться.

— Дорогая,— пропел Джилберт что твой кенарь,— ты так и будешь сидеть, пока в моем лучшем ковре не прогорит дырка? Один мой прапрадядюшка разжился им в Индии, и жаль, если у него будет такой бесславный конец.

Я нашел свободную комнату, а по дороге завернул на кухню, достал из холодильника половинку холодного цыпленка, взял несколько ломтиков хлеба, банку апельсинового сока и два банана — будет чем подзаправиться. И вот лежу в постели, уминаю блэскиновы припасы, а в другой комнате сам хозяин усердно развлекается с Пирл Харби.

Утром меня разбудил генделевский «Мессия». Я выглянул на улицу и увидел ряды водосточных труб и окна, выходившие на задворки и горевшие в солнечных лучах. На моих карманных часах было уже почти десять, в щель под дверью сочился запах снеди, и хор пел «О мой народ», и чем дольше я слушал, тем сильней хотелось плакать от радости, и все гудело вокруг, словно мир был полон барабанов и песен; я снова лег, закрыл глаза, и ноги мои стало сносить, сносить к великой реке, из которой нет возврата.

Я натянул брюки, рубашку и жадно устремился на запах съестного. Блэскин сидел во главе кухонного стола в старинном кресле, он завернулся в халат густого винного цвета и хмуро глядел на всевозможные блюда, которые Пирл подала к завтраку.

— Жизнь поутру очень серьезна,— изрек он.— Поутру, холодея от ужаса, сознаешь, что прошлое — это настоящее, ибо все, что происходило в прошлом, стало частью нынешнего дня. Зная это, вы крепче стоите на ногах, но все равно это горькая пилюля.

Он принялся есть, а Пирл, которая со вчерашнего вечера еще сильней побледнела и осунулась, пристроила блокнот подле чашки с кукурузными хлопьями и торопливо что-то строчила — может, записывала его изречения, да нет, вряд ли: она так тяжело дышала, будто составляла список покупок.

— Следующий мой роман будет называться «Девиз» Джилберта Блэскина. Прочитав название, люди подумают, что я сбрендил, но важна сама мысль.

Я насыпал в молоко прорву кукурузных хлопьев.

— Я вам буду платить два фунта в неделю плюс комната и еда,— предложил Блэскин.

Я решил поторговаться:

— Два фунта пятнадцать шиллингов.

Он свирепо на меня поглядел.

— Два фунта десять.

— По рукам,— сказал я. Поработаю у него, пока это будет меня устраивать.

— В моем романе речь идет о человеке, который вышел из рождественской шутихи и продолжал следовать своему девизу, пока его не переехал автобус, когда он удирал от полиции: за ним гнались, потому что он стрелял из духового ружья по лошади конногвардейца. Пирл, бекон холодный.

Нет, видно, мне здесь долго не вытерпеть... хотя, если я ухитрился не сбежать за последние полчаса, так, пожалуй, продержусь сколько угодно.

Пирл перестала писать.

— А что это был за девиз, мистер Блэскин? — спросила она.

— Полистай роман, найдешь. В нем четверть миллиона слов и в основе его лежит легенда об Эдипе, рассказанная задом наперед...

Пока Блэскин потчевал нас своими дикими бреднями — и ведь он высасывал их из пальца, а сам наслаждался всеми благами жизни,— я поставил подогреть кофе. Жаль, я не работал на фабрике, не то посоветовал бы ему засучить рукава да заняться делом.

Свой роман — кипу бумаги, запеленутую в какую-то пурпурного цвета тряпку,— Блэскин вынул из сейфа в кабинете, где эта махина лежала под замком, и, точно королевского младенца, принес ко мне в комнату и возложил на стол — тут мне и предстояло перепечатывать все это на машинке. В первый день я напечатал десять страниц, а потом наловчился делать по тридцать-сорок. Роман оказался лучше, чем я думал, пока слушал блэскинову трепотню и в конце дня я наскоро прочитывал все, что успел напечатать, чтоб убедиться, что ничего не пропустил. Пирл в гостиной переписывала заметки Джилберта и писала собственную книгу об идеях и высказываниях этой великой личности. Если она все их уразумела, значит, она еще погениальней самого Блэскина. Пока мы работали, Джилберт писал у себя в кабинете под музыку генделевского «Мессии», которого он ставил опять и опять, без конца. Он говорил, при этой музыке ему кажется, будто он в пустыне, вокруг на сотни миль ни души, а как раз это ему и нужно, он тогда мыслит вдохновенно и возвышенно. Случалось, он молча ел в кухне или в общей комнате, и вдруг глаза его стекленели, и он орал:

— Скорей ручку! Листок бумаги! Я чую! Вот оно!!!

Пирл бегом приносила все, что ему требовалось, а он нацарапает несколько строк — и опять примется за серьезное дело: что-нибудь жует или лакает коньяк.

В иные дни на Джилберта Блэскина находило тяжелое настроение — лишь много позже я узнал, что это была мировая скорбь. Но и тогда я все равно думал — писателю так и положено мучиться, даже если он сам себя настроил на такой лад, от этого он будет лучше писать, и иногда мне казалось, так оно и есть на самом деле.

Я себя уверял, будто просто хочу пересидеть у Блэскина гнев Моггерхэнгера — это, если он обнаружит, что я свистнул его фамильную безделушку, но в придачу мне любопытно было, что такое творится внутри у этого жутковатого чудака, пожалуй, больше поэтому я и не уходил от него. Я и сам был себе противен за это и десятки раз на дню обещал себе, что, как только сумею насытить свое любопытство, тут же смотаю удочки.

Как-то вечером Джилберта Блэскина (кто же не слыхал этого имени?) пригласили в расположенный поблизости Ройял-корт на премьеру. Он надел лучший костюм и галстук бабочкой и в последнюю минуту в полном параде зашел на кухню за своей зажигалкой. Тут на глаза ему попалась бутылка холодного молока, он мигом ее открыл и стал пить прямо из горлышка. Я сидел за столом с другого края, уплетал бифштекс — Пирл только что его поджарила — и вижу, молоко льется на безупречные одежды нашего Джилберта. А я сижу и смотрю, точно околдованный, не могу слова вымолвить, а сказать-то надо было в первую же секунду. Наконец я все-таки сказал, да поздно: он уже почувствовал, что спереди промок насквозь, и с ужасом себя ощупывал. Потом пожал плечами, вытер костюм чайным полотенцем и вышел, ругаясь на чем свет стоит. С этого и началась у него полоса уныния.

А мне стало тошно в четырех стенах, и я пошел прогуляться к вокзалу Виктории — моросил дождь, брызгал в лицо, а я наслаждался, словно это был самый лучший, самый освежающий напиток на свете. Вокзал с его толчеей заманил меня. Ноги сами понесли от платформы к платформе, и наконец я оказался на той, с которой поезда отправлялись во Францию и в Италию. Тут целовались, прощались, отсюда уезжали к побережью. Лондон вдруг стал казаться меньше, незначительней, моя связь с ним — не такой уж крепкой, и я с радостью подумал — ведь на моем счету в банке лежит кругленькая сумма, можно в любую минуту сесть на поезд и уехать хоть на край света, а захочу или понадобится, так и обратно приеду, денег хватит. На душе стало спокойней, и через Итон-сквер я вернулся домой.

Было еще не поздно, мне захотелось кофе, и я пошел на кухню. Пирл не слыхала моих шагов, она стояла у плиты в одних штанишках, даже шлепанцы не надела.

— Сзади у тебя вид что надо,— сказал я.— Но обернись, лапочка, дай поглядеть, какая ты спереди.

Впервые за все время лицо ее хоть что-то выражало — сразу было видно: она обижена и, того гляди, заплачет, я подошел и попробовал ее утешить, но она тут же отвернулась от меня. Спина и бока у нее оказались в шрамах, будто ее почему-то зашивали. Я тронул один шрам, она с досадой стряхнула мою руку. Потом прислонилась ко мне и говорит:

— Почему он не взял меня с собой? Я с ним уже месяц, и за все время мы только один раз выходили вместе — на тот поэтический вечер, где познакомились с тобой.

— Может, он встречается с кем-нибудь еще,— сказал я и поцеловал ее в лоб.— А если и так, подумаешь. Он по-другому не может. Просто он порченый. Ему иначе нельзя, тогда он не мог бы писать свои книги.

— Знаю,— сказала Пирл,— я и сама себе это твержу. Когда я с ним познакомилась, я ничего от него не ждала, а потом, когда так ничего и не получила, стала чего-то ждать. Дура я.

— Не без того,— пришлось мне согласиться.— И вообще я никак не пойму, почему это люди вечно чего-то ждут друг от друга.

— Ну, все не так плохо, как тебе кажется,— сказала она и попы-

талась улыбнуться.— Вот от тебя я ведь ничего не жду, а ты добрый, стараешься меня утешить.

— Подумаешь,— сказал я.— Я иначе не могу. Я сроду такой — со всеми добрый.

Но вообще-то она верно сказала. Мне хотелось лечь с ней вовсе не потому, что она любовница Блэскина. А просто она так долго прислонялась ко мне нагишом, что я стал целовать ее в губы, и она сквозь слезы стала мне отвечать.

— Пойдем, я тебя уложу,— сказал я.

Она кивнула, и я повел ее в спальню. Я подумал, вдруг ей холодно — ведь она плакала,— и прихватил горячую грелку, а она сказала, такая грелка ей ни к чему, и я бросил грелку на пол, разделся и лег к ней под бок... Немного погодя я выбрался из постели, оделся и пошел на кухню поискать, чем бы подзаправиться, а она осталась лежать, прямо скажем, очень даже довольная.

Я резал салями, и тут она явилась на кухню в золотистом халатике.

— Я тоже голодная, приступ черной ревности прошел.

Я сделал ей сандвич, густо намазал горчицей, и она так на него накинулась, я даже малость к ней охладел — хоть и люблю смотреть, когда женщина ест (меня это даже сильней возбуждает, чем когда она сама расстегивает блузку), да только Пирл Харби лопала уж чересчур жадно, это не по мне. Ну, я повернулся к ней спиной и стал наливать кофе. А она мигом уплела сандвич и, не успел я предложить ей еще, принялась за салями и в два счета все умяла, мне ничего не осталось. Ну, я решил не обижаться — она ведь разочаровалась в любви — в этом все дело, во всяком случае так полагается думать.

— Мой отец работал на сортировочной станции в Суиндоне,— начала Пирл, уютно усевшись у меня на коленях.— В одну, как говорится, прекрасную ночь его убило немецкой фугаской. Мне тогда было шесть лет, похорон не устраивали — хоронить было нечего. Бомба угодила, должно быть, прямо ему в макушку. Через год от бронхита умерла мать, а меня взяли к себе тетя с дядей, у них была и своя дочка, Кэтрин. Дядя, не в пример моему отцу, как говорится, преуспел, он был поверенным в Кауминстере, это такой городишко в Уилтшире. Дядю уважали, но удочерил он меня только из чувства долга и ни капельки меня не любил. Держался так холодно, будто боялся, что я прыгну к нему в постель и введу в грех кровосмешения или стану между ним и его родной дочерью. Поначалу я совсем растерялась и немножко его побаивалась, и мне потребовалось добрых два года, чтобы привыкнуть к нему и приспособиться к новой жизни. Дядя понял, что я его побаиваюсь, и обиделся, ему казалось, это означает, что я недостаточно его люблю, не так, как полагается любить благодетеля.

Он просто не понимал, что я еще ребенок и поступаю бессознательно. Я любила его только в те минуты, когда он что-нибудь мне давал, и это тоже его обижало, он хотел, чтобы я любила его все время, хотя сам-то меня не любил. Но никто из них не знал, что я еще не один год горевала по отцу с матерью, а сказать им об этом я не решилась. Дядя с теткой иногда говорили о моих родителях, но как-то очень спокойно, между прочим, словно мои папа с мамой еще живы, а я просто приехала к ним на каникулы. Понятно, дядя и тетя по-настоящему любили свою родную дочь Кэтрин, и странно было бы винить их за это или надеяться, что они сумеют относиться к

нам обеим одинаково, но мне это было больно. Ища утешения в своем горе, я горячо привязалась к Кэтрин, она была очень добрая и милая и почти все, что получала от родителей, отдавала мне. Примерно через год моя жизнь как-то вошла в колею, и под конец я стала думать о моих новых родителях не без нежности.

Приемная мать была добра ко мне, старалась меня полюбить и во всем мне помогала. Самое же главное — я росла в довольно интеллигентном доме, ничего похожего у моих настоящих родителей быть не могло, и от этого моя жизнь стала гораздо интересней. Здесь было полно книг, их читали, о них говорили. Позже я поняла, что это были все больше книги второсортные, ну, кроме, конечно, таких писателей, как Диккенс, Теккерей, Джейн Остин, Шекспир. Этих я читала с жадностью; я быстро научилась отличать хорошие книги от дрянного чтива. Кэтрин пошла учиться в среднюю школу, и, как только я подросла, я поступила туда же. Будь она моей родной сестрой, я бы из-за нее так не мучилась. Я отдала ей всю любовь, на которую была способна, и всякий раз, как она кем-то увлекалась — все равно, мальчиком или девочкой,— так ее ревновала, так терзалась, кажется, готова была убить себя, лишь бы со всем этим покончить. А она увлекалась всем на свете, и ей хотелось жить только для себя, и ни с кем больше она не считалась.

Родители наши видели, что я совсем на ней помешана, но думали — я просто ее обожаю, как и они сами, ведь она была их единственное родное дитятко. Я не сомневалась, что она куда красивее и обаятельнее меня — я, конечно, преувеличивала, но так мне тогда казалось.

На год или два Кэтрин вдруг стала холодна со мной, и я просто погибала, таяла на глазах, мне даже казалось — я становлюсь меньше ростом, обращаюсь в прах, в ничто. И, однако, училась я прекрасно, чуть не по всем предметам шла первой, все только диву давались.

Кэтрин с пеленок привыкла поступать по-своему, и вот несколько недель она встречалась с одним мальчиком. Наверно, они занимались любовью — обычно мы небольшой компанией уезжали в конце недели на велосипедах, и иногда Кэтрин и ее дружок на полчасика исчезали. Потом он уехал со своими родителями и не писал ей — это был первый удар, который нанесла ей судьба. Я раздобыла его адрес и написала ему, как ей худо, но он не отозвался, и, наверно, это к лучшему. По ночам она приходила ко мне в комнату, и горько плакала, и ложилась вместе со мной — так ей было спокойнее. Но длилось это недолго: скоро она о нем почти забыла.

Эта история нас очень сблизила, и Кэтрин полюбила меня так, словно я прошла через все вместе с ней, испытала то же, что и она. Теперь обе мы стали почти взрослые, и родители наши лишь слегка подталкивали нас по дорожке образования, в остальном же предоставили самим себе. Они щедро давали нам деньги на карманные расходы, и мы покупали наряды и книжки, ходили в кино. С мальчиками мы близко не сходились, хотя они на нас заглядывались и в шестом классе многие готовы были с нами подружиться. Но, я думаю, обе мы тогда какое-то время были не в себе. Как одержимые, без конца говорили о книгах, фильмах, картинах, строили планы на будущее. Собирались стать учительницами или врачами и вместе уехать в Африку. То была дивная пора невинности. Мы даже начали изучать суахили, чтобы знать хоть один африканский язык. Расскажи я про все это Джилберту, он бы меня засмеял, а тебе, я знаю, рассказать можно. Родители считали нас образцовыми дочерьми, потому что мы охотно помогали по дому, хотя необходимости в этом не было: мы жили в достатке, у нас была даже горничная-австрийка

и садовник. На каникулы мы уезжали в Уэльс или во Францию — словом, всей нашей семье жилось неплохо.

Мальчик, с которым Кэтрин встречалась за два года перед тем, вернулся, и у них все началось сначала. Через месяц он опять уехал, и тут оказалось — она беременна. Мы не знали, что делать. Она была в ужасе и совсем пала духом. Мы часами обсуждали, как быть: попытаться разузнать, как избавиться от будущего ребенка, или признаться родителям, а может, ничего им не говорить, уехать в университет и родить тайно. Проходили недели, и мы даже составили хитроумный план, как нам обеим покончить с собой. Можно было подумать — я тоже беременна. В конце концов мы поступили так, что хуже не придумаешь. Мы решили бежать из дому.

У нас набралось семьдесят фунтов, и мы решили уехать в Лондон, снять комнату, поступить на службу и все, что заработаем, складывать в общий котел. Можно было подумать, что Кэтрин уже не беременна,— мы так рвались уехать, что почти забыли об этом. Мне взбрело в голову ехать в Лондон на отцовской машине. Иной раз вечером наши родители навещали друзей в другом конце города — значит, на машине мы должны были выезжать вечером. Кэтрин еще раньше немного училась водить машину и водила неплохо. А я не умела.

Мы наспех упаковали чемоданы и сунули в машину. Кэтрин вывела ее через открытые ворота, и мы чуть не расхохотались — таким легким оказался этот первый шаг на пути к долгой и счастливой жизни вдвоем. Был славный летний вечер, до темноты еще далеко, и Кэтрин медленно, но уверенно вела машину по неширокой улице к шоссе. Движения тут почти никакого не было, и Кэтрин так и сияла. Но по щекам ее текли слезы.

«Ты думаешь, мы правильно делаем?» — спросила она.

«А что еще нам остается? — ответила я.— Это ведь чудесно — оставить все позади».

Она улыбнулась:

«Ну хорошо. Пусть так».

Навстречу нам, вверх по склону холма, на небольшой скорости шла машина, ее обгонял какой-то подлый мотоциклист. Он уже промчался мимо, но эта черная фигура, вдруг возникшая перед Кэтрин, отчаянно ее испугала, она вскрикнула, наша машина проскочила через живую изгородь и покатилась под откос. Мир обрушился, меня словно накрыло толстым одеялом, и по нему застучали молотки. Потом я почувствовала, как меня из-под него выволакивают.

Снова надвинулась тьма, и я открыла глаза уже в больнице. Я спросила о Кэтрин, и мне сказали, с ней все в порядке. Она и правда пострадала меньше меня. У меня были сломаны ноги, перебиты ребра да еще сотрясение мозга и всякие ранения помельче. Когда я вышла из больницы, Кэтрин была уже замужем за своим дружком: его заставили признать, что она забеременела не без его участия. Она поселилась с ним неподалеку от Ньюкасла, и теперь у них уже трое детей. Мне удалось увидеться с ней на прощание, но мы с трудом узнали друг друга. Все считали, что это я — злой гений — совратила ее с пути истинного, и я не стала спорить. Пусть так, по крайней мере ей будет что обо мне вспомнить.

С тех пор мы не виделись, не переписывались. Я отбыла свою каторгу в Бристоле, потом давала там частные уроки. А потом мне пришла в голову блестящая идея — написать диссертацию о современном английском романе, но, боюсь, я не двинусь дальше Джилберта Блэскина, потому что я в него влюбилась. Это не такая уж редкость; я вообще влюбчивая. Я влюбляюсь потому, что мне чего-то

не хватает, а не потому, что есть что отдать, и мужчины это понимают и, как только получат свое в постели, отворачиваются от меня.

— Зря ты расстраиваешься,— сказал я.— Каждый получает чего хочет. Честное слово... хоть обо мне этого, может, и не скажешь.

— Мне жалости не надо,— сказала Пирл и так улыбнулась, что сразу стало ясно: никакой она не циник и вовсе не махнула рукой на свою жизнь, хоть и старается всех в этом убедить.

— А я не думаю тебя жалеть,— сказал я.— Мне только тех жалко, кто живет впроголодь, и еще — кто неизлечимо болен.

— Как это верно! Хорошо бы почаще такое слышать.

Эти слова были мне как маслом по сердцу.

— Я правильно говорю,— продолжал я.— Первым делом надо заботиться о теле. Если оно пропадет, тогда уж ничего не останется. А если человек сыт и здоров, глядишь, все еще как-нибудь да образуется.

— На словах-то это легко,— сказала она.— Но все равно ты прав. Я знаю.

— Не сердись на мою трепотню,— сказал я.— В каком-то смысле я еще похуже Джилберта. А только я тебе правильно говорю.

— Ты это чаще повторяй, может быть, я наконец поверю. Иногда я готова кинуться в пропасть: с кем ни заговорю, все соглашаются, что все на свете ужасно, и тогда я не понимаю, зачем жить.

Я встал — решил вскипятить воду для кофе.

— Если я когда-нибудь напишу книжку, я ее назову «Как жить спокойно и помереть легко».

Она с таким жаром стиснула мою руку, будто в ней и впрямь вспыхнула любовь.

— Джилберт не знает, что я его люблю. И я не стану ему говорить. Стоит сказать человеку, что ты его любишь, и он начинает топтать тебя ногами.

— Так ведь если не сказать, он, может, никогда и не узнает.

— Может быть, он сам поймет,— с надеждой сказала Пирл.— Я ему это сколько раз по-всякому показывала. Сейчас мне так плохо — хуже некуда, и все равно кажется, может, все еще повернется к лучшему, и вот тут-то я пугаюсь не на шутку — ведь когда надеешься на лучшее, тогда жди беды.

Она так неожиданно все поворачивала и выворачивала, меня аж в пот бросило, мне уже мерещилось: она рассуждает как нельзя верней.

— Я вечно сомневаюсь в себе и своих чувствах,— продолжала она,— но только для того, чтоб лучше понять себя, а вовсе не затем, чтобы себя погубить...

— Зато это верный способ погубить других,— сказал я, пожалуй чересчур резко.

Вошел Джилберт, плюхнулся на стул, и я понял: пьесу он смотрел никудышную.

— Не пьеса, а кухонная лохань. Кусочек жизни,— заявил он.— Полно грязной посуды. И даже не запускают друг в друга немытыми тарелками. А диалог отличный. Самый что ни на есть новейший жаргон.

Пирл положила руку ему на плечо, дала отпить кофе из своей чашки.

— Покормить тебя?

— Ужинал с типом, который сочинил эту пьесу. Он считает, что мои романы — хлам, а я считаю, что его пьесы — вздор, так что мы

потопили наше взаимное расположение в вине. Я хотел проявить сочувствие, сказать, что оба мы все же писатели, но он принялся рассказывать, как он обставляет свой новый дом, и рассуждал, какой лучше купить автомобиль.

— Но ведь у тебя-то уже есть и дом и автомобиль,— напомнила ему Пирл, по-моему совсем некстати.

— У него тоже. Но ему надо еще и еще. Это бы все не беда, только пускай бы он написал пьесу со счастливым концом, а уж мне предоставил писать мои трагические романы. Хотя, понятно, нельзя рассчитывать, что мне удастся монополизировать рынок на веки вечные. Ужас какой я эгоист. Ну, а вы чем тут без меня занимались? Предавались блуду в моей лучшей постели?

— Я часа два бродил как тень вокруг вокзала Виктории, а потом прогулялся по Вест-Энду.

— Сегодня я получил письмо, оказывается, один мой поклонник напечатал мой четвертый роман цветным шрифтом Брайля, так что уже сам вид этого издания будет радовать глаз читателя. Представляете? Но потом кто-то сказал этому издателю не от мира сего, что слепые все-таки не видят, и тогда он с отчаяния застрелился. Я ему сочувствую: ведь он пытался осветить мирскую тьму, и хотя, как выяснилось, он был не в меру храбр и безумен, попытка эта достойна похвалы. Да воссияет свет в ваших сердцах! Я — за то, чтобы убедить людей, вопреки их инстинкту, что жить стоит. Не отчаивайтесь, говорит Джилберт Блэскин. Предоставьте отчаяние ему. Он облегчит бремя ваше. Но кто же, о господи, облегчит бремя его, Джилберта Блэскина? Жизнь взваливает на его плечи двойной груз, леди и джентльмены, но ему не следует этого замечать, ибо он помогает вам не замечать вашей ноши.

В театре я видел свою жену с оравой приятельниц. Я ее не бросал, но устроил так, что она бросила меня. Я годами мечтал от нее уйти и все не мог решиться, тогда я превратил ее жизнь в сущий ад и сбежать пришлось ей, не то она свихнулась бы или удавилась. Я хотел от нее избавиться, чтоб развязать себе руки и жениться на своей любовнице. Но как только жена ушла, я совершенно охладел к любовнице. Не спрашивайте почему. Пули самоанализа не проникают так глубоко. Или, может быть, проникают — у героев, которых я вызываю к жизни, но не у меня. Итак, я порвал с любовницей и попросил жену вернуться. А она рассмеялась мне в лицо — она, оказывается, давным-давно хотела от меня уйти, но не могла, пока я ее не вынудил. И вот я живу в этой квартире, полной воспоминаний, и их не может изгладить из моей памяти даже моя восхитительная и пламенная Пирл. А уж если не может она, значит, не сможет никто. Самое глупое, что я вовсе не люблю свою жену, и, вернись она, я в первый же месяц, куда там — в первую же неделю, постарался бы снова от нее отделаться. Ей-богу, Майкл, жизнь — штука не простая. А если вам кажется иначе, лучше сразу прыгайте в унитаз и спустите за собой воду. Говорят, в Нью-Йорке в канализационных трубах полно крокодилов, хозяева спускают туда своих любимцев, когда надоест с ними нянчиться.

Так он разглагольствовал и время от времени прополаскивал внутренности коньяком, а под конец свалился со стула, и нам пришлось перетащить его в спальню и уложить в постель.

А потом я сидел у себя в комнате и раздумывал, как бы отсюда смыться. Джилберт еще не читал свой роман после машинки. А прочтет — его хватит удар. И не потому, что я плохо над ним потрудился. Печать четкая, чистая, бумага между строк белая, не перемазанная, и кой-кто, может, и впрямь подумает, что это роман. Поначалу

я принялся честно перепечатывать рукопись Джилберта, но посередке заскучал, а потом герой в Париже уселся на улице за столиком кафе и начал раздумывать, куда ему теперь податься — к подружке в Лондон или к дружку в Ниццу... Ну, тут я достал с книжной полки у себя за спиной роман Генри Филдинга «Родерик Рэндом» [1] и перепечатал оттуда двадцать страниц, они, по крайней мере, подбавили толку блэскиновской малохольной муре. Я впечатал целые страницы и из других романов, хоть понимал, конечно,— это не совсем то, чего надо было автору. На эту работу я потратил больше трех недель, Блэскин, пожалуй, обозлится и выкинет меня вон,— так уж лучше я снова стану хозяином своей судьбы и унесу ноги, пока он еще не понял, что я натворил. Но, может, я зря спешу, может, набраться храбрости и обождать, может, он вовсе и не станет сейчас перечитывать свой роман, а прямо отошлет его издателям. Там, наверно, ничего не заметят и — рады-радешеньки — издадут: наконец-то проза мистера Блэскина стала богаче и полнокровнее, ведь они втайне надеялись на это с тех пор, как по ошибке приняли его первый роман за настоящую литературу. Может, рецензенты даже расхвалят это сочинение за новые достоинства. И тогда ему будет за что меня поблагодарить... если я до тех пор не смоюсь.

Я все-таки надумал уходить, но не среди ночи: подыскивать место для следующего ночлега всегда лучше с утра, когда ты как следует выспался. И вообще мне нужны свои четыре стены, чтоб приходить и уходить, когда захочу. Я вон как долго отсиживался у Блэскина — Моггерхэнгер, верно, уже махнул на меня рукой, даже если он тогда и вспомнил обо мне и воображал, будто сумеет меня отыскать. Притом Блэскин до сих пор не заплатил мне ни гроша, а ведь торжественно обещал пятьдесят монет в неделю. Раза два я ему ясно и понятно напоминал про деньги, но хоть он из тех, кто всегда все замечает и всякий намек ловит на лету, почему-то он совсем не понял моих слов или пропустил их мимо ушей.

По моим расчетам, в доме все уже спали, я выскользнул из своей комнаты и прокрался в прихожую, где висело его пальто. Я взял две бумажки по пять фунтов — за работу над его романом мне причиталось никак не меньше. В бумажнике было шестьдесят фунтов, и можно было бы взять их все, но в глубине души я знал: если Блэскин решит, что его несправедливо обчистили, он сообщит в полицию и глазом не моргнет, ведь он из тех, кто добрый, пока ты ему любопытен. А дальше — как в джунглях: идут в ход клыки и когти.

Выбраться из квартиры надо, пока и он и Пирл еще спят, и, чтоб сэкономить время, я с вечера уложил чемодан. Потом выключил свет, раздернул занавеси, стоял у окна и смотрел на дома напротив. Вон женщина в белой рубашке наклонилась, мужчина притянул ее к себе, и обоих уже не видно. В другом окне громадный пес, ростом с человека, прижал к стеклу большущую башку, вдвое больше человеческой, и вроде лает, только мне не слыхать, и царапает раму лапами,— видно, сидит взаперти и ему никак не вырваться. Я поглядел в сторону, на другие окна. Интересно, многим ли надо вставать спозаранку и отправляться на работу? А всех остальных я сейчас ненавидел, будто во всем мире у одного меня только есть право бездельничать. Я всегда жалел только тех, кто голодает, и сам шел работать, если иначе подох бы с голоду. А вот сейчас глядел на эти окна — их, верно, были тысячи, из-за них даже неба было не видать — и чувствовал: прежняя уверенность, что я один вправе бездельничать.

---

[1] Майкл Каллен ошибся. Как известно, автор этого романа Тобайас Смолетт, но Майкл не первый приписал его Филдингу. *(Прим. автора.)*

рассыпается в прах. На что оно мне одному, это право? Оно отгораживает меня от людей, которых мне всего сильнее хочется узнать. Но вот беда: чтоб соединиться с ними, я должен гнуть спину, наживать горб. А ведь чем дольше я буду жить как живу, тем трудней мне это будет, но в то же время я дорого бы дал, чтоб понять, хватит ли у меня мозгов держаться подальше от безликой, серой массы и не пасть так низко, как Джек Календарь. Присоединиться к ним проще простого: включи свет у себя в комнате и встань, заточи себя в прямоугольник окна, и тогда те, напротив, увидят — ты такой же узник, как и они. И я лег спать в темноте.

Через несколько часов за окном проклюнулось что-то похожее на утро, и я проснулся; пить хотелось жутко, но я знал: придется подождать, пока выберусь отсюда и найду какое-нибудь кафе. Я в два счета оделся, огляделся напоследок и с чемоданом в руке двинулся к двери. Меня трясло — видно, за последние месяцы слишком часто приходилось сматывать удочки, и еще вопрос, хотелось ли мне сейчас уйти. Меня ведь даже не гонят... да это неважно, все равно я ухожу, сейчас же, чуть свет, и точка.

За дверью стоял какой-то человек, он уже собирался позвонить, но увидел меня и вроде обалдел не меньше моего. Он был в светлом коротком плаще, высокий такой, складный, только волосы уже редеют.

— Вам чего? — спросил я как можно тише.

— Мог желает свой фитиль обратно,— прошепелявил он.

Я ничего не понял.

— Вы ошиблись адресом.

— Меня послал Моггерхэнгер. Он желает получить свою зажигалку.

— У меня ее уже нет.

— Он желает свой фитиль обратно.

— Нет у меня этой штуки.— И я захлопнул за собой дверь.— Посторонитесь-ка. Дайте пройти.

Тут он здорово меня толкнул — я даже чемодан выронил.

— Мистер Моггерхэнгер требует свой фитиль.— Он вытащил из кармана опасную бритву, раскрыл и ухмыльнулся.— Он велел поставить на тебе отметину, коли не отдашь.

Сверкнула сталь, я понял намек, нагнулся, вмиг открыл чемодан и стал рыться под кипой рубашек и грязного белья.

— Я как раз собирался зайти к нему сегодня и отдать,— сказал я и сунул этому типу зажигалку.

Он нажал, вспыхнуло пламя, и он уставился на него, будто готов был до завтра глазеть на эдакую красоту. Налюбовался, еще раз ухмыльнулся, погасил зажигалку и сунул в карман, а в другой руке все время держал бритву.

— Порядок? — спросил я как мог спокойнее и через силу улыбнулся.

Он поднял руку и аккуратно так чиркнул бритвой у меня перед носом, даже кожу не задел. Я вскрикнул, а он заржал, поддал ногой чемодан — барахло мое рассыпалось по ступеням — и так прямо по вещам и протопал.

Я подобрал свои пожитки и затолкал обратно. Уходя, этот гад наступил на тюбик зубной пасты, она выстрелила белой струей и перемазала ковер на лестнице. Я весь был в холодном поту, руки тряслись, никак не удавалось засунуть в чемодан галстук. Я стал на колени, подбирал оставшиеся вещички и думал: хорошо бы вернуться в квартиру, уснуть, а потом проснуться и за завтраком решить, что

нечего мне отсюда уходить, что мне просто привиделся дурной сон. Но квартира заперта, ключей у меня нет, да и все равно не стал бы я возвращаться.

Чем дольше я сидел на лестнице, тем легче становилось на душе, и наконец я заставил себя закрыть чемодан и встать. Нащупал в кармане сигареты и спички, почувствовал — ноги меня еще не слушаются — и не спеша закурил, будто отдыхал перед дальней дорогой. Часы показывали восемь, меня мутило, да и вообще пора было завтракать; я подхватил чемодан — теперь наконец можно идти.

В воздухе отлично пахло дымом, бензином, Джилберт Блэскин сказал бы, наверно,— пахнет самой жизнью. Люди добрые уже шли на работу, а я шагал с чемоданом в руках по Кингз-роуд и желал им удачи и долгих лет жизни. Я отыскал закусочную, уплел бекон, блинчики, выпил кофе и опять почувствовал себя здоровым и полным сил, страх перед моггерхэнгеровской карательной экспедицией из одного человека совсем прошел, я взбодрился и даже малость обнаглел. Раскрыл план города и задумался: где теперь буду жить, в каких четырех стенах окажусь к вечеру и найдутся ли такие стены? На счету в банке у меня двести пятьдесят фунтов, так что я кум королю, хоть и не на вечные времена. Может, пойти в гостиницу? Нет, это уж на самый крайний случай, если на ночь глядя вовсе негде будет приклонить голову, разве что прямо на мостовой. Я шел в сторону вокзала Виктории, вещей у меня было кот наплакал и чемодан, считай, ничего не весил, а все равно таскать его по улицам неохота. Человек с чемоданом — это либо приезжий, либо вор, либо простофиля, которому на улицу и выйти-то опасно. С чемоданом в руках не пощеголяешь. Даже если он ничего не весит, все равно будешь бросаться в глаза и уже нипочем не растворишься в толпе.

Я оставил его в камере хранения на вокзале Виктории и зашагал по улицам, которые еще не утратили для меня свежести и привлекательности. Все магазинчики в Сохо были открыты, вдоль тротуаров — сплошь ручные тележки и всюду — толпы утренних покупателей. Я купил испанскую газету, которую не мог читать, с сигарой в зубах уселся в какой-то итальянской закусочной и в перерывах между затяжками отхлебывал черный кофе. Всякий раз, как я пускался в бега или просто покидал старое место, я непременно надевал выходной костюм. Уж не знаю почему, но от этого я чувствовал себя лучше. А раз в таких случаях он прибавлял мне бодрости духа, значит, ясно: бездомность мне совсем не по нутру и надо поскорей что-нибудь придумать. Похоже, Моггерхэнгер мне враг (может, утренняя угроза — только начало) и лучше бы мне на месячишко смотаться из Лондона, не показываться там, где ему принадлежит чуть не половина клубов.

Но уж очень неохота было расставаться с Лондоном, и оказалось, я хорошо сделал, что не уехал: днем я зашел пообедать в итальянский ресторанчик (стоило мне оказаться без места — и у меня разыгрывался волчий аппетит) и увидел — в глубине комнаты за отдельным столиком спиной ко мне сидит человек и что-то уж больно знакомый у него затылок. Я стал ждать, чтоб человек обернулся, но он все время смотрел в сторону, вроде не хотел никому показываться. Несколько раз я думал: вот сейчас обернется, скучно же без конца пялиться на стену, а перед ним больше ничего и не было. В какой-то миг мне даже видно стало сбоку его лицо, он как-то очень знакомо повернул голову, а голова — точь-в-точь репка, и уж наверняка я вижу ее не первый раз. Я ел итальянский овощной суп, густо заправленный лапшой, и все соображал, чья же это голова репой и как

звать этого парня. Рылся я, рылся в памяти, перебрал даже все фильмы за последние десять лет — может, вспомнится лицо какого-нибудь актера и подскажет, кто он такой.

Похоже, он так никогда и не обернется — и я взял и уронил нож, но кругом была прорва народу, все ели, разговаривали, и он ничего не услыхал. Рядом с ним стояла вешалка, а на ней дорогое легкое пальто, шляпа и кашемировое кашне. Мне принесли телятину, а он, оказалось, меня опередил, официант уже поставил перед ним кофе. Он наклонился над столом — видно, читал газету,— и над его головой поднимался сигарный дым. Он спросил счет, и официант уж так к нему подскочил, сразу было видно — это постоянный клиент и на чаевые не скупится. Я хотел перехватить хоть несколько слов, да не удалось. Он встал, официант подал ему пальто, и только он обернулся — сердце у меня подпрыгнуло.

Я окликнул его по имени — не слишком громко, чтоб он один услыхал, и он поглядел в мою сторону с таким видом, будто я его облаял. Так вот это кто — Билл Строу, всезнайка и обжора, который прикатил со мной в Лондон. Он был в светло-сером костюме, в шелковой рубашке и темном в крапинку галстуке, в зубах все еще торчала сигара. Тогда, помню, лицо у него было небритое, по-тюремному бледное, а сейчас такое сухощавое, загорелое, сразу видно, силы бьют ключом и оттого он помолодел на десять лет. И все же это, без сомнения, был он, мой друг-приятель Билл Строу, с которым мы вместе добирались до Лондона.

Он подошел ко мне поближе, глянул своими серыми глазами и улыбнулся.

— Привет, красавчик, я уж думал, больше мне тебя не видать. Давненько не встречались.

— Сто лет,— сказал я и пожал протянутую руку.— Садись, выпей еще кофе.

— Выпью,— согласился он.— А ты глотни коньяку — я угощаю.

— Тебя теперь не узнать.

— Таким, как тогда, я уже не буду,— сказал он. Он и говорил-то теперь по-другому. Взгляд у него стал какой-то отрешенный — не поймешь, о чем он думает.— Нет, таким, как на Большом северном тракте, когда ты меня подобрал, ты меня больше не увидишь.

— Прости-прощай прежний Билл Строу,— сказал я, да, видно, чересчур насмешливо — его даже передернуло.

— Тебя требуется малость отшлифовать,— сказал он.— Больно ты неотесанный. И вот что, никакой я не Билл Строу, сделай милость, забудь это имя. Я для всех Уильям Хэй, для всех знакомых и для моих хозяев. И в паспорте так записано. А профессия моя — директор компании. Ну, вот, так и знай, только ты не думай, я не перестал быть человеком. Мне удалось разделаться с прежней жизнью. С тем, что было до приезда в Лондон,— покончено. Но тебя я не забыл, потому как ты мне помог. Послушай,— вдруг почти по-приятельски, как тогда на дороге, спросил он,— а эту самую Джун ты, случаем, не встречал, а?

За коньяком я рассказал ему все, что со мной было с тех пор, как мы расстались в Хендоне. Рассказал и что ухитрился нажить себе врага — Моггерхэнгера, и это явно произвело на Билла впечатление.

— Некоторым ребятам такое в страшных снах снится,— сказал он.— Моггерхэнгер зверь опасный, ты уж держись от него подальше. И вообще послушай-ка ты меня.

— А что ж, могу,— сказал я.— Сразу видно, у тебя дела что надо.

У него лицо сделалось каменное, и он сказал:

— Ты еще малость желторотый. Это я мигом увидал, еще когда ты меня подобрал и позволил, чтоб я всю дорогу объедал тебя. Даже не знаю, как ты до сих пор уцелел. Вот рассказывал ты, и вижу — тебя не опыт выручил, просто везло. Только сдается мне, пора тебя взять в руки. Пока что поживи у меня. Я ночью выгнал свою теперешнюю любовницу, живи, пока не заведу новую. У меня квартира в Бэттерси. Маленькая и тихая, мне как раз подходит. Помнишь, я тебе говорил, мне причитается несколько тысяч за работу, из-за которой я угодил в тюрягу? Ты небось думал, я заливаю, да?

Он засмеялся и закурил новую гавану.

— А я не заливал. Я часто говорю правду, а людям кажется, при такой морде — и не хочешь, да соврешь. Старый фокус. Так вот, денежки меня дожидались целехоньки, и еще за все годы, пока я отбывал срок, набежали проценты. Кругленькая сумма — пять тысяч триста! Даже не ожидал, что те ребята сдержат слово. На суде-то я их выгородил, понимаешь, и они это знали. Проценты и сейчас идут. Меня свели с одним маклером, он вложил мой капитал в английскую промышленность — дело верное, восемь процентов годовых. Да я к этой деньге, считай, и не притронулся — взял всего три сотни на обзаведение и одежу, потому как приспособили меня к выгодной работенке, и она мне в самый раз: все время держит меня в стороне от Англии, катаю в разные тепленькие местечки на материке, а бывает — и подальше. Ну, покуда особо трепаться не стану, только загорел я не на альпийских курортах. Но ты знай: кто мне помог, когда я был на мели, я того не забываю. Это уж точно, такой я человек и всегда такой был. Ты-то, может, и не догадывался, но, когда ты меня подобрал, я уж совсем до точки дошел. Выдохся, хоть помирай, за душой ни гроша, в брюхе пусто, всякую надежду потерял. Ну, думаю, мне конец: дождь хлещет, машины все мимо летят, только грязью обдают, продрог до костей, чувствую — все, конец мне, сейчас сдохну.

Он заказал еще коньяку, словно боялся, как бы эти воспоминания не отняли у него недавно обретенное мужество.

— Да я ж ничего такого не сделал,— сказал я.— Просто катил мимо в своей старой калоше, гордый такой, вижу, парень зря мокнет, жалко мне стало — ну, и остановился.

— Ты не прогадал, что помог Уильяму Хэю. Это во мне засело прочно. Век не забуду.

— Тогда за твое здоровье,— сказал я и отхлебнул отличнейшего коньяку.

— У меня сейчас хорошая работа, Майкл. Путешествую. За последние месяцы насобачился путешествовать. Был на Среднем Востоке. И за Северным полюсом. И повсюду в Европе. Да только платят мне недаром. Больше покуда ничего не скажу. Каждый грош я заработал в поте лица. Потому и наедаться мне надо как следует — два, а то и три раза в день. Для моей работы сила требуется и бодрость, не то сорвешься, а это хуже некуда, тогда прости-прощай работа, а может, и того хуже. Нелегкая жизнь, не гляди, что здоровье у меня на зависть и дела хоть куда. Такой трудной работенки у меня отродясь не было, зато она и денежная.— Он хохотнул.— Денежная. Это уж точно, черт ее дери.

Я никак не мог догадаться, какая же это у него работа, и меня разбирало любопытство. Закусочная пустела, и Уильям предложил пройтись. Он, когда не работает, должен за день отшагать пять миль, не то потеряет форму.

— Мне положено вволю лопать и вволю топать,— со смехом ска-

зал он, когда мы вышли; он пожелал заплатить и за меня тоже, и хозяин с поклоном проводил нас до дверей.

— Ты ходок ничего,— сказал Уильям, когда мы вышли на внутренний круг Риджент-парка; похоже, он мне устроил какое-то испытание.— Ну, а что едок ты хороший, я и так верю.

Мы уже явно отшагали лишнее, и я не понимал, чего ради зазря оттаптывать ноги. Больно мне надо, чтоб меня хвалили за выносливость, по мне, пора уже было возвращаться в город.

— А теперь,— сказал Уильям,— мы повернем к Бейкер-стрит, дойдем до вокзала Виктории, прихватишь свой чемодан, а там перейдем Темзу и — в Бэттерси.

— Это ты каждый день так шагаешь? — спросил я.

Он не шел — мчался, а вроде ничуть не устал, был свеженький как огурчик, будто только что вылез из такси и до места, куда идет, рукой подать.

— На вид надо быть настоящим джентльменом,— заявил он,— а выносливость требуется железная. Мне это вдолбили во время тренировки.

— Какой такой тренировки? — спросил я. Мне было не больно приятно, что мы так по-разному выглядим.

— Обыкновенной тренировки. В первую неделю они думали, мне нипочем не отстать от старых привычек. А потом дело у меня пошло на лад, да так быстро, дядя под колпаком только диву давался. Я всегда долго разгоняюсь, зато под конец беру свое. Очень многие парни (и женщины тоже, учти) поначалу дают такую скорость — будь здоров, зато часто раньше всех и выдыхаются. Это Железный так говорит, и я ему верю. Ему есть о чем порассказать, сидит под своим колпаком, эдакий черт, толстая рожа.

— Ничего не пойму. Ты по-каковски это болтаешь? Да и пожрать охота. Мы отшагали уже мили четыре, не меньше. Давай зайдем куда-нибудь поедим.

Уильям остановился, нагнулся, отвернул на левой ноге штанину, отстегнул подвязку и спустил носок. С внутренней стороны на лодыжке был нацеплен какой-то пестрый циферблат — похоже, шагомер.

— Три с четвертью,— сказал Уильям, преспокойно пристегнул носок, спустил штанину и зашагал дальше.— Я его ношу, чтоб не надувать себя.

— Ну и на здоровье, а я жрать хочу. Я бы заглотал поджаренного хлеба с чем угодно, хоть с лягушкой.

— Ага,— со смехом сказал Уильям.— Быстро же у тебя живот подвело. Гляди в оба, не то мы тебя враз приспособим к делу. Новые работнички всегда нужны. Нет, в этой вшивой забегаловке я есть не могу. Давай найдем что-нибудь поприличней. Это тоже положено при моей работе. Приличному человеку не след появляться в таком свинарнике.

— К чему это ты гнешь, хотел бы я знать?

— Я теперь на ходу даже закурить не смею. Зато приучаешься к дисциплине: когда с души воротит, а делаешь, большая польза для тебя выходит. На такой работе можно повидать свет, а чего еще человеку надо? Ты, может, думаешь, я больно много болтаю, а ведь это тоже тренировка. Надо уметь кого хочешь развлечь и толково поговорить, говорливый — он всегда внушает меньше подозрений, а вот кто все время молчит, будто язык проглотил, тот всегда всем подозрительный. Умей к месту вставить словцо, да скажи его эдак внушительно. Не заикайся, не переминайся с ноги на ногу, не то тебя в два счета схватят. Стоит не так моргнуть, и эти сволочи в аэропорту мигом тебя задержат и выворотят все твои карманы наизнанку.

Мы зашли в приличную кормушку на Уигмоур-стрит и заказали несколько отменных блюд.

— Так ты, выходит, контрабандист? — Щеки его побагровели.— Я думал, ты занимаешься чем-нибудь получше.

— Мы у себя это слово не употребляем. Я один из директоров компании, все время в разъездах.

— Извини, Уильям.

— Первым делом научись держать язык за зубами. Без этого тебе ходу не будет.

— О господи,— сказал я и надрезал яйцо, чтоб желток разлился по поджаренному ломтю хлеба,— кого ни встречу, всяк меня учит.

Уильям подцепил на вилку кусок пирога.

— Тогда считай, ты родился в сорочке. Смотри учись уму-разуму, все мотай на ус. Идет счастье в руки — не зевай. Я не дурак, Майкл, был дурак, да весь вышел, так что слушайся меня и учись у всех, у кого только можно. А сейчас давай доедай. Нам еще надо свое дошагать. Я знаю, ты ешь быстро, а требуется еще побыстрей. Кто медленно ест, медленно и соображает, а это нам не подходит. И главное, гляди спокойно, а соображай живо, не то не сносить тебе головы.

Квартира у него была тихая, на отшибе, скорее даже в районе Клэпема, чем в Бэттерси, и я прожил в ней несколько недель, прежде чем меня представили человеку под колпаком. Из благодарности и дружбы (я, по-моему, совсем ее не заслужил, да Уильям, в иных случаях не в меру совестливый, думал по-другому) он сказал, чтоб я чувствовал себя у него как дома. И чаще всего я был предоставлен самому себе — Уильям почти все время разъезжал.

А когда он бывал дома, мы с ним отправлялись в дальние прогулки. Он говорил, надо быть всегда в наилучшей форме — и мы иногда ходили в гимнастический зал или в плавательный бассейн. Так что скоро я малость похудел, зато мускулы у меня стали покрепче. Еще он мне советовал не нажимать на тяжелую пищу, и при всяком удобном случае мы ели отличные бифштексы и пили красное вино. Такой режим, конечно, хорош, а только ведь все это неспроста, и я хотел знать, чего ради со мной нянчатся, придется ведь и расплачиваться, но понимал: Уильям раньше времени ничего не скажет, и у меня хватало гордости не задавать вопросов, на которые я все равно не получу ответа. Это тоже входило в курс тренировки.

В минуту откровенности Уильям намекал: мол, если меня возьмут на эту работу, я стану состоятельным человеком, стоит три раза съездить благополучно — и я начну как сыр в масле кататься. Только бы меня взяли, это трудно, но, если он отзовется обо мне наилучшим манером, дело, скорей всего, выгорит. На счастье, я высокий, и лицо и фигура у меня тоже подходящие, и если меня немного поднатаскать, а потом обучить по-настоящему, из меня будет толк. Сам он с первых шагов такой был удачливый, надо думать, к его слову прислушаются. Да и на новичков всегда большой спрос — не потому, что они проваливаются и выбывают из строя (хотя, конечно, не без этого), а потому, что — дело известное — новички удачливы, им поначалу всегда везет.

Съездит новичок в первую поездку, и, чаще всего, его уж больше никуда не посылают, вручат кругленькую сумму, и будь доволен, друг любезный, отправляйся восвояси, к прежним своим делишкам. Железный глянет на новичка (а он здорово разбирается в лицах и в почерках тоже; каждому новичку велит переписать пять строк и по ним тоже решает, чего парень стоит) и сразу поймет, сумеет ли человек не растеряться, есть ли у него мужество и хладнокровие —

в нашем деле без них никак нельзя,— а главней всего: удачливый парень или нет. Наполеон — тот про каждого своего генерала хотел знать, везучий он или нет, вот и Железный хочет знать, везучий ли этот кандидат в золотоноши или, может, он только один разок и перенесет груз за границу, а дальше его везения не хватит. Уильям, к своему немалому удивлению, выдержал испытание и теперь, похоже, считался постоянным служащим этой самой «компании», потому он и надеялся протолкнуть меня хотя бы на одну поездку — если она сойдет благополучно, я, когда вернусь, получу двести, а то и триста фунтов.

Едва я узнал все эти условия и возможности, я прямо загорелся и решил — ни за что не подкачаю. Кой-кто скажет — дурак, жадность одолела,— и ошибется: не за одними деньгами я гнался, тут ведь еще и опыта прибавится, и можно себя показать. Мне думалось, последнее время я живу точно арестованный, а теперь вырвусь наконец на свободу, и, хотя тут есть опасность (Уильям явно ее приуменьшал), мне отчаянно хотелось, чтоб меня приняли и все тренировки и проверки остались позади. Я ходил по улицам или сидел один в квартире Уильяма, слушал заграничные пластинки (он их понавез из своих поездок) и вдруг весь обливался холодным потом: а ну как у меня кишка тонка для такого дела? Я поделился своими страхами с Уильямом, а он засмеялся и говорит — он и сам через это прошел, и это даже хорошо: если нет у тебя никаких сомнений, значит, ты человек неподходящий.

Я стал отращивать усики: Уильям сказал, с ними я выгляжу внушительней, а значит, больше надежды, что меня примут. К счастью, на вид мне можно было дать лет двадцать пять, не меньше, и это хорошо: кто похож на мальчишку, тех они не берут. У меня, конечно, и в мыслях не было, будто Уильям меня дурачит или разыгрывает, потому как он богател прямо на глазах, так что если мне удастся стать на те же рельсы, лучше и желать нечего. Он думал, может, мне начать курить трубку,— это, мол, всегда производит хорошее впечатление, особенно когда проходишь через таможню. Набьешь эдак трубочку, а не зажигаешь, идешь, и таможенник рад тебе посочувствовать — работа у него строгая, а сам он, пожалуйста, бывает и добрый, уж постарается не задержать тебя, быстренько задаст два-три вопроса и пропускает: надо ж человеку закурить. Я попробовал, но даже и при самом слабом табаке от каждой затяжки меня чуть не рвало. Уильям сказал: ладно, кури сигареты, а идешь через таможню, вообще не кури, так лучше.

В эти недели жилось мне очень однообразно, да я был не против — все равно интересно. От нечего делать я заметил: с виду я становлюсь другой, а к миру и к людям отношусь по-прежнему. Уильям думал, у меня нет денег, и купил мне за одиннадцать фунтов самолучшую электрическую бритву.

— Отдашь деньги с первой получки,— сказал он, когда мы выходили из магазина.

— А если так ничего и не получу? — спросил я. Я вовсе не разделял его твердокаменную уверенность.

— Значит, считай, бритва досталась тебе задаром. Но теперь пускай она всегда будет при тебе, брейся не меньше двух раз в день. Считай, это навечно придаток твоей загребущей руки.

— Может, мне и котелок купить?

— В котелке тебя живо засекут. К твоему лицу требуется шляпа вроде моей. Сейчас сходим на Риджент-стрит и купим. И все время будешь в ней ходить.

Он занялся моей наружностью всерьез: по дороге в шляпный ма-

газин мы завернули в парикмахерскую. Хитрюга Уильям звонил туда еще из дому и уговорился на определенный час, мы вроде просто гуляли не спеша, а пришли точно в назначенное время. Уильям сказал парикмахеру, как меня постричь: сверху короче, на затылке подлинней, чтоб волосы малость спускались на шею, и удлиненные бачки. Я заспорил, но он велел мне заткнуться, и я чуть не вцепился ему в глотку, но тут парикмахер царапнул ножницами у меня в ухе, вскрикнул и отскочил — решил, ему несдобровать.

— Ладно, стригите, как велено! — заорал я.— Да только живо, не то я сам перережу себе горло, не стану вас дожидаться.

Все обрадовались, когда мы наконец ушли — впрочем, к Уильяму это не относилось: он оставил десять шиллингов на чай.

— С тобой хлопот больше, чем с грудным младенцем,— сказал он, а когда мы побывали в шляпном магазине, спросил: — Ну-ка, кто это шагает на тебя вон там в зеркале?

— Где? — спросил я.— Где? — А сам глядел в зеркало прямо на какого-то молодого фраера и не сразу его узнал. Потом приподнял шляпу — здорово, мол! Хотел бы я знать, черт возьми, что ждет меня дальше.

Наутро мистер Хэй отбыл в Бейрут, а мне опять предстояло шагать по городу. Да только Уильям строго-настрого расписал, что мне следует делать, цветными карандашами разметил по карте маршруты на каждый день. И велел всегда ходить с портфелем-чемоданчиком — он уложил туда короткие свинцовые брусочки, так что чемоданчик тянул эдак фунтов на двадцать. Мало того, он запер чемоданчик и забрал ключ: выходит, я не мог вынуть ни брусочка. Можно бы, конечно, и вовсе не брать чемоданчик, но я знал, это важная часть тренировки, так не отрезать же себе путь в их «компанию» из-за самой обыкновенной лени, из-за того, что во время испытания не смогу поднять нужную тяжесть. В первый день я прошел до центра города и обратно и уж не знаю, насмех, что ли, Уильям так подстроил или это получилось случайно, но только по маршруту мне пришлось повернуть назад у здания Олд Бейли — главного уголовного суда.

С эдаким грузом разгуливать в шляпе, небрежной походкой, будто в чемоданчике всего-навсего свежая газета,— такое легче сказать, чем сделать, я это почувствовал после первой же сотни шагов. Пот лил с меня в три ручья, и посреди моста Бэттерси меня взяла охота поставить чемоданчик и посидеть на нем. Потом я его поднял и чуть было не швырнул в реку. Но вместо этого зашагал дальше и все вспоминал, как мои предки — ирландцы (один-то уж во всяком случае) выжили во время голода, который на них напал по вине извергов англичан, приехали в Англию строить железные дороги и чутьем прокладывали путь от одного места к другому. Я представлял себе все это, пока плелся по Челси, и только надеялся, что не очень похож сейчас на углекопа, уморившегося за долгую смену.

Наконец я добрался до дому, и мне казалось, руки мои вытянулись на целый фут, а назавтра мне пришлось еще круче: к своему грузу я попривык, но ведь Уильям потребовал, чтоб я напускал на себя эдакий беззаботный вид. А мне и на первых-то шагах это не больно давалось, а уж на обратном пути я и вовсе маялся. Маршруты были рассчитаны так, чтоб с каждым днем ходить все дальше, и в этот второй день, отпирая дверь квартиры, я обругал себя дураком и дал себе слово: вот только сложу вещички — и тут же смоюсь. К тому же чуть не весь день то моросило, то лило как из ведра, и от этого я еще сильней вымотался и пал духом.

Но дома я принял ванну, выпил несколько чашек чаю, и злость моя поутихла. Я глянул из окна вниз, на улицу — дождь перестал.

Где-то пробилось солнце, смягчило жесткий свет дня, расцветило все вокруг густыми и яркими красками. Мне вспомнился Ноттингем, жизнь милая и однообразная — нет, возвращаться туда совсем не хотелось. Потом я представил, сколько всего будет мне доступно в этом приятном и красивом мире, когда у меня заведутся деньги, а ведь если я стану слушаться Уильяма, так смогу загребать их лопатой, значит, ясное дело, надо тренироваться и дальше, а через день-два он уже и сам приедет. Бросить сейчас все — это была бы чистейшая слабость или глупость, а я вовсе не считал себя ни слабаком, ни дурнем. Я поставил пластинку и уснул, не дослушав даже одну сторону, и проспал до утра, а наутро опять впрягся в то же ярмо.

Оказалось, я быстро приноровился: на этот раз я подхватил чемоданчик, точно старого друга, с которым не расстаюсь вот уже целый год. Сунул под мышку газету, засвистел и пошел шагать по улицам, даже весело поздоровался с фараоном на мосту — хитрюга Хэй наверняка бы меня похвалил. Нынче предстоял самый длинный поход, но я уже знал: наверняка справлюсь. Я прошел от Бэттерси до середины Хемпстеда, изредка перехватывая чемоданчик в другую руку, но вроде лишь для того, чтоб и этой не обидно было. На моей карте хемпстедская станция метро была обведена синим кружком — стало быть, я должен здесь пообедать, и уж я пообедал в свое удовольствие, засиделся в ресторанчике чуть не до трех часов.

Денек выдался на славу, вот только иногда налетал ветер и раза два чуть не сдул мою шляпу, шагать было даже приятно, и ноша уже не так меня тяготила, я теперь успевал глядеть по сторонам и примечал, что где творится. Путь лежал по улицам, ведущим к Финчли-роуд, и я шел мимо больших домов, в которых помещались частные школы. Из дверей выходили мальчишки в затейливых шапочках с кисточками и девочки в сопровождении служанки или кого-нибудь из родителей. У обочины выстроились сверкающие автомобили, иные нетерпеливо гудели — им хотелось поскорей вывернуться отсюда и миновать пробку. Забавно это было: иду мимо как ни в чем не бывало, будто нежный папаша завернул сюда мимоходом со службы (после тяжких трудов, которые начались в одиннадцать утра), за какими-нибудь своими Криспином и Фелисити. У дверей одного дома на верхней ступеньке стоял мальчуган с портфелем, и я на него засмотрелся. Он так лихо заломил набекрень шапчонку, казалось, она вот-вот слетит. Огромные черные очки скрывали чуть не все лицо. Мальчишки толпились на ступеньках, сбегали вниз, он был куда меньше их всех, а главное, даже в форме ученика этой шикарной школы я все равно ни с кем бы его не спутал.

Он вскочил на бетонную ограду, которая круто спускалась к воротам, положил на нее портфель, мигом съехал вниз и свалился, шапка полетела в одну сторону, очки — в другую. Дверь школы распахнулась, оттуда выскочила Бриджит, сбежала по ступенькам, подхватила его, шлепнула по щеке, подобрала его вещички.

— Зря вы бьете ребенка,— сказал я.— Он просто развлекается.

Она свирепо на меня взглянула, но не узнала.

— Не вмешивайтесь не в свое дело,— отрезала она.— Я его мать.

— Да ну? Тогда я его отец. Неужели не узнаешь меня, крошка?

Она опять поглядела, но тут Смог закричал:

— Дядя Майкл! Заберешь меня отсюда?

— Ты! — сказала Бриджит.— Зачем явился?

— Вот так обрадовалась. Я думал, мы с тобой друзья, а ты вдруг будто сквозь землю провалилась.

— По твоей милости я теперь миссис Андерсон,— сказала она.— И мать вот этого сокровища.

— Не может быть.— Я стойко выдержал удар, даже засмеялся.

— Хочешь верь, хочешь нет, а так оно и есть.

Смог прижался к моим ногам. Потом стал приплясывать вокруг меня. Попытался поднять мой чемоданчик, поднатужился, весь побагровел, но куда там. Пнул чемоданчик ногой, ушибся и чуть не заревел. Но тут же засмеялся и опять меня обхватил.

— А ты все такой же,— сказал я, снял с него шапчонку и сунул к себе в карман.

— Нет, он стал хуже,— сказала Бриджит.— В прошлом месяце я возила его в Голландию, и он разрушил ферму моего отца. Вот так, сам, один ее разгромил. Теперь отец не хочет меня видеть.

Неужто она и впрямь стала женой доктора Андерсона? Чудно! И, чтобы скрыть огорчение, я принялся не зло над ней подшучивать.

— И вообще,— сказала она,— мы больше не зовем его Смогом. Это запрещено. Это плохо на него действует.

— Хуже он от этого не станет, верно, Смог?

Он поднял на меня глаза.

— Ясно, не стану. А ты купишь нам пирожных?

— Лучше попроси свою маму.

— Она мне не мама. Моя мама ушла, она с папой развелась, потому что раз пришла, а он в кровати с Бриджит.

— Вон как? — сказал я.— Да, верь после этого людям. Никогда никому не признавайся в любви. Теперь такой будет у меня девиз.

— Ах ты бедненький,— сказала Бриджит.

— Пойдем выпьем где-нибудь чаю,— сказал я, взял Смога за руку, предложил руку Бриджит. И тесной семьей мы стали спускаться с холма.

— Это все ты виноват,— сказала она так, будто и не рада была своему новому положению, и над крышами впереди мне забрезжил луч надежды.— Помнишь,— продолжала Бриджит, едва мы наконец уселись за столик в хорошем кафе под названием «Швейцарский домик»,— когда мы виделись с тобой в последний раз, я тебе сказала: Дональд (так зовут моего мужа) ко мне подъезжает, ну, по-вашему — пристает, и ты мне посоветовал подкинуть ему в постель губную помаду, ты говорил, жена найдет эту помаду и бросит его? Ну вот, я аккуратненько засунула помаду к нему под подушку, я-то думала, его нет дома, а он стоял в дверях и все видел. Видел, как я достала из кармана помаду, откинула покрывало и сунула ее под подушку. И тут он спросил, что же это я делаю, а я ужасно смутилась, и он кинулся на меня и все с меня содрал. Сама не знаю почему, но я совсем не могла отбиваться. Я звала на помощь, тебя звала, а потом вижу — без толку это, и перестала, и он сделал со мной все, что хотел, да еще побил — он ведь понял, что этой помадой я хотела ему навредить.

А потом... ты не сердись на меня, Майкл, просто так уж вышло. Потом я забыла про все на свете. И он тоже, он мне после сам говорил, и тут пришла его жена и увидела нас. Она крикнула, что это последняя капля, уложила свои вещи и укатила на такси. На другой день она приехала с фургоном и забрала половину мебели. Я удивилась, как же это она не забрала Смога, но Дональд сказал, что она будет жить со своим любовником, а тот и минуты не вытерпит такого мальчишку. Потом я узнала, они уже целый год как развелись! Ну, и мы поженились, он сказал, что любит меня, и потом, все равно ведь мы жили вместе. И знаешь, мне он тоже немножко нравится.

— Я тебе звонил сколько вечеров подряд,— с горечью сказал я,— и к дому приходил.

— А мы на две недели уезжали в Шотландию, а потом отказались от той квартиры. Мы теперь живем в Хемпстеде, в отдельном доме.

— Больно быстро все получилось. А я до сих пор в тебя влюблен.

Я сказал правду. Она была теперь уже не студенточка в расцвете молодости, а настоящая мужняя жена и хозяйка дома, и одета под стать, и от всего этого стала на вид старше и солиднее.

— А я ничего не могу сказать.— Она слегка подтолкнула меня локтем.— Понимаешь? — И покосилась на Смога, а он поставил перед собой все три чашки и сливал в них остатки заварки, воды, молока, сахара и еще сваливал вонючие окурки из пепельницы.

— Ну, хоть дай мне свой телефон, можно кой-когда перекинуться словечком без свидетелей. Вреда от этого не будет.

— Надеюсь,— сказала Бриджит и с улыбкой записала для меня свой телефон. И сразу же встала.— Идем, Смог.

— Я еще не кончил свои химические опыты.

— Не будь поросенком. Пойдем.

Он встал и надел шапку задом наперед.

— Я не поросенок. Я хочу к Майклу.

— Нельзя,— сказал я.— Пока еще нельзя.

На прощание мы пожали друг дружке руки, и она сказала:

— А вид у тебя преуспевающий.

— Сменил работу. Служу теперь в Английском банке. Как раз возвращаюсь от клиента, который превысил свой кредит. Если удастся это уладить, национальный платежный баланс будет в порядке... по крайней мере в этом месяце. Я постоянно исполняю всякие особые поручения. Мать нажала кой-какие пружины и устроила меня на это место. Когда меня уж очень прижмет, я не отказываюсь от ее помощи.

— И все ты сочиняешь,— со смехом сказала Бриджит.— Да уж не стоит в это вдаваться.

Я улыбнулся, будто решил, что она шутит: неужто, мол, не поверила мне в таком пустяке?

— Ладно. Значит, созвонимся? — Я довольно прохладно положил конец разговору, хоть и чувствовал: нас опять здорово потянуло друг к другу.

Следующие недели я так крутился, было не до телефона. Уильям уже давно обещал замолвить за меня словечко, и вот в один прекрасный день он сказал: человек под колпаком желает со мной познакомиться. Перед этим мы отправились в самый дальний наш поход — до Хайгейта и обратно,— и я чувствовал себя сильным, крепким и подтянутым, как тигр: от привычки носить тяжести я стал зверь зверем, а по лицу ничего такого не прочтешь, можно подумать: вот идет человек и размышляет о деле, для кого-то оно, может, и окажется роковым, да только не для него.

Мы подошли к огромному старомодному дому около Альберт-холла, из тех, где каждый этаж — квартира, и швейцар поздоровался с Уильямом почтительно, будто с миллионером, который живет здесь уже лет двадцать. Он поднял нас в лифте и позвонил в дверь квартиры, нам даже не пришлось снимать перчатки. Квартира оказалась роскошнейшая, в таких я еще не бывал, и в холле столько картин и ваз, у меня прямо руки зачесались, так бы что-нибудь и свистнул. Но я тут же вспомнил, какие передо мной открываются горизонты, да и вещички вокруг были такие — в карман не спрячешь. Важный лакей провел нас в комнату поменьше, тут по стенам стояли простые стулья,

посередке стол. На столе — номера «Провинциальной жизни» и «Знатока», только ни Уильям, ни я читать не стали, но все равно сидели молча, словечком не перекинулись.

У меня спирало дыхание, хотелось курнуть, но Уильяму это, наверно, не понравится, да и пепельниц тут нет. Ладно, обойдемся, настоящий мужчина не станет расстраиваться только из-за того, что его заставили обождать. В последние недели я начал убеждаться, что лучше не давать воли чувствам, держать их при себе и никому не показывать. Человек, который не выдает, каково у него на душе, куда внушительней слабака,— тому нипочем не скрыть волнения и даже невдомек, каким дураком он себя выставляет. Вот только как бы наружное спокойствие не задушило твои истинные чувства, это уж была бы самому себе медвежья услуга.

Наконец за нами пришел высокий темноволосый молодчик, с виду ласковый, вот-вот улыбнется. Он повел нас в длинную-предлинную комнату, здесь даже потолок показался ниже; на полу никаких ковров, просто выложен узор из белых и черных квадратиков линолеума. И мебели никакой нет — только на стенах вроде без особого порядка висят в рамках карты. В противоположном конце к потолку приделана рельефная карта Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Многие точки на ней соединяла красная тесьма — можно бы подумать, это торговая карта какой-то крупной экспортной фирмы, только вот место для нее выбрали чудно́е.

А больше всего меня поразил огромный стеклянный ящик высотой чуть не до потолка, в этом аквариуме стояло что-то вроде кровати, и с изголовья глядело огромное лицо, уж до того огромное — стекло там, что ли, было на манер увеличительного. Из громадного прозрачного сооружения тянулись трубки и провода, а сбоку в ногах кровати вздувался и опадал большой резиновый мешок — он помогал работать сердцу человека, который лежал в этом чуде современной науки. Человек лежал под легким одеялом, но оно закрывало его не целиком, и видно было — он в обыкновенном костюме, в рубашке и при галстуке. Он слегка откинулся на спинку кровати — так удобней глядеть сбоку на потолок и по сторонам. По кровати рассыпаны газеты, брошюрки, но сейчас он смотрел больше на меня, а мы с Уильямом шли по комнате, и я все еще тащил портфель-чемоданчик. Лицо у него было бледное, одутловатое, маленькими карими глазками он буравил меня насквозь.

— Доброе утро, сэр,— сказал Уильям.— Я привел новенького.

— Что ж, посмотрим.— Голос донесся не из-под колпака, а из рупора, хоть говорил, конечно, тот дядька. Мы подошли ближе, и я увидел рядом с ним на подставке — ему стоило только руку протянуть — люгеровский пистолет-автомат. Хотя если тут начнется заварушка, вряд ли ему будет от этого толк, но, наверно, когда оружие под рукой, ему все-таки спокойней.

— Вы должны нести груз весом в половину того, что весите сами, и даже виду не показать,— раздался из рупора трескучий голос.— Сможете?

Я быстро прикинул. В последний раз я весил больше семидесяти шести килограммов, значит, нести нужно чуть не сорок килограммов. Даже подумать страшно, лучше бы он нанял упряжку буйволов... но я такого ему не посоветовал, а сказал: да, смогу, лишь бы упаковщик знал свое дело. Рупор хохотнул. Он задал мне совсем мало вопросов, даже удивительно, но, наверно, все остальное Уильям доложил еще раньше.

— Скажите Стэнли, пусть наденет на него пальто,— распорядился он, и высокий темноволосый малый, который впустил нас сюда,

втолкнул в комнату тележку, нагруженную длинными тонкими металлическими брусками. Поверх было накинуто пальто, и мне велели его надеть. Уильям помог мне. Внутри оказались длинные узкие карманы — видно, для этих самых брусочков. Каждый брусок весит четыреста пятьдесят граммов, сказал по ходу дела тип из «аквариума», и в карманы их заложили пятьдесят штук, подошвы мои прямо вросли в пол, я даже поглядел, не продырявил ли я его. Груз давил на плечи, и еще я чувствовал — жмет на ребра, казалось, грудная клетка вот-вот лопнет.

— Ну, как самочувствие? — ухмыльнулся тот, из-под прозрачного колпака.

— Порядок,— с улыбкой ответил я. В пальто как раз вкладывали очередной брусок, и я думал: сейчас грохнусь на пол. Но сам перед собой прикинулся, будто на карту поставлена моя жизнь, будто, если не выдержу испытания, меня расстреляют. Чтоб не думать про груз (хоть он от этого легче не станет), я начал вспоминать все, что со мной происходило с тех пор, как я приехал в Лондон. Верней сказать, с тех пор, как я удрал в Лондон, и одна была тут на моем небосклоне звездочка — Бриджит Эплдор, а ведь, похоже, пока я не выберусь из берлоги этого психа, мне ее не видать. Эх, оказаться бы с ней сейчас наедине... А пока что в моем плотном габардиновом пальто набралось уже шестьдесят брусков, и решили больше не грузить — видно, не хотели с первого же захода переломить мне хребет.

Тот, под колпаком, улыбнулся и от этого еще сильней побледнел. Оказывается, я и сам улыбался. Так просветленно улыбаются люди перед смертью. Я чувствовал: свечусь изнутри, готов ко всему и уже не замечаю тяжести.

— Пройдите в дальний конец комнаты и обратно,— распорядился тот из своего убежища.

Я рад бы полететь, да кандалы из шестидесяти брусков не пускали. Может, вот так же скованы бывали мои осужденные предки, когда их ссылали на каторгу в Ботани-Бей.

Я сразу решил идти не слишком медленно. Если пойду медленно, непременно свалюсь. И пошел в меру быстрым шагом, аккуратно перенося тяжесть с одной ноги на другую, и ритм, взятый с самого начала, вел меня вперед, хотя уж наверняка у меня на морде было написано, каково мне это дается. Но сперва я шел от них, и они видели только мою спину, а когда я повернулся и решительно зашагал к ним, я уже стиснул зубы, и рожу не кривил, хотя наверняка побагровел.

Я дошел до «аквариума», и тот тип сказал:

— А теперь напишите на листке свое имя, фамилию и адрес.

Я с трудом наклонился, взял перо, все написал и опять выпрямился.

— Недурно, недурно,— пробормотал он, вроде и не в микрофон, а про себя.— Теперь вы,— сказал он Уильяму, и Уильям взял бумажку, на которой я писал, и сунул ее в трубочку — в универмагах по таким трубочкам переправляют мелочь от кассы к прилавку. Раз — и вот она уже под колпаком, и Железный разглядывает листок в лупу.— Пока я читаю, можете несколько раз пройтись туда и обратно.

— И прихвати свой портфель,— сказал Уильям.— Покажи, на что ты способен,— прибавил он, подмигнул и уронил вроде паспорт.— Да заодно подбери вот это, красавчик мой!

— Сам подберешь, не рассыплешься,— огрызнулся я: в ту минуту я готов был его убить.

— Это тоже твоя работа,— сказал он с таким видом, будто я его ужасно оскорбил.

— Меня еще не наняли.

Уильям похлопал меня по плечу.

— Скоро наймут, а нагнуться и подобрать бумажку с полу надо уметь. Ты уж меня не подводи. Вот представь-ка: ты несешь золота на пятьдесят тысяч фунтов, подходишь к таможеннику, раз — и обронил паспорт. Надо так его поднять, будто никакого груза на тебе и в помине нет, верно я говорю?

— Ладно,— сказал я.— Усек.

Я примерился, как половчей нагнуться, протянул руку, схватил паспорт и так быстро выпрямился — даже сам удивился: лихо получилось.

— Принят,— раздался голос из-под колпака.— Почерк подходящий. Сила, осторожность, быстрота, уверенность. Судя по почерку, все налицо. Пускай в конце той недели едет в Цюрих.

— А сколько будет денег? — вежливо спросил я.

Он покашлял.

— Когда вернетесь, получите три сотни. А сейчас, если нужно, Стэнли даст вам двадцать фунтов в счет будущего.

— Да, нужно,— сказал я. У меня еще оставалось больше двухсот фунтов от тех, которые я отложил, пока был при Моггерхэнгере, но я знал: деньги никогда не лишние.

Все дни до первой поездки я усиленно тренировался. Увеличивал и увеличивал груз и под конец таскал на себе больше двадцати килограммов да еще портфель. С этим грузом шел до назначенного места, потом несколько миль ехал на автобусе, потом выпивал чашку кофе в заранее намеченном кафе. И наконец автобусом возвращался в Найтсбридж, еще шагов триста шел до дома и там наконец снимал свою смирительную рубашку. Без нее я чувствовал себя невесомым и голым и в нормальной одежде наверняка выглядел на улице совсем не так уверенно, как если шагал с грузом.

Вечером накануне отъезда я позвонил Бриджит — хотел с ней попрощаться. Ответил мужской голос, резко спросил, кто говорит; я изобразил голландский акцент и сказал: брат Бриджит. Услыхал, как она крикнула, что никакого брата у нее нет, и завопил в трубку: мол, я двоюродный! Неужто же, думаю, у нее не найдется ни одного двоюродного брата?

— Кто говорит? — спросила она.

Я сказал, я утром уезжаю на несколько дней в Рим, а как только вернусь, постараюсь с ней увидеться. Тут послышался удар, крик, ругань. Трубку повесили.

(Окончание следует)

ЯСУНАРИ КАВАБАТА

Стон горы

РОМАН

Перевод с японского В. ГРИВНИНА

Весенние колокола

1

В Камакура, в пору цветения вишни, праздновалось семисотлетие буддийской столицы, и целый день звонили храмовые колокола.

Но временами Синго почему-то не слышит их. Кикуко, работает она или разговаривает, все равно слышит, а Синго, если не прислушивается, не слышит.

— Слышите? — сказала Кикуко.— Снова звонят. Слышите?

— Не разберу.— Синго наклонил голову.— А ты, бабка? — сказал он Ясуко.

— Слышу, конечно. Неужели ты не слышишь? — Ясуко не хотелось разговаривать.

Положив на колени стопку газет дней за пять, она медленно листала их.

— Звонят. Звонят,— сказал Синго.

Стоило ему хоть раз уловить звон, потом он уже легко различал его.

— Услышал наконец и радуешься.— Ясуко сняла очки и посмотрела на Синго.— А монахи в храмах из сил выбиваются — день-деньской бьют в колокола.

— Это бьют в колокола верующие, которые приходят в храм,— десять иен за удар. А совсем не монахи,— сказала Кикуко.

— Ну и выдумщица же ты.

— Нет, правда, их называют колоколами моления об усопших... У храмов есть, говорят, даже план, сколько человек должно ударить в колокола — не то сто тысяч, не то миллион.

— План?

Синго показалось это странным.

— Колокола в храмах звонят очень уж уныло, не люблю я их.

— Ну что вы? Почему же уныло?

[1] Окончание. Начало в № 9.

Синго подумал, как покойно сидеть вот так, в апрельское воскресенье в столовой и любоваться цветущей вишней.

— Семисотлетие. Семисотлетие чего? Одни говорят — семисотлетие Большого Будды[1], другие — семисотлетие святого Нитирэна[2],— сказала Ясуко.

Синго не мог ответить.

— А ты, Кикуко, не знаешь?

— Не знаю.

— Странно. А еще называется, живем в Камакура.

— Мама, в газетах, которые у вас, нет ничего интересного?

— Кое-что есть.— Ясуко протянула Кикуко газеты. Они были аккуратно сложены стопкой. Одну газету она оставила себе.— Как раз в этой газете я прочла. Когда я читала, как двое стариков покинули дом, просто сердце сжалось, эта история не выходит у меня из головы. Ты, наверно, тоже читала.

— Да.

— «Заместитель президента японской ассоциации гребного спорта, которого называли отцом любителей гребли...» — начала было Ясуко читать статью, а потом стала пересказывать ее своими словами: — Он был, кроме того, директором компании, которая строит лодки и яхты. Ему было шестьдесят девять лет, жене — шестьдесят восемь.

— Почему же у тебя сжалось сердце?

— Там перепечатаны прощальные письма приемному сыну, его жене и внукам.

И Ясуко снова стала читать газету:

— «Представляя себе убогий вид людей, влачащих жалкое существование, забытых всеми, мы не хотим дожить до такого дня. Нам понятно душевное состояние виконта Такаги[3]. Думается, что самое лучшее — уйти из жизни, пока все еще любят и уважают тебя. И мы, окруженные искренней любовью домашних, сердечным участием многочисленных друзей и сверстников, решили все же, что нам следует уйти». Это приемному сыну и его жене. А внукам: «День независимости Японии приближается, но будущее ее покрыто мраком. Если молодежь и студенты, напуганные ужасами войны, хотят мира, они должны последовательно держаться идеи непротивления, принадлежащей Ганди. Мы слишком стары, и у нас уже не хватает сил идти правильным путем, в который мы верим, и руководить. Бессмысленно ждать, пока мы достигнем возраста, когда станем для вас обузой, дожить до него — значит перечеркнуть всю свою жизнь. Мы хотим одного — чтобы вы, наши внуки, сохранили о нас теплое воспоминание как о любящих дедушке и бабушке. Мы еще не знаем, куда направимся. У нас лишь одно желание — уснуть спокойно».

Здесь Ясуко умолкла.

Синго сидел к ней боком и смотрел в сад, на цветущую вишню.

Ясуко продолжала читать газету:

— «Ушли из дома в Токио и, навестив сестру в Осака, пропали без вести. Сестре, живущей в Осака, уже восемьдесят лет».

— А где прощальное письмо жены?

— Что?

Ясуко с рассеянным видом подняла голову.

— Жена не оставила письма?

---

[1] Огромная статуя Будды Амиды из храма Котокуин в Камакура. Отлита в 1256 году.

[2] Основатель буддийской секты Нитирэн.

[3] Виконт Сэйтоку Такаги в 1948 году ушел из дому. Позднее его труп был найден в горах Такао. Его смерть считается в Японии классическим примером того, как аристократия в послевоенной Японии не мирится со своим падением.

— Жена? Эта бабка?

— Конечно. Они ведь вдвоем решили умереть, значит, и жена тоже должна была оставить письмо. Представь себе, я и ты решили вместе покончить с собой и ты хочешь что-то сказать на прощание, разве ты не оставишь письма?

— Нет, мне это ни к чему,— не задумываясь ответила Ясуко.— Мужчина и женщина пишут отдельные письма, если они еще молоды и решили вместе покончить с собой. Когда с грустью убеждаются, что им не суждено быть вместе... Если же это делают муж и жена, достаточно и того, что напишет один муж от имени обоих. Ну что я смогу добавить к тому, что ты бы сказал на прощание?

— Ты так считаешь?

— Вот если я решу умереть одна, тогда другое дело.

— Еще бы, когда умирает один, возникает масса сложностей и неприятностей.

— Ну что ты, все это чепуха. В нашем-то возрасте.

— Ты говоришь так беспечно, как будто совсем не думаешь о смерти, да и вообще умирать не собираешься,— засмеялся Синго.— А ты, Кикуко?

— Что бы сделала я?

Кикуко произнесла это неуверенно, тихим голосом.

— Если бы вы с Сюити решили вместе покончить с собой, тебе не захотелось бы оставить прощальное письмо?

Синго тут же пожалел о сказанном. Напрасно я это говорю, подумал он.

— Не знаю. Что я сделаю, если это действительно случится? Не знаю.— Кикуко засунула большой палец правой руки за оби. Потом посмотрела на Синго.— Но мне кажется, отец, я бы оставила письмо вам.

Глаза Кикуко затуманились, как у ребенка, в них стояли слезы.

Ясуко, та никогда не думает о смерти, а Кикуко, наверно, задумывается, почувствовал Синго.

Кикуко наклонила голову и, уже готовая разрыдаться, вскочила и убежала.

Ясуко посмотрела ей вслед.

— Странно. Чего это она вдруг? Истеричной стала. Это же обыкновенная истерика.

Синго расстегнул рубаху и положил руку на грудь.

— Сердцебиение? — сказала Ясуко.

— Нет, зудит грудь. Затвердела и зудит.

— Как у пятнадцатилетней девочки.

Синго массировал левый сосок.

Муж и жена решают вместе покончить жизнь самоубийством, а прощальное письмо пишет один муж — жена почему-то не пишет. То ли жена подменяет себя мужем, то ли считает себя одним целым с ним?

Слушая, как Ясуко читает газету, Синго задавал себе этот вопрос, пытался ответить на него.

Может, от долгой совместной жизни они превращаются в одно целое или старуха жена полностью теряет индивидуальность и ей просто нечего добавить к тому, что написал муж?

Может, хотя у жены и нет особых причин умирать, она, послушно следуя за мужем, совершает вместе с ним самоубийство и, присоединяясь к его прощальному письму, освобождает себя таким образом и от сожалений, и от раскаяний, и от сомнений. Поразительно.

Вот и его старуха жена тоже говорит: если мы вместе покончим

с собой, то мне незачем оставлять письмо, ты один напишешь — этого вполне достаточно.

Женщина — безропотная попутчица мужчины в смерти, правда, изредка мужчина и женщина меняются местами, но в большинстве случаев жена беспрекословно подчиняется мужу, и одна из таких женщин, теперь уже состарившаяся, сидит рядом с ним — эта мысль поразила Синго.

Семейная жизнь Кикуко и Сюити не только коротка, но и стоит на грани краха.

И спрашивать у Кикуко, не оставит ли она предсмертного письма, если вместе с Сюити покончит с собой, было бестактно и жестоко, вопрос Синго причинил Кикуко боль.

Теперь и Синго понял, у какой страшной пропасти стоит Кикуко.

— Ты чересчур балуешь Кикуко — вот она и расплакалась от твоего вопроса,— сказала Ясуко.— Ты любишь одну только Кикуко, а когда нужно решить что-то важное, тебя не допросишься. Фусако твоя дочь — разве с ней случилось не то же самое?

Синго смотрел в сад на вишню, сплошь усыпанную цветами. У самого ствола этого огромного дерева густо разрослась аралия.

Синго терпеть не мог аралии и собирался спилить ее до того, как зацветет вишня, но вот еще только март, еще лежит глубокий снег, а на вишне он уже увидел цветы.

Года три назад он однажды спиливал аралию, но от этого она только гуще разрослась. Он тогда подумал, что надо бы выкорчевать ее, но потом решил — ладно, не буду возиться.

Слова Ясуко почему-то вызвали у Синго еще большее отвращение к мясистым ярко-зеленым листьям аралии. Если бы не эти заросли, был бы виден толстый могучий ствол вишни и ее нижние ветви, не встречая помехи, свободно раскинулись бы во все стороны густым навесом. Правда, они все равно раскинулись, несмотря на аралию.

Цветов было столько, что, казалось, больше просто не бывает.

Облитые вечерним солнцем, цветы плавали в небе. Они не были ни особенно яркими, ни особенно большими — казалось, они сотканы из воздуха. Сейчас, в разгар цветения, не верилось, что все они скоро осыплются.

Но все же по одному, по два лепестка падали, и внизу кое-где они уже лежали островками.

— Когда читаешь статью о самоубийстве или о смерти человека молодого, думаешь только: ну что ж, еще один, а если речь идет о старике, всегда бывает очень тяжело.

— Самое лучшее уйти из жизни, пока все еще любят и уважают тебя.— Казалось, Ясуко во второй, в третий раз перечитывает статью о тех пожилых супругах.

— Недавно один шестидесятилетний старик привез из Тотиги в Токио семнадцатилетнего сына, страдавшего детским параличом, чтобы поместить его в клинику, причем в одну из лучших, но перед этим решил показать ему город, и вот старик целый день носил сына за спиной, и ему стала так невыносима мысль о разлуке с сыном, что он задушил его носовым платком. По-моему, об этом тоже писали в газетах.

— Что ты говоришь? Не читал,— ответил Синго и вдруг с грустью вспомнил статью о беременных девочках из префектуры Аомори и свой сон.

Как все-таки он отличается от старухи жены.

2

— Кикуко-са-ан,— позвала Фусако.— Машина все время рвет нитку. Может, сломалась? Посмотри, пожалуйста. Зингеровская, значит, должна быть хорошая — или это я такая неловкая? Может быть, нервничаю — поэтому? Пожалуй, все-таки испортилась. Она ведь у нас еще с тех пор, как я была студенткой, старая.

Кикуко вошла в комнату.

— Знаете что, давайте я вам прострочу.

— Ну что ж. Сатоко прямо прилипла, ни на минуту не отстает — раздражает ужасно. Все время боюсь прошить ей палец. Хоть я и понимаю, что ей не дотянуться до иголки, но оттого, что она все время лезет сюда руками, а я должна внимательно следить, чтобы строчка была ровной, у меня прямо в глазах рябит от этой пестрой материи и от ее мелькающих рук.

— Может, вы устали?

— Да нет, просто все время нервничаю. Если уж говорить, кто устал, так это ты, Кикуко-сан. Здесь у нас не устают только дед и бабка. Как стал дедом, за шестьдесят перевалило — совсем поглупел, грудь у него, видите ли, зудит.

Когда Кикуко ездила в университетскую клинику навестить подругу, на обратном пути она купила материи для девочек.

Вот почему, занимаясь шитьем, Фусако была расположена к Кикуко.

Но когда Кикуко села вместо Фусако за машину, Сатоко посмотрела на нее сердито.

— Тетя купила тебе в подарок материю, почему же ты не хочешь, чтобы она и сшила?

Фусако сказала извиняющимся тоном:

— Прости ее, пожалуйста. Девочка вся в Аихара.

Кикуко обняла Сатоко за плечи.

— Сходи-ка с дедушкой и мамой к Большому Будде. Увидишь там много-много детей, они будут танцевать.

Фусако позвала Синго, и они втроем вышли из дому.

Когда они шли по улице Хасэ, Синго бросилась в глаза карликовая камелия у входа в табачную лавку. Он купил сигареты и похвалил деревце. На нем цвело пять-шесть махровых цветов.

— Белые махровые цветы в крапинку — не так уж красиво, но, к сожалению, лишь горную камелию удается вырастить карликовой,— сказал хозяин табачной лавки и пригласил Синго в сад за домом. Там оказалась грядка с овощами, вдоль которой, прямо на земле, в ряд, стояли горшки с карликовыми деревьями. Это тоже были горные камелии, старые, с мощными стволами.

— Нельзя допускать, чтобы деревья истощались, поэтому я обобрал с них цветы,— сказал хозяин.

— Значит, они уже цветут? — спросил Синго.

— На них распускается масса цветов, но я оставляю не больше двух-трех на деревце. На той камелии, что у входа в лавку, их было штук двадцать — тридцать.

Хозяин стал рассказывать об уходе за карликовыми деревьями. Потом перешел к историям о любителях, которые их выращивают. Слушая его, Синго вспомнил, что на торговой улице во многих витринах выставлены карликовые деревца.

— Большое спасибо. Было очень интересно.— Синго направился к выходу.

— У меня к сожалению, нет экземпляра, подходящего для вас,

я это понимаю, но все же и горные камелии, которые вы видели во дворе, не так уж плохи... Возьмите одно деревце — это очень хорошее средство от лени — появляется обязанность: надо сохранять его форму, не допускать, чтобы оно засохло,— уговаривал хозяин табачной лавки.

Синго на ходу закурил только что купленную сигарету.

— На коробке изображен Большой Будда. Наверно, сигареты выпустили специально для Камакура.— Он показал пачку Фусако.

— И мне покажи,— потянулась к нему Сатоко.

— Помнишь, прошлой осенью, уйдя из дому, ты поехала в Синсю.

— Я не уходила из дому,— возразила Фусако.

— Так вот, ты не видела в нашем деревенском доме карликового деревца?

— Не видела.

— Ну, конечно. Ведь все это было лет сорок назад. Дедушка, отец твоей матери, был большим любителем карликовых деревьев. А мать совсем не имела к этому склонности, душевной тонкости, что ли, у нее не было, и поэтому отец доверил уход старшей дочери. Она была удивительная красавица, даже не верилось, что они сестры. У меня и сейчас еще стоит перед глазами, как зимним утром, когда подставка под деревцем засыпана снегом, она с непокрытой головой, в легком девичьем кимоно сметает снег. Это было так прекрасно. В Синсю холодно, и изо рта у нее шел пар.

Ему тогда казалось, что и пар из ее рта благоухает девичьей чистотой.

Синго увлекся воспоминаниями, которые не имели никакого отношения к Фусако, принадлежавшей совсем к другому поколению.

— А эти горные камелии — совсем не похоже, чтобы их кропотливо выращивали лет тридцать — сорок.

Карликовые деревья должны быть очень старыми. Много должно пройти лет, чтобы ствол деревца в горшке стал похож на переплетающиеся мощные мышцы.

Интересно, в чьи руки попал после смерти сестры Ясуко карликовый клен, алевший у алтаря? Может, просто засох?

3

Когда они втроем подошли к храму, процессия детей двигалась уже по выложенной камнем дорожке перед Большим Буддой. Было заметно, что они пришли издалека, у некоторых были усталые, осунувшиеся лица.

За живой стеной людей ничего не было видно, и Фусако взяла Сатоко на руки. Сатоко как зачарованная смотрела на яркие, как цветы, кимоно, в которые были одеты дети.

Синго слышал, что в здешнем храме есть надгробие Акико Ёсано [1], на котором выбито ее пятистишие. Они пошли в глубь парка и увидели на одном из надгробных камней увеличенный во много раз автограф Акико.

— Действительно, это ее стихотворение «Сакья-Муни...» — сказал Синго.

Но оказалось, что Фусако не знает этого знаменитого пятистишия, которое в свое время было у всех на устах; Синго поразился. В стихотворении Акико были слова: «Славен Камакура своим Буддой, как прекрасен Сакья-Муни...»

— Большой Будда не Сакья-Муни. На самом деле это Будда Ами-

[1] Акико Ёсано (1878—1942) — выдающаяся японская поэтесса.

да. В своем стихотворении Акико допустила обычную ошибку — Большого Будду и Сакья-Муни всегда путают.

Рядом с надгробием был разбит шатер. И там можно было получить чашку жидкого чая. У Фусако был талончик на участие в чайной церемонии, который дала ей Кикуко.

Увидев цвет чая, Синго решил, что его, пожалуй, можно дать и Сатоко, но та уже сама проворно схватила чашку. Это была совсем дешевая чашка, какой не увидишь на настоящей чайной церемонии, но Синго все же придержал ее:

— Горько, наверно.

— Горько?

Не успев пригубить, Сатоко сморщилась.

Группа девочек-танцовщиц скрылась в шатре. Примерно половина из них расселась на складных стульчиках у входа, другие толпились рядом. Лица детей были густо набелены, и все они были одеты в яркие кимоно с длинными рукавами.

За ними буйно цвели молодые вишни. Но они казались бледными и тусклыми рядом с яркими, сочными красками кимоно девочек. Лучи солнца играли в зелени высоких деревьев в противоположной стороне сада.

— Воды, мама, воды,— сказала Сатоко, глядя на девочек-танцовщиц.

— Воды нет. Дома попьешь,— уговаривала ее Фусако.

Синго вдруг тоже захотелось пить.

В один из мартовских дней Синго видел из окна электрички, когда ехал в Токио, как девочка примерно одних лет с Сатоко пила воду из фонтанчика на станции Синагама. Она до отказа отвернула кран, струя воды взметнулась вверх, и девочка в восторге засмеялась. У нее было прекрасное смеющееся лицо. Мать немного привернула кран. Девочка так смачно пила воду, что Синго сразу ощутил — весна действительно пришла. Этот случай вспомнился ему сейчас.

Синго подумал, что это неспроста — и Сатоко и он захотели пить, как раз когда смотрели на девочек-танцовщиц.

— Кимоно хочу. Купи кимоно. Кимоно,— захныкала Сатоко.

Фусако поднялась.

Среди девочек-танцовщиц одна была примерно ровесница Сатоко — если и старше, то совсем ненамного. У нее были подрисованные толстые короткие брови. Приятная девочка. Углы широко раскрытых, похожих на колокольчики глаз были слегка подведены красной краской.

Фусако тащила за руку Сатоко, которая неотрывно смотрела на девочку и, когда та вышла из шатра, потянула в ее сторону.

— Кимоно хочу, кимоно,— повторяла она без конца.

— Кимоно тебе подарят на детский праздник. Дедушка подарит,— сказала Фусако с намеком.— Ведь и эта девочка сегодня первый раз в жизни надела кимоно. Раньше и у нее были одни осимэ. Осимэ — просто куски от старого летнего кимоно, в которые ее укутывали.

В чайном павильоне, куда они зашли отдохнуть, Синго принесли воды. Сатоко с жадностью выпила два стакана.

Когда они вышли за ограду храма и направились домой, мимо Сатоко, держась за руку матери, торопливо прошла та самая девочка в нарядном кимоно. Хорошо бы, Сатоко не увидела ее, подумал Синго и обнял внучку за плечи, но было уже поздно.

— Кимоно.— Сатоко попыталась схватить девочку за рукав.

— Отстань.— Девочка бросилась от нее в сторону, но неловко наступила на длинный рукав, свисавший почти до земли, и упала на мостовую.

— Ой! — закричал Синго, закрывая руками лицо.

Сбили. Синго слышал лишь собственный крик, но закричало, видимо, много людей.

Автомобиль со скрежетом затормозил. Из замершей толпы бросилось вперед несколько человек.

Девочка сама вскочила, прижалась к матери и вдруг заплакала навзрыд.

— Как повезло, как повезло. Какое счастье, что тормоза хорошие. Прекрасная машина,— сказал кто-то.

— Будь это какая-нибудь развалюха, не остаться бы ей в живых.

Сатоко закатила глаза, словно с ней случился припадок. У нее было ужасное лицо.

Фусако испуганно расспрашивала мать, не ушиблась ли девочка, не порвала ли кимоно.

Мать никак не могла опомниться от испуга.

Девочка больше не плакала, по набеленному личику размазались слезы, но глаза блестели, словно промытые.

По дороге домой Синго молчал, разговаривать ему не хотелось.

Из дома послышался плач ребенка, и навстречу им, напевая колыбельную песню, вышла Кикуко с девочкой на руках.

— Простите. Расплакалась она у меня. Не могла справиться,— сказала Кикуко, обращаясь к Фусако.

Из-за плача сестры или, может быть, оттого, что дома ее напряжение спало, Сатоко тоже расплакалась.

Фусако, не обращая на нее внимания, взяла у Кикуко ребенка и обнажила грудь.

— Ой, у меня даже на груди капельки холодного пота.

Синго посмотрел на стену перед собой, где висела каллиграфическая картина Рёкана[1] «Небесная буря». Для подлинного Рёкана она обошлась Синго слишком дешево — видимо, подделка. Знающие люди объяснили ему, и теперь Синго уже и сам понимал, что это не подлинник.

— Мы видели надгробие Акико,— сказал он Кикуко.— Рукой Акико написано «Сакья-Муни...».

— Правда?

4

После ужина Синго вышел из дому и прошелся по мануфактурным магазинам и магазинам подержанного платья.

Но ничего подходящего для Сатоко не нашел.

Его беспокоила Сатоко.

Он даже испугался за нее.

Девочка еще совсем маленькая, но стоило ей увидеть у другой яркую вещь, и она уже загорелась таким неистовым желанием получить ее.

Может быть, у Сатоко зависть или жадность развиты сильнее, чем у других детей? Или, возможно, она слишком рано повзрослела? Нет, скорее всего она просто истерична, решил Синго.

Что б они сейчас делали, если бы эту девочку в нарядном кимоно для танцев насмерть задавила машина? Перед глазами Синго отчетливо стоял прекрасный рисунок ее кимоно. Такие нарядные кимоно даже в витринах никогда не выставляют.

Синго возвращался с пустыми руками, и это очень огорчало его.

---

[1] Рёкан (1757—1831) — знаменитый поэт и каллиграф.

Неужели Ясуко допускает, чтобы у девочки были до сих пор только осимэ из старых кимоно? В словах Фусако было немало яда. Правда, она могла и приврать. Неужели ребенку никогда не покупали даже простеньких детских кимоно? А может быть, Фусако намекала, чтобы я купил Сатоко европейское платье?

— Забыл,— сказал Синго вслух.

Он не помнил, кажется, это Ясуко ему говорила, что если бы они оба больше заботились о Фусако, то, возможно, и от некрасивой дочери родилась бы хорошенькая внучка. Теперь уже ничего не исправишь — Синго почувствовал тяжелые угрызения совести.

До рожденья б знать, кого родишь, до рожденья б знать, кого родишь,— не было б родителей, достойных сострадания. не было б родителей — не было б детей, разрывающих наши сердца...

В памяти Синго вдруг всплыла эта фраза из пьесы театра Но, просто всплыла, а не то что его стали вдруг мучить запоздалые сожаления.

Старый Будда ушел из мира. новый Будда в нем еще не появился. Во сне он вдруг возродится в старом слуге — кем он будет наяву? Обретя человеческий облик, возродиться в котором так трудно...[1]

Злость и неистовство, охватившие Сатоко, когда она пыталась схватить за кимоно девочку-танцовщицу, должно быть, унаследованы от Фусако. А возможно, и от Аихара. Если все же от Фусако, то чья, интересно, кровь передалась ей, отца или матери?

Если бы Синго женился на старшей сестре Ясуко, у них, наверно, не родилась бы такая дочь, как Фусако, не родилась бы, наверно, и такая внучка, как Сатоко.

Странно все-таки — до сих пор Синго любит человека, умершего давным-давно.

Сейчас ему шестьдесят три, а ведь та, которая умерла, когда ей было чуть больше двадцати, была старше его.

Когда Синго вернулся домой, Фусако уже лежала в постели, обняв младшую дочь. Он увидел их потому, что фусума, отделявшие их комнату от столовой, были приоткрыты.

— Спят.

Это сказала Ясуко, заметив, что Синго заглянул в комнату.

— Сердце так колотится — вот-вот из груди выскочит, нужно хоть немножко успокоиться, сказала мне Фусако, приняла снотворное и сразу же уснула.

Синго кивнул.

— Может, прикрыть?

— Сейчас,— встала Кикуко.

Сатоко лежала не шевелясь, плотно прижавшись к спине Фусако. Но глаза у нее были открыты. Странный все-таки ребенок. Лежит молча и не спит.

Синго не сказал, что ходил покупать Сатоко кимоно.

Видимо, и Фусако не рассказала матери, что натворила Сатоко.

Синго ушел в другую комнату. Кикуко принесла угли.

— Присаживайся.

— Сию минуту.— Кикуко вышла и вернулась с подносом, на котором стоял кувшин с водой. Для одного кувшина поднос, возможно, был бы не нужен, но рядом лежали еще цветы.

Синго взял их.

— Что это за цветы? Колокольчики?

— Нет, черные лилии...

— Черные лилии?

— Да, мне их принесла подруга, она обучает чайной церемонии.—

[1] Фраза из пьесы театра Но.

Кикуко достала из стенного шкафа за спиной Синго небольшую цветочную вазу.

— Неужели это и есть черные лилии? — не переставал удивляться Синго.

— Подруга рассказывает, что когда в государственном музее в годовщину Рикю[1] устраивалась недавно чайная церемония, там стояли черные и белые лилии — это было очень красиво. Они стояли в старинной бронзовой вазе с узким горлышком...

— Хм.

Синго смотрел на черные лилии. Их было две, и на каждом стебле по два цветка.

— Этой весной не меньше одиннадцати или даже тринадцати раз шел снег.

— Да, часто шел.

— Ранней весной, когда отмечалась годовщина Рикю, еще лежал глубокий снег. И в такую пору черные лилии — просто удивительно. В горах, наверно, нарвали.

— Цветом они немного похожи на черную камелию.

— Угу.

Кикуко налила в вазу воды.

— В этом году в годовщину Рикю были выставлены его предсмертные стихи и меч, которым он сделал себе харакири.

— Что ты говоришь? Твоя подруга преподает чайную церемонию?

— Да. В конце войны у нее погиб муж... Она еще при нем часто устраивала чайные церемонии, и теперь это ей пригодилось.

— Какой же школы она придерживается?

— Школы муся-но кодзи.

Синго, не знакомый с чайной церемонией, ничего не понял.

Кикуко замерла в ожидании, чтобы поставить цветы в вазу, как только Синго выпустит их из рук.

— Они, видимо, так и растут, низко опустив головки, это не оттого, что начали вянуть.

— Да. Я ведь их сразу же поставила в воду.

— У колокольчиков головки, по-моему, низко опущены.

— Что?

— Мне кажется, эти цветы мельче, чем колокольчики, а?

— Пожалуй, мельче.

— Сначала они кажутся совсем черными, но на самом деле они не черные, а темно-фиолетовые с густым бордовым оттенком. Ладно, завтра днем рассмотрю их получше.

— На солнце они кажутся красновато-сиреневыми.

Цветы, хотя и совсем распустились, не достигали и трех сантиметров. У них было по шесть лепестков, пестик трехпалый, тычинок — четыре или пять. Листья, обращенные в четыре стороны, равномерно покрывали весь стебель несколькими ярусами. Они были маленькие, в три, три с половиной сантиметра длиной. Синго понюхал цветок.

— Пахнет неопрятной женщиной,— сказал он, не подумав.

Он не имел в виду ничего плохого, но Кикуко покраснела и опустила голову.

— Запах меня разочаровал,— поправился Синго.— Понюхай сама.

— Мне бы не хотелось изучать цветы так тщательно, как это делаете вы, отец.

Кикуко стала подбирать цветы.

— Для чайной церемонии четыре цветка, правда, слишком много, но все-таки, может быть, поставить их все?

---

[1] Сэн Рикю (1522—1591) — знаменитый мастер чайной церемонии.

— Да, поставь.

Кикуко положила черные лилии на пол.

— В шкафу, где стояла эта ваза, должны быть маски, достань, пожалуйста.

— Сейчас.

Синго только что пришла на ум фраза из пьесы театра Но, и это напомнило ему маски.

Он взял маску Дзидо.

— Это добрый дух — вечный ребенок. Когда я купил ее... я тебе рассказывал?

— Нет.

— Так вот, когда я купил ее, я попросил Танидзаки, помнишь, мою секретаршу из фирмы, приложить маску к лицу. Это было так мило, я прямо поразился.

Кикуко приложила к лицу маску Дзидо.

— Шнурки сзади завязать?

Из глубины глаз маски на Синго, он это чувствовал, смотрели зрачки Кикуко.

— Маска оживает только в движении.

У Синго снова забилось сердце от чистого, но запретного чувства, которое он однажды уже испытал, когда, вернувшись домой с покупкой, едва не поцеловал маску в ее пунцовые губы, такие приятные.

Жизнь в безвестности не страшна, лишь бы сохранились цветы сердца...

Кажется, эти слова тоже из той пьесы театра Но.

Синго не мог оторвать глаз от очаровательной маски ребенка на лице Кикуко, которая поворачивала голову то в одну, то в другую сторону.

У Кикуко было маленькое личико, и ее подбородок почти целиком скрывала маска, и вдруг с чуть видневшегося кончика подбородка скатилась на шею слеза. Потом стало две струйки, потом три, и они все текли и текли.

— Кикуко,— воскликнул Синго.— Сегодня, встретив подругу, ты, наверно, подумала, что если разойдешься с Сюити, то станешь тоже преподавать чайную церемонию, да?

Кикуко-Дзидо кивнула.

— Но даже если мы разойдемся, я все равно буду приходить к вам и устраивать для вас чайную церемонию,— твердо сказала она из-под маски.

Вдруг послышался плач Сатоко.

Во дворе громко залаяла Тэру.

Плохо все, подумал Синго, он почувствовал, что Кикуко прислушивается к тому, что делается у ворот: не вернулся ли Сюити, который, видимо, и по воскресеньям ходит к своей любовнице.

Дом птиц

1

Колокол в соседнем храме и зимой и летом звонит ровно в шесть часов утра, и Синго и зимой и летом встает чуть свет, стоит ему услышать звон колокола.

Встает чуть свет — это не значит, что он обязательно поднимается с постели. Просто он просыпается чуть свет.

Но одни и те же шесть часов утра — это, естественно, совсем не одно и то же зимой и летом. Храмовой колокол круглый год звонит в

шесть часов, и поэтому Синго кажется, что это одни и те же шесть часов, но ведь летом в это время уже всходило солнце.

Хотя у изголовья Синго всегда лежат большие карманные часы, он редко смотрит на них — для этого нужно зажечь свет и надеть очки. Без очков ему трудно отличить длинную стрелку от короткой.

Кроме того, не бывает такого, чтобы Синго просыпал. Наоборот, он встает слишком рано.

Зимние шесть часов — это еще очень рано, но Синго не смог улежать в постели, поднялся и пошел за газетой.

С тех пор как не стало прислуги, раньше всех встает Кикуко и начинает работать по дому.

— Вы, отец? В такую рань.

Синго смутили слова Кикуко.

— Да нет, я снова лягу.

— Ложитесь. Еще и чай не вскипел.

Синго приятно, что Кикуко давно поднялась.

Уже сколько лет Синго испытывает грусть, проснувшись зимним утром в кромешной тьме.

Но приходит весна, и пробуждение Синго теплеет.

Сегодня, когда стоит уже вторая половина мая, вслед за утренним колоколом Синго услышал крик коршуна.

— А-а, опять он, — прошептал Синго и, подняв голову, прислушался.

Сделав большой круг над домом, коршун улетел, похоже, в сторону моря.

Синго встал.

Чистя зубы, он все время поглядывал в небо, но коршуна не увидел.

И все же Синго казалось, что в небе над домом еще не успел растаять по-детски тонкий крик коршуна.

— Кикуко, по-моему, кричал наш коршун, — сказал Синго, обернувшись к кухне.

Кикуко перекладывала дымящийся рис в деревянный бочонок.

— Заработалась и не слышала.

— Значит, опять к нам прилетел.

— Возможно.

— Он и в прошлом году часто кричал. В каком же это было месяце? По-моему, тоже в мае, а? Памяти — никакой.

Синго смотрел на нее, и поэтому Кикуко сняла с головы ленту.

Видимо, она спит, подвязав волосы лентой.

Кикуко, не закрывая бочонка с рисом, торопливо готовила Синго чай.

— Если существует наш коршун, значит, должны существовать и наши овсянки.

— Хм. Есть и вороны.

— Вороны?..

Синго засмеялся.

Действительно, если коршун может быть «нашим коршуном», вороны тоже могут быть «нашими воронами».

— Считается, что дом и сад принадлежат только людям, но они принадлежат и самым разным птицам тоже, — сказал Синго.

— Так можно дойти до блох и москитов.

— Не говори чепухи. Блохи и москиты не могут быть хозяевами дома. Они не зимуют в доме.

— Но блохи бывают и зимой Значит, скорее всего, они зимуют в доме.

— Не знаю, сколько лет живут блохи, но прошлогодних блох не бывает.

Кикуко, глянув на Синго, рассмеялась.

— Скоро и наша змея уже вылезет.

— Полоз, которого ты испугалась в прошлом году?

— Да.

— Еще бы, вот это — настоящий хозяин нашего дома.

Летом прошлого года Кикуко, вернувшись домой с покупками, увидела у черного хода полоза и закричала от страха.

На ее крик прибежала Тэру и бешено залаяла. Тэру, наклонив голову, бросилась к полозу — вот-вот вцепится в него, — отскакивала метра на полтора, потом снова подлетала, точно собираясь напасть.

Полоз, чуть приподняв голову, высунул красный язык и, даже не взглянув в сторону Тэру, медленно пополз и скрылся под порог черного хода.

По словам Кикуко, он был раза в два длиннее двери — значит, больше двух метров. И толще руки.

Кикуко говорила взволнованно, Ясуко же была совершенно спокойна.

— Это хозяин нашего дома. Он поселился у нас задолго до того, как ты пришла к нам.

— А вдруг Тэру загрызла бы его, что тогда?

— Он бы победил Тэру. Обвился бы вокруг нее... Тэру поняла это, вот почему она только облаяла его — и все.

Какое-то время Кикуко трусила и не пользовалась черным ходом. Ходила только через веранду.

Все-таки было жутковато при мысли, что где-то под полом или под крышей живет огромная змея.

Но может быть, полоз обитал на горе за домом. Он редко показывался.

Эта гора не входила во владения Синго. Он даже не знал, кому она принадлежит.

Гора вплотную подступала к дому, круто вздымаясь вверх, и для зверья, которое там обитало, сад дома Синго был естественным продолжением горы.

Цветы и листья с кустов и деревьев, что росли на горе, густо сыпались прямо в сад.

— Коршун вернулся, — пробормотал Синго и тут же — оживленно:

— Кикуко, коршун, кажется вернулся.

— В самом деле. По-моему, это его крик.

Кикуко поглядела на потолок.

Некоторое время слышался крик коршуна.

— А раньше он улетал к морю?

— Да, крик его как будто раздался в той стороне.

— Полетел, наверно, к морю, добыл пищу и теперь возвращается,— сказала Кикуко, и Синго подумал, что, видимо, она права.

— Выбирает место, где бы устроиться с пойманной рыбой.

— Тэру наверняка отберет.

— Нет, он взберется высоко, ей не достать.

То же было в прошлом году и в позапрошлом — каждый раз, когда Синго, просыпаясь, слышал крик коршуна, он испытывал к нему чувство, похожее на любовь.

И не один Синго — слова «наш коршун» употребляла вся семья.

Синго не знал точно, сколько было коршунов, один или два.

И еще, слышал ли он из года в год крик одного и того же коршуна? Не произошла ли смена поколений? Может быть, коршуны-роди-

тели давно умерли и теперь кричат их дети? Впервые об этом Синго подумал сегодня утром.

Синго и его семье было бы приятнее не знать, что старый коршун умер в прошлом году, а в этом году кричит новый коршун и, в полудреме слушая его, думать, что это все тот же «наш коршун».

Удивительно, что коршун выбрал именно гору за домом Синго и поселился на ней, хотя в Камакура сколько угодно точно таких же небольших гор.

Тебя трудно повстречать, но мне удалось тебя встретить, тебя трудно услыхать, но мне удалось тебя услышать, говорится в одной пьесе театра Но. Может быть, это относится и к коршуну?

И хотя коршун жил вместе с Синго и его семьей, он лишь подавал им свой голос, полный ласки.

2

Кикуко и Синго вставали раньше всех в доме и по утрам беседовали; если же Синго хотелось поговорить с глазу на глаз с Сюити, он мог сделать это только в электричке.

Переехали мост через реку Рокуногава, — значит, вот-вот покажется лес Икэгами, подумал Синго. У него вошло в привычку смотреть по утрам из окна вагона на лес Икэгами.

Сколько лет, проезжая мимо, он смотрел на этот лес, но лишь совсем недавно обнаружил там двуствольную сосну.

Она одна возвышалась надо всем лесом. Ее стволы, точно пытаясь обняться, склонили друг к другу свои вершины. А ветви так сблизились, что, кажется, уже обнимаются.

Надо всем лесом господствует эта единственная двуствольная сосна, и, казалось бы, она всегда должна была бросаться в глаза, но почему-то до сих пор Синго не замечал ее. А стоило ему однажды заметить ее, и теперь она уже всегда бросалась в глаза.

Сегодня утром проливной дождь, и двуствольная сосна едва видна.

— Сюити, — окликнул Синго. — Что с Кикуко?

— Ничего страшного.

Сюити читал еженедельник.

В Камакура на вокзале он купил два журнала и один дал отцу. Синго держал его в руках, не читая.

— Что же все-таки с ней? — тихо повторил Синго.

— Жалуется, что голова болит.

— Странно. Мне мать говорила, что вчера Кикуко ездила в Токио, а когда вернулась вечером, сразу же легла в постель — такого еще не бывало. Мать подумала, уж не случилось ли чего с ней там, в Токио. Ужинать не стала. А когда ты вернулся в девять часов и вошел к ней в комнату, начала плакать, тихонько, чтобы мы не услышали, разве этого не было?

— Через день-другой, думаю, встанет. Ничего страшного.

— Странно. От головной боли так не плачут. По-моему, сегодня на рассвете она опять плакала.

— Да.

— Кикуко было очень неприятно, когда Фусако принесла ей в комнату поесть. Все время прятала от нее лицо... Фусако даже обиделась. Я и решил спросить у тебя, что случилось.

— Зачем нужны все эти разговоры, как будто в нашем доме подглядывают за каждым шагом Кикуко... — Сюити сидел, не поднимая

головы.— Может же она когда-нибудь заболеть, с ней ведь это не так уж часто случается.

Синго рассердился.

— Как же называется ее болезнь?

— Аборт.

Сюити сказал это резко — как выплюнул.

Синго вздрогнул. И посмотрел на противоположную скамью. Там сидели два американских солдата, и Синго завел разговор в уверенности, что они не понимают по-японски.

Он спросил хрипло:

— Врач делал?

— Да.

— Вчера? — пробормотал упавшим голосом Синго.

Сюити отложил журнал.

— Да.

— И в тот же день вернулась домой?

— Угу.

— Ты ее заставил это сделать?

— Сама сказала, что сделает, а у меня не спрашивала.

— Кикуко сама? Врешь.

— Нет, правда.

— Почему? Почему у Кикуко появилась такая мысль?

Сюити промолчал.

— Ты один во всем виноват.

— Может, и так. Я ничего не мог поделать, она заупрямилась — теперь, мол, ни за что не оставлю.

— Если бы ты захотел удержать ее, то удержал бы.

— Теперь мне это не удалось бы.

— Что означает «теперь»?

— Ты сам прекрасно знаешь. В общем, она говорит, что при тех отношениях, в каких мы сейчас находимся, она не хочет ребенка.

— Она намекает на то, что у тебя есть женщина?

— Видимо, да.

— Что это за «видимо, да»?

От возмущения у Синго сперло дыхание.

— Для Кикуко это почти самоубийство. Тебе не кажется? Это действительно почти самоубийство, а не простое возмущение твоим поведением.

Грозный вид отца испугал Сюити, он даже отшатнулся.

— Ты убил душу Кикуко. Теперь все погибло.

— Душа у Кикуко оказалась слишком уж упрямой.

— Разве она не женщина? Разве она не твоя жена? Если бы ты хорошо относился к ней, был с ней нежен, она с радостью родила бы ребенка. И никак не связывала бы это с твоей любовницей.

— Да, но она же связала.

— Кикуко прекрасно знает, что мать с нетерпением ждет внука. Ведь она даже стыдилась, что долго не может родить. Избавиться от ребенка, которого она так хотела,— Кикуко сделала это только потому, что ты убил ее душу.

— Ты заблуждаешься. Просто Кикуко слишком целомудренна.

— Целомудренна?

— Ей, видите ли, стало противно, что придется рожать...

— Что?

Кому нужны эти интимные подробности?

Неужели Сюити вселил в Кикуко такое презрение, такое отвращение к себе? — подумал Синго.

— Я не могу этому поверить. Даже если Кикуко и говорила тебе

такое, даже если она вела себя так с тобой, все равно невозможно поверить, что в этом ее сущность. Муж говорит с такой издевкой о целомудрии жены — разве это не первое доказательство, что его любовь мелка? Кто принимает всерьез капризы любимой женщины?— Синго начал терять присутствие духа. — Что скажет Ясуко, когда узнает, что ей не дождаться внука?

— Пусть мать утешится мыслью, что у Кикуко еще могут быть дети.

— О чем ты говоришь? Ты ручаешься, что она еще родит?

— Могу и поручиться.

— Твои слова доказывают лишь, что ты не боишься неба. Доказывают, что ты не любишь Кикуко.

— Ты усложняешь. А ведь все так просто.

— Все так просто? Подумай, что ты говоришь. Вспомни, как плакала Кикуко.

— Да нет, я не могу сказать, что не хочу ребенка, но сейчас мы в плохом положении, у нас не все гладко, и ребенок все равно не получился бы таким, как нам хотелось бы.

— Я не знаю, что ты имеешь в виду, говоря, что вы «в плохом положении», но, по-моему, положение Кикуко вовсе не плохо. Если кто в плохом положении, так это ты. У Кикуко совсем не такой характер, чтобы сложа руки ждать, пока она окажется в плохом положении. Ведь ты ничего не сделал, чтобы оградить Кикуко от ревности. Из-за этого ты и потерял ребенка. И знай, ребенком дело не ограничится.

Сюити испуганно посмотрел на Синго.

— Попробуй еще хоть раз, придя пьяным от своей любовницы, положить на колени Кикуко свои грязные ботинки и заставить ее снимать их, — сказал Синго.

3

В тот день Синго поехал по делам фирмы в банк, а потом пошел пообедать с приятелем, который там работал. Они беседовали до половины третьего. Из ресторана Синго позвонил в фирму и, не заходя туда, вернулся домой.

Кикуко с Кунико на руках сидела на веранде.

Кикуко стала поспешно подниматься, она не ожидала, что Синго придет так рано.

— Не нужно. Сиди. Я вижу, ты уже не в постели, поправилась? Синго тоже вышел на веранду.

— Поправилась. Решила вот переодеть девочку.

— А Фусако?

— Взяла с собой Сатоко-тян и пошла на почту.

— Зачем ей понадобилось идти на почту? И еще ребенка на тебя бросила.

— Подожди. Сначала дадим переодеться дедушке,— сказала Кикуко девочке.

— Ничего, ничего. Переодень сначала ее.

Кикуко подняла к Синго смеющееся лицо. Из-под приоткрытых губ показался ряд небольших ровных зубов.

— Ну вот, сначала мы переоденем Кунико.

Кикуко надела на нее яркое шелковое кимоно и повязала его узким пояском.

— Отец, в Токио тоже уже нет дождя?

— Дождя? Когда я садился в электричку на токийском вокзале, он еще шел, а когда приехал сюда, погода уже была прекрасная. В каком месте по дороге прояснилось, я не заметил.

— В Камакура тоже еще совсем недавно шел дождь, и как только он прекратился, Фусако-сан отправилась на почту.

— А гора еще вся мокрая.

Девочку уложили на веранде, она подняла голые ножки и ухватилась за них — ногами она управляла легче, чем руками.

— Да, да, ну вот, давай-ка посмотрим на гору. — Кикуко подстелила ребенку подгузник.

Низко пролетел американский военный самолет. Заинтересовавшись шумом, девочка повернулась в сторону горы. Самолета не было видно, но его огромная тень отпечаталась на склоне горы и уплыла. Наверно, и девочка увидела эту тень.

Синго вдруг поразило, как заблестели глаза ребенка от наивного удивления.

— Она не представляет себе, что такое воздушный налет. Как много уже родилось детей, не знающих войны.

Синго взглянул на Кунико. Блеск в ее глазах исчез.

— Вот если бы удалось запечатлеть на фотографии теперешнее выражение глаз Кунико. И чтобы в них отражалась тень самолета на горе. А на другом снимке...

Ребенок погибает, его атаковал самолет.

Синго хотел сказать это, но, вспомнив, что только вчера Кикуко сделала аборт, умолк.

И все же как много еще в мире детей, которых можно запечатлеть на таких двух фотографиях.

Неожиданно Кикуко, подхватив под мышки девочку и придерживая ее снизу рукой с зажатой пеленкой, быстро пошла в ванную.

Синго вернулся в столовую, размышляя о том, что тревога за Кикуко заставила его прийти домой раньше обычного.

— Как ты рано, — вошла в комнату Ясуко.

— Где ты была?

— Мыла голову. Когда прошел дождь и снова выглянуло солнце, у меня вдруг зачесалась голова. Старая голова — вот и чешется.

— Не знаю, у меня голова не чешется.

— Наверно, тебе поставили голову лучшего качества, — засмеялась Ясуко. — Я слышала, что ты пришел, но выходить с мокрой головой не стала — побоялась, что ты рассердишься.

— Стоит ли старухе заниматься мытьем головы? Остричься наголо, а из волос сделать кисточку для взбивания чая.

— И то правда. Но кисточки для взбивания чая — так это тогда и называлось — носили на голове не только старухи. В эпоху Эдо и мужчины и женщины коротко стригли волосы и увязывали их сзади пучком, похожим на кисточку для взбивания чая. Я видела в театре Кабуки.

— Не пучком увязать, а наголо состричь, вот что я тебе предлагаю.

— Можно и так. Волос у нас с тобой еще много.

Синго понизил голос:

— Кикуко уже совсем поднялась?

— Да, поднимается потихоньку... Уж очень она еще бледная и слабая.

— С ребенком возится. Лучше, наверно, не делать ей этого.

— Фусако попросила немножко присмотреть за девочкой и положила ее в постель Кикуко. Девочка тогда крепко спала.

— А почему тебе было не взять ее?

— Когда Кунико заплакала, я как раз мыла голову.

Ясуко встала и принесла Синго домашнее кимоно.

— Ты так рано вернулся, я уж подумала, не заболел ли.

Кикуко, кажется, вышла из ванной и идет в свою комнату. Синго позвал ее:

— Кикуко. Кикуко.

— Да.

— Давай сюда Кунико.

— Хорошо, сейчас.

Она вошла в комнату, ведя за ручку девочку. Кикуко привела себя в порядок и переоделась.

Кунико ухватилась за плечо Ясуко. Ясуко, чистившая брюки Синго, протянула руку и обняла девочку за ножки.

Кикуко унесла одежду Синго.

Повесив ее в шкаф, который стоял в соседней комнате, она тихо прикрыла дверцы. Увидев свое отражение в зеркале, вделанном в дверцу с внутренней стороны, Кикуко испугалась. Она колебалась, не зная, вернуться ли ей в столовую или лечь в постель.

— Кикуко, тебе, пожалуй, лучше лечь, — сказал Синго.

— Хорошо.

Услышав оклик Синго, Кикуко вздрогнула. И, не заглянув в столовую, пошла в свою комнату.

— Тебе не кажется, что Кикуко ведет себя как-то странно? —нахмурилась Ясуко.

Синго не ответил.

— Я просто ума не приложу, что с ней происходит. Встала, еле ходит, я все время боюсь, что она упадет.

— Угу.

— И все-таки надо как-то разобраться с делами Сюити.

Синго кивнул.

— Может, ты поговоришь откровенно с Кикуко? Я возьму Кунико и пойду с ней встречать Фусако, заодно и на ужин куплю чего-нибудь. Фусако есть Фусако.

Ясуко взяла девочку на руки и поднялась.

— Зачем Фусако понадобилось идти на почту? — сказал Синго, и Ясуко обернулась.

— Я и сама об этом подумала. Может, чтобы отправить письмо Аихара? Уже полгода, как они расстались... Да, скоро уже полгода, как она вернулась к нам. Это случилось под Новый год.

— Опустить письмо могла бы и в ближайший почтовый ящик.

— Она, наверно, думает, что если опустить письмо на почте, оно дойдет быстрей и верней. Стоит ей вспомнить своего Аихара, она теряет рассудок — тут уж ничего не поделаешь.

Синго горько улыбнулся. Он почувствовал, что Ясуко все еще полна оптимизма.

Видимо, в женщине, которой удалось до старости сохранить семью, глубоко укореняется оптимизм.

Синго поднял газету четырех- пятидневной давности, которую до этого читала Ясуко, и стал просматривать.

Там была поразительная статья: «Лотос, который цвел две тысячи лет назад».

Весной прошлого года в лодке-долбленке периода Яёи [1], найденной при раскопках на берегу реки Кэмигава у города Тиба, обнаружено три семени лотоса. Установлено, что этим семенам более двух

[1] Один из древнейших периодов истории Японии (III—II вв. до н. э.— II—III в. н. э.).

тысяч лет. Профессор ботаники, специалист по лотосам, посеял эти семена и в апреле нынешнего года высадил в трех местах полученную рассаду: в прудах опытной сельскохозяйственной станции Тиба, в парке Тиба и в доме одного винодела на улице Хатамати в Тиба. Видимо, этот винодел помогал вести раскопки. Он налил в котелок воды, поместил туда рассаду и поставил его в сад. Лотос винодела расцвел первым. Профессор ботаники, которому сообщили об этом, примчался в дом винодела и стал гладить прекрасные цветы, без конца повторяя: «Расцвел, расцвел». Обо всем этом писала газета. Писала, что цветок состоит из двадцати четырех лепестков.

Под статьей была помещена фотография, на которой седеющий профессор в очках поддерживает руками распустившийся цветок лотоса. Из подписи под фотографией Синго узнал, что профессору шестьдесят девять лет.

Полюбовавшись цветущим лотосом, Синго с газетой в руках пошел в комнату Кикуко.

Она жила в ней вдвоем с Сюити. На письменном столе — приданом Кикуко — лежала шляпа Сюити. Рядом со шляпой — стопка почтовой бумаги: видимо, Кикуко собиралась писать письмо. Ящик стола прикрыт свисающей вышитой салфеткой.

Пахло духами.

— Ну как дела? Лежи спокойно и не вставай.— Синго сел к столу.

Кикуко во все глаза смотрел на Синго. Ей было не по себе оттого, что Синго не разрешил ей встать, а лежать при нем ей было неудобно. Щеки у нее чуть порозовели. Но лоб оставался белым, и на нем красиво выделялись густые брови.

— Семена лотоса двухтысячелетней давности дали всходы, и лотосы расцвели, видела в газете?

— Да, видела.

— Значит, видела? — пробормотал Синго и после небольшой паузы: — Если бы ты была с нами откровенна, хуже от этого не было бы — наоборот. Ты в тот же день вернулась домой, тебе это не повредило?

Кикуко потрясли слова Синго.

— В прошлом месяце это было. Ты говорила о ребенке... Я уже тогда все понял.

Кикуко, лежа на подушке, покачала головой.

— Тогда я еще ничего не знала. Если б знала, постыдилась бы говорить о ребенке.

— Вот как? Сюити сказал мне, что ты слишком целомудренна...— Увидев, что на глаза Кикуко навернулись слезы, Синго не стал продолжать.— Врачу ты больше не должна показываться?

— Завтра зайду.

Назавтра, когда Синго вернулся домой, Ясуко уже с нетерпением ждала его.

— Кикуко уехала к родителям. Ее уложили в постель... Часа в два позвонил Сакава-сан, к телефону подошла Фусако. Он сказал, что к ним приехала Кикуко, чувствует себя не совсем хорошо и ее уложили в постель. Дня через два-три поправится, говорит, и тогда ее привезут обратно.

— Вот как.

— Попросил Фусако передать Сюити, что он может завтра приехать навестить ее. С ней там все время мать. Может, поэтому она и решила отлежаться у родителей.

— Ничего подобного.

— В чем же тогда дело?

Синго снял пиджак и, подняв голову, чтобы развязать галстук, сказал:

— Сделала аборт.

— Что? — Ясуко была ошеломлена.— Как же это, тайком от нас... Кикуко? Ужасная пошла молодежь.

— До чего же ты невнимательна, мама.— В столовую с Кунико на руках вошла Фусако.— Я, например, знала, что она это сделает.

— Откуда ты знала? — неожиданно для себя стал допрашивать ее Синго.

— Этого я не могу сказать. В общем, она решила на покое прийти в себя, окрепнуть.

Синго не нашелся что ответить.

Городской парк

1

— Что за человек отец.— Фусако небрежно составляла на поднос посуду после ужина.— С родной дочерью разводит больше церемоний, чем с невесткой, человеком посторонним. Правда, мама?

— Фусако,— одернула ее Ясуко.

— Разве я не права? Если он считает, что шпинат переварен, так и надо было сказать, что переварен. Да и не разварился шпинат в месиво, а почти сохранил свою форму. Лучше бы ему есть шпинат, сваренный в горячем источнике.

— Как это в горячем источнике?

— Разве не варят в горячем источнике яйца, а на пару — пирожки с фасолью? Я же сама привозила тебе яйца, сваренные в воде из родонового источника. Белок у них крутой, а желток — жидкий... Я ведь тебе уже рассказывала, что в Киото, в одной дешевой закусочной, их очень хорошо готовят.

— В дешевой закусочной?

— Да, в Киото есть такая. Бедняки ее прекрасно знают. Там и шпинат готовят хорошо.

Ясуко засмеялась.

— Так вот, если бы отец ел шпинат, сваренный по часам и при определенной температуре в воде из родонового источника, он был бы всегда бодр и здоров, даже если возле него не будет Кикуко-сан,— совершенно серьезно сказала Фусако.

— Мне этот разговор неприятен. Очень уж ехидно ты обо всем судишь.

Фусако, напрягшись, с трудом подняла тяжелый поднос.

— Неужели еда становится невкусной только оттого, что с нами не изволят находиться красавец сын и красавица невестка?

Синго поднял голову и переглянулся с Ясуко.

— Перестань болтать.

— Вот так всегда. Ни слова при нем не скажи, не поплачь.

— Когда плачет ребенок, ничего не поделаешь,— пробормотал Синго, почти не раскрывая рта.

— Я не о ребенке говорю. О себе.— Фусако, пошатываясь от тяжести подноса, направилась в кухню.— Если плачет ребенок, это естественно.

Загрохотала сваленная в мойку посуда.

Ясуко встрепенулась.

Послышались сдавленные рыдания Фусако.

Сатоко, взглянув исподлобья на Ясуко, убежала на кухню.

Какой у нее тяжелый взгляд, подумал Синго.

Ясуко тоже поднялась, взяла ползавшую рядом Кунико и положила ее на колени Синго.

— Присмотри за ней.

И ушла на кухню.

Синго обнял Кунико — она была приятная, мягонькая, и он крепко прижал ее к себе. Взял за ножки. Обе ступни, маленькие и пухлые, целиком уместились в его ладони.

— Щекотно?

Кажется, девочка не понимала, что такое «щекотно».

Синго в этом не уверен, но ему помнится, что Фусако, еще совсем крошкой, когда ее клали голенькую, чтобы переодеть, и он слегка щекотал ее под мышками, морщила носик и махала ручками.

Синго старался не вспоминать о том, что Фусако и в детстве была некрасивой. Стоило ему вспомнить это, и перед его глазами возникало прекрасное лицо старшей сестры Ясуко.

Его надежда, что ребенок, прежде чем станет взрослым, еще много раз изменится, не оправдывалась, и с годами надежда притупилась.

Внучка, Сатоко, лицом как будто получше матери, не исключено, что Кунико вырастет хорошенькой.

Может быть, облик сестры Ясуко воплотится в его внучках? От таких мыслей Синго стал сам себе противен.

Но как ни противен стал сам себе Синго, он размечтался: а вдруг старшая сестра Ясуко воплотилась бы в неродившейся внучке, в ребенке, от которого избавилась Кикуко, вдруг ее девочка оказалась бы красавицей, какой еще не видел свет? Эта мысль сразила его.

Синго отпустил руку, сжимавшую детские ножки, и Кунико сползла с его колен и заковыляла на кухню. Она шла, выставив вперед согнутые руки, ноги у нее заплетались, и стоило Синго крикнуть ей «осторожно», как девочка тут же упала.

Она упала вперед, перевалилась на бок и немного погодя расплакалась.

Ясуко с Кунико на руках, а следом за ней и Сатоко, вцепившаяся в подол матери, вернулись в столовую.

— Отец теперь все время погружен в свои мысли. Правда, мама? — Фусако вытирала посуду.— Когда он вернулся домой и стал переодеваться, то и нижнее и верхнее кимоно запахнул справа налево, подпоясался и даже не заметил, как он странно выглядит. Вид у него был действительно странный. Такого с ним, пожалуй, еще не случалось. Что с ним произошло? Не пойму.

— Нет, однажды уже было,— невозмутимо ответил Синго.— Кикуко тогда еще сказала, что на Рюкю запахиваются кто как хочет — и справа налево, и слева направо.

— Что ты говоришь, на Рюкю? Как же это можно?

Фусако даже в лице изменилась.

— Чтобы тебя ублажить, Кикуко на любые уловки пойдет, а ты и доволен. На Рюкю! Надо же придумать такое.

Синго постарался предотвратить новую вспышку.

— «Дзюбан», как называют нижнее кимоно,— это заимствование из португальского языка. А как в Португалии запахивают его — слева направо или справа налево, я, например, не знаю.

— Это тоже ученость Кикуко-сан?

В разговор вмешалась Ясуко:

— Летнее кимоно отец часто даже наизнанку надевает.

— Одно дело по рассеянности надеть наизнанку, другое — так глубоко задуматься, что запахнуться справа налево.

— Скажи Кунико, чтобы она сама надела кимоно. Она тоже не будеть знать, как его правильно запахнуть — слева направо или справа налево.

— Отцу еще, по-моему, рано впадать в детство,— не унималась Фусако.— В общем, мама, все это довольно печально. Всего несколько дней назад любимая невестка вернулась к своим родителям, а отец уже запахивает кимоно справа налево. А его родная дочь, между прочим, вот уже полгода, как живет без мужа.

Действительно, с того дождливого предновогоднего дня, когда вернулась Фусако, прошло полгода. А зять, Аихара, молчит, и Синго с тех пор ни разу с ним не виделся.

— Да, полгода,— поддакнула Ясуко.— То, что случилось у Фусако, и то, что случилось у Кикуко, казалось бы, никак между собой не связано, и все же...

— Почему же никак не связано? Я думаю, и то и другое связано с отцом.

— Естественно, ведь речь идет о его детях, и ему бы, конечно, хотелось разрешить ваши трудности.

Фусако, опустив голову, промолчала.

— Фусако, если тебе хочется что-то сказать, говори все начистоту. Будь откровенна до конца. Тем более что Кикуко сейчас здесь нет.

— Я не собираюсь тебе выговаривать, может, я и не права, но мне бы хотелось, чтоб ты ел без неудовольствия, хотя еду приготовила и не Кикуко-сан.— Фусако снова заплакала.— Посудите сами. Отец ест с недовольным лицом, не произнося ни звука. Мне после этого просто жить не хочется.

— Фусако, почему ты нам ничего не рассказываешь? Несколько дней назад ты ходила на почту. Отправляла письмо Аихара?

Фусако испуганно покачала головой.

— Больше тебе некому отправлять письма. И я подумала, что Аихара.

Ясуко говорила с несвойственной ей резкостью.

— Неужели деньги посылала? — сказала она, и Синго понял, что Ясуко тайком от него дает Фусако карманные деньги.

— Где сейчас Аихара? — Синго, ожидая ответа, повернулся к Фусако.— Дома его, кажется, нет. Примерно раз в месяц я посылаю к нему служащего из фирмы, чтобы выяснить, что у него там делается. Собственно, даже не столько для этого, сколько для того, чтобы передать его матери немного денег на жизнь. Ведь если бы ты, Фусако, жила там, то, естественно, заботилась бы о ней.

— Разумеется.

Ясуко резко спросила:

— Посылаешь служащего из фирмы?

— Не нужно лишних расспросов и разговоров. Человек верный, так что все в порядке. Если б Аихара был дома, я бы сам сходил к нему и поговорил. Придется встретиться со старухой, которая еле ноги волочит,— другого выхода нет.

— А что сейчас делает Аихара?

— Тайно торгует наркотиками, в общем, что-то вроде этого. Темная личность. Сначала пьянствовал беспробудно, а теперь еще и сам в наркомана превратился.

Ясуко испуганно посмотрела на Синго.

Ей стало страшно не столько за Аихара, сколько за мужа, который до сегодняшнего дня тщательно все это скрывал.

Синго продолжал:

— Однако и его еле волочащая ноги мать тоже, кажется, не живет дома. Там какие-то посторонние люди. В общем, Фусако, у тебя больше нет дома.

— Где же в таком случае все ее вещи?

— Мама, и шкаф и бельевая корзина пустые,— сказала Фусако.

— Да? Ты ведь приехала с одним-единственным фуросики. Неужели все пошло прахом? Невероятно...— вздохнула Ясуко.

Синго подумал, что Фусако знает, где сейчас Аихара, и все еще надеется вернуться к нему.

Как же это случилось, что никто не мог удержать Аихара от падения — ни Фусако, ни Синго, ни сам Аихара? Синго посмотрел на темнеющий сад.

2

В десять часов, когда Синго приехал в фирму, его ждала записка от Хидэко Танидзаки:

«Заходила, чтобы встретиться с Вами и поговорить о молодой хозяйке. Зайду попозже».

Хидэко написала «молодая хозяйка», имея в виду, конечно, Кикуко.

Синго спросил у Нацуко Ивамура, секретарши, сменившей Хидэко:

— В котором часу приходила Танидзаки?

— Да-а, я уже была здесь и как раз вытирала ваш стол — около восьми, наверно.

— Ждала?

— Да-а, недолго.

Синго была неприятна привычка Нацуко без конца повторять свое тупое, тяжелое «да-а». Видимо, у нее в деревне так говорят.

— С Сюити она встречалась?

— Нет, думаю, ушла, не встретившись.

— Значит, так. Около восьми...— подумал вслух Синго.

Хидэко забежала к нему, наверно, перед работой и снова сможет зайти только в обеденный перерыв.

Еще раз посмотрев на мелкие иероглифы, которыми Хидэко исписала краешек большого листа бумаги, Синго выглянул в окно.

Даже для мая небо было уж слишком ясным.

Такое же небо Синго видел из электрички по дороге в Токио. Все пассажиры, смотревшие на небо, открыли окна.

Птицы над рекой Рокугогава сверкали серебром, почти касаясь на лету искрящейся воды. Не случайным казался и красный автобус — он ехал по мосту на север.

— Небесный тайфун. Небесный тайфун...— Синго задумчиво повторял эту строку из Рёкана, глядя на лес над озером.

— Ой.— Синго прильнул к окну.

Та сосна растет, видимо, не в лесу Икэгами. Гораздо ближе.

Двустволая сосна, господствовавшая над лесом Икэгами, сегодня утром казалась ближе самого леса.

Точно определить расстояние до леса не удавалось, возможно, из-за того, что стояли пасмурные весенние дни.

Синго не отходил от окна, пытаясь сделать это сейчас.

Он ежедневно смотрел на сосну из окна вагона, и однажды ему даже захотелось подойти к ней и установить наконец, где же она растет на самом деле.

«Ежедневно смотрел», но ведь двуствольую сосну он увидел-то совсем недавно. В течение многих лет он проезжал мимо, рассеянно скользя взглядом по лесу Икэгами, в котором стоит храм Хоммондзи, и не видел ничего, кроме сплошного леса.

И вот только сегодня Синго обнаружил, что сосна растет совсем не в этом лесу. Обнаружил благодаря тому, что утренний воздух в мае удивительно прозрачен.

Так он сделал новое открытие относительно двуствольой сосны со склоненными друг к другу вершинами и обнявшимися ветвями.

Вчера, когда после ужина Синго рассказал, как он посылал человека к Аихара и пытался хоть немного помочь его старухе матери, Фусако вдруг вскочила на ноги и застыла, притихшая и покорная.

Синго стало жаль Фусако, и он подумал, что кое-что он все же узнал в ее доме, но то, что он узнал, было так же неясно, как неясно, где растет двуствольая сосна.

Сосна в Икэгами — несколько дней назад, глядя на нее из окна вагона, Синго заставил Сюити признаться в том, что Кикуко сделала аборт.

Сосна перестала быть просто сосной, она стала связана с абортом Кикуко. И теперь всякий раз, когда он, отправляясь на работу и возвращаясь домой, будет смотреть на эту сосну, она будет напоминать ему о Кикуко.

Так было и сегодня.

В то утро, когда Сюити сделал свое признание, двуствольая сосна была еле различима в потоках дождя и казалась слитой с лесом Икэгами. Но сегодня сосна отделилась от леса и, соединившись с абортом, приобрела, казалось, какой-то грязноватый оттенок. Может быть, оттого, что погода была слишком уж хорошая.

— Даже в погожий день человеку может быть плохо,— мрачно пробормотал Синго и, отведя взгляд от неба, видневшегося в окне его кабинета, начал работать.

Днем позвонила Хидэко. Сегодня она очень занята — срочно шьет летний костюм — и поэтому не может прийти.

— Значит, ты уже завалена работой?

— Да.

Хидэко немного помолчала.

— Ты звонишь из салона?

— Да. Кинуко-сан здесь нет,— прямо сказала она, назвав имя любовницы Сюити.— Я ждала, когда она уйдет.

— Хм.

— Алло. Я приду к вам завтра утром.

— Утром? Опять в восемь?

— Нет. Завтра я вас обязательно дождусь.

— Такое срочное дело?

— Да. Срочное дело, которое на первый взгляд может показаться и не таким уж срочным. По-моему, очень срочное. Хочу поскорее все рассказать вам. Я ужасно волнуюсь.

— Ты очень волнуешься? Это связано с Сюити?

— Расскажу при встрече.

Доверять особенно «волнению» Хидэко нельзя, но Синго обеспокоила ее готовность второй раз прийти к нему, чтобы о чем-то рассказать.

Беспокойство Синго все росло, и в три часа он позвонил Кикуко.

Пока прислуга звала ее, в трубке слышалась приятная музыка.

С тех пор как Кикуко уехала к родителям, он не заговаривал о ней с Сюити. Избегал этого и Сюити.

Навестить Кикуко в доме ее родителей Синго тоже не решался.

У Кикуко совсем не такой характер, чтобы рассказывать родным о Кинуко или об аборте, думал Синго. Но кто знает.

Сквозь приятную музыку в трубке послышался радостный возглас Кикуко:

— ...Отец! Отец, простите, что заставила вас ждать.

— Ничего.— Синго сразу успокоился.— Как ты себя чувствуешь?

— Сейчас уже хорошо. Простите, что я так поступила.

— Ничего.

Синго не знал, что бы еще сказать.

— Отец! — снова радостно воскликнула Кикуко.— Я хочу видеть вас. Можно я приду к вам, прямо сейчас?

— Прямо сейчас? А ты можешь?

— Могу. Я хочу поскорее с вами встретиться, тогда и домой мне будет не так стыдно вернуться. Ладно?

— Хорошо. Буду ждать тебя в фирме.

Музыка продолжалась.

— Алло.— Синго не хотелось класть трубку.— Какая хорошая музыка.

— Ой, совсем забыла выключить... Это танец сильфид. Шопена. Когда буду возвращаться домой, возьму с собой эту пластинку.

— Так ты скоро приедешь?

— Скоро. Но встречаться с вами в фирме мне бы не очень хотелось. Я все думаю, где бы нам лучше увидеться.

Наконец Кикуко назначила свидание в городском парке Синдзюку.

Синго сначала поморщился, но потом рассмеялся.

Видимо, Кикуко решила, что ей пришла в голову блестящая мысль.

— Вы там возродитесь, отец,— в парке такая чудесная зелень.

— Как-то раз я случайно побывал в этом парке — ходил на выставку собак.

— Я бы тоже с радостью пошла с вами посмотреть на собак,— засмеялась Кикуко. В трубке все еще звучал танец сильфид.

3

Как Синго и договорился с Кикуко, он вошел в городской парк через ворота Окидомон. Около входа висело объявление: плата за прокат детской коляски — тридцать иен в час; плата за прокат циновки — двадцать иен в день.

По дорожке шли американцы, муж с женой, он нес девочку, она вела на поводке немецкого пойнтера.

В парке были и другие посетители, но кроме этой молодой американской пары не было никого, кто бы так спокойно прогуливался по дорожке.

Синго пошел вслед за ними.

Слева от дорожки — густые заросли гималайского кедра, похожего на лиственницу. Когда Синго был однажды в этом парке на благотворительном приеме, устроенном обществом любителей животных, он уже видел мощные гималайские кедры, но сейчас он никак не мог припомнить, в каком месте они росли.

У деревьев справа от дорожки была табличка: не то «туя», не то «декоративная сосна» — иероглифы были какие-то смазанные.

Синго решил, что он пришел первым, и медленно пошел по дорожке, упиравшейся в пруд. На скамейке у самого берега спиной к дереву гинго сидела Кикуко.

Она обернулась и, встав, поклонилась ему.

— Ты пришла раньше, чем мы договорились. До половины пятого еще целых пятнадцать минут,— посмотрел на часы Синго.

— Когда вы мне позвонили, я так обрадовалась, что сразу же убежала из дому. Я просто передать не могу, как обрадовалась,— быстро заговорила Кикуко.

— Вот видишь, тебе пришлось ждать. Ты не слишком легко одета?

— Правда. Этот свитер — он еще с тех пор, как я была студенткой,— смутилась Кикуко.— Дома у родителей совсем ничего не осталось из моей одежды. Если бы сестра не одолжила, то, наверно, и прийти бы не смогла, сегодня прохладно.

Кикуко — самая младшая из восьми сестер и братьев, все сестры вышли замуж и живут отдельно — значит, говоря о сестре, она, наверно, имела в виду жену брата.

Темно-зеленый свитер был с короткими рукавами, и Синго впервые в этом году увидел обнаженные руки Кикуко.

Оттого, что она убежала к родителям, Кикуко держалась несколько скованно, и Синго стало жаль ее.

Не зная, как начать разговор, Синго сказал приветливо:

— Ты к нам в Камакура вернешься?

— Да.

Кикуко кивнула.

— Я б хотела вернуться.

Она пожала плечами и посмотрела на Синго. Синго не видел, как она пожимала плечами, его поразил аромат, исходивший от Кикуко.

— Сюити навещал тебя?

— Да. Но если бы вы мне не позвонили...

То ей трудно было бы вернуться — наверно, это она имеет в виду?

Кикуко запнулась и нырнула в заросли гинго.

До грузности сочная зелень, казалось, обрушивается на ее тонкую шею.

На маленьком островке посреди пруда — это был чисто японский пейзаж — лежал, задрав ноги к фонарному столбу, и забавлялся с проституткой американский солдат. На скамейке у пруда сидела еще одна молодая парочка.

Следуя за Кикуко, Синго вышел к большой лужайке, справа от пруда.

— Какая большая,— удивился он.

— Вы здесь возродитесь, отец.— Кикуко, казалось, даже гордится, что привела сюда Синго.

Но Синго, остановившись у мушмулы, которая росла у самой тропинки, не решался ступить на сочную траву лужайки.

— Какая прекрасная мушмула. Ее никто не тревожит, и она свободно раскинула даже нижние свои ветки.

Синго был восхищен тем, как свободно и естественно росло это дерево.

— Чудесная форма. Когда я однажды, давно это было, пришел сюда посмотреть на собак, меня просто потрясли огромные гималайские кедры с широко раскинутыми ветвями. Интересно, в какой части сада это было?

— Ближе к Синдзюку.

— Совершенно верно, я, кажется, действительно входил со стороны Синдзюку.

— Вы мне уже говорили по телефону, что ходили сюда смотреть на собак, да?

— Да. Собак было не так уж много, это был благотворительный прием в парке, устроенный обществом охраны животных. Японцев пришло мало, зато иностранцев — очень много. Служащие оккупационных войск, дипломаты — целыми семьями. Было лето. Индийские девушки в красных и светло-голубых шелках были удивительно красивы. На каждом шагу киоски с американскими и индийскими товарами. В то время такая редкость.

Это было всего несколько лет назад, но Синго не мог вспомнить точно, в каком году.

Разговаривая, Синго внимательно осматривал мушмулу.

— Надо будет выкорчевать аралию, которая глушит нашу вишню. Когда вернешься домой, непременно напомни мне, ладно?

— Непременно.

— Я люблю нашу вишню за то, что у нее не подрезаны ветки.

— Конечно, когда много мелких веток, на них масса цветов... Помните, в прошлом месяце, как раз когда зацвела вишня, мы с вами слушали храмовые колокола — было семисотлетие буддийской столицы.

— Неужели и ты это помнишь?

— Я никогда, никогда в жизни не забуду этого. И еще мы слушали крик коршуна.

Кикуко вплотную подошла к Синго, и, пригнувшись под ветвями могучей дзелквы, они вышли на огромный газон.

У Синго забилось сердце, когда он увидел бескрайний, уходивший вдаль зеленый ковер.

— Какое раздолье. Даже представить себе невозможно, что мы в Японии, да еще в самом центре Токио.— Синго смотрел на огромный зеленый газон, расстилавшийся в сторону Синдзюку.

— Видимо, позаботились о висте, она необычайно глубока.

— А что такое виста?

— Это перспектива. Посмотрите, какими мягкими изгибами уходит вдаль зелень и петляющая среди нее дорожка.

Кикуко рассказала, что однажды они пришли сюда всем классом после уроков и учитель им все объяснил. Он сказал, что этот огромный газон, на котором беспорядочно росли вековые деревья, распланирован на английский манер.

На газоне видны были почти сплошь молодые парочки. Одни лежали, другие сидели, некоторые прогуливались. Кое-где виднелись группы студенток по пять-шесть человек и дети. Рай для влюбленных, подумал пораженный Синго и почувствовал, что ему делать здесь нечего.

Может быть, молодежь ведет себя так свободно потому, что находится в свободном парке, который уже не принадлежит императорскому дому.

Хотя Синго и вышел на газон вместе с Кикуко и теперь они проходили мимо парочек, назначивших здесь свидание, никто не обратил на них никакого внимания. Синго старательно обходил парочки.

Интересно, о чем думает сейчас Кикуко. Старый свекор пришел с невесткой в парк — казалось бы, ничего особенного, но для Синго это было непривычно.

Когда Кикуко по телефону договаривалась с ним о встрече в парке Синдзюку, Синго не придал этому никакого значения, но сейчас предложение Кикуко казалось ему странным.

На газоне несколько огромных деревьев возвышалось над всеми остальными, и Синго, привлеченный их мощью, направился к одному из них.

Приближаясь к могучему дереву и неотрывно глядя на него, Синго почувствовал, как оно вливает в него сочность и мощь своей зелени, как природа смывает уныние с него и с Кикуко. «Вы там возродитесь, отец»,— как она была права, подумал Синго.

Это было тюльпанное дерево. Подойдя ближе, Синго увидел, что перед ним целых три дерева, хотя издали они казались одним. Цветы их похожи на лилии. Похожи они и на тюльпаны, отчего дерево и называют тюльпанным — так было написано на табличке. Родина — Северная Америка, растет быстро, возраст — около пятидесяти лет.

— Неужели только пятьдесят? Значит, моложе меня,— удивленно смотрел на дерево Синго.

Покрытые большими листьями ветви раскинулись так широко, что свободно могли укрыть двух человек.

Синго опустился на скамейку, но ему не сиделось.

Кикуко даже удивилась, что Синго так быстро встал.

— Пойдем к тем цветам,— сказал Синго.

Вдалеке, на другой стороне газона, ярким пятном выделялись белые цветы — возможно, это была клумба,— достигавшие высоты склоненных веток тюльпанного дерева. Когда они пересекли газон, Синго сказал:

— В этом парке устраивали торжественную встречу генералам — победителям русско-японской войны. Мне тогда не было и двадцати. И я еще жил в деревне.

По обеим сторонам клумбы в ряд стояли деревья, Синго сел на скамейку между ними.

Кикуко осталась стоять.

— Я вернусь завтра утром. Попросите маму, чтобы она меня не ругала...— С этими словами Кикуко села рядом с Синго.

— Если ты хочешь мне что-нибудь сказать до того, как вернешься домой...

— Вам, отец? Мне о многом хотелось бы поговорить с вами.

4

На следующее утро Синго проснулся в хорошем настроении, но ему пришлось уйти из дому до того, как вернулась Кикуко.

— Она просила, чтобы ты не ругала ее,— сказал он Ясуко.

— Какое там ругать, я сама должна перед ней извиниться.— У Ясуко просветлело лицо.

Синго сказал лишь, что разговаривал с Кикуко по телефону.

— Все, что ты делаешь, имеет для Кикуко большое значение.

Ясуко вышла в переднюю проводить Синго.

— Ну ладно. Всего хорошего.

Не успел Синго приехать в фирму, как пришла Хидэко.

— О-о, да ты похорошела. И даже цветы принесла? — приветливо встретил ее Синго.

— В салон я все равно уже опоздала, и у меня было много времени, поэтому я шла по улице не спеша. А цветочница показалась мне такой симпатичной.

Хидэко с серьезным лицом подошла к столу Синго и написала пальцем на столе: «Без свидетелей».

— Что?

Синго даже растерялся.

— Выйди, пожалуйста, ненадолго,— сказал он Нацуко.

Пока Нацуко выходила из комнаты, Хидэко нашла цветочную вазу и поставила в нее три розы. Платье, которое, видимо, было формой девушек из салона, немного полнило Хидэко.

— Простите, что вчера не дождалась вас.— Губы у Хидэко были странно напряжены.— Два дня подряд беспокою вас, и...

— Ну что ты. Садись.

— Благодарю вас.— Хидэко села и потупилась.

— Сегодня ты из-за меня опоздаешь?

— Да. Ничего не поделаешь.

Хидэко подняла голову и посмотрела на Синго — она прерывисто дышала, вот-вот расплачется.

— Можно рассказывать? Я ужасно возмущена и поэтому, наверно, так волнуюсь.

— Ну?

— Это касается молодой хозяйки.— Хидэко запнулась.— Она, видимо, прервала беременность.

Синго промолчал.

Откуда это известно Хидэко? Сюити вряд ли разболтал. Но ведь любовница Сюити работает в одном салоне с Хидэко. Синго забеспокоился.

— То, что она прервала беременность, это еще полбеды...— Хидэко снова запнулась.

— Кто тебе об этом сказал?

— Деньги на врача Сюити-сан взял у Кинуко-сан.

У Синго сжалось сердце.

— Мне это показалось кощунством. Такой поступок очень оскорбителен для женщины. Сюити-сан совсем бесчувственный. И мне стало так жалко молодую хозяйку, так жалко. Сюити-сан, наверно, дает деньги Кинуко-сан и поэтому считает их как бы своими, но все равно это очень неприятно. Сюити-сан просто ни с кем не считается. Ведь такие деньги он мог бы достать где угодно. Разве это хорошо — ни с кем не считаться?

Хидэко с трудом сдерживала дрожь.

— Кинуко-сан тоже хороша — безропотно отдала ему деньги. Я ее совсем не понимаю. Я злюсь на нее, все это мне ужасно противно, я даже хочу уйти из салона, чтобы не видеть ее. Вот почему я и пришла поговорить с вами. Я понимаю, что не должна была надоедать вам своими пустыми разговорами, но...

— Наоборот, я благодарен тебе.

— Вы ко мне так хорошо относились, когда я у вас работала, и молодая хозяйка, хоть я ее видела мельком, очень понравилась мне, вот я и решила все рассказать вам.

Глаза Хидэко, полные слез, блестели.

— Сделайте так, чтобы они расстались.

— Хм.

Она имела в виду, разумеется, Кинуко, но Синго в ее словах слышалось другое: сделайте так, чтобы Сюити и Кикуко расстались.

Так он был потрясен и растерян.

Синго поразило бездушие, нравственное разложение Сюити, ему казалось, что и он, Синго, погружается в ту же трясину. Его охватил страх.

Хидэко сказала все, что хотела, и собралась уходить.

— Подожди,— стал вяло удерживать ее Синго.

— Я к вам еще забегу. А сегодня лучше уйду, мне так стыдно, так хочется плакать.

Синго почувствовал, какая Хидэко добрая и чистая девушка.

Раньше он возмущался бездушностью Хидэко, поступившей по рекомендации Кинуко в салон, где та работала, но насколько бездушнее, чем Хидэко, Сюити и он сам.

Синго растерянно смотрел на пунцовые розы, оставленные Хидэко.

Кикуко слишком целомудренна, чтобы родить ребенка от Сюити, у которого есть женщина, но не оказалось ли целомудрие Кикуко растоптанным?

Синго невольно закрыл глаза, представив себе, что сейчас, в эту самую минуту, Кикуко, ничего не подозревая, возвращается в их камакурский дом.

След от раны

1

В воскресенье утром Синго стал спиливать аралию, разросшуюся у ствола вишни.

Если не подкопать корни, аралию все равно не выкорчевать, думал Синго и бормотал про себя:

— Ничего, как только появятся новые побеги, сразу же срежу.

Он уже не раз спиливал аралию, а она разрасталась все гуще. Но Синго никогда не любил корчевания. Да и сил на это у него уже не хватало.

Спиливать побеги аралии не составляло никакого труда, но их было так много, что у Синго вспотел лоб.

— Давай я тебе помогу,— подошел к нему Сюити.

— Не надо,— сухо сказал Синго.

Сюити продолжал стоять.

— Меня послала Кикуко. Отец, сказала она, спиливает аралию, пойди помоги ему.

— Вот как. Ничего, мне осталось немного...

Синго сел на кучу спиленных веток и посмотрел в сторону дома — на веранде, прильнув к стеклянной двери, стояла Кикуко. На ней было яркое оби.

Сюити взял с колен отца пилу.

— Срезать все подряд?

— Да.

Синго смотрел, как ловко работает Сюити.

На землю легли последние побеги аралии.

— Эти тоже спиливать? — обернулся Сюити.

— Нет, нет. Подожди.— Синго поднялся. Рядом росло несколько молодых вишенок. Видимо, они идут от корня главного ствола — значит, это просто ветки, а не самостоятельные деревца, подумал он.

У подножия толстого ствола тоже росли короткие ветки, покрытые листьями. Синго отошел на несколько шагов.

— Пожалуй, вот эти ветки, которые не от ствола, а из земли растут, лучше бы срезать,— сказал он.

— Ты думаешь?

Сюити все не решался спилить деревца вишни. Мнение Синго не казалось ему разумным.

В сад вышла и Кикуко.

Сюити показал пилой на молодые деревца вишни.

— Отец никак не решит, что делать с ними — спиливать или нет,— засмеялся он.

— По-моему, лучше спилить,— не задумываясь, ответила Кикуко.

Синго обернулся к Кикуко.

— Никак не могу разобрать — ветки это или нет.

— Такого не бывает, чтобы ветки росли из земли.

— Как же называются ветки, которые идут от корня? — засмеялся Синго.

Синго начал молча спиливать молодые вишенки.

— А вот ветки на вишне, я думаю, нужно оставить, пусть растут свободно и привольно. Аралию я срезал именно потому, что она мешала им,— сказал Синго.— Да, нужно оставить небольшие ветки у подножия ствола.

Кикуко посмотрела на Синго.

— На этих нежных веточках, похожих на палочки для еды или на зубочистки, цвели такие прелестные цветы.

— Что ты говоришь? Неужели даже цветы на них были? Я и не заметил.

— Были. На каждой веточке по два-три цветка и даже на совсем крохотных, с зубочистку,— по цветку.

— Интересно.

— Веточки, конечно, вырастут, но пока эти нежные веточки станут такими же мощными, как нижние ветви на той мушмуле в парке Синдзюку, я стану старухой.

— Ну что ты. Вишня растет быстро,— сказал Синго и посмотрел в глаза Кикуко.

Синго не рассказал ни жене, ни Сюити, что ходил с Кикуко в парк Синдзюку.

Неужели Кикуко, не успев вернуться домой, сразу же разоткровенничалась с мужем? Нет, она не разоткровенничалась, а, скорее всего, не придавая этому никакого значения, просто рассказала ему обо всем.

Сюити, видимо, трудно было произнести: «Значит, вы с Кикуко встречались в парке Синдзюку», и, наверно, сказать это первым должен был Синго. Но оба промолчали. Что-то мешало обоим. Может быть, то, что Сюити, зная обо всем от Кикуко, сделал вид, что ему ничего не известно.

Во всяком случае, на лице Кикуко запрета они не увидели.

Синго смотрел на крохотные ветки на стволе вишни. Он рисовал в своем воображении, как эти слабенькие, непонятно откуда появившиеся, едва наметившиеся молодые побеги мощно раскинутся — не хуже, чем нижние ветви деревьев в парке Синдзюку.

Это, конечно, изумительное зрелище, когда дерево широко, чуть ли не до земли, раскидывает ветви, обильно усыпанные цветами, но на вишне таких веток он не видел ни разу в жизни. Он не припоминает даже, чтобы он видел когда-нибудь огромные вишневые деревья, ствол которых покрыт ветвями от самой земли.

— Куда отнести спиленные ветки? — сказал Сюити.

— Сложи где-нибудь в дальнем углу.

Сюити сгреб их в охапку и понес — за ним, подобрав несколько веток, пошла Кикуко.

— Не надо, Кикуко... Тебе нельзя,— заботливо сказал Сюити.

Кикуко кивнула и, положив обратно ветки аралии, осталась на месте.

Синго вошел в дом.

— Зачем Кикуко пошла в сад, что она там делает? — Ясуко, чинившая старую сетку от москитов, чтобы укрывать ею младшую де-

вочку во время дневного сна, сняла очки.— В воскресенье они оба в саду — такого еще не бывало. С тех пор как Кикуко вернулась, они, по-моему, в хороших отношениях. Удивительно.

— Все-таки Кикуко невеселая,— пробормотал Синго.

— Нет, нельзя сказать, что она все время грустит,— сказала Ясуко решительно.— Кикуко ведь очень улыбчива, у нее уже давно не было таких веселых глаз. Когда я вижу улыбающееся лицо Кикуко, теперь, правда, похудевшее, я...

— Хм.

— Может, и Сюити станет теперь возвращаться домой пораньше и по воскресеньям не будет никуда уходить; как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Синго сидел молча.

В комнату вошли Сюити и Кикуко.

— Отец, Сатоко сорвала молодые побеги вишни, которые ты так берег.— С этими словами Сюити протянул Синго крохотные веточки.— Я думал, Сатоко интересно и она тоже ломает аралию, а она, оказывается, срывала побеги вишни.

— Вот так-то. Ветки, сорванные ребенком,— сказал Синго.

Кикуко стояла, наполовину скрывшись за спиной Сюити.

2

Когда Кикуко вернулась домой, Синго получил от нее в подарок японскую электрическую бритву. Ясуко — пояс для кимоно, Фусако — детские кимоно для Сатоко и Кунико.

— Сюити она что-нибудь подарила? — спросил Синго у Ясуко.

— Складной зонтик. И еще, кажется, купила ему американскую гребенку. С зеркальцем на футляре... Дарить гребенку — плохая примета, но Кикуко, видимо, не знает этого.

— Американскую можно.

— Кикуко и себе купила такую же. Только другого цвета и поменьше. Фусако увидела и начала: какая хорошенькая, и Кикуко сразу же подарила ей. Кикуко возвратилась домой после ссоры, и ей, наверно, хотелось, чтобы у нее и Сюити были одинаковые гребенки. Фусако не должна была выпрашивать. У Кикуко ведь только одна была, какая Фусако неделикатная.— Ясуко была недовольна дочерью.— Кимоно для Сатоко и Кунико из прекрасного шелка, нарядные, праздничные. Правда, самой Фусако подарка не было, но ведь ее дети получили, значит и она получила. И еще забирает гребенку— конечно, Кикуко подумала, что поступила плохо, ничего не купив Фусако. Да и вообще, после того что произошло, Кикуко вполне могла возвратиться без подарков.

— Конечно.

Синго был согласен с Ясуко, и еще им владело уныние, причины которого Ясуко были неведомы.

Чтобы купить подарки, Кикуко пришлось ввести в расход своих родителей. Чтобы сделать жене аборт, Сюити пришлось взять деньги у Кинуко. Значит, можно предположить, что и Сюити и Кикуко сидят без денег. Кикуко обратилась к Сюити лишь за тем, чтобы он оплатил врача, а деньги на подарки попросила у родителей — это несомненно.

Теперь Синго пожалел, что уже давно перестал давать Кикуко деньги на карманные расходы. Не то чтобы он и раньше не думал об этом, просто ему было неприятно тайком давать ей деньги, словно бы

за то, что она хорошо к нему относится, хотя с Сюити у них такие отношения, что в пору развестись. Но, с другой стороны, видеть, в каком положении находится Кикуко, и ничем ей не помочь — не значит ли это поступить так же, как Фусако, отобравшая у нее гребенку?

Кикуко, оказавшаяся без денег из-за того, что ее муж ведет разгульную жизнь, вынуждена была выпрашивать деньги у отца. Но если бы Синго был более чуток, Кикуко не выпал бы на долю еще и такой позор — сделать аборт на деньги любовницы мужа.

— Мне было бы приятнее, если бы она не привозила никаких подарков,— размышляла вслух Ясуко.— Все вместе стоило ей довольно дорого. Как ты думаешь, сколько?

— Действительно, сколько?

Синго попытался подсчитать в уме:

— Сколько стоит бритва — понятия не имею. Я такой еще ни разу не видел.

— Ну да, разумеется,— кивнула Ясуко.— Даже если б ты просто выиграл ее в лотерее, и то она показалась бы тебе великолепной. А тем более когда ты получил ее от Кикуко. Она что — шумит, крутится?

— Никакие колесики не крутятся.

— Как не крутятся? Крутятся, конечно. Если бы не крутились, она бы не брила.

— Нет, сколько ни рассматривал, колесики не крутятся.

— Что ты говоришь?

Ясуко ухмыльнулась.

— Для тебя она бесценна хотя бы потому, что ты радуешься ей, как ребенок. Каждое утро уу-уу, жжи-жжи. Выглаживаешь подбородок, когда завтрак уже давно готов,— и сам доволен, и Кикуко не нарадуется, глядя на тебя. Это, конечно, очень приятно, но....

— Так уж и быть, дам тебе тоже разок побриться,— засмеялся Синго. Ясуко укоризненно покачала головой.

В день, когда Кикуко вернулась домой, Синго пришел из фирмы вместе с Сюити, и в тот вечер в столовой подарок Кикуко — электрическая бритва — пользовался всеобщим вниманием.

Бритва и остальные подарки разрядили напряженную атмосферу, заменили, так сказать, первое приветствие, когда Кикуко, уехавшая вдруг без предупреждения к своим родителям, вернулась в семью Сюити, по вине которого она сделала аборт.

Даже Фусако обрадовалась — надела на девочек кимоно, похвалила вышивку вокруг ворота и рукавов, а Синго, прочитав инструкцию, сразу же стал бриться.

Вся семья внимательно следила за тем, что делает Синго: ну как, мол?

Синго, зажав в одной руке бритву и водя ею по подбородку, а из другой не выпуская инструкцию, сказал:

— Написано, что и женщины могут легко подбривать себе волосы на затылке.

И посмотрел на Кикуко.

У Кикуко очень красиво росли волосы над ушами и лбом. Синго раньше не обращал на это внимания. А ведь линия волос была и правда удивительно изящна.

Нежная кожа и густые блестящие волосы создавали ощущение чистоты.

Обычно бледное лицо Кикуко чуть порозовело, радостно заблестели глаза.

— Отец получил прекрасную игрушку,— сказала Ясуко.

— Какая же это игрушка? Продукт цивилизации. Точный прибор. На нем даже выбит номер, указано, кто изготовил, проверил, собрал, стоит фамилия ответственного.

Синго в прекрасном расположении духа водил бритвой по волосу и против волоса.

— Раздражения никакого, бреет чисто, ни мыла, ни воды не нужно,— сказала Кикуко.

— Конечно. У старого человека лезвие обычной бритвы то и дело задевает морщины. Так что и тебе электрическая бритва не помешает.— Синго протянул ее Ясуко.

Ясуко, противясь, отпрянула назад.

— Зачем, у меня же нет бороды.

Синго внимательно рассматривал колесики бритвы, потом надел очки и еще раз тщательно осмотрел их.

— Нет, колесики не крутятся — как же все-таки она бреет? Мотор крутится, а колесики стоят на месте.

— Покажи-ка.— Сюити передал бритву Ясуко.

— И правда. Колесики в самом деле стоят на месте. В пылесосе тоже ничего не крутится. Но пыль-то он все равно втягивает.

— Непонятно еще, куда деваются срезанные волосы,— сказал Синго, и Кикуко, потупившись, рассмеялась.

— Вместо бритвы лучше бы купить пылесос. Или стиральную машину. Для Кикуко это было бы большим подспорьем.

— Пожалуй,— ответил Синго.

— У нас в доме нет ни одного из этих продуктов цивилизации. Возьми тот же холодильник, сколько лет все обещаешь — куплю, куплю, а мы до сих пор без него. Или, например, тостер: готов тост— раз и выскакивает, и тостер сам выключается, разве не удобно?

— Бабкина идея домашней электрификации.

— Сделал бы хоть для Кикуко, ты ведь любишь ее, а чтобы слово сдержать — где там.

Синго наконец выключил бритву. В футляре лежало две щеточки, одна вроде маленькой зубочистки, другая крохотный ершик как для мытья бутылок. Синго испробовал обе. Щеточкой, похожей на ершик, он прочистил прорези колесиков и, посмотрев случайно вниз, увидел на коленях седые волоски. Раньше он не замечал их — потому, видимо, что они седые.

Синго тщательно стряхнул волоски с колен.

3

Синго сразу же купил пылесос.

Его иногда даже забавляло, как по утрам, еще до завтрака, сливаются завывание пылесоса и жужжание электрической бритвы.

Эти звуки принесли в дом что-то новое.

Пылесос поразил воображение Сатоко, и она неотступно следовала за Кикуко, когда та убирала дом.

Может быть, из-за электрической бритвы Синго увидел сон о бороде.

Во сне он был не действующим лицом, а зрителем. Но поскольку это был сон, четко отделить действующее лицо от зрителя было невозможно. К тому же события происходили в Америке, где он ни разу в жизни не был. Синго подумал потом, что Америка появилась во сне, наверно, из-за американской гребенки, которую Кикуко купила в подарок Сюити.

В его сне Америка оказалась разделенной на штаты, где живут, например, одни англичане или где живут одни испанцы. И, следовательно, цвет бороды зависит от штата. Проснувшись, Синго уже не помнил, как различались по цвету и форме бороды, но во сне он точно определял бороды, характерные для каждого штата, то есть для каждой расы. В одном из штатов — название он забыл, когда проснулся,— появился человек, в бороде которого сочетались особенности бород всех рас всех штатов. Причем в бороде этого человека не просто смешались волосы разных рас, нет, она состояла из разных видов бород— кусок французской, кусок индейской... Таким образом, борода этого человека состояла из прядей, принадлежавших всем расам всех штатов Америки.

Американское правительство объявило бороду этого человека национальной реликвией. И поскольку его борода была объявлена национальной реликвией, он не имел права не только стричь ее самовольно, но даже просто расчесывать.

Таков был сон. Синго отчетливо видел разношерстную бороду этого человека и воспринимал ее как свою собственную. Гордость и в то же время растерянность бородача передались Синго.

Сюжета почти никакого не было — просто сон, в котором Синго видел бородача.

Борода была, разумеется, длинная. Каждое утро Синго дочиста выбривался, возможно, поэтому ему и приснился сон о бесконечно длинной бороде, и все-таки было странно, почему вдруг эту бороду объявили национальной реликвией.

Невинный сон, радовался Синго, утром обязательно расскажу — и опять уснул под шум дождя, но вскоре проснулся: ему снова приснился сон, ужасный сон.

Синго гладил чью-то висящую, заостряющуюся книзу грудь. Грудь была мягкая, бесчувственная. Она не напряглась — значит, женщина никак не отзывалась на прикосновения Синго. Это было неприятно.

Синго гладил грудь женщины, но не знал, кто она. И не только не знал, но и не задумывался, что это за женщина. Сначала у нее не было ни лица, ни тела — только две груди, колыхавшиеся в пустоте. Но потом, когда он подумал, кто бы это мог быть, пустота превратилась в младшую сестру одного из товарищей Сюити. Однако это не вызвало у Синго ни стыда, ни возбуждения. Он, правда, не мог с уверенностью сказать, что это та самая девушка, облик был расплывчат. Грудь еще не рожавшей женщины, но Синго не был уверен, что она не знала мужчины. Он был потрясен, когда вдруг увидел следы ее невинности на своих пальцах. Что же теперь делать, подумал он и решил — не так уж все это страшно.

— Скажу, что она была спортсменкой,— прошептал Синго.

Словно испугавшись этих слов, сон рассыпался.

— Фу, как противно.— Синго вдруг вспомнил, что это были предсмертные слова Мори Огай [1]. Он прочитал их как-то в газете.

Очнувшись от отвратительного сна и сразу же вспомнив предсмертные слова Мори Огай, Синго связал их со словами, произнесенными им во сне, и понял — это была попытка самооправдания.

Во сне Синго не испытал ни любви, ни радости. Непристойный сон, непристойные воспоминания. Как это противно, ужасно противно. Тягостное пробуждение.

Во сне Синго не обесчестил девушку, но, возможно, собирался обесчестить. И если даже бы он, трепеща от вожделения и страха,

[1] Мори Огай (1862—1922) — известный японский писатель.

обесчестил девушку, что бы изменилось? Проснувшись, он продолжал бы влачить свое жалкое существование.

Синго вспоминал непристойные сны, которые он видел в последние годы,— в них он всегда имел дело с вульгарнымн женщинами. Такой же была и девушка сегодня ночью. Может быть, он даже во сне боится нравственных мук за прелюбодеяние.

Синго вспомнил младшую сестру товарища Сюити. До того как в их дом пришла невесткой Кикуко, Сюити несколько раз встречался с ней и собирался даже сделать ей предложение.

— Ой,— Синго точно громом поразило.

Не Кикуко ли обратилась в эту девушку из сна? Не приняла ли Кикуко облик младшей сестры товарища Сюити потому, что даже во сне Синго свято хранил нравственность? И не исключено, что и эту девушку, заменившую Кикуко, он заменил еще более вульгарной девицей, чтобы скрыть свою безнравственность, чтобы избежать мук совести.

Если бы можно было во всем потакать своим желаниям, если б можно было построить жизнь так, как ему хотелось, то разве бы не стремился он к одному — вечно любить Кикуко, Кикуко-девушку, Кикуко, которая еще не стала женой Сюити?

И эта его сокровенная мысль, подавленная, изуродованная до неузнаваемости, появилась во сне, как что-то жалкое и непристойное. Наверно, и во сне Синго не давал этой мысли вырваться наружу, обманывал себя. Он выбрал девушку, которой собирался сделать предложение Сюити до Кикуко, и к тому же видел ее как в тумане только потому, что до крайности боялся, чтобы женщиной из сна не оказалась Кикуко.

Позже, вспоминая о своем сне, Синго задавал себе вопрос: не потому ли так быстро потускнела женщина из сна, так быстро потускнела нить сна и он ничего не запомнил, не потому ли рука, гладившая грудь, не чувствовала никакой радости, что в то мгновение, когда он проснулся, одновременно проснулась и хитрость, погасившая сон?

— Это только сон. Борода, объявленная национальной реликвией,— сон. А в толкование снов я не верю.— Синго потер ладонью лицо.

Сон был тягостный, он сковал тело холодом, и Синго проснулся в липком поту.

После сна о бороде дождь, который до этого был едва слышен, порывами ветра обрушило на дом. Пробиваясь сквозь щели, вода залила даже циновки, устилавшие пол в комнатах. Судя по шуму, дождь переходил в бурю.

Синго вспомнил написанную тушью картину Кадзана Ватанабэ [1], которую он видел несколько дней назад в доме своего приятеля. На ней был изображен ворон, сидящий на верхушке засохшего дерева, и она называлась «Мрачный ворон в рассветной мгле, майский дождь. Нобори».

Прочтя трехстишие, Синго, казалось, понял смысл картины и настроение Кадзана.

Ворон на верхушке высохшего дерева дожидается рассвета под дождем, на ветру. Бледной тушью художнику удалось передать сильный порывистый ветер, расшвыривающий потоки дождя. Синго забыл, как выглядело дерево, помнил только, что у него был толстый

---

[1] Кадзан Ватанабэ, настоящее имя Нобори (1793—1841),— ученый, политический деятель и художник. Обвиненный в нарушении закона о «закрытии страны», он был посажен в тюрьму, где сделал себе харакири.

ствол и ветки обломаны. А вот облик ворона четко врезался ему в память. То ли оттого, что ворон только что спал, то ли оттого, что вымок на дожде, а скорее всего по обеим причинам он был весь взъерошенный. С длинным клювом. Сверху клюв иссиня-черный и казался еще толще, чем на самом деле. Глаза открыты, но ворон был еще совсем сонный, видимо, проснулся не окончательно. Пронзительные, пожалуй, даже злые глаза. Ворон казался огромным.

Синго знал только, что Кадзан был беден и покончил с собой, сделав харакири. Но Синго почувствовал вдруг настроение, охватившее однажды художника.

Приятель повесил картину, лишь сообразуясь с сезоном.

— Какой сильный, могучий ворон,— сказал ему Синго.— И неприятный.

— Почему же? Во время войны я часто видел этих птиц и каждый раз думал — какая мерзость. Мерзкий ворон. И все-таки в нем есть мощь и покой. Но знаешь, если делать харакири по той же причине, что и Кадзан, то сколько раз нам с тобой пришлось бы вспарывать себе живот. Таково уж наше время,— сказал приятель.

— Мы тоже ждали рассвета...

Синго был уверен, что и в эту дождливую ночь в гостиной его приятеля висит картина с вороном.

Что, интересно, делают этой ночью наш коршун и наши вороны?— думал Синго.

4

После второго сна Синго долго лежал с открытыми глазами, ожидая рассвета, но он не обладал ни характером, ни волей ворона Кадзана.

И все-таки как это печально, думал Синго, что непристойный сон — неважно, кто была та женщина, Кикуко или сестра товарища Сюити,— не заставил его сердце биться от вожделения.

Это было еще омерзительнее всякого прелюбодеяния. Какой-то старческий маразм.

Еще во время войны у Синго пропала потребность в близости с женщиной. Так продолжается до сих пор. И не потому, что он очень уж стар,— просто отвык. Война раздавила его, и он так до конца и не ожил. Война до предела сузила его представления о вещах, вогнала их в тесные рамки благоразумия.

Синго даже хотел спросить у кого-нибудь из приятелей — много ли еще таких стариков, их ровесников, но побоялся, что его немощь будет осмеяна.

Чем, собственно говоря, плохо любить Кикуко хотя бы во сне? Неужели даже во сне этой любви нужно бояться, стыдиться? Неужели пристойнее любить Кикуко наяву?

Так рассуждал сам с собой Синго.

Синго пришло на ум трехстишие Бусона: «Если старость забыла любовь, как это больно»,— оно еще больше опустошило его.

Из-за того, что у Сюити появилась женщина, супружеские отношения между ним и Кикуко приобрели новые грани. А после того, как Кикуко сделала аборт, стали как-то теплее и мягче. В ночь, когда была та ужасная буря, Сюити нежнее, чем обычно, ласкал Кикуко, а в ту ночь, когда Сюити пришел вдребезги пьяный, Кикуко простила его легче, чем обычно.

В чем причина, в жалостливости Кикуко или в ее глупости?

Способна ли сама Кикуко осознать это? Или, может быть, Кикуко, это чудо природы, бездумно и безотчетно плывет по волнам жизни?

Решив не рожать, Кикуко выразила Сюити протест; уехав к родителям, она еще раз выразила протест и в то же время обнаружила безмерную глубину своей тоски, но, вернувшись через несколько дней, она стала бесконечно нежна с Сюити, словно просила прощения за свой поступок, словно искала успокоения своим ранам.

Нельзя сказать, что Синго это было так уж приятно. Но он утешал себя: ничего, все к лучшему.

Синго стал даже думать, что, может быть, самое правильное — закрыть глаза на проблему Кинуко и спокойно ждать, пока все разрешится само собой.

Хотя Сюити был сыном Синго, это не мешало Синго сомневаться: такая ли уж идеальная пара Сюити и Кикуко, так ли уж предназначены они друг другу судьбой, так ли уж крепко должна быть Кикуко связана со своим мужем?

Стараясь не разбудить спавшую рядом Ясуко, Синго зажег ночник у изголовья, но разобрать на часах время не мог. Видимо, уже светает и вот-вот ударит шестичасовой колокол в храме.

Синго вспомнил колокол в парке Синдзюку.

Он возвещал, что парк закрывается.

— По-моему, это церковный колокол,— сказал Синго, обращаясь к Кикуко. Ему показалось, что они идут в церковь по аллее парка в какой-то европейской стране. Представилось, что толпившиеся у выхода люди тоже направляются в церковь.

Синго поднялся, не выспавшись.

Стараясь не смотреть на Кикуко, Синго вышел из дому рано вместе с Сюити.

Неожиданно он спросил:

— Ты убивал на войне людей?

— Странный вопрос. Те, кто попадали под пули моего пулемета, погибали, наверно. Но ведь, можно сказать, стрелял не я, а пулемет.

Сюити, поморщившись, отвернулся.

Прекратившийся было днем дождь лил потом всю ночь, и утром Токио был окутан туманом.

После приема в ресторане, устроенного фирмой, Синго усадили в последнюю машину, и он оказался в довольно затруднительном положении провожатого гейш.

Две уже немолодые гейши уселись рядом с Синго, а три совсем юных примостились у них на коленях. Синго обнял девушку за талию и привлек к себе:

— Удобно?

— Не беспокойтесь.— Гейша невозмутимо сидела на коленях Синго. Она была года на четыре моложе Кикуко.

Чтобы запомнить эту гейшу, запишу ее имя, когда сяду в электричку, подумал Синго, но потом что-то его отвлекло, и он забыл записать.

В дождь

1

В это утро первой просмотрела газету Кикуко. Видимо, почтовый ящик залило дождем, и Кикуко, просушивая газету над газовой плитой, на которой варился рис, читала ее.

Иногда Синго, просыпавшийся рано, сам вставал, шел за газетой и снова ложился в постель почитать, но, как правило, приносить из ящика утреннюю газету было обязанностью Кикуко.

Обычно она просматривала ее, лишь проводив Синго и Сюити.

— Отец, отец,— тихо позвала Кикуко.

— Что такое?

— Если вы уже проснулись, то...

— Что-нибудь случилось?

Что-то произошло, подумал Синго, услышав взволнованный голос Кикуко, быстро поднялся и вышел к ней.

Кикуко с газетой в руках стояла в коридоре.

— Что такое?

— В газете написано об Аихара-сан.

— Аихара забрали? В полицию?

— Нет.

Кикуко, чуть подавшись вперед, подала ему газету.

— Ой, она еще сырая.

Синго небрежно взял ее, и влажная газета выскользнула у него из рук и упала на пол.

Кикуко быстро подняла ее, расправила и снова протянула ему.

— Я и смотреть не хочу. Так что же случилось с Аихара?

— Пытался покончить с собой вместе с какой-то женщиной.

— Покончить с собой вместе с женщиной? Умер?

— Есть надежда спасти его — во всяком случае, так здесь написано.

— Что ты говоришь! Постой-ка.— Синго отдал Кикуко газету и направился к двери.

— Впрочем, Фусако еще, наверно, спит. Она никуда из дому не выходила?

— Нет.

Ну, конечно, вчера вечером Фусако была дома, а потом легла спать с детьми, да и не было у нее причины покончить с собой вместе с Аихара — в газете написано не о ней.

Синго пытался успокоиться, глядя, как дождь бьет в окно уборной. Капли дождя суетливо сбегали вниз по тонким длинным листьям деревьев, что росли на горе за домом.

— Ливень. Даже не похож на ласковый июньский дождь.

С этими словами Синго вошел в столовую и сел. Он взял газету, но не успел раскрыть ее, как с носа стали сползать очки. Досадливо прищелкнув языком, Синго снял очки и начал яростно тереть нос и глаза. Какой-то он весь противно потный.

Пока он читал коротенькую заметку, очки все время сползали вниз.

Аихара и женщина вместе покончили с собой в гостинице на горячих водах Идзу при храме Рэндайдзи. Женщина сразу умерла. Ей двадцать пять — двадцать шесть лет, по виду официантка, личность не установлена. Мужчина, видимо, наркоман. Есть надежда спасти его. Поскольку мужчина постоянно употреблял наркотики и не оставил предсмертного письма, можно предположить, что он инсценировал самоубийство.

Синго подхватил очки, сползшие к самому кончику носа, и в сердцах чуть не швырнул их на пол.

То ли его взбесил поступок Аихара, то ли разозлили упрямо сползавшие очки — не разберешь.

С силой растирая лицо ладонью, он пошел умываться.

В газете местом жительства Аихара была указана Иокогама. Имя его жены, Фусако, не упоминалось.

В газетной заметке ничего не было сказано и о семье Синго.

Иокогама была указана, конечно, наобум — видимо, настоящее местожительство Аихара не было установлено. Да и Фусако уже фактически не жена ему.

Синго сначала умылся и уж потом стал чистить зубы.

Только повышенная чувствительность Синго заставляла его терзаться, не находить себе покоя от мысли, что Фусако до сих пор считается женой Аихара.

— Вот и хорошо, время решило все,— пробормотал Синго.

Неужели время действительно само все решило, покуда он колебался, не зная, что предпринять?

Но неужели у Синго не было никаких средств помочь Аихара, пока он еще не пал так низко?

И еще совсем не известно, Фусако ли довела Аихара до гибели или Аихара довел Фусако до беды.

Если у одного из супругов такой характер, что он способен довести другого до беды и даже до гибели, значит, и у того такой же характер и он тоже способен довести другого до беды и даже до гибели.

Вернувшись в столовую и потягивая обжигающий чай, Синго сказал:

— Кикуко, ты, наверно, знаешь, что дней пять-шесть назад Аихара прислал по почте заявление о разводе?

— Да. И вы тогда еще рассердились...

— Совершенно верно, рассердился. И Фусако тоже сказала, что даже оскорбление должно иметь границы. Видимо, он все это предпринял перед смертью. Значит, готовился серьезно к самоубийству. И ни о каком притворстве не помышлял. А женщину он взял себе в спутницы.

Кикуко, сжавшись, молчала. На ней было шелковое полосатое кимоно.

— Пойди разбуди Сюити,— сказал Синго.

Глядя ей вслед, Синго подумал: какой она кажется высокой — может быть, из-за полосатого кимоно?

— Неужели Аихара сделал это? — сказал Сюити, обращаясь к Синго, и взял у него из рук газету.— Заявление сестры о разводе уже отправлено?

— Пока еще нет.

— Что значит «пока»? — посмотрел на него Сюити.— Почему ты медлишь? Нужно сегодня же, как можно скорее, сделать это. Ведь если Аихара не спасут, ее заявление о разводе будет послано мертвецу.

— На чье имя записать детей? Аихара ничего о детях не говорит. А дети еще слишком малы и самостоятельно сделать выбор не могут.

Заявление о разводе, подписанное Фусако, лежало в портфеле Синго, и он уже несколько дней возил его из дому в фирму и обратно.

Синго время от времени посылал матери Аихара деньги. Этому же посыльному он собирался поручить отнести в районную управу заявление о разводе, но все откладывал со дня на день.

— Дети уже у нас, пусть здесь и остаются,— бросил Сюити небрежно.— Наверно, и из полиции к нам придут?

— Это еще зачем?

— Чтобы найти людей, которые возьмут на себя заботы об Аихара, или еще зачем-нибудь.

— Может, и не придут. Для этого Аихара, наверно, и прислал заявление о разводе.

Резко отодвинув фусума, в комнату стремительно вошла Фусако в ночном кимоно.

Даже не заглянув в газету, она схватила ее, изорвала и бросила клочки на пол. Рвала она газету яростно и так резко швырнула обрывки, что они даже не разлетелись. И Фусако стала неистово топтать ногами изорванную газету, а потом, обессилев, упала на пол.

— Кикуко, закрой фусума,— сказал Синго.

За открытой фусума были видны спящие дети.

Фусако снова схватила куски газеты и стала исступленно рвать их.

Сюити и Кикуко молчали.

— Фусако, тебе не хотелось бы навестить Аихара? — сказал Синго.

— Ни за что!

Фусако приподнялась на локте и зло взглянула на Синго.

— За кого, отец, ты принимаешь свою дочь? За размазню? Тебя даже не возмутило, что с твоей дочерью так поступили. Ты лучше сам сходи проведать его и опозорься еще раз. Кто отдал меня этому человеку?

Кикуко ушла на кухню.

Синго был убежден, что Фусако все-таки должна пойти навестить Аихара, тогда разведенные снова соединятся и жизнь их пойдет по-новому — случается ведь и не такое.

2

После этого газеты ничего не сообщали о том, спасли Аихара или он умер.

Судя по тому, что в районной управе приняли заявление о разводе, в записи актов гражданского состояния его смерть не значилась.

Если предположить, что Аихара умер, могли бы его похоронить как человека неопознанного? Вряд ли. У него ведь есть мать, хотя она и еле передвигается. И даже если бы газета не попалась на глаза ей самой, кто-нибудь из знакомых непременно показал бы ей заметку об Аихара. Видимо, его спасли, полагал Синго.

Но можно ли довольствоваться предположением, когда на твоих руках осталось двое его детей? Сюити не очень ясно отдает себе отчет в том, что случилось, но Синго не может так бездумно со всем согласиться.

Ведь обе внучки лягут бременем на плечи Синго. Но Сюити совсем не думает о том, что они станут и его бременем.

Бремя воспитания — это еще полдела, но ведь будущее счастье Фусако и внучек уже сейчас наполовину погублено — неужели и за это ответственным окажется Синго?

Когда Синго посылал заявление о разводе, он подумал о том, что стало с женщинами, с которыми проводил время Аихара.

Одна из них действительно умерла. Интересно, какова была ее жизнь?

«Не дай бог,— сказал про себя Синго и вздрогнул.— Ужасная жизнь».

Если бы Фусако мирно жила с Аихара, эта женщина не покончила бы с собой — значит, Синго тоже в какой-то мере причастен к ее гибели. И может ли он не молиться за упокой души этой несчастной женщины?

Но у него не было никакого желания думать об этой женщине, и он подумал о ребенке Кикуко. Ему, конечно, не следовало думать о ребенке, от которого она так быстро избавилась, и все же он думал, каким бы родился этот ребенок.

Может быть, Синго причастен и к гибели ребенка тоже?

Противный день — даже очки все время запотевают. Синго почувствовал тяжесть в правом боку.

Обложной дождь кончился, и в просветах между тучами засияло солнце.

— Во дворах, где прошлым летом цвели подсолнухи, в этом году растут какие-то белые цветы, похожие на нездешние хризантемы, не знаю, как они называются. Сговорились все, что ли,— в нескольких дворах подряд одинаковые цветы. В прошлом году все посадили подсолнухи,— сказал Синго, надевая брюки.

Кикуко стояла перед ним, держа в руках пиджак.

— Разве все подсолнухи не сломало бурей в прошлом году?

— Возможно. Кикуко, ты, по-моему, выросла, а?

— Да. Выросла. После возвращения домой и то немного подросла, а недавно опять.

Сюити даже удивился.

— Когда?..

Кикуко вспыхнула и, встав позади Синго, помогла ему надеть пиджак.

— Мне показалось, что ты очень выросла. Показалось не только из-за кимоно. Сколько уж лет прошло, как ты живешь у нас в доме, и все растешь — это прекрасно.

— Просто я недоразвитая — никак вырасти не могу.

— Ничего подобного. Ты очень хорошенькая.— Говоря это, Синго подумал, что она действительно выглядит здоровой и привлекательной. Неужели Кикуко так выросла, что Сюити заметил это, когда обнимал ее?

Синго вышел из дому с мыслью, что жизнь потерянного ребенка продолжается в Кикуко.

Сатоко сидела на корточках у обочины дороги и следила за игрой соседских детей.

Синго тоже остановился и стал с интересом смотреть, как они, словно в посуду, накладывают в ракушки и листья аралии мелко нарезанную траву.

Мелко накрошенные лепестки георгинов и маргариток они тоже клали туда как украшения.

Расстеленная циновка была густо засыпана маргаритками.

— Да, это маргаритки,— вспомнил наконец Синго.

В нескольких дворах подряд, где в прошлом году цвели подсолнухи, теперь росли маргаритки.

Сатоко была еще слишком мала, и дети, видимо, не принимали ее в свою игру.

Синго пошел, и она подбежала к нему:

— Дедушка!

Синго за руку довел внучку до угла. Убегавшая назад Сатоко выглядела совсем по-летнему.

Нацуко, обнажив белые руки, мыла окно в кабинете.

Синго начал бойко:

— Ты сегодняшнюю газету видела?

— Да,— не понимая, ответила Нацуко.

— Я говорю «газету», но какую именно, не припомню. Какая же это была газета?..

— Но точно газета?

— Да. Забыл, в какой газете я прочел, что социологи Гарвардского и Бостонского университетов раздали тысяче секретарш анкеты с одним вопросом: чему вы радуетесь больше всего?—и все единодушно ответили — когда хвалит мужчина. Неужели все женщины, и на Западе и на Востоке, в этом единодушны? Как ты считаешь?

— И им не стыдно?

— Стыд и удовольствие, как правило, соседи. Особенно когда за тобой ухаживает мужчина. Ты не согласна?

Нацуко молчала, потупившись. В наше время редко встретишь такую скромную девушку, подумал Синго.

— Танидзаки принадлежит как раз к таким девицам. Больше всего она любила, чтобы ее хвалили на людях.

— Сегодня приходила Танидзаки-сан. Примерно в половине девятого,— сказала с неприязнью Нацуко.

— Да? Ну и что?

— Сказала — придет еще раз, днем.

Синго овладело дурное предчувствие.

Ожидая прихода Хидэко, он не пошел обедать.

Хидэко распахнула дверь и замерла у порога — она смотрела на Синго, с трудом сдерживаясь, чтобы не расплакаться.

— О-о. Сегодня, я вижу, ты цветов не принесла? — сказал Синго, стараясь скрыть беспокойство.

Хидэко, словно бы укоряя Синго за легкомыслие, подошла к нему с торжественно-серьезным видом.

— Опять очистить помещение?

Но Нацуко уже ушла на обеденный перерыв, и Синго сидел в комнате один.

Синго был потрясен, когда она сказала, что любовница Сюити беременна.

— Я ей говорила, что она не должна рожать,— поджала тонкие губы Хидэко.— Вчера по дороге из салона я догнала Кинуко и сказала ей это.

— Хм.

— А что, разве я не права? Это ведь так ужасно.

Синго не хотелось отвечать, он сразу помрачнел.

Хидэко говорит все это, имея в виду Кикуко.

И жена Сюити, и его любовница забеременели одновременно. В жизни, конечно, такое случается, но чтобы это случилось у родного сына — Синго и в голову не могло прийти. К тому же Кикуко прервала беременность.

3

— Сюити еще здесь? Сходи узнай. Если здесь, скажи, чтоб зашел...

— Хорошо.

Хидэко достала маленькое зеркальце и — словно заколебавшись:

— Какое лицо у меня — прямо стыдно показываться ему. Да и Кинуко-сан не знает, что я пришла к вам сплетничать.

— А-а, ну да.

— Я даже хочу из-за всей этой истории уйти из салона, но не знаю...

— Зря.

Синго позвонил по телефону, стоявшему на столе. Ему было неприятно встречаться сейчас с Сюити в комнате, где сидят сослуживцы. Сюити не было.

Синго повел Хидэко в европейский ресторан неподалеку.

Маленькая Хидэко прижалась к нему и, стараясь уловить выражение его лица, сказала:

— Когда я работала у вас секретаршей, вы однажды повели меня на танцы. Помните?

— Помню. Волосы у тебя были повязаны белой лентой.

— Нет,— покачала головой Хидэко.— Белой лентой я стянула волосы в тот день, когда была буря. Я это прекрасно помню, потому что в тот день я впервые узнала о Кинуко-сан, и меня это потрясло.

— Значит, это было тогда?

Синго вспомнил, что именно в тот вечер услышал от Хидэко, что хриплый голос Кинуко — чувственный.

— Это было, кажется, в сентябре прошлого года. Все эти дела Сюити доставили тебе немало хлопот.

Синго вышел без шляпы, и солнце припекало голову.

— Как ни печально, я ничего не могла поделать.

— При чем здесь ты? Я и то ничего не мог поделать. В общем, опозорилась моя семья.

— Я вас все равно глубоко уважаю. После того как я ушла из фирмы, я еще больше привязалась к вам,— сказала Хидэко странным тоном и немного помолчала.— Я ее без конца убеждаю, что она не должна рожать. А Кинуко с наглым видом обрывает меня — что, мол, ты знаешь, что понимаешь? Не вмешивайся не в свое дело. А потом говорит: это касается только того, кого я ношу под сердцем...

— Хм.

— ...Кто тебя просил говорить мне все эти глупости? Ты все твердишь: брось Сюити. Хорошо, если Сюити уйдет от меня, мне ничего не останется, как бросить его, но ведь рожать-то мне одной. Тут уж никто не поможет. А плохо это, если я рожу, или хорошо, ты лучше спроси, если сможешь, у ребенка, который у меня под сердцем. Кинуко думает, что я еще слишком молодая, и насмехается надо мной. И я ей сказала, что нечего насмехаться над человеком. По-моему, Кинуко все-таки будет рожать. Я потом долго думала о нашем разговоре — ведь от мужа, погибшего на фронте, у нее нет детей.

— Да?

Продолжая шагать, Синго кивнул.

— Может, я сгоряча так говорю, а на самом деле она не будет рожать.

— Сколько уже?

— Четыре месяца. Я-то сама ничего не замечала, а девушки из салона сразу догадались... Хозяйка, узнав об этом, тоже посоветовала ей не рожать. Ведь если Кинуко родит, ей придется уйти с работы, что она тогда будет делать?

Хидэко охватила щеку ладонью.

— Просто не представляю себе. Теперь вы все знаете, поговорите с Сюити-сан...

— Хорошо.

— Если решите встретиться с Кинуко-сан, я думаю, лучше поторопиться.

Синго и сам думал об этом — Хидэко высказала его мысли.

— А та женщина, которую ты как-то приводила ко мне в фирму, все еще живет вместе с ней?

— Да, Икэда-сан.

— Кто же из них старше?

— Кинуко-сан, я думаю, года на два — на три моложе.

После обеда Хидэко дошла с Синго до самой фирмы. На ее лице появилась жалкая улыбка, вот-вот расплачется.

— Всего хорошего.

— Благодарю тебя. Ты вернешься в салон?

— Да. В последнее время Кинуко-сан обычно стала уходить домой раньше, но до половины седьмого она всегда в салоне.

— Вряд ли стоит мне заходить в салон.

Кажется, Хидэко и сегодня толкает Синго на встречу с Кинуко, на душе у него стало тяжело.

Наверно, когда он вернется домой, ему будет невыносимо смотреть в глаза Кикуко.

Кикуко настолько целомудренна, что ей противно заводить ребенка, пока у Сюити есть женщина, и поэтому она не родила. Но ей и в самом страшном сне не приснится, что эта женщина беременна.

Когда через несколько дней после того, как Синго узнал о том, что случилось с Кикуко, она вернулась от своих родителей домой, они, казалось, жили с Сюити в полном согласии, Сюити каждый день приходил рано и трогательно заботился о жене — что же тогда все это значит?

Если толковать его поведение в хорошем смысле, то, возможно, Кинуко, решив родить, доставляет Сюити немало хлопот, и он, порвав с Кинуко, просит прощения у жены.

И все-таки вся эта история оставила у Синго какой-то отвратительный привкус безнравственности, нечистоплотности.

Неужели она действительно родит? Ему казалось ужасным появление этого ребенка.

— Если он родится, то будет моим внуком? — пробормотал себе под нос Синго.

Рой москитов

1

Синго медленно шел по улице Хонго, мимо университета.

Он вышел из машины на противоположной стороне, где магазины,— именно на этой стороне нужно было свернуть в переулок, в котором живет Кинуко, но Синго нарочно перешел на другую сторону.

Он мучительно колебался, не решаясь подойти к дому любовницы своего сына. Как можно беременной женщине, с которой видишься в первый раз, отрезать: не рожай?

— Чем это лучше обыкновенного убийства? Должен ли старик пачкать себе этим руки? — бормотал Синго.— Да, но при таких обстоятельствах любое решение жестоко.

Сын должен сам решать. Отцу вмешиваться нечего. Но Синго не высказал этого Сюити и вот приехал к дому Кинуко. Это, видимо, доказывало, что он не может положиться на Сюити.

С каких же это пор между ним и сыном легла пропасть непонимания?—ужаснулся Синго. Не исключено, что он отправился к Кинуко не столько ради того, чтобы решить все вместо Сюити, сколько из жалости к Кикуко, негодуя на сына из-за того, что с ней случилось.

Яркое вечернее солнце освещало лишь верхушки деревьев на университетском дворе, а дорожки уже были в тени. Студенты в белых рубахах и брюках сидели со студентками на газоне и казались спокойными и умиротворенными.

Синго потер лицо рукой. Он старался стряхнуть с себя опьянение.

До окончания рабочего дня Кинуко еще оставалось время, и Синго пригласил приятеля, служившего в другой фирме, поужинать с ним в европейском ресторане. Они давно не виделись и незаметно напились. Перед тем как подняться на второй этаж в зал ресторана, они выпили в баре, внизу, и Синго сразу опьянел. Поужинав, они снова спустились в бар.

— Как, ты уже уходишь? — удивился приятель. Видимо, он рассчитывал, что они с Синго проведут вместе весь вечер, и специально позвонил в одно местечко в Цукидзи.

Синго сказал, что примерно через час у него назначено свидание, и они вышли из бара. Приятель на всякий случай написал на визитной карточке адрес и номер телефона в Цукидзи и протянул ее Синго. Синго взял карточку, хотя сам туда не собирался.

Идя вдоль университетской ограды, Синго искал глазами переулок на противоположной стороне. Он очень смутно помнил, где поворот, но узнал его сразу.

Он вошел в темную, обращенную к северу прихожую,— на грубом ящике для обуви стоял горшок с каким-то экзотическим цветком, на стене висел складной дамский зонтик.

Из кухни вышла женщина в переднике.

— Ой.— Лицо у нее стало серьезным, она сняла передник. На ней была темно-синяя юбка, ноги босые.

— Икэда-сан? Помнится, вы как-то приходили в фирму, где я служу...— сказал Синго.

— Совершенно верно. Меня приводила Хидэко-сан, рада вас видеть.

Икэда, держа в руке свернутый передник, выжидающе смотрела на Синго. Лицо у нее было в веснушках. Может быть, веснушки так бросались в глаза потому, что она не напудрена. Но в общем красивое лицо — нос тонкий, цвет кожи хороший.

Новая кофточка — тоже, наверно, работа Кинуко.

— Я пришел, собственно, чтобы поговорить с Кинуко-сан.

Синго говорил просительным тоном.

— Вот как. Она еще не вернулась, но должна быть с минуты на минуту. Проходите, пожалуйста.

Из кухни пахло жареной рыбой.

Синго подумал было, что лучше ему зайти позже, когда Кинуко поужинает, но Икэда пригласила его в гостиную, и он послушно пошел за ней.

В нише лежала стопа модных журналов. Среди них — много иностранных. Рядом с ними стояли две французские куклы. Их нарядные одежды никак не вязались с обшарпанной стеной. Со швейной машины свисал кусок шелковой материи. Его яркий рисунок еще сильнее подчеркивал затертость циновок.

Слева от швейной машины — небольшой стол, на нем лежали школьные учебники и стояла фотография мальчика.

Между швейной машиной и столом — туалетный столик. В глубине перед стенным шкафом — большое трюмо. Оно сразу же бросалось в глаза. Возможно, Кинуко смотрится в него, примеряя на себя сшитые вещи. Или примеряя их на заказчицах, которым шьет дома. Около трюмо стояла большая гладильная доска.

Икэда принесла из кухни апельсинового сока. Заметив, что Синго смотрит на фотографию ребенка, она сказала, не дожидаясь вопроса:

— Это мой сын.

— Вот как? Он сейчас в школе?

— Нет, сын со мной не живет. Он остался в семье мужа. А эти

книги... Шить, как Кинуко-сан, я не умею, и вот занимаюсь чем-то вроде репетиторства, у меня есть несколько учеников.

— Вот как? И правда, для одного ребенка учебников здесь многовато.

— Конечно. Но я занимаюсь с детьми, которые учатся в разных классах. Теперешняя школа сильно отличается от довоенной, так что и учить-то как следует я не умею, но когда я занимаюсь с ребенком, у меня такое чувство, будто передо мной мой собственный сын, и вот поэтому...

Синго кивнул — что он мог сказать женщине, у которой на войне погиб муж?

Ведь Кинуко тоже работает.

— Откуда вы узнали, где мы живем? — спросила Икэда.— Вам сказал Сюити-сан?

— Нет. Я уже как-то приходил сюда. Приходил, но в дом войти не решился. Это было прошлой осенью.

— Еще прошлой осенью?

Икэда подняла голову и посмотрела на Синго, потом снова опустила глаза и, немного помолчав, сказала чуть ли не с вызовом:

— В последнее время Сюити-сан совсем здесь не бывает.

Синго подумал, что, может быть, не стоит рассказывать, зачем он сегодня пришел сюда.

— Кинуко-сан, я слыхал, ждет ребенка?

Икэда пожала плечами и посмотрела на фотографию сына.

— Она что, действительно собирается рожать?

Икэда, не отрываясь, продолжала смотреть на фотографию сына.

— Лучше поговорите об этом с самой Кинуко-сан.

— Я это непременно сделаю — ведь ни мать, ни ребенка не ждет ничего хорошего.

— Родит Кинуко-сан ребенка или нет, все равно она будет несчастна.

— Но вы ведь сами советовали ей расстаться с Сюити-сан.

— Да. Мне казалось, так будет лучше...— сказала Икэда.—Но Кинуко-сан никак не соглашалась со мной. Мы с Кинуко-сан совсем разные, но, как говорится, ладим. Мы познакомились на собрании вдов и стали жить вместе — Кинуко-сан служит мне опорой. Мы обе оставили семьи своих погибших мужей, но не возвратились к родителям — в общем, мы сейчас совсем свободны. Решив освободиться от прошлого, мы сложили в свои бельевые корзины все, что осталось на память от наших мужей,— их вещи, фотографии. Правда, фотографию сына я выставила, но это ведь совсем другое дело... Кинуко свободно читает американские журналы, читает и французские — со словарем, говорит, все понятно: кройка и шитье европейского платья — много ли слов нужно знать. Наверно, она скоро откроет собственный салон. Она и замуж могла выйти — уже двое делали ей предложение, и я просто представить себе не могу, почему она так упорно цепляется за Сюити-сан.

Хлопнула дверь, Икэда вскочила и убежала. И Синго услышал:

— Здравствуй. Пришел отец Огата-сан.

— Чтобы встретиться со мной? — произнес хриплый голос.

2

Кинуко пошла на кухню, видимо, попить — послышался шум льющейся из крана воды.

— Икэда-сан, ты тоже побудь с нами,— обернулась Кинуко, входя в комнату.

На ней был яркий костюм, и, возможно, из-за того, что она была довольно крупная, Синго не заметил признаков беременности. Маленький рот с тонкими губами — невозможно даже представить себе, что из него выходят такие хриплые звуки.

Зеркало стояло в гостиной, и ей пришлось, наверно, освежить лицо, воспользовавшись сумочкой для косметики.

Первое впечатление Синго было неплохое. Круглое лицо, казавшееся плоским, не выглядело таким уж волевым, как можно было заключить из рассказа Икэда. Руки полные.

— Огата,— представился Синго.

Кинуко не ответила.

Вошла Икэда и села у столика, повернувшись к ним лицом.

— Огата-сан давно тебя ждет,— сказала она, но Кинуко продолжала молчать.

Лицо Кинуко не выражало открыто ни неприязни, ни растерянности, но казалось, она готова расплакаться. Синго вспомнил, что в этом доме Сюити напивается до беспамятства и заставляет Икэда петь, доводя этим Кинуко до слез.

Возвращаясь домой, Кинуко, видимо, торопливо шла по душной улице, и от этого лицо у нее горело и она тяжело дышала.

Синго постарался начать в самых мирных тонах:

— Может показаться странным, что я решил с вами встретиться, но если бы я не попытался этого сделать... Вы, наверно, догадываетесь, о чем я собираюсь говорить.

Кинуко снова промолчала.

— Конечно, это касается Сюити.

— Если это касается Сюити-сан, нам не о чем говорить. Вы, наверно, хотите сказать, что я поступила плохо,— неожиданно набросилась на него Кинуко.

— Наоборот, я должен извиниться перед вами.

— Мы расстались с Сюити-сан. И никакого беспокойства вашей семье я уже не буду доставлять.

Она посмотрела на Икэда.

— Ну как, вас это устраивает?

Синго замялся.

— Но ведь остается еще вопрос о ребенке.

Кинуко побледнела, но, собравшись с духом, сказала еще более хриплым, чем обычно, голосом.

— О чем вы говорите? Я вас не понимаю.

— Еще раз прошу простить меня, но разве вы не ждете ребенка?

— Вы считаете, что я обязана вам отвечать? Неужели совершенно посторонний человек способен помешать женщине, если она захотела иметь ребенка? Неужели мужчина не в состоянии понять это?

Кинуко говорила торопливо, с трудом сдерживая слезы.

— Вы сказали «посторонний человек», но ведь я отец Сюити. Надо думать, у вашего ребенка тоже есть отец.

— Нет никакого отца. Вдова, у которой муж погиб на войне, решила родить внебрачного ребенка. Я никого ни о чем не собираюсь просить, дайте только мне спокойно родить. Будьте милосердны, оставьте меня в покое. Ребенок во мне, он мой.

— Все это верно, но можно же завести ребенка позже, уже выйдя замуж... Вам незачем сейчас так противоестественно стремиться родить ребенка.

— А что в этом противоестественного?

— Я хотел сказать другое.

— Во-первых, неизвестно, выйду ли я замуж, а кроме того, неизвестно, смогу ли я еще раз забеременеть. Вы в состоянии предска-

зать то, что известно одному богу? У меня еще никогда не было детей.

— Ваши отношения с отцом будущего ребенка, именно они, доставят массу страданий и ребенку и вам.

— Есть сколько угодно детей, отцы которых погибли на войне, и матери страдают от этого. А дети смешанной крови, которых оставили в странах южных морей те, кто там воевал,— можно вспомнить и об этих детях. Детей, которых бросили и забыли отцы, воспитывают матери.

— Но речь идет о ребенке Сюити.

— Я не собираюсь обременять вашу семью, можете не беспокоиться. Клянусь, что не буду обращаться к вам ни с какими просьбами, ни с какими мольбами. А с Сюити-сан мы расстались.

— Все гораздо сложнее. Пока ребенок встанет на ноги, пройдет много лет, а кроме того, ничто не может разорвать родственные узы отца и ребенка.

— Нет. Этот ребенок не имеет никакого отношения к Сюити-сан.

— Вам, наверно, известно, что жена Сюити прервала беременность?

— Его жена — другое дело, она действительно может еще сколько угодно раз забеременеть. А если не сможет, будет, наверно, всю жизнь раскаиваться. Счастливой жене меня не понять.

— Вам тоже не понять Кикуко.

Синго нечаянно произнес имя Кикуко.

— Вас прислал ко мне Сюити-сан? — тоном допроса спросила Кинуко.— Сюити-сан требовал, чтобы я не рожала, кричал, бил меня, пинал ногами, волочил со второго этажа по лестнице, пытаясь отвести к врачу. Этими дикими выходками, этим шутовством он полностью, я считаю, искупил свою вину перед женой.

Синго помрачнел.

— Помнишь, как это было отвратительно? — повернулась Кинуко к Икэда. Икэда кивнула.

— Кинуко-сан собирает теперь все лоскутки на пеленки,— сказала она Синго.

— Он так пинал меня, что я боялась, как бы это не повредило ребенку, даже к врачу ходила,— продолжала Кинуко.— Я и Сюити-сан говорила, что ребенок не его. Так прямо и говорила ему: не твой это ребенок. Вот почему мы расстались. Он сейчас совсем не приходит.

— Значит, у вас ребенок от кого-то другого?..

— Да. Считайте так, и все будет в порядке.

Кинуко вскинула голову. Она и раньше плакала, а сейчас по ее щекам текли новые и новые ручейки слез.

Синго был в замешательстве — Кинуко показалась ему очень привлекательной. Если приглядеться к отдельным чертам ее лица, то и глаза и нос не идеальной формы, но в общем она была очень красива.

Нет, нельзя судить о человеке по внешнему виду — Кинуко выглядит такой нежной, такой податливой, а вот ведь держит Синго на почтительном расстоянии.

3

Синго, понурившись, покинул дом Кинуко.

Кинуко приняла чек, который дал ей Синго.

— Если ты действительно рассталась с Сюити, тебе лучше взять

его,— чистосердечно посоветовала Икэда, и Кинуко кивнула, согласившись.

— Правильно, будем считать эти деньги отступными. Докатилась до того, что получаю отступные. Может, еще и расписку выдать?

Синго взял такси; он не знал, на что решиться: заставить Сюити снова помириться с Кинуко и добиться, чтобы она прервала беременность, или оставить все как есть и сохранить их разрыв.

Поведение Сюити — а тут еще приход Синго — лишь усилило внутренний протест Кинуко, подхлестнуло ее. А у этой женщины и так уже было непреодолимое желание иметь ребенка.

Нет, снова пускать к ней Сюити опасно. Но если все оставить как есть, родится ребенок.

Если ребенок от какого-то другого мужчины, как утверждает Кинуко, тогда все в порядке, но даже Сюити ничего не знает ни о каком мужчине. Если Кинуко утверждает это из самолюбия, а Сюити, не задумываясь, поверит ее утверждению и никто из них не будет потом раскаиваться, тогда все в порядке — пусть ребенок родится и живет, хотя жизнь его будет сурова. И после моей смерти на земле останется незнакомый мне внук.

— Что же делать? — пробормотал Синго.

Когда произошла эта история с самоубийством Аихара, я поторопился отправить заявление о разводе и окончательно взял к себе дочь с двумя детьми. А сейчас, хотя Сюити и расстался с любовницей, где-то все же будет жить его ребенок — разве это справедливо? Каждое из этих решений не решение — так, временное залатывание дыр.

Никому я не дал счастья.

Синго было неприятно вспоминать жалкие слова, сказанные им Кинуко.

Ему нужно было добраться до токийского вокзала, чтобы поехать домой, но, неожиданно обнаружив в кармане визитную карточку приятеля, он повернул такси к Цукидзи.

Ему хотелось рассказать обо всем приятелю, но тот пьянствовал с двумя гейшами и беседовать был не способен.

Синго сразу же вспомнил молодую гейшу — это она сидела у него на коленях, когда он в машине возвращался с приема.

Не успела она войти, как приятель стал говорить всякие непристойности: смотри не осрамись, покажи, на что ты способен. Лицо ее Синго, правда, запомнил лишь в общих чертах, но зато имя запомнил хорошо — для него это был подвиг,— славная, очень приятная гейша.

Синго ушел с ней в соседнюю комнатку. Ему ничего не нужно было от нее.

Девушка доверчиво положила голову на грудь Синго. Заигрывает, подумал он, но девушка, кажется, в самом деле заснула.

— Ты что, спишь? — посмотрел на нее Синго, но она была слишком близко, и лица ее он не мог разглядеть.

Синго улыбнулся. Он испытал вдруг теплое чувство к этой девушке, которая спала у него на груди. Наверно, лет на пять моложе Кикуко, на вид ей нет и двадцати.

Возможно, это была просто невозмутимость продажной женщины, но Синго ощутил счастье оттого, что, приникнув к нему, спит молодая девушка.

Счастье, как ты мимолетно и призрачно, подумал он.

В близости с женщиной уживаются скудость и щедрость, уживаются счастье и горе, подумал Синго; потом он тихонько выскользнул из комнаты и последней электричкой вернулся домой.

Ясуко и Кикуко еще не легли и, сидя в столовой, ждали его возвращения. Был уже второй час ночи.

Синго, стараясь не смотреть в глаза Кикуко, спросил:

— Сюити дома?

— Он уже лег.

— Да? А Фусако?

— Тоже.— Кикуко приводила в порядок костюм, снятый Синго.— Сегодня до самого вечера держалась хорошая погода, а потом снова небо затянуло тучами.

— Что ты говоришь? Я не обратил внимания.

Приподнявшись с колен, Кикуко снова расправила костюм Синго и стала разглаживать складку на брюках.

Неужели Кикуко ходила в парикмахерскую? Синго бросилось в глаза, что она коротко подстрижена.

Прислушиваясь к сонному дыханию Ясуко, Синго никак не мог уснуть, а заснув, тут же увидел сон.

Он — молодой пехотный офицер, затянутый в мундир с японским мечом на боку и тремя пистолетами. Меч, видимо, фамильный, его отдал ему Сюити, дожидавшийся отправки на фронт.

Синго идет ночью по горной тропе. Вместе с ним дровосек.

— Ночью эта дорога опасна, я редко по ней хожу. Безопаснее идти по правой стороне,— сказал дровосек.

Синго начинает держаться правой стороны, но все равно страшно, и он зажигает карманный фонарик. Вокруг стекла фонарика вделаны алмазы, они сверкают, и фонарь светит ярче, чем обычно. Яркий пучок света освещает что-то черное, преграждающее путь. Что-то похожее на ветки криптомерии, раскинувшиеся шатром. Но, присмотревшись, он видит, что это скопище москитов Рой москитов принял форму нависших шатром ветвей. Что делать? — думает Синго. Пробиться через него. Синго обнажает меч и начинает прорубаться сквозь скопище москитов.

Неожиданно он оборачивается: дровосек бежит, словно катится вниз с горы. Мундир на Синго вдруг охватывает пламя. И в тот же миг Синго раздваивается — на Синго в пылающем мундире смотрит еще один Синго. Огонь доходит до ворота и рукавов и, пробежав по краю одежды, гаснет. Мундир не сгорел, он только обуглился и слегка потрескивает.

Наконец Синго добирается до дому. Это его дом в Синсю, где он жил в детстве. Там была и красавица сестра Ясуко. Синго безумно устал.

К его дому подошел и убежавший дровосек. Подошел к дому и свалился без чувств.

Из тела дровосека появляется огромное ведро, полное москитов.

Откуда взялись москиты — неизвестно, но, проснувшись, Синго еще ясно видел москитов, переполнявших огромное ведро.

— Наверно, под сетку залетели.— Синго пытался прочистить уши, но все равно в голове гудело, и она была тяжелая.

Начинался дождь.

Змеиное яйцо

1

Наступала осень, и Синго, измученный долгим летним зноем, возвращаясь домой, часто дремал в электричке.

В часы «пик» поезда ходят через каждые пятнадцать минут, и вагоны второго класса не особенно переполнены.

И сейчас в его полусонном мозгу всплыли вдруг акации вдоль тротуара. Они были сплошь усыпаны цветами. Неужели в Токио цветут акации, которыми окаймлены тротуары? — подумал Синго, проезжая мимо них в такси. Он ехал по улице, что начинается в районе Кудан и выходит ко рву, окружающему императорский дворец. Была середина августа, моросил дождь. Лишь с одной акации осыпались цветы, устилая асфальт под деревом. Почему осыпались цветы? Синго высунулся из машины и повернулся назад, и эта картина осталась в его памяти. Цветы были мелкие, зеленовато-желтые. В его памяти осталась картина буйно цветущих акаций — только с одного дерева опали цветы. Синго видел это на обратном пути из больницы, где он навещал приятеля — у того был рак печени.

Приятель был просто его однокурсник, и обычно они почти не встречались.

Он уже сильно ослаб, но в палате никого из родных не было — только сиделка.

Синго не знал, жива еще его жена или нет.

— С Миямото часто видишься? Если нет, то позвони ему и попроси, я буду тебе очень обязан,— сказал приятель.

— Попросить его, о чем?

— В мае, на встрече однокурсников, он сам завел со мной разговор об этом.

Синго вспомнил, речь шла о цианистом калии. Значит, больной знает, что у него рак.

Когда собирались ровесники Синго, всем за шестьдесят, разговор всегда вертелся вокруг болезней и смертей, кто-то, наверно, сказал, что на заводе у Миямото работают с цианистым калием, и если заболеешь раком, то надо попросить у него этого яда. Кому охота продлевать свои страдания, когда известно, что болезнь неизлечима? И уж если смерть неизбежна, нужен хотя бы свободный выбор времени смерти.

— Но это же была обычная пьяная болтовня,— ответил Синго.

— Я им не воспользуюсь. Я и не собираюсь воспользоваться им. Единственное, чего я хочу — получить свободу, о которой говорили тогда. Если у меня будет цианистый калий, то одно сознание, что я могу принять его в любую минуту, даст мне силы вынести все мучения. Я уверен. Есть ли у меня другой способ обрести последнюю свободу, выразить свой единственный протест? Но я обещаю не воспользоваться цианистым калием.

Пока приятель говорил, глаза его сверкали. Сиделка молча вязала свитер из белой шерсти.

Синго стало неприятно оттого, что он так и не собрался попросить Миямото, хотя больной на пороге смерти с такой надеждой ждал этого.

Синго немного успокоился, лишь доехав до цветущей акации, и сейчас, задремав в электричке, он вспомнил об акации потому, что у него из головы не выходил больной приятель.

Не успел Синго задремать, как снова открыл глаза,— электричка стояла.

Это не была станция.

Когда электричка остановилась, мимо с грохотом пронеслась встречная — от этого грохота, наверно, он и проснулся.

Электричка Синго, немного проехав, снова остановилась.

По узкой тропинке к поезду подбежали дети.

Некоторые пассажиры, высунувшись из окон, смотрели вперед, на дорогу.

Слева тянулся бетонный забор какого-то завода. Между забором и железнодорожной линией шла сточная канава, до краев полная нечистот, и вонь от нее доходила даже до поезда.

Справа виднелась узкая тропинка, по которой прибежали дети. У тропинки, уткнувшись носом в траву, неподвижно лежала собака.

Там, где тропинка подходила к железнодорожным путям, стояло несколько лачуг, сбитых из трухлявых досок. Из окна — четырехугольной дыры в одной из хибарок — поезду махала рукой девушка, на вид слабоумная. Движения руки были вялые, бессильные.

— Остановка нашего поезда вызвана тем, что состав, вышедший за пятнадцать минут до нас, потерпел крушение на станции Цуруми. Извините за задержку,— объявил проводник.

Иностранец, сидевший напротив Синго, растолкал ехавшего с ним юношу.

— Что он сказал? — спросил он по-английски.

Юноша спал, держа за руку иностранца и положив голову ему на плечо. Открыв глаза, он не переменил позы и ласково взглянул на иностранца. Глаза у него были красные, веки опухли. Волосы крашеные, но у корней вылезали черные, переходившие в цвет грязноватого чая. И светлыми оставались только концы. Наверно, гомосексуалист, любовник иностранца, подумал Синго.

Юноша перевернул ладонь иностранца, лежавшую у того на коленях, вложил в нее свою руку и крепко сжал. Совсем как удовлетворенная женщина.

Иностранец был в рубахе с короткими рукавами, руки у него поросли рыжими волосами — точно бурый медведь. Юноша не был таким уж хрупким, но рядом с огромным иностранцем выглядел ребенком. У иностранца была мощная грудь и толстенная шея — казалось, ему было трудно ворочать ею, и он сидел с безучастным видом, не обращая внимания на прилипшего к нему юношу. Выражение лица у него было мрачное. Рядом с его пышущей здоровьем физиономией лицо юноши выглядело еще более землистым и изможденным.

Возраст иностранца трудно определить, но, судя по огромной лысине, морщинистому лбу и старческим пятнам на руках, он, пожалуй, одного возраста со мной, подумал Синго. Иностранец представлялся ему жестоким чудовищем, вторгшимся в чужую страну и заставившим служить себе юношу из этой страны. Юноша был в бордовой рубахе, верхняя пуговица расстегнута, распахнутый ворот открывал выпирающие ключицы.

По обеим сторонам вонючей канавы буйно росла ярко-зеленая полынь. Электричка снова остановилась.

2

Под москитной сеткой было душно и мрачно, и Синго решил больше не вешать ее над постелью.

Ясуко каждый вечер, притворно кряхтя, с деланным усердием била москитов.

— А Сюити еще пользуется москитной сеткой.

— Ну что ж, иди спать к Сюити.— Синго смотрел в потолок, с которого уже не свисала москитная сетка.

— Нет, туда я не могу пойти, но с завтрашнего дня буду ложиться в комнате Фусако.

— Вот-вот, будешь спать в обнимку с одной из внучек.

— Почему это Сатоко, хотя у нее есть младшая сестра, все время

цепляется за мать? Может, она не совсем нормальная? Иногда у нее такой странный взгляд.

Синго не ответил.

— Уж не оттого ли, что у нее теперь нет отца?

— Хорошо, если бы ты относилась к ней поласковей.

— Я больше люблю Кунико,— сказала Ясуко.— Но и тебе бы неплохо быть понежнее с Сатоко. Тем более теперь.

— Умер ли Аихара, жив ли, хватит о нем говорить.

— Хорошо, хоть прислал заявление о разводе.

— Ну довольно, перестань.

— Ты прав, больше не буду. Но если Аихара и не умер, неизвестно, где он находится... И все-таки кто так поступает: решили, что жизнь у них не удалась, плюнули на все, разошлись, а что двое детей у них — об этом забыли. Ненадежная штука семейная жизнь.

— Даже если семейная жизнь не удалась, это еще не значит, что все кончено. Фусако тоже хороша. Предположим, Аихара оступился, разве можно так просто бросать его, сколько теперь страданий выпало на его долю. Наверно, и самой Фусако нелегко сейчас об этом думать.

— Если муж оказался в отчаянном положении, значит, жена ему вовремя не помогла, не была ему настоящим другом. Когда человека бросают на произвол судьбы, ему ничего не остается, как покончить с собой. Но если вместе с человеком, оказавшимся в тупике, соглашается умереть женщина, его уже нельзя считать покинутым,— сказала Ясуко.

— С Сюити сейчас как будто все в порядке, но что будет дальше, неизвестно. Для Кикуко вся эта история не прошла даром.

— История с ребенком, да?

Слова Синго имели двойной смысл. И тот, что Кикуко не родила, и тот, что Кинуко собирается родить. Второе не было известно Ясуко.

Заявив, что она беременна не от Сюити, Кинуко отвергла попытку Синго помешать ей родить, но Синго, не зная точно, беременна ли она от Сюити или не от него, не мог отделаться от мысли, что Кинуко нарочно отрицает отцовство Сюити.

— Я думаю, мне действительно следует спать под москитной сеткой Сюити. Ведь даже представить себе невозможно, до каких глупостей они могут договориться. Оставлять их вдвоем просто опасно...

— Договориться до глупостей? Что ты имеешь в виду?

Ясуко, лежавшая спиной к Синго, повернулась к нему лицом. Потом сделала такое движение, как будто хотела взять его за руку, но Синго не протянул ей руки, и Ясуко, пошарив возле подушки, прошептала, словно выдавая секрет:

— Я все-таки думаю, что у Кикуко скоро будет ребенок.

— Что?

Синго был потрясен.

— Мне, правда, кажется, что еще рановато, но Фусако говорит, что уже заметила.

Ясуко стеснялась говорить даже о своей беременности.

— Тебе это Фусако сказала?

— Рановато, правда,— повторила Ясуко.— Слишком мало времени прошло.

— Кто сказал Фусако — сама Кикуко или Сюити?

— Никто не говорил. Это ее собственные наблюдения.

Слово «наблюдения», употребленное Ясуко, показалось Синго неуместным. Что ж это получается, подумал он,— не успев обжиться, Фусако уже ведет слежку за женой брата?

— Ты скажи Сюити, чтобы он был к ней повнимательней.

У Синго сдавило грудь. Стоило ему услыхать, что Кикуко беременна, как эта ее беременность навалилась на него невыносимой тяжестью.

Когда две женщины почти одновременно беременеют от одного мужчины — тут нет ничего странного. Но как страшно, если этот мужчина — твой сын. Может быть, это чья-то месть или чье-то проклятие, а может быть, козни дьявола?

Если трезво рассудить, то все случившееся было вполне естественно, так сказать, здоровая физиология, но столь трезво Синго сейчас не мог рассуждать.

К тому же, Кикуко теперь вторая. Когда она избавлялась от своего первого ребенка, Кинуко уже была беременна. Кикуко снова забеременела, а Кинуко еще не родила. И Кикуко не знает, что Кинуко беременна, а беременность Кинуко уже всем бросается в глаза, ребенок уже, наверно, шевелится.

— На этот раз и нам все известно, так что Кикуко не сможет своевольничать.

— Пожалуй,— сказал Синго без всякой уверенности.— Ты тоже поговори с Кикуко.

— Ты, наверно, и внука от Кикуко будешь любить больше, чем остальных.

Синго не спалось.

Есть ли сила, которая заставила бы Кинуко не рожать? — думал Синго с раздражением, и ему пришла на ум жестокая мысль.

Кинуко говорит, что у нее ребенок не от Сюити,— может быть, стоило бы последить за ее поведением, и тогда удастся обнаружить нечто такое, что их всех успокоит.

Из сада стал доноситься стрекот насекомых — уже третий час. Стрекот какой-то незнакомый — цикады стрекочут не так. Синго показалось, что он лежит во тьме, погребенный в землю.

Последнее время ему без конца снятся сны — под утро он увидел еще один длинный сон.

Он не помнит, где все это происходило. Просыпаясь, он еще видел два белых яйца из сна. Песчаная равнина — сплошной песок. И на нем — два яйца рядом. Одно — огромное, яйцо африканского страуса. Другое — крохотное, змеиное яйцо. Скорлупа расколота, и из яйца высовывается хорошенькая головка вертлявой змейки.

Синго смотрит на нее, думая, какая она в самом деле хорошенькая.

Синго был уверен, что увидел этот сон только потому, что думал о Кикуко и Кинуко. Чей детеныш был в страусовом яйце и чей в змеином, он, конечно, не знал.

— Интересно, змея действительно откладывает яйца или родит живых детенышей? — прошептал про себя Синго.

3

На следующий день было воскресенье, и Синго лежал в постели почти до десяти часов. Он чувствовал слабость в ногах.

Синго вспомнил свой сон, и ему стали неприятны и страусовое яйцо, и маленькая змейка, высунувшая голову из змеиного яйца.

Тщательно почистив зубы, Синго вошел в столовую.

Кикуко, сложив стопкой газеты, перевязывала их шнурком. Продавать, видно, собирается, подумал Синго.

Подбирать для Ясуко газеты — утренние выпуски к утренним, вечерние к вечерним — и класть числами вверх было обязанностью Кикуко.

Кикуко встала и налила Синго чай.

— Было две статьи о лотосе двухтысячелетней давности. Вы читали? Я вам их отложила.— С этими словами Кикуко положила две газеты на чайный столик.

— Да, кажется, читал.

Но Синго все-таки взял газеты.

При археологических раскопках памятников культуры Яёи обнаружены семена лотоса примерно двухтысячелетней давности. В газете уже писали, что лотосы зацвели. Синго заходил в комнату Кикуко и показывал ей эту газету. Это было, когда она только что вернулась из больницы после аборта и лежала в постели.

Значит, появились еще две статьи о лотосе. В одной писали, что профессор ботаники, расчленив корень лотоса, высадил его в пруду Сансиро[1] в парке Токийского университета, который он окончил. В другой рассказывалось, как некий профессор университета Тохоку обнаружил в торфяниках Маньчжурии окаменевшие семена лотоса и послал их в Америку. В Вашингтоне, в Национальном парке, с семян сняли отвердевшую оболочку, завернули во влажную гигроскопическую вату и поместили в теплицу. В прошлом году появились крошечные ростки.

В этом году, когда их высадили в пруд, на каждом растеньице распустилось по два розовых цветка. Ученые парка определили, что лотос относится к виду, существовавшему тысячу, а возможно, и пятьдесят тысяч лет назад.

— Когда я прошлый раз читал эти статьи, то подумал, что счет у них очень уж приблизительный: тысяча лет — пятьдесят тысяч лет,— засмеялся Синго и стал внимательно перечитывать статью. Японский профессор, исходя из строения слоев, в которых были обнаружены семена, предположил, что им несколько десятков тысяч лет. В Америке же снятый с семян верхний слой подвергли радиоактивному анализу и установили, что им тысяча лет.

Это было сообщение корреспондента из Вашингтона.

— Больше не нужны? — Кикуко подобрала газеты, отложенные Синго. Видимо, она хотела спросить, можно ли продать и эти газеты.

Синго кивнул.

— Тысяча лет или пятьдесят тысяч лет — все равно, семена лотоса живут долго. Насколько семена растений долговечнее человека,— сказал Синго, глядя на Кикуко.— Хотя не исключено, что мы тоже могли бы, не умирая, лежать в земле тысячу, а то и две тысячи лет.

Кикуко прошептала:

— Как это — в земле?

— Не в могиле. Нет, мы не будем мертвецами, мы просто будем лежать. Действительно, разве нельзя лежать в земле? А когда через пятьдесят тысяч лет мы выйдем на свет, все наши тяготы, все трудные социальные проблемы, возможно, уже разрешатся и на земле будет рай.

Фусако на кухне кормила детей.

— Кикуко-сан,— позвала она.— Посмотри, пожалуйста, кажется, еда для отца уже готова.

— Иду.

Кикуко вышла и принесла Синго завтрак.

— Все уже поели. Остались вы один.

— Да, а Сюити?

---

[1] Пруд, описанный в романе выдающегося японского писателя Нацумэ Сосэки (1867—1916) «Сансиро» и с тех пор носящий это название.

— Пошел удить рыбу.

— Ясуко?

— В саду.

— Нет, сегодня яиц не буду есть,— сказал Синго и вернул Кикуко миску, в которой лежали яйца. Он сразу же вспомнил змеиное яйцо, которое видел во сне, и ему стало неприятно.

Фусако принесла жареную камбалу, молча поставила ее перед Синго и снова ушла к детям.

Когда Кикуко начала собирать грязную посуду, Синго спросил ее тихо:

— Кикуко, у тебя будет ребенок?

— Нет.

Уже ответив, Кикуко вдруг испугалась этого прямого вопроса.

— Нет. Не будет,— покачала она головой.

— Значит, ничего и не было?

— Ничего.

Кикуко с недоумением посмотрела на Синго и покраснела.

— Я хочу, чтобы на сей раз ты отнеслась к этому ответственно. Недавно у меня был с Сюити серьезный разговор. Ты можешь поручиться, что у нее будут дети? — спросил я его, и он ответил не задумываясь: вполне могу поручиться. Это доказывает, что ты не боишься неба, сказал я ему. Ведь кто может поручиться за то, что произойдет завтра? Конечно, это будет ваш ребнок, но нам-то он будет внуком. Я уверен, что ты родишь прекрасного ребенка.

— Простите меня.— Кикуко потупилась.

Было не похоже, чтобы Кикуко что-то скрывала.

Зачем понадобилось Фусако утверждать, будто Кикуко беременна? Не слишком ли ревностно ведет она свою слежку? Разве возможно такое, чтобы Фусако заметила, а Кикуко, которую это касается больше всех, не заметила?

Не слышит ли из кухни их разговора Фусако? Синго обернулся: нет, кажется, она вышла с детьми во двор.

— Ты говоришь, Сюити пошел рыбу удить, раньше он, по-моему, никогда этим не занимался, правда?

— Да. Наверно, услышал от какого-нибудь приятеля об этом пруде, где водится рыба,— сказала Кикуко, а Синго подумал: может быть, и в самом деле Сюити расстался с Кинуко.

Ведь раньше он и по воскресеньям ездил к своей любовнице.

— Не сходить ли нам попозже посмотреть на рыбную ловлю? — предложил Синго Кикуко.

Синго спустился в сад — Ясуко стояла и внимательно осматривала вишню.

— Что-нибудь случилось?

— Нет. Просто с вишни почти совсем облетела листва, и я подумала, может, какие-то жучки на нее напали. Мне показалось, что на этом дереве трещат цикады, а листьев уже нет.

Пока они разговаривали, пожелтевшие листья продолжали осыпаться. Ветра не было, и они не разлетались, а тихо опускались на землю.

— Сюити, кажется, пошел удить рыбу. Схожу и я с Кикуко посмотреть.

— Удить рыбу? — обернулась Ясуко.

— Спрашивал у Кикуко, говорит, ничего нет. Может быть, Фусако ошиблась?

— Возможно. Ты у Фусако не спрашивал? — Ясуко задумчиво растягивала слова.

— Все это очень грустно.

— Почему Фусако все время что-то придумывает?

— Действительно, почему?

— Я спрошу ее.

Они вернулись в дом. Кикуко, в белом свитере, уже надев гэта, ждала Синго в прихожей.

Слегка подрумяненная, она выглядела цветущей.

4

В окне неожиданно появились красные цветы — это был ликорис. Он цвел на железнодорожной насыпи, так близко от рельсов, что когда поезд проносился мимо цветов, они, казалось, качались. Синго видел цветущий ликорис и среди вишен в Тоцука. Цветы только распустились и были еще ярко-красные.

В то утро красные цветы заставили Синго вспомнить о тишине осенних полей.

Мелькали кустики мисканта.

Синго снял правый ботинок и, положив ногу на левое колено, стал растирать ступню.

— Что ты делаешь? — спросил Сюити.

— Онемели. В последнее время каждый раз, как поднимусь по лестнице на платформу, немеют ноги. Что-то я в этом году сдал. Чувствую, как уходят силы.

— Кикуко тоже все беспокоится: устает, говорит, отец.

— Да? Это, наверно, потому, что я сказал ей, что хотел бы пролежать в земле пятьдесят тысяч лет.

Сюити с недоумением посмотрел на Синго.

— Разговор шел о семенах лотоса. Семена древнего лотоса проросли, и появились цветы — об этом в газете писали.

— Что ты говоришь?

Сюити закурил сигарету.

— Ты спрашивал у Кикуко, не собирается ли она родить, и вконец ее расстроил.

— Почему?

— Потому, что пока она не может.

— Ну, а как ребенок у этой Кинуко?

Сюити стало не по себе, но он сдержался.

— Мне говорили, ты ходил туда. И оставил, я слышал, чек. Не следовало этого делать.

— Как ты узнал об этом?

— Я узнал стороной. С Кинуко мы больше не встречаемся.

— Ребенок у нее от тебя?

— Кинуко уверяет, что нет...

— Что бы она ни говорила, речь идет о твоей совести. Ты согласен? — Голос Синго дрожал.

— Честно говоря — не знаю.

— Как это так?

— Сколько бы я ни терзался, с этой одержимой женщиной мне не сладить.

— Все равно она терзается гораздо больше тебя. И Кикуко тоже.

— Но теперь, когда мы расстались, я думаю, она снова заживет, как жила раньше, по своему разумению.

— Разве это порядочно? Неужели тебе в самом деле не хочется

знать, твой это ребенок или нет? Или, может быть, совесть все-таки подсказывает тебе, от кого у нее ребенок?

Сюити не ответил. Лишь хлопал своими чересчур красивыми для мужчины глазами.

На столе Синго в фирме лежала открытка с траурной каемкой. Приятель, болевший раком печени,— он был, правда, совсем плох, но умер как-то уж слишком быстро. подумал Синго.

Может, все-таки кто-то дал ему яду? Возможно, он просил об этом не одного Синго. Или, может быть, покончил с собой еще каким-нибудь способом?

Было еще одно письмо — от Танидзаки. Хидэко извещала его, что перешла работать в другой салон. Вскоре после нее Кинуко тоже ушла оттуда и переехала в Нумадзу, писала Хидэко. В Токио это трудно сделать, а в Нумадзу она сможет открыть небольшую собственную мастерскую, сказала она Хидэко.

Хидэко, правда, об этом не написала, но, может быть, Кинуко решила уехать в Нумадзу, чтобы тайно родить ребенка, подумал Синго.

Неужели, как и говорил Сюити, Кинуко решила снова жить самостоятельно, по собственному разумению, порвать всякие связи и с Сюити и с Синго?

Какое-то время Синго сидел неподвижно, глядя на сверкавшие в окне, умытые солнечные лучи.

Икэда, которая жила с Кинуко, осталась одна — каково ей сейчас?

Синго решил непременно встретиться с Икэда или Хидэко и расспросить о Кинуко.

Во второй половине дня он пошел выразить соболезнование семье покойного приятеля. Там Синго впервые узнал, что его жена умерла еще семь лет назад. Он жил, видимо, в семье старшего сына, у которого было пятеро детей. Ни сын, ни внуки не были похожи на покойного приятеля.

Синго было интересно узнать, действительно ли он покончил с собой, но спрашивать об этом, естественно, не следовало.

Среди цветов, лежавших у гроба, было много хризантем.

Когда Синго, вернувшись в фирму, просматривал с Нацуко документы, неожиданно позвонила по телефону Кикуко. Не случилось ли чего? — забеспокоился Синго.

— Кикуко? Где ты? В Токио?

— Да. Ездила к своим,— чувствовалось, что она улыбается.— Мама сказала, что хочет поговорить со мной, вот я и поехала, а никакого дела у нее нет. Просто стало скучно, говорит, я и решила посмотреть на тебя.

— Понятно.

У Синго отлегло от сердца. Может быть, и потому, что по телефону у Кикуко был совсем девичий голос, но не только поэтому.

— Отец, вы уже едете домой?

— Да. Может, поедем все вместе?

— Хорошо. Мне так хотелось ехать с вами — вот я и позвонила.

— Прекрасно. Если у тебя есть еще дела, не торопись. Я предупрежу Сюити.

— Дел никаких нет, я уже собралась домой.

— Тогда, может, ты заедешь в фирму?

— А удобно, если я заеду в фирму? Я-то думала подождать вас на вокзале.

— Нет, лучше приезжай сюда. Возьмем с собой Сюити. Перекусим втроем — и домой.

— Я ему звонила, сказали, куда-то вышел, на месте его нет.

— Что ты говоришь?

— Можно, я все равно прямо сейчас приеду? Все свои дела я уже закончила.

У Синго горело лицо, он неожиданно четко увидел улицу за окном.

Рыба осенью

1

Октябрьское утро. Рука Синго, завязывавшая галстук, неожиданно замерла.

— Как же это? Как же это?..

Он опустил руки, лицо у него стало растерянным.

— Что ж это такое?

Синго распутал галстук и снова попытался завязать, но галстук никак не завязывался.

Он взял галстук за концы, поднял на вытянутых руках и, склонив голову, стал разглядывать.

— Как же это делается?

Кикуко, стоявшая за его спиной с пиджаком наготове, обошла Синго и встала перед ним.

— Галстук никак не завязывается. Забыл вдруг, как завязывать. Странно...

Неловким движением Синго обернул галстук вокруг пальцев, пытаясь пропустить через узел один конец, и от этих непонятных действий галстук стал похож на разжеванную клецку. Синго все время повторял: «Странно», но в глазах его застыли страх и отчаяние, и это испугало Кикуко.

— Отец, — окликнула она его.

— Как же это делается?

Синго стоял понуро, не в силах вспомнить, как завязывают галстук.

Видя это, Кикуко перекинула через руку пиджак Синго и подошла к нему вплотную.

— Как же это делается?

Пальцы Кикуко, неумело перебиравшие галстук, расплывались перед старческими глазами Синго.

— Совсем забыл.

— Но ведь вы же сами, отец, каждый день завязываете галстук.

— Да, конечно.

Почему вдруг сегодня не завязывается галстук, который Синго заученными движениями завязывал ежедневно в течение всех сорока лет работы в фирме? Ему даже думать не нужно было, как завязывать, руки действовали машинально. Завязывал бездумно.

Синго стало страшно, он растерялся: в нем неожиданно что-то сломалось.

— Я каждый день вижу, как это делается, и вот...— Кикуко с серьезным лицом сосредоточенно скручивала и раскручивала галстук Синго.

У Синго появилось чувство, что он снова возвращается в детство и уже не сможет обходиться без посторонней помощи.

Приятно пахли волосы Кикуко.

Неожиданно Кикуко перестала вертеть галстук и покраснела.

— Нет, ничего не получается.

— А Сюити ты разве никогда не завязывала галстук?

— Никогда.

— Только развязывала, когда он возвращался пьяный?

Кикуко чуть отстранилась и, нахмурившись, уставилась на повисший галстук Синго.

— Может быть, мама знает? — И, передохнув, позвала: — Мама! Мама! Отец никак не завяжет галстук... Вы не поможете?

— Ну что там опять?

С недовольным лицом появилась Ясуко.

— Неужели сам не можешь завязать?

— Отец забыл, как завязывать.

— Я всегда делал это машинально, а сейчас забыл. Странно.

— Действительно странно.

Кикуко отошла в сторону, и Ясуко встала перед Синго.

— Хм. Я что-то тоже не знаю, как это делается. Забыла, наверно,— сказала Ясуко, дотрагиваясь до подбородка Синго рукой, в которой был зажат галстук. Синго закрыл глаза.

Ясуко стала неумело завязывать галстук.

От того, видно, что у Синго была запрокинута голова и кровь прилила к затылку, он стал внезапно терять сознание, в глазах засверкала, как серебро, снежная пыль. Снежная пыль от рухнувшей с горы лавины в лучах вечернего солнца. Синго даже грохот услышал.

Наверно, это кровоизлияние, испугался Синго и открыл глаза.

Кикуко, затаив дыхание, внимательно следила за каждым движением Ясуко.

Это был призрак той лавины, которую давным-давно, еще у себя на родине, видел в горах Синго.

— Ну как, ничего?

Ясуко уже завязала галстук и теперь поправила его.

Синго тоже стал теребить галстук и случайно коснулся руки Ясуко.

— О-о.

Синго вдруг вспомнил. Когда он окончил университет и первый раз в жизни надел пиджак, галстук ему завязала сестра Ясуко.

Избегая взглядов Ясуко и Кикуко, Синго повернулся к зеркалу в платяном шкафу.

— Как будто все в порядке. Да, совсем из ума выжил. Забыл вдруг, как завязывают галстук. Ужас.

Судя по тому, что Ясуко удалось довольно быстро завязать галстук, она, наверно, завязывала его Синго, когда они были молодоженами? Но вспомнить он никак не мог.

Или, может быть, она завязывала галстук своему красавцу зятю, когда после смерти сестры пришла в его дом вести хозяйство?

Кикуко, надев гэта, встревоженная, вышла проводить Синго до ворот.

— Вы поздно?

— Нет, приема сегодня не будет. Так что я не задержусь.

— Возвращайтесь пораньше.

Подъезжая к Офунэ, Синго увидел в окно электрички Фудзи, ярко вырисовывавшуюся на прозрачном осеннем небе, и стал проверять галстук — он был завязан наоборот. Тот конец, который должен быть длиннее, оказался короче. Ясуко ошиблась, потому что, завязывая галстук, стояла к Синго лицом.

— Ну что такое...

Синго развязал галстук и без труда повязал его заново.

То, что совсем недавно он не мог вспомнить, как это делается, казалось ему теперь неправдоподобным.

2

В последнее время Сюити все чаще стал возвращаться домой вместе с Синго.

Электрички до Иокосука, ходившие вообще-то с интервалом в полчаса, по вечерам отправлялись каждые пятнадцать минут и часто бывали полупустые.

В Токио напротив Синго и Сюити села молодая женщина.

— Прошу вас, присмотрите, пожалуйста, — обратилась она к Сюити и, положив на скамейку сумку из красного пластика под замшу, встала.

— Вам два места?

— Видите ли...

Женщина ответила туманно — ее густо напудренное лицо при этом нисколько не покраснело — и, повернувшись к ним спиной, вышла на платформу. На ее изящной фигурке пальто с чуть приподнятыми плечами, мягкими складками спадавшее вниз, выглядело очень элегантно.

Синго был потрясен —как это Сюити сразу все сопоставил и спросил: вам два места? Быстро соображает. Как он мог догадаться, что женщина кого-то ждет, с кем-то условилась встретиться?

После вопроса Сюити Синго тоже решил, что женщина вышла, чтобы встретить попутчика.

И еще одно — почему женщина, севшая у окна, как раз напротив Синго, обратилась не к нему, а к Сюити? Может быть, потому, что, поднимаясь со своего места, она смотрела в сторону Сюити, а может быть, и потому, что Сюити всегда приветлив и женщины чувствуют себя с ним свободно?

Синго посмотрел на профиль Сюити.

Сюити читал вечерний выпуск газеты.

Вскоре женщина вернулась в вагон и, задержавшись у открытой двери, еще раз осмотрела платформу. Человека, с которым она условилась встретиться, видимо, там не было. Когда женщина возвращалась на свое место, ее светлое пальто, застегнутое под шеей на одну большую пуговицу, слегка колыхалось от ворота до подола. Карманы были прорезаны довольно низко, и женщина, держа руки в карманах, шла, как бы раскачивая пальто. Несколько необычный покрой пальто был ей к лицу.

На этот раз она села напротив Сюити. Она трижды обернулась к двери — с нового места ей лучше был виден вход.

Место напротив Синго было занято ее сумкой — цилиндрической, с закругленными углами и большим замком.

Бриллиантовые серьги были, скорее всего, фальшивые, но сверкали, как настоящие. На ее узком лице выделялся толстоватый нос. Рот маленький, прекрасной формы. Слегка вздернутые густые брови подбриты. Чуть припухшие веки, округлый подбородок. В общем, очень красивая женщина.

В глазах усталость, возраст не определить.

У входа сутолока — молодая женщина и Синго посмотрели в ту сторону. В вагон сели пять-шесть мужчин с огромными ветками клена. Они весело толкались, возвращаясь, видимо, с загородной прогулки.

Багровые листья клена, скорее всего, с севера, подумал Синго.

Мужчины, не стесняясь, переговаривались громкими голосами и стало ясно, что клены из Этиго.

— Наверно, и в Синсю клены уже красные,— сказал Синго.

Но Синго вспомнил не столько клены в горах на своей родине, сколько багровые листья карликового клена, который поставили у алтаря после смерти старшей сестры Ясуко.

Сюити тогда еще не было на свете.

Синго пристально смотрел на ветки клена, которые лежали на скамейке, напоминая пассажирам о времени года.

Выйдя из задумчивости, Синго вдруг обнаружил, что напротив него сидит отец молодой женщины.

Значит, она ждала отца? Непонятно почему Синго это успокоило.

У отца и у дочери были одинаковые толстые носы — рядом они выглядели смешно. И даже волосы росли у них одинаково. Отец был в очках в темной оправе.

И отец и дочь сидели безучастно друг к другу, с неподвижными лицами, не разговаривая между собой. Незадолго до Синагава отец заснул. Дочь тоже закрыла глаза. У них даже ресницы, казалось, были одинаковые.

Сюити не был так похож на Синго.

Синго хотелось, чтобы отец и дочь перекинулись хотя бы словечком, но в то же время он даже немного завидовал тому, что они сидят безучастные друг к другу, как чужие.

Наверно, и дома у них мир и покой.

И когда в Иокогаме вышла только женщина, Синго был потрясен. Вот тебе и отец и дочь — совершенно чужие.

У Синго даже настроение испортилось.

В Иокогаме сосед лишь чуть приоткрыл глаза и снова заснул.

Когда не стало женщины, этот пожилой мужчина показался Синго каким-то неприятным.

3

Синго толкнул Сюити локтем.

— Значит, они не отец и дочь, — прошептал он.

Но Сюити отнесся к этому не так, как ожидал Синго.

— Видел? Нет?

Сюити презрительно кивнул.

— Странно.

Сюити не считал, видимо, это странным.

— Похожи, правда?

— Пожалуй.

Мужчина спал, поезд громыхал, но все равно громко говорить о попутчике, который сидит напротив, не следовало.

Это было неприлично, и Синго, опустив глаза, вдруг загрустил.

Он, казалось, должен был с грустью думать об этом человеке, а грусть почему-то поселилась в нем самом.

От станции Ходокэтани до Тоцука довольно далеко. И осеннее небо успело потемнеть.

Возможно, мужчина был моложе Синго, но не намного, тоже, наверно, что-нибудь под шестьдесят. А женщина, вышедшая в Иокогаме, пожалуй, одних лет с Кикуко. У Кикуко глаза красивее.

Но все-таки неужели та женщина не дочь этого человека?

Недоумение Синго все усиливалось.

Есть, конечно, люди, настолько похожие друг на друга, что кажутся родными. Но их не так уж много. Может быть, этот мужчина — единственный двойник той женщины, а она — единственный его двой-

ник. У каждого всего по одному двойнику. Возможно, что это единственный на свете случай поразительного сходства двух чужих друг другу людей. И каждый из них живет, не имея никаких родных и даже не зная о существовании другого.

Они встретились совершенно случайно в электричке. Впервые столкнулись и вряд ли увидятся еще когда-нибудь — одна тридцатиминутная встреча за всю их долгую жизнь. И расстались, не обмолвившись ни словом. Они сидели рядом и, видимо, как следует не рассмотрели друг друга, а то и вообще не заметили своего поразительного сходства. Люди, в которых воплотилось чудо, расстались, так и не узнав, что в них воплотилось чудо.

Потрясен был посторонний — Синго.

Но, думал Синго, может быть, и я, случайно оказавшийся свидетелем чуда, стал тоже частицей этого чуда?

Что же это за сила, которая создала мужчину и женщину, похожих друг на друга, как отец и дочь, соединила их всего на тридцать минут и показала Синго?

Ведь только потому, что тот, кого ждала молодая женщина, не пришел, она оказалась рядом с мужчиной, которого можно было принять за ее отца.

— Эта сила — сама жизнь, не иначе, — прошептал Синго.

Когда электричка остановилась в Тоцука, спавший мужчина поспешно вскочил и его шляпа упала с багажной полки под ноги Синго. Синго поднял ее.

— О, благодарю вас.

Не стряхнув пыли, мужчина надел шляпу и вышел.

— Странный случай, правда? Оказался совершенно посторонним ей человеком, — уже не стесняясь, громко сказал Синго.

— Они действительно похожи, но облик у них совершенно разный.

— Облик?..

— Девушка бодрая, живая, а он какой-то пришибленный.

— Просто девушка принаряжена, а пожилой человек одет как попало — в жизни это часто бывает.

— Согласен, но у них стиль одежды, как бы сказать, совсем разный.

— Хм, — кивнул Синго. — Женщина, если помнишь, сошла в Иокогаме. И как только мужчина остался один, мне показалось, он сразу как-то сник...

— Согласен. Но он такой был и раньше.

— И все-таки мне странно, почему он так сразу сник. Словно тоска его вдруг охватила, что ли. Он ведь моложе меня, и вот...

— Так бывает, бывает, стоит старику оказаться рядом с молодой женщиной, у него сразу же появляется самодовольно-победоносный вид. Ты и сам такой же, отец, а? — пошутил Сюити.

— Что ж поделаешь, если молодые люди, как ты, завидуют старику.

— Нет, я не завидую. Союз молодого красавца и красавицы очень уж непрочен, а некрасивый рядом с красавицей выглядит жалким — нет, красавиц я уступаю старикам.

Синго все не переставал удивляться поразительному сходству сидевших напротив.

— И все-таки не исключено, что это отец и дочь. Я вот подумал, а вдруг эта женщина — его внебрачная дочь. Встретившись, они не назвали себя и так и не узнали, что они отец и дочь...

Сюити отвернулся.

После слов Синго он даже выругался про себя.

Сюити никак не ожидал, что отец станет подпускать шпильки.

— Лет через двадцать с тобой может случиться то же самое.

— Ты все время к этому и клонил, отец, а? Нет, я не такой сентиментальный фаталист. Вражеские снаряды свистели над самой моей головой и ни один не угодил в меня. И в Китае, и на островах южных морей у меня, может, и есть незаконнорожденные дети. А встретиться со своим незаконнорожденным ребенком и разойтись, не узнав друг друга,— это пустяк по сравнению со свистом снарядов над головой. Для жизни, во всяком случае, не опасно. Кроме того, Кинуко, может быть, родит девочку, и если уж сама Кинуко утверждает, что ребенок не от меня, я предпочитаю тоже так думать.

— Военное время и мирное — совсем не одно и то же.

— Может быть, за нами уже гонится новая война, а может быть, и призрак прошлой, которая нас все еще не отпускает, — сказал Сюити. — И только потому, что та женщина чуточку отличается от других,— добавил он осуждающе,— ты, отец, увидел в ней что-то привлекательное и размечтался о ней. Если женщина хоть чуть-чуть отличается от других, мужчина тут же попадает в ее сети.

— А ты, если женщина хоть чуть-чуть отличается от других, предпочитаешь наградить ее ребенком, и пусть потом воспитывает его как может, тебя это не касается.

— Я этого не хотел. Хотела этого только она.

Синго ничего не ответил.

— Женщина, что сошла в Иокогаме, я уверен, свободна.

— Может быть.

— Наверняка не замужем, и если ее пригласить — пойдет. Держится неприступно, а сама не такая уж добропорядочная, и положение у нее не очень прочное.

Синго оторопел от этих наблюдений Сюити.

— Ужасный ты человек, Сюити. Когда ты успел стать таким циником?

— Кикуко свободна. В самом деле свободна. Я не хочу быть ни стражником, ни арестантом, — вызывающе бросил Сюити.

— Что ты имеешь в виду, заявляя, что твоя жена свободна? Ты и Кикуко это говорил?

— Нет, Кикуко лучше скажи это ты, отец.

Синго ответил резко:

— Ты хочешь сказать — не считай больше Кикуко своей невесткой?

— Нет, почему же? — сбавил тон Сюити. — Разговор начался с того, что женщина, которая сошла в Иокогаме, свободна... Эта женщина примерно одних лет с Кикуко и даже чем-то на нее похожа — поэтому, вероятно, она и пожилой мужчина показались тебе отцом и дочерью.

— Что?

От неожиданности Синго совсем растерялся.

— Ничего подобного. Кем бы они ни доводились друг другу, их сходство кажется чудом.

— По правде сказать, не такой уж это потрясающий случай, как ты его представляешь.

— Нет, я действительно был потрясен, — ответил Синго, но когда Сюити догадался, что отец, не отдавая себе в этом отчета, думал о Кикуко, у Синго даже дыхание перехватило.

Пассажиры с ветками клена сошли в Офунэ. Глядя, как ветки клена движутся над платформой, Синго сказал:

— Может быть, съездим как-нибудь в Синсю — полюбоваться на клены? С матерью и с Кикуко.

— Не знаю. Меня клены мало интересуют.

— Я хочу снова увидеть родные горы. И дом Ясуко — ей приснилось, что он весь развалился.

— Действительно разваливается. И если не починить, пока не поздно, совсем рассыплется. Остов, правда, еще крепкий — поэтому он и стоит, и если починить... Но зачем, собственно?

— Как зачем? Когда я уйду на пенсию, мы с матерью сможем уехать в деревню, а когда-нибудь, глядишь, и вы там поселитесь.

— Я могу остаться и присмотреть за нашим домом, а Кикуко — она еще не видела материнского дома в деревне — пусть едет вместе с вами, по-моему, это самое лучшее.

— А как сейчас Кикуко?

— С тех пор как у меня с той женщиной все кончилось, Кикуко стала какая-то скучная, ко всему безразлична.

Синго горько усмехнулся.

4

В воскресенье днем Сюити снова отправился удить рыбу.

Положив в ряд подушки для сиденья, которые вынесли сушить на веранду, Синго улегся на них, подперев рукой голову, стал греться на солнце.

На большом камне у порога лежала Тэру.

Ясуко сидела в столовой и, стопкой сложив на коленях газеты за десять дней, внимательно их читала.

Когда попадалась интересная, на ее взгляд, заметка, она окликала Синго и читала ему вслух. Это повторялось довольно часто, и Синго, несколько раз промычав в ответ что-то невразумительное, наконец не вытерпел.

— Перестала бы ты, Ясуко, по воскресеньям читать газеты, — сказал он и лениво повернулся на другой бок.

Перед нишей в гостиной Кикуко ставила в цветочную вазу вьющуюся декоративную тыкву.

— Кикуко, ты сорвала ее на горе за домом?

— Да. Красивая, правда?

— Там, наверно, еще осталось?

— Да. Еще пять или шесть.

Кикуко приподняла лозы, на которых висели три ярких плода.

Каждое утро, умываясь, Синго видел, как на горе за домом розовеют декоративные тыквы, а сейчас, когда их принесли в гостиную, они оказались совсем красными.

Синго рассматривал декоративную тыкву, но в поле его зрения попала и Кикуко.

Как невыразимо чиста и прекрасна линия от шеи до подбородка. Нет, эта прекрасная линия не могла появиться за одно поколение — много поколений трудилось над ней, подумал Синго с грустью.

Может быть, оттого, что прическа оголила шею, Кикуко выглядела похудевшей.

Синго всегда знал, что у Кикуко очень красивая шея, изящная, длинная, но сейчас под тем углом, под которым он, лежа, видел ее, она казалась еще прекраснее.

Может быть, от осенних лучей солнца.

Линия шеи от подбородка подчеркивала чистоту Кикуко.

Правда, шея уже чуть пополнела и ее девичьи очертания начали исчезать.

— Только одну еще... — окликнула Синго Ясуко. — Очень интересно.

— Ну?

— Об Америке. Есть такой город Буффало, в штате Нью-Йорк. Буффало... Один человек в автомобильной катастрофе потерял левое ухо и ринулся к врачу. Врач опрометью выбежал из дому к месту катастрофы, разыскал окровавленное ухо, вернулся с ним домой и пришил пострадавшему. Ухо прекрасно прижилось. Здесь сказано, что и отрезанный палец может прирасти, если пришить его сразу.

— Что ты говоришь?

Ясуко некоторое время просматривала другие статьи, а потом вдруг заявила:

— То же самое и в семейной жизни. Если муж с женой, не успев разойтись, снова сходятся, все у них потом идет прекрасно. А когда после разрыва проходит слишком много времени, то...

— Ты о чем это? — сказал Синго, не задавая прямого вопроса.

— Разве у Фусако не так?

— Неизвестно, жив Аихара или мертв, и неизвестно, где он, — ответил Синго.

— Где он — это можно при желании выяснить, но... что это даст?

— Перестань причитать. Заявление о разводе уже послано. Нужно примириться с этим, и все.

— Я смолоду научилась примиряться со всем, но когда у меня все время на глазах Фусако с двумя детьми, из головы не выходит: что делать?

Синго промолчал.

— Внешность у Фусако малопривлекательная, ты сама видишь. Но даже если кто-нибудь и сделает ей предложение и она выйдет замуж, дети все равно останутся здесь, и заботы о них лягут на Кикуко, жаль ее.

— Если это случится, Кикуко и Сюити станут жить отдельно и растить детей придется тебе.

— Мне, говоришь? Ты прекрасно знаешь, работы я не боюсь, но не забывай — мне уже за шестьдесят.

— Дела человеческие решаются на небесах. Куда ушла Фусако?

— К Большому Будде. Странные существа эти дети. Хотя Сатоко чуть не попала в автомобильную катастрофу, возвращаясь из храма, где стоит Большой Будда, она любит его и все время просит, чтобы ее отвели к нему.

— Вряд ли она любит именно Большого Будду.

— Нет, кажется, она и правда любит его.

— Странно.

— Как ты думаешь, Фусако не захочет переехать в деревню? Получит в наследство наш дом.

— Да нет, какой это дом, — резко сказал Синго.

Ясуко замолчала и снова углубилась в газеты.

— Отец, — позвала его на этот раз Кикуко. — Рассказ мамы об ухе напомнил мне, как вы мечтали отделить голову от туловища, сдать ее в клинику и там почистить и подновить.

— Да-да. Когда я смотрел на подсолнухи. Нужда в этом становится все сильнее. То я забыл, как завязывать галстук, а то, чего доброго, стану читать газету вверх ногами.

— Я ваши слова часто вспоминаю. Мне тоже все время хочется сдать свою голову в клинику.

Синго посмотрел на Кикуко.

— Хм. Каждую ночь я и сдаю свою голову в клинику сна. Но, может быть, это связано с возрастом, что я без конца вижу сны. Както я прочел стихи: «Когда в душе тоска, мы видим сны — действительности продолженье». А вот мои сны — не продолжение действительности.

Кикуко поставила в вазу декоративную тыкву и рассматривала ее со всех сторон.

Синго тоже смотрел на нее.

— Кикуко, никогда не уходи от нас,— внезапно сказал он.

Кикуко встала, повернулась к Синго и, подойдя к нему, села рядом.

— Я боюсь жить отдельно. Я боюсь Сюити,— сказала Кикуко тихо, чтобы не слышала Ясуко.

— Неужели ты собираешься уйти от Сюити?

Кикуко помрачнела.

— Если и уйду, все равно всегда буду заботиться о вас.

— Тебе это принесет только несчастье.

— Нет. Какое же это несчастье — делать что-нибудь с радостью.

Синго поразился — Кикуко впервые проявила такую горячность. И почувствовал всю опасность их разговора.

— Не потому ли ты, Кикуко, относишься ко мне так хорошо, что я как бы заменяю тебе Сюити? Мне кажется, вы с Сюити сейчас еще больше отдалились друг от друга.

— Я его часто не понимаю. Иногда он вдруг становится мрачным — к нему не подступишься.— Кикуко, побледнев, смотрела на Синго, словно взывая о помощи.

— Да, война его сильно изменила. Иногда и я не могу понять, что с ним происходит. Он все делает наперекор. Как был бы я рад, если бы вам удалось мягко, без насилия снова соединить свои жизни, как то окровавленное ухо...

Кикуко сидела неподвижно, с помрачневшим лицом.

— Тебе Сюити не говорил: Кикуко, ты свободна?

— Не-ет.— Кикуко недоуменно посмотрела на Синго.— Как это — свободна?..

— Да, я тоже спросил Сюити, что он имеет в виду, заявляя, что его жена свободна. Если вдуматься, то это, видимо, значит: Кикуко должна освободиться от меня, и я тоже должен сделать Кикуко более свободной.

— Вы говорите «я», подразумевая себя?

— Да. Слова Сюити, в сущности, означают: Кикуко свободна, скажи ей об этом сам.

В это время в вышине послышались какие-то звуки. Синго показалось, что это голос неба.

Посмотрев вверх, он увидел, что над самыми деревьями летят голуби.

Кикуко, видимо, тоже услышала шелест крыльев и подошла к краю веранды.

— Неужели я действительно свободна? — со слезами в голосе спросила она, провожая глазами голубей.

Тэру, спокойно лежавшая на камне у порога, услыхав хлопанье крыльев, помчалась в сад.

5

В то воскресенье к ужину собралась вся семья — все семь человек.

И вернувшаяся домой Фусако, и двое ее детей теперь тоже стали членами семьи.

— В рыбной лавке было только три форели. Третью я дам Сатоко.— С этими словами Кикуко поставила форель перед Синго, пёред Сюити и перед Сатоко.

— Дети форель не едят,— протянула руку Фусако.— Отдай бабушке.

— Нет,— Сатоко ухватилась за тарелку.

Ясуко сказала спокойно:

— Форель очень большая. И в этом году последняя. Я возьму кусочек у деда. Кикуко — у Сюити...

Ее слова разбили семью на три части и как бы сразу превратили ее в три семьи.

Сатоко стала поспешно отхватывать палочками куски рыбы.

— Вкусно? Ешь аккуратнее,— поморщилась Ясуко и, подцепив палочками икринки форели, положила их в рот младшей, Кунико. Сатоко не возражала.— Икорка...— пробормотала Ясуко и ухватила своими палочками немного икры от форели Синго.

— Давно, еще в деревне, сестра Ясуко попросила меня сочинить трехстишие — помучился я тогда над ним — и задала тему: то ли форель осенью, то ли форель, которая плывет вниз по реке метать икру, то ли форель на нересте,— начал Синго и, взглянув на Ясуко, продолжал: — В общем, нужно было, чтобы в трехстишии была форель, которая, отметав икру, с трудом спускается по реке к морю — истощенная, без сил.

— Как я,— быстро сказала Фусако.— Хотя я никогда не была так привлекательна, как форель.

Синго сделал вид, что не слышит.

— На эту тему есть старинные трехстишия: «Время пришло, на волю волн отдалась осенняя форель», или еще: «Мчится в стремнине к собственной смерти форель».

— Да, уж если о ком эти трехстишия, так обо мне.

— Нет, обо мне,— сказала Ясуко.

— Неужели, отметав икру и спустившись к морю, она погибает?

— Думаю, погибает. Иногда встречается форель, которая круглый год прячется в речных заводях,— ее называют ленивой.

— Я, пожалуй, принадлежу к ленивой форели.

— А я даже не хочу быть ленивой форелью,— сказала Фусако.

— Но после возвращения домой ты поправилась и цвет лица лучше стал,— сказала Ясуко, посмотрев на Фусако.

— Толстеть мне ни к чему.

— Вернуться в родительский дом — все равно что спрятаться в тихой заводи,— сказал Сюити.

— Долго прятаться не собираюсь. Противно. Лучше уж спуститься к морю.— Голос Фусако звучал пронзительно.— Сатоко, там уже одни кости. Оставь,— набросилась она на Сатоко.

Ясуко поморщилась.

— От отцовского рассказа чудесная форель потеряла всякий вкус.

Фусако, потупившись, снова заговорила:

— Отец, ты не поможешь мне обзавестись пусть хоть крохотной лавочкой? Косметической или писчебумажной... Можно и на окраине.

Я даже готова торговать спиртными напитками — в распивочной или вразнос.

Сюити был потрясен.

— Неужели ты могла бы заняться таким унизительным делом?

— Могла бы. А что тут такого, посетители придут не на меня любоваться, а сакэ пить. Да и разговаривать им со мной не о чем — они уверены, что у них красавицы жены.

— Я не в этом смысле.

— Конечно, сестра сможет. Любая женщина способна заняться каким угодно, даже самым унизительным делом,— неожиданно сказала Кикуко.— И если сестра займется им, я готова помогать ей.

— Ого. Это становится любопытным.

Сюити всем своим видом показывал, как он удивлен. За столом воцарилась тишина.

Кикуко покраснела до ушей.

— А не поехать ли нам в следующее воскресенье в деревню полюбоваться осенними кленами? — сказал Синго.

— Полюбоваться кленами? Я бы поехала.

Глаза Ясуко заблестели.

— Кикуко, поедем с нами. Мы ведь тебе еще не показывали наши родные места.

— Хорошо.

Фусако и Сюити надулись.

— А кто останется присматривать за домом?

— Я останусь,— ответил Сюити.

— Нет, я останусь,— воспротивилась Фусако.— Но раньше, чем вы уедете в Синсю, мне бы хотелось, отец, получить от тебя ответ.

— Ладно, решим что-нибудь,— сказал Синго и вспомнил Кинуко, которая, ожидая ребенка, открыла в Нумадзу небольшую швейную мастерскую.

После обеда Сюити первым поднялся из-за стола и вышел.

Синго тоже встал, потирая затекший затылок, и, войдя в гостиную, зажег свет.

— Кикуко,— позвал он,— твоя тыква провисла чуть ли не до пола. Слишком тяжелая, наверно.

Кикуко мыла посуду и, видимо, не слышала.

Критика

Н. НИКУЛИН

О ВЬЕТНАМСКОЙ ПОЭЗИИ НАШИХ ДНЕЙ

Не впервые в истории вьетнамскому народу приходится приниматься за восстановление родной страны, разоренной, искалеченной врагами. Сколько их было в далеком и недалеком прошлом — возвращений с полей победоносных битв! Вздох облегчения, счастье мирной жизни доносят до нас через столетия стихи великого поэта, мыслителя и полководца Нгуен Чая (1380—1442):

Лук повесил, омыл панцирь,
мир встречаю радостным возгласом [1].

Сегодня очистилось небо над ДРВ. Настало время засыпать все воронки от бомб (а их много миллионов на земле Вьетнама), распахать все поля. И так же, как в суровую военную годину выстоять Вьетнаму помог вьетнамский народный характер — мужественный, необычайно упорный («гибкая несгибаемость»,— говорили о нем), воспитанный на утонченной культуре тысячелетий и революционных традициях, так и теперь выручают его стойкость и всепобеждающее трудолюбие.

У края свежей воронки—
над ней все курится дымок—
Пашет, на плуг налегая,
восьмидесятилетний дед.
Согнулся он весь, но бодро
шагает за буйволом вслед.
Таким вот героям с сединами
у нас перевода нет!—

пишет поэт Лыу Чаунг Лы, точно схватывая важнейшие черты народного характера.

[1] Переводы стихов, кроме оговоренных, принадлежат автору статьи.

Прошли считанные месяцы после заключения Парижского соглашения, и, как всегда, в литературе первой откликнулась на завоеванную победу, на возвращение к мирному труду поэзия, прежде всего гражданская лирика. Ее отклики на события почти синхронны самим событиям: первые стихи о борьбе ДРВ против агрессии США, началом которой явился печально знаменитый инцидент в Тонкинском заливе 5 августа 1964 года, были написаны в тот же самый день. В них были тревога и любовь к родине, решимость и отвага. И не странно ли, что в литературе ДРВ военных лет появилось вдруг стихотворение, которое дышит сельским покоем (с явными приметами тропиков), непосредственностью восприятия в сочетании с лаконизмом, характерным для классической поэзии Вьетнама?

В полночь я слышу:
жаба урок повторяет,
Редкие капельки
дождик на пальмы роняет.
Холодно
небо дохнуло осенним ветром.
Утром гляжу: в бадье
полно опавших цветов.

Вряд ли все разъяснится, если мы откроем, что автором стихов является Чан Данг Кхоа, которому в год их создания (1967) минуло девять лет. Дело, скорее, в том, что вьетнамец, который любит совсем мирно, по-крестьянски, сравнивать свою страну с коромыслом — на нем висят две корзины (имеются в виду две плодородные долины на севере и на юге страны), всегда отличался миролюбием и умением тонко чувствовать и передавать в поэзии красоту родной земли.

Конечно, велико расстояние между стихами Чан Данг Кхоа и стихотворением Чан Минь Тонга (1298—1356) «Дождливая ночь», огромна разница в передаваемом мироощущении, в самой поэтической мысли, но близки образы; в стихах то же изящество, любование родной природой:

Дыхание осени, свет фонаря—
был незаметен рассвет.
Последнюю стражу[1] хлопаньем листьев
пальма мне возвестила.

Мирный настрой, радость созидательного труда легко уловить в творчестве поэтов ДРВ накануне войны, развязанной американским империализмом. Но пробил час, и народ взялся за оружие. Поэты разъехались по воинским подразделениям, предприятиям, деревням. От поэзии и от поэта, как и от каждого вьетнамца, потребовались те самые исконные его качества — мужество, многотерпенье, склонность к тонкой, аккуратной, ажурной работе: ведь война — это тяжелый труд. Поэзия обнаруживала свои новые грани, о чем хорошо сказал поэт Те Лан Виен:

Поэзия —
Это не только тихая колыбельная песня.
Поэзия — будоражащий клич.
Она не только горестный вопль.
Она—удар кулака по столу,
Она — меткий,
Смелый, разящий удар.

Как важнейший род войск, поэзия вступила в бой. Словно лозунг, звучали строки Хо Ши Мина: «Звоном стали пусть полнится стих! И, поэт, вместе с нами шагай в атаку!» Сами стихи превратились в оружие, оружие справедливости, честности — моральной силы. Недаром писал Те Лан Виен:

Стихи — ракеты
Класса «земля — земля»
Летят в небесах
По кривой траектории.
Другие стихи
Взметаются радугой.
Но все же наводчик
Всегда-всегда целит прямо-прямо.

Во Вьетнаме военные годы стали новым этапом расцвета поэтического творчества. И на это были самые глубокие причины. Сказывались первые достижения в социалистическом строительстве. Общим подъемом духовной жизни народа было обусловлено то, что конец 50-х и 60-е годы стали для вьетнамской поэзии временем глубокого осознания и освоения национальных художественных традиций.

Современная вьетнамская поэзия уходит своими корнями в толщу национальной почвы и насчитывает почти тысячелетнюю историю, зафиксированную памятниками, известными науке. Но в годы господства феодалов и колонизаторов многие уникальные рукописи и ксилографии были утрачены, затеряны в частных домах, недоступны во многих случаях даже элитарному читателю. И то, что явилось взору в результате работы ученых и поэтов ДРВ по разысканию, изучению и публикации памятников литературы и фольклора, было подлинным открытием национального искусства художественного слова. «Наша тысячелетняя национальная литература буквально ожила в душе каждого вьетнамца...» — с полным основанием говорил в 1960 году генеральный секретарь Союза писателей Вьетнама Нгуен Динь Тхи. Живая нить протянулась к классике.

Это сказывается в том, что современная поэзия ДРВ — преимущественно лирическая (лирика имеет богатейшие традиции, идущие из глубин истории национальной литературы). Духовная связь современности с литературным наследием проявляется в развивающихся ныне классических традициях, глубокой заинтересованности поэта в вопросах общественного бытия, и в утверждении идеалов самоотверженного и преданного высоким принципам бескорыстия, и в изысканности духовного мира, любви к родной земле, внимании к страдающему человеку. Современная поэзия способна передать напряженность эмоциональной жизни человека нового общества в переломные годы невиданных в истории Вьетнама перемен и тяжелых испытаний. Глубоко личные переживания предстают в поэзии, как правило, нерасторжимо связанными с общественными проблемами, масштабными событиями, на фоне исторической жизни всего народа. Лирический герой поэзии — простой человек, патриот Вьетнама; в стихах подчас приобретает символическое звучание бытовая, казалось бы, сценка, раскрывающая правду чувств патриота, как в стихотворении То Хыу «Зеленая рубашка»:

Ты сшила рубашку...
Покрась ее мне:
не ходят в некрашеных
там, на войне.
Да, милая,— в белой
нельзя мне в бою.
Зеленою сделай
рубашку мою!

(Перевод В. Корчагина)

Этот лаконизм явно восходит к классическим традициям. В последние годы поэты все чаще обращаются к старым формам четверостишия и восьмистишия, обновив их не только за счет содержания, но сделав более свободными эти традиционные для Вьетнама стихотворные формы, как в четверостишии Лыу Чаунг Лы «Искореженный велосипед»:

Самолет проревел над самой дорогой,
на высоте был пилот:
Он бомбой накрыл аккуратно цель:
— О'кей, вьетконг не уйдет.
Вконец покорежен велосипед,
в субботний вечер пешком
Едва ковыляют мама и сын.
и ветер в лицо им бьет.

Известно, что для вьетнамца велосипед — не забава, а излюбленное и удобнейшее средство передвижения, на нем преодолевают огромные расстояния: маме и сыну из стихотворения Лыу Чаунг Лы наверняка предстоит очень дальний путь... Добавим, что, пожалуй, только вьетнамский ребенок может сказать подобно Чан Данг Кхоа: «Дядюшка Солнце из-за горы катит на велосипеде...» Ведь в Ханое, например, несколько сот тысяч велосипедов.

К сжатому выражению поэтической мысли тяготеет также молодой поэт Чан Нят Тху, воссоздающий емкую картину «результатов» бомбежки в своем стихотворении «Когда

[1] Как и во многих странах Востока, во Вьетнаме ночь делилась на пять страж, их отмечали колоколом, стуком колотушки.

Б-52, отбомбившись, убираются восвояси, раздаются голоса»:

— Где ты, Люен, моя маленькая?!.
— Где ты, Тхуан, мой малыш?!.
— Мама... мама, мама!..
Когда, сбросив бомбы на нас,
«крепости» улетают,
Так далеко, так призывно
в ночь эти крики летят,
И если во тьме отзовется,
родной послышится голос,
То, кажется, не бывает
счастья выше на этой земле...

Развивая традиции классики, поэты ДРВ осваивают в то же время опыт прогрессивных мастеров поэтического слова за рубежом.

После заключения Женевских соглашений и восстановления мира во Вьетнаме в 1954 году вьетнамские писатели получили возможность вести широкий обмен художественными ценностями с социалистическими странами.

Многовековая история вьетнамской поэзии не знала таких времен: никогда еще не переводилось столько хороших стихов и никогда в переводах не участвовало так много видных вьетнамских поэтов, которые одновременно активно продолжают свое оригинальное поэтическое творчество. Среди поэтов-переводчиков, воссоздавших по-вьетнамски, например, стихи советских поэтов и русских классиков, можно назвать То Хыу, Те Ханя, Суан Зьеу, Хоанг Чунг Тхонга, Хюи Кана, Нгуен Суан Шаня и других ведущих поэтов.

Здесь нет возможности перечислить все выполненные переводы (известно, что с 1954 по 1970 год в ДРВ было издано в переводе свыше 300 книг русской и советской классики), обратим только внимание на то, что работа над переводами для вьетнамского поэта оказывалась проникновением в еще неведомый ему поэтический мир, соприкосновением с новыми для него образными системами, различными стилистическими манерами, которые предстояло передать на своем родном языке. Работа превращалась в подлинное творчество, бывала сопряжена с внимательным исследованием и осмыслением переводимого автора. Недаром перу многих из виднейших современных поэтов ДРВ принадлежат статьи о лучших советских и русских поэтах. Суан Зьеу (род. в 1917 г.), подаривший вьетнамскому читателю к 50-летию Октября перевод поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», отмечал своеобразие стиха и поэтической манеры советского поэта: «Идейность его — наша, коммунистическая, а вот стихотворный размер, стиль не похожи на те, что свойственны нашей поэзии». Это был один из видов «непохожести», с которым столкнулись вьетнамские поэты при переводе.

«Непохожесть» иного рода ожидала переводчиков поэзии Пушкина. Томик его стихов был также издан в Ханое в суровые годы войны; в предисловии к книге Хоанг Чунг Тхонг со свойственной вьетнамцам скромностью писал, что при переводе пушкинской поэзии «улетучивается почти вся чудесная и простая ее красота».

Издавна популярна в ДРВ лирика военных лет К. Симонова, стихи М. Светлова, П. Антокольского, М. Луконина, Е. Евтушенко и других. У вьетнамских поэтов особенно велик интерес к творчеству П. Элюара, Б. Брехта, Н. Хикмета, Н. Гильена; переводились такие классики, как Шекспир и Шиллер, Мицкевич и Петефи, Лермонтов и Гейне, Некрасов и Блок. Усваиваемый опыт расширяет поэтический кругозор, обогащает стилистическую палитру, поэтическое видение мира. При этом связь с жизнью осознается как важнейший фактор творчества.

Каждая строчка —
Ныряешь в белую
Пустоту бумаги,
Бросаешься
В реку жизни
И выплываешь,
Чтобы снова нырнуть,—

пишет Те Лан Виен.

Для того чтобы уяснить, в чем своеобразие современного лирического поэта, далеко не всегда полезно перечисление тем, характерных для его стихов. Но такой перечень может оказаться красноречивым при определении широты тематики лирической поэзии ДРВ за последние десять с лишним лет. Вот что сказано, например, критиком Ле Динь Ки о поэзии Хюи Кана: «Он пишет и о социалистическом строительстве, и о борьбе за объединение родины. Он пишет о жене и детях. О горных ручьях, о широких реках, о бескрайнем море. Он пишет о дожде и солнце, о прохладных ветрах и всесокрушающих тайфунах. В его стихах — пагоды, живописные деревни, усеянный зелеными островками залив Ха-лаунг. Он говорит о каменном угле и улове рыбы, урожае риса и бататов, о сиянии луны и звезд, красоте весны и осени. Он рассказывает о вьетнамском слепом музыканте, играющем на бамбуковой флейте, и о слепом певце из Киева. Он пишет о «временах первотворения» и о нынешних космических полетах. В его стихах нашлось место для сочувственных строк о душевнобольном человеке и забавных строк о деревянном игрушечном мальчишке. Он поведал нам о девушке из «веселого дома», порвавшей со своим прошлым, и он же посвятил свои стихи поэту Бо Цзюй-и, художнику Ци Бай-ши, Бертольту Брехту, Николасу Гильену». Все это свидетельствует о небывалом расширении мира вьетнамской лирики, о качественном сдвиге.

В ней важное место заняла тема интернационализма, тема Ленина и родины Октября. У поэтов ДРВ в годы войны ощущается стремление найти духовную опору в революционных и освободительных традициях, художественной культуре социалистических стран. Таково стихотворение Нгуен Суан Шаня «На Шипке» из сборника «Утро поэзии» (1971):

Белый туман
опустился на перевал,
Мне казалось — на родине я
и Вьетнама не покидал.

Здесь, на Шипке, вершины гор —
вечный приют героев.
Отсюда видна вся Болгария —
в цвету милый им край.

Мысль о бережном отношении к культурному наследию составляет идейный стержень стихотворения Те Ханя «Ленин и соната Бетховена». Как живое соприкосновение с Лениным воспринимают вьетнамские поэты посещение памятных ленинских мест. Суан Зьеу писал в стихотворении «Я посетил тот дом, где Ленин жил»:

Мы — в доме твоем, ступаем бесшумно,
как тени,
Словно душа, внимают глаза, каждый
шаг — откровенье.

Появилось много своеобразных стихотворных рассказов о Ленине, в которых вьетнамские поэты стремятся к постижению тех черт его характера, которые проявляются в житейских ситуациях, в будничной жизни. В связи с этим они обращаются к рассказам о Ленине советских писателей и к воспоминаниям о нем. Этот материал поэты Вьетнама переосмысливают и создают, руководствуясь законами поэтического жанра, небольшие сюжетные стихотворения: «Ленин у ребят» и «Фото Ленина» Фам Хо, «Ужин на Путиловском» и «Пропуск» Нгуен Ван Тоая. Заимствование сюжетов из прозы — давняя традиция вьетнамской классической поэзии, но теперь к ней обратились вьетнамские поэты в поисках конкретного материала об Ильиче.

Помимо дальнейшего развития национальных традиций и форм, отчасти возникших еще в 30-е годы, в последнее время намечаются новые творческие поиски в области поэтических жанров.

Вопрос о поэтичности подлинной и мнимой волнует вьетнамских поэтов, может быть, особенно потому, что всем им довелось пройти суровую школу жизни в военные годы и на любую ложную красивость в искусстве они реагируют особенно остро, тем более что долгое существование классических форм и жанров поэзии научило их с осмотрительностью относиться к экспериментам.

Есть стихи.
Слушая их, пленяешься красотою рифм,
Но не чувствуешь голоса жизни.
Брат мой, поэт,
То кровь пульсирует
В жилах твоих.
Нет, это — не океанский прибой,—

с искренней прямотой говорит Те Лан Виен. И эти строки продиктованы требовательной заботой о будущем поэзии, потому что тот же поэт утверждает: «...Смотрю я, различных видов бамбука существует около тридцати: от толстоствольного, который годится на столбы при строительстве дома, до самого тоненького, карликового, с зубочистку, выращиваемого в фарфоровой вазе. Отчего же нам признавать только один вид поэзии — или толстоствольный, или карликовый?» В самом деле, теперь мы уже можем говорить о возникающем жанровом разнообразии современной вьетнамской поэзии. Заметна тенденция к удлинению строки и отчасти к появлению больших поэтических жанров. Становится популярной такая форма, как «длинные стихи» («тхё зай»), небольшие поэмы, например в творчестве То Хыу (поэма «За Хо Ши Мином вслед»), традиции эпической поэзии возрождает на новой основе Хюи Кан (его поэма о фольклорном богатыре Зяунге), к жанру драматической поэмы обращается Те Хань («Случай в родной деревне»), лирико-философские циклы тесно связанных между собою кратких афористических стихов, похожие на философские поэмы, пишет Те Лан Виен («Мысли о поэте, о поэзии, о разном», «Декларация каждого сердца, каждой винтовки, каждой цветущей ветки»). Он много размышляет о предназначении поэта, о его роли в обществе, в жизни:

Что поэтичнее?
В день урожая
Чашкою риса
Голодных людей накормить?
Иль сочинить
Стонущий стих
О муках вечного голода?

■

В последнее время во вьетнамской критике благожелательно и тепло заговорили о поэзии молодых: новое поколение поэтов в солдатских гимнастерках вступило в литературу. Их жизненный опыт, их юношеские впечатления и переживания — весь эмоциональный мир — неразрывно связаны с войной, которая столько лет бушевала на земле Вьетнама.

В стихах поэта Фам Тиен Зуата (род. в 1942 г.), который служит в Народной армии, ясность цели и героическая устремленность вперед, к подвигу во имя свободы отчизны сочетается с четкой, умело схваченной характерной деталью. Поэт призывает читателей — своих товарищей-солдат — открывать высокую поэзию в боевых буднях, о чем очень непосредственно, но точно пишет боец Куок Ши: «Он (Фам Тиен Зуат.— **Н. Н.**) говорит либо о том, о чем мы, бойцы, хотели бы сказать, но не находим слов, либо он говорит о том, мимо чего мы проходим, совсем не замечая». Эта жизненная достоверность и реалистичность образа, ситуации, отсутствие позы привлекли особое внимание читателей к «Стихам о колонне машин без стекол», за которые автор был удостоен первой премии в 1969 году на конкурсе газеты «Ван нге» («Литература и искусство»). Напряженный порыв воли, удальство (профессия шофера была героической в военные годы) чувствуются в стихах, в которых реально и зримо сказано и о трудностях войны.

У Фам Тиен Зуата героическая проза будней, неразрывно связанная с романтикой, засверкала поэзией — в его стихах много и с новым чувством говорится о джунглях, где укрываются бойцы. Он — свой человек в лесных чащобах — тонко различает запахи и красоту лесных цветов. Приобщение к миру джунглей означает и близость к природе, к сокровенному, к корням родной земли.

Об этом поэт говорит, например, в стихотворении «Сон в джунглях»:

В кровати забыться сном:
что ж такого — кровать есть кровать.
Заснуть на земле под плащом
означает — усталым поспать
в сырой колыбели джунглей
и наготове держать
верный свой автомат...

От малых поэтических форм Фам Тиен Зуат переходит к жанру лирико-эпической поэмы — «Безлюдные джунгли» (1971), рассказывающей о борьбе патриотов Юга. В ней — разнообразие стихотворных ритмов, некоторые главы написаны традиционным для классических поэм размером люкбат, сама мелодика которого живо напоминает о них. Параллельны картины природы и боевой жизни в джунглях («Стрелы ветвей и стрелы войсковых колонн» — так и названа одна из глав), тоской по счастью мирного труда пронизан эпизод строительства дома, а сами джунгли оживают и вступают в беседу с бойцами.

Наряду с Фам Тиен Зуатом в ДРВ известны имена и других молодых поэтов — Банг Вьета, Бе Киен Куока, Чан Нят Тху, поэтессы Фан Тхи Тхань Нян, вступивших в литературу в годы войны. Стихи их отчасти носят исповедально-лирический характер, передают искренность и глубину переживаний, отличаются точной и оригинальной образностью. Это—надежда и будущее поэзии ДРВ. Но все же ведущую роль играют в ней поэты старшего поколения, большинство которых начинало свой творческий путь с участия в движении «Новая поэзия» (1932—1945), находившемся под влиянием французской поэзии конца XIX—начала XX в. и ставившем своей целью реформу вьетнамского стиха, с тем чтобы расширить его возможности для более адекватного отображения новых явлений жизни, воплощения индивидуального начала в поэтическом творчестве. Среди этих поэтов — Суан Зьеу, Те Хань, Те Лан Виен, Хюи Кан, которые горячо приняли Августовскую революцию 1945 года и стали деятельными строителями новой вьетнамской культуры, прошли испытания в огне антиколониальной войны Сопротивления (1946—1954). На достижения «Новой поэзии» опирался и поэт То Хыу (род. в 1920 г.), который в 16 лет стал коммунистом-подпольщиком — его ранние стихи публиковались в нелегальной и полулегальной печати, передавались из уст в уста.

В военное время, как никогда, возникла острая потребность у поэтов обратиться непосредственно ко всем соотечественникам и к каждому из них в отдельности. Поэтому появляется ораторская интонация, вызванная наплывом чувств, накаленной эмоциональной атмосферой жестокой схватки с врагом; поэзия приобретает могучую мобилизующую силу.

Петух возвестил зарю.
Взлетай, поэзия, огненными крылами! —

писал То Хыу, адресуясь также и к собратьям по перу.

Искренняя взволнованная патетика стала характерной стилистической манерой многих поэтов ДРВ. Политическое событие, известие с фронта, большая праздничная дата часто является у То Хыу, видного поэта и секретаря ЦК Партии трудящихся Вьетнама, автора недавно опубликованного сборника «В бой» (1972), отправной точкой для создания стихотворения. «Подобно голубому источнику с прозрачной пресной водой, поэзия его доносит до читателей великие мысли и чувства эпохи,— пишет критик Нгуен Суан Нам,— она доходит до людских сердец, увлекает их, навсегда оставляет аромат в душах читателей...» В стихах То Хыу — острое чувство масштабности происходящих во Вьетнаме событий. Стихотворение «Запомните, люди, эти мои слова» написано на смерть сайгонского подпольщика Нгуен Ван Чоя, расстрелянного в застенке, оно пронизано героикой патриотического подвига и сознанием великой его значимости, здесь уместной оказывается проникновенная и в то же время патетическая интонация:

Бывают минуты—
историю делают эти минуты.
Бывают смерти —
не смерть, а бессмертье шагов, порвавших
земные путы!
Бывают простые слова —
но они песен любых сильней.
Бывают люди —
Мы видим в них Истины сыновей!

Разумеется, что патетика в стихах То Хыу военных лет (многим из них свойствен музыкально-песенный лад) отнюдь не исключает лиризма, утонченной, с недосказанностью, картинной изобразительности, неожиданных поворотов в развитии поэтической мысли. Но То Хыу нередко тяготеет к роли поэта-трибуна — например, в таких стихах, как «Цветы и кровь» (январь 1973 г.), написанных в дни, когда вьетнамский народ торжествовал завоеванную, наконец, победу:

Сжечь они нас хотели напалмами,
Но несгорающим золотом стали мы—
Золотом чести, достоинства, совести...

Время потребовало от поэтов публицистичности, поэтического отклика на злобу дня. В стихах Суан Зьеу из сборника «Два морских вала» (1967) — четкость противопоставлений и ясный строй переживаний, вызванных войною:

Любовь и ненависть—два морских вала—
Бешено бьются в наших сердцах.

Ответом на требования времени были и так называемые «стихотворные очерки» Суан Зьеу, близкие по своим интонациям обычной беседе, а благодаря намеренной приглушенности ритма еще более тяготеющие к прозе. Поэт на велосипеде исколесил самые опасные районы, подвергавшиеся бомбардировкам, и всегда возвращался оттуда со стихами, которые сразу же печатались в газетах. Но все же наибольший успех выпал на долю тех его произведений, в которых усиливается философское начало. Иногда это — довольно прозрачная символи-

---

Н. НИКУЛИН
О ВЬЕТНАМСКОЙ ПОЭЗИИ НАШИХ ДНЕЙ

ка, как в «Стихах о бамбуке и березке», написанных в 1965 году в Москве:

Дружбе верны бамбук и березка,
Пусть холоден снег и зимы длинны.

В сборнике «Богатство мое — глаза» (1970) такое же традиционно утонченное восприятие природы, ясная символика и выразительная образность присущи стихотворению, названному «Птица и обломки американского самолета». Много раз поэты ДРВ писали о сбитых стервятниках, но Суан Зьеу сумел найти новое и очень емкое противопоставление: «мертвая груда отлетавшего металла» и птица, жизнерадостная, беспечно прыгающая и легко порхающая,— образ этот становится олицетворением мира, счастья и доброго начала.

Смелые и неожиданные поэтические образы характерны для Те Лан Виена (род. в 1920 г.), автора сборника «Цветы будничных дней. Буревестник» (1967). Склонность к философски обобщенному, синтетическому, доведенному иногда до абстрактности воспроизведению жизни и лирическому переживанию, любовь к широте и масштабности образов привлекала читателя к поэзии Те Лан Виена. «Соберем оттенки и краски беспредельно далекого неба. Возьмем море, дюны и все в поэзию перенесем»,— призывает он. Создаваемые им картины полны движения и пластики; страдания и мужество своей родной земли он выразил в образе вьетнамской матери, поставив этот образ рядом с мадонной:

В мире — цветы собирать
Матери учат детей,
А во Вьетнаме—
Бежать в бомбоубежище учат.
Птиц различать голоса
Матери учат детей,
А во Вьетнаме —
Детей учат распознавать,
Бомбардировщик летит или всего лишь
разведчик.

Вечно святая мадонна держит дитя на
руках.
А во Вьетнаме
Детей вывезли в горы и джунгли.
Как вам понять и постичь горе
вьетнамских мадонн?

(Перевод Евг. Долматовского)

Стихи, подобные приведенным, заставили вьетнамских критиков заговорить о том, что в поэзии усиливается рационалистическая философичность. Действительно, определенная доля умозрительности появилась даже в стихах поэтов «конкретной тематики» — Хоанг Чунг Тхонга (род. в 1925 г.) или поэта и прозаика Нгуен Динь Тхи (род. в 1924 г.), в центре внимания которого всегда находились боец, его возлюбленная, разлуки и встречи военных лет. И совершенно иной настрой в стихотворении Нгуен Динь Тхи «Почему?». На вопрос иностранки, почему так упорно воюют вьетнамцы, поэт отвечает:

— Потому что мы любим нашу родную
землю так,
Как вы любите свою дочь.
Потому что двадцать пять лет
Рисовые поля, реки и море, небо и облака,
Каждый прожитый нами день
Принадлежат нам.

В связи с этим у других критиков возникло вполне резонное возражение — в стихах Те Лан Виена, Нгуен Динь Тхи, Хоан Чунг Тхонга (можно продолжить это перечисление) философичность сочетается с яркой эмоциональностью, особой образностью, что создает новый сплав, приводит к новому художественному качеству. Несомненно, эти поиски продиктованы стремлением преодолеть фрагментарность, постичь глубинную сущность явлений, воссоздать всеохватный лирический образ эпохи, народа. Этому способствует и осознание места Вьетнама и его культуры в революционном движении эпохи, и интерес к художественным достижениям мировой литературы, социалистических литератур.

Отсюда усиление медитативной лирики, афористичности, тяготение к стихотворению-мысли и к жанру поэмы. К этому жанру обращается Те Хань (род. в 1921 г.), поэт тонкого лирического дарования, его стихи отмечены душевной теплотой, стремлением передать сокровенные чувства и думы вьетнамских патриотов. Романтический настрой проявляется и в том, что образы, связанные с дорогой, морем, речными просторами,— излюбленные в его поэзии (сборник «До конца песни», 1970). В поэме «Тхакба» (1972) — сплав лирики и эпики, здесь тоже возникают картины могучих горных рек и водопадов («Река Тяй рассказывает нам языком грохочущих водопадов»), оживают легенды — воплощение глубокого чувства связи с историей родины — многонационального Вьетнама, но все это не заслоняет нарисованный с размахом, масштабно образ многонационального народа-строителя, в тяжелую военную годину поднявшегося в едином порыве для того, чтобы преобразовать родной край — построить плотину и гидростанцию Тхакба (они создавались, кстати, с помощью Советского Союза). Идея интернационализма, идея дружбы народов Вьетнама получает у Те Ханя поэтическое воплощение.

Ныне литература Вьетнама развивается как многонациональная, складывающаяся из литератур, создаваемых собственно вьетнамцами (кинями, или вьетами) и малыми народностями страны, большинство которых до последнего времени были бесписьменными. На основе собственных фольклорных традиций и усвоения традиций литературы вьетов у народностей ДРВ формируется прежде всего современная поэзия, явно опережающая прозу. Получило широкое признание во всей стране самобытное творчество Бан Тай Доана (народность зао), Нонг Куок Тяна (народность таи), Кам Биеу (народность тхай), Выонг Аня (народность мыонг) и других.

Справедливо говорят об особом месте, которое занимает поэзия в духовной жизни Вьетнама. Истоки этого явления восходят к классическим традициям культа поэзии: способность слагать стихи рассматривалась как непременное достоинство каждого образованного человека. И сейчас во вьетнамских школах учат детей сочинять стихи. С чтением стихов перед читателями высту-

пают поэты — особенно знамениты поэтические вечера в ханойском Храме литературы. Проводятся читательские конференции, конкурсы на лучшее стихотворение; здесь находит себе применение и наш советский опыт. Литературные и литературоведческие издания, книги стихов покупаются нарасхват — в ДРВ, стране сплошной грамотности, тяга к художественному слову поистине огромна. Во Вьетнаме стихи не только любят, но и пишут все — не обязательно для печати. Пишут «на случай», на память другу или любимой, пишут для стенгазеты. Руководящие деятели партии и государства ДРВ выступают в качестве профессиональных (То Хыу) или непрофессиональных поэтов (в годы войны выпустили свои стихотворные сборники член Политбюро ЦК ПТВ Ле Дык Тхо, секретарь ЦК ПТВ Суан Тхюи и руководящий деятель ДРВ, выступающий в литературе под псевдонимом Шаунг Хонг — «Красная волна»). Незаурядным поэтом был один из зачинателей вьетнамской революционной публицистики и литературы президент Хо Ши Мин, автор художественно-публицистической книги о советской России «Дневник потерпевшего кораблекрушение» (1930), в которую были включены и стихи, полные искреннего восхищения успехами СССР и симпатии к нашей стране.

В предпоследний год жизни после долгого перерыва («очень, очень давно я стихов не писал») он опять обращается к поэзии («Сегодня берусь за перо — опробую этот металл»):

Ни сигареты, ни чарки вина
целых три года подряд.
Если недуги не мучат меня,
значит, я счастлив, я рад.
Счастлив победами Юга родного,
славно врага громят
Наши друзья, и сплошною весною
мне сияет победный год.

В поэзии ДРВ, как и в творчестве поэтов-патриотов Южного Вьетнама, которые опираются на традиции, выработанные литературой ДРВ, и которым близки идеалы национального освобождения и строительства новой жизни, важнейшей является тема Юга и его борьбы. В борьбе за свободу и независимость отдали жизнь деятели молодой литературы Республики Южный Вьетнам (РЮВ) — поэт Ле Ань Суан, прозаики Нгуен Тхи, Нгуен Тхи Минь Хыонг.

Вьетнамская поэзия шагнула в мирные дни своего народа, вьетнамские поэты исполнены чувством ответственности перед обществом, которое автор «Мыслей о поэте» выразил так:

Пусть люди любят меня
Не как винодела,
А как землекопа, который вырыл колодец.
Вино не утолит
Ничьей жажды.
Вода из колодца жизни
Часто пьянит людей...

◆

Отклики, встречи, впечатления

Т. МОТЫЛЕВА

«ДЕЙСТВОВАТЬ — ЗНАЧИТ УБЕЖДАТЬ НЕУБЕЖДЕННЫХ»

Столетие А. Барбюса во Франции

Весной и летом в погожие дни перед книжными магазинами Парижа устанавливаются широкие прилавки: можно перелистывать книги, даже не входя в помещение. Тут находишь много любопытного. Роскошные альбомы художественных репродукций. Биографии современных политических деятелей (дорогостоящие) и деятелей, сошедших с политической сцены (уцененные). Туристические пособия и путеводители — они пользуются спросом в сезон отпусков. Большой выбор новинок художественной литературы (например, роман Жана Карьера «Ястреб из Маё», отмеченный Гонкуровской премией). Множество недорогих карманных изданий «Ливр де пош», самых разнообразных — и классическая серия, и полицейская серия, Бальзак соседствует с Агатой Кристи, а «Игрок» Достоевского — с «Мегрэ в Нью-Йорке» Сименона. И всюду среди карманных книжек много романов Колетт, переизданных совсем недавно: «Шери», «Митсу», «Сидо». Почему именно Колетт? Книги одаренной беллетристки, умевшей живо и наблюдательно, «изнутри», описывать буржуазный быт, пользуются неизменным спросом, вдобавок Колетт в текущем году — юбиляр, в январе исполнилось сто лет со дня ее рождения; эта дата была широко отмечена печатью, и еще несколько месяцев спустя по всему Парижу красовались афиши с ее портретом, извещавшие, что в Национальной библиотеке открыта выставка, посвященная ее памяти.

Но разве одна лишь Колетт — юбиляр 1973 года? Ведь мы, делегация советских литераторов, приехали в Париж на совсем другой юбилей. 17 мая исполнилось сто лет со дня рождения Анри Барбюса. К этой дате в Москве был переиздан роман «Огонь» — сто тысяч разошлись мгновенно,— прошли вечера памяти писателя, опубликованы статьи во всех центральных газетах. А во Франции?

Я обошла десятка полтора книжных магазинов, от авеню Опера до закоулков Латинского квартала. Книг Барбюса не было видно ни на прилавках, ни на полках. Я стала спрашивать и услышала ответы: «Барбюс? Нет, ничего нет». «Барбюс? Ах да, «Огонь», сейчас поищу, мадам. Где-то еще остались экземпляры старого издания».— «А сейчас, к столетию со дня рождения Барбюса, разве ничего не появилось?» Позже я узнала, что «Огонь» вышел новым, карманным изданием, но в продаже этой книги не нашлось — может быть, она еще не успела поступить на прилавки. В одном из магазинов продавец, спустившись в подвальный этаж, принес тонкую книжечку, роман Барбюса «Ад», недавно вышедший в «Ливр де пош»: «Вот, мадам, оказывается, остался еще один экземпляр». Значит, публика заинтересовалась романом и покупает его. Но хозяева книжного рынка, судя по всему, не проявили большого внимания к этому литературному юбилею.

Нельзя сказать, что буржуазная печать вовсе обошла молчанием памятную дату. В газете «Монд» появилась 17 мая большая статья Поля Мореля под заголовком: «Сто лет назад родился Анри Барбюс, наиболее несправедливо непризнанный из наших современников». Почему непризнанный? Оказывается, по трем причинам. Во-первых,

успех романа «Огонь» в свое время, после первой мировой войны, был столь триумфален, что впоследствии стал «казаться конъюнктурным» (казаться — кому?—**Т. М.**). Во-вторых, Барбюс «безоговорочно поддерживал дело коммунизма и Советский Союз» (вот это, видимо, главное! — **Т. М.**). И, в третьих, он умер в 1935 году — еще до того, как силы коммунизма, благодаря Народному фронту и Сопротивлению, стали играть активную роль в истории Франции.

Поль Морель вроде бы хочет восстановить справедливость. Но каким образом? Деятельность Барбюса как революционного писателя, борца против империализма вовсе им игнорируется. Доказательство силы и своеобразия Барбюса критик видит в его сравнительно раннем романе «Ад» (1908) — том самом, который недавно переиздан. Здесь есть и детализированные описания вещей, своего рода замедленная съемка, предваряющая некоторые приемы «нового романа», есть и повышенное внимание к сексуальной сфере, есть в то же время и интенсивнейшее чувство отвращения к окружающему миру — именно этим, по мысли Мореля, Барбюс «современен». Спору нет, Барбюс как художник всегда был склонен к экспериментам, к исканию нового и остро реагировал на пороки буржуазного общества. Но автор «Огня» подан в статье как предшественник Роб-Грийе, Сартра и Селина — надо же до такого додуматься! Критик поднимает на щит слабые стороны романа «Ад» и проходит мимо тех социальных, бунтарских мотивов, которые в нем заключены.

Франция трудовая, демократическая начала отмечать столетие со дня рождения Барбюса за несколько дней до памятной даты. Главной действующей силой тут была Республиканская Ассоциация бывших фронтовиков (АРАК —Association Républicaine des Anciens Combattants), основанная автором «Огня» в 1917 году.

В воскресенье 13 мая АРАК вместе с «Обществом друзей Анри Барбюса» — во главе которого стоит известный литератор и публицист Пьер Параф — организовала многотысячный митинг в Аррасе, неподалеку от тех мест, где когда-то сражался писатель-воин и будущие герои его романа. Жак Дюкло опубликовал в «Юманите» статью, где приветствовал это собрание и напомнил, как велико значение Барбюса, «поборника всех благородных дел», для современного прогрессивного человечества. В следующее воскресенье, 20 мая, была устроена другая встреча в честь юбиляра — в его родном городе Аньере. Этот город имеет право гордиться своей историей: в нем когда-то располагались аванпосты Парижской коммуны, а в дни гитлеровской оккупации он стал одним из центров Сопротивления и был награжден после войны Военным крестом. Утром 20 мая бывшие фронтовики при орденах, с трехцветными знаменами собрались около дома с мраморной доской — «Здесь родился 17 мая 1873 года писатель Анри Барбюс, автор «Огня», великий патриот и защитник мира» — и прошли сомкнутым строем на городскую площадь; с сильным и страстным словом обратился к публике Андре Турне, председатель АРАК, депутат Национального собрания от Южных Пиренеев. «Эта весна 1973 года,— сказал он,— принесла с собой подлинное возрождение несравненного писателя правды... Писатель, поэт, солдат войны, солдат мира, исколесивший много стран во имя угнетенных наций и рас, одушевленный горячей любовью к человеку, займет одно из первых мест среди тех, кто несет в себе величие Франции...» От имени зарубежных гостей на митинге выступил советский исследователь Барбюса, участник Великой Отечественной войны Ф. Наркирьер. Его речь, произнесенная с искренним волнением, на отличном французском языке, вызвала живой отклик среди собравшихся.

Вечера, заседания памяти Барбюса были проведены — и до и после юбилейной даты — в школах, библиотеках, носящих его имя, в городах, где его именем названы улицы и площади.

18 и 19 мая в Париже состоялся научный коллоквиум, посвященный жизни и творчеству Барбюса. Это было собрание по-настоящему представительное, объединившее французских ученых разных поколений, исследователей из стран социалистического мира, а также из США, Канады, Швейцарии. Работа проходила в Зале Медичи Люксембургского дворца — великолепного старинного здания, принадлежащего французскому сенату: о помещении позаботились сенаторы-коммунисты Жак Дюкло и Жорж Коньо, личные друзья Барбюса,— оба они были в числе докладчиков и сами внимательнейшим образом слушали все доклады. В почетный комитет вошло много видных деятелей культуры — писатели Луи Арагон, Жан Геенно, президент Международной ассоциации литературных критиков Ив Гандон, лауреат Нобелевской премии Мира Рене Кассен, искусствовед академик Морис Бомон, профессора-литературоведы Мишель Декоден (Новая Сорбонна), Анри Митеран (университет Венсенн), Свен Стеллинг-Мишо (Женевский университет). Ко всеобщему сожалению, в собрании не смогла участвовать из-за тяжелой болезни Аннет Видаль, верная помощница Барбюса, автор широко известной книги «Анри Барбюс, солдат мира».

Собрание было организовано очень продуманно. Повестка дня строилась таким образом, чтобы каждый из этапов жизненного и творческого пути Барбюса мог быть представлен комплексно, под разными углами зрения: среди докладчиков были историки, лингвисты, литературоведы разных специальностей, политические деятели — соратники Барбюса, свидетели его жизни. Темы докладов были сгруппированы в хронологическом порядке, и иной раз возникали любопытные переклички, ораторы из

Т. МОТЫЛЕВА
«ДЕЙСТВОВАТЬ — ЗНАЧИТ УБЕЖДАТЬ НЕУБЕЖДЕННЫХ»

разных стран дополняли друг друга: о преемственных связях Барбюса с Золя говорили румынский ученый Ион Браэску и немецкая исследовательница Рита Шобер (ГДР); художественное своеобразие и стиль «Огня» по-разному раскрылись в докладах Анри Миттерана, Пьера ван Рюттена (Канада) и Белы Кёпеци (Венгрия). Все выступления укладывались в жесткий пятнадцатиминутный регламент: за этим неусыпно следили сменявшиеся председатели (в особенности председательствовавший на последнем заседании Пьер Абраам, старый друг Барбюса, руководитель журнала «Эроп», исполнявший свои обязанности с присущей ему душевной теплотой и юмором). Таким образом сберегалось время и для реплик, ответов на вопросы. Один из докладчиков, Жан Альбертини, писал потом в «Юманите»: «Исследователи, коммунисты и некоммунисты, в равной мере способствовали тому, чтобы показать жизнь и творчество Барбюса в разнообразном, подчас спорном освещении, тем более живом и научном именно благодаря тому, что иконописный подход к материалу был оставлен на вешалке вместе с верхней одеждой; прения в конце заседаний, по необходимости очень краткие, были насыщенными и обогащающими»[1].

Тема «Барбюс и Советский Союз» прозвучала с самого начала: Ф. Наркирьер передал участникам собрания привет Союза писателей СССР и Академии наук СССР, почетным членом которой был Анри Барбюс. Он сообщил, что сочинения писателя изданы в нашей стране общим тиражом в 3600 тыс. экземпляров на 24 языках. (Вероятно, советские издания, включая и те, которые вышли в национальных республиках, занимают немалое место в той статистике «Огня», которую привел позднее в своем докладе о литературной судьбе этого романа известный французский знаток Барбюса Жак Мейер: «Огонь» переведен в общей сложности на 60 иностранных языков.)

Член советской делегации Андрей Вознесенский включился в разговор о Барбюсе на свой поэтический лад, прочитав стихотворение «Гойя», где образ великого художника встает как символ искусства, протестующего против войны. А. Вознесенский сказал краткое слово о Барбюсе: это имя связано для нас с понятием «борьба», голос Барбюса звучит всюду, где идет борьба против несправедливости, военной агрессии, против всего, что угнетает человека... Это выступление внесло в научное заседание живую эмоциональную ноту.

Несколько дней спустя имя Вознесенского попало во французскую печать по неожиданному поводу. В Национальном собрании шли бурные прения по вопросам культурной политики — представители правых партий попытались использовать их для нападок на Советский Союз. Депутат-коммунист Ролан Леруа тут же, экспромтом, резко возразил им. Советская литература, сказал он, интересует этих господ только тогда, когда они пытаются найти в ней пищу для антисоветской пропаганды, а во всех остальных случаях она их вовсе не интересует. Еще не так давно и у Евтушенко, и у Вознесенского находились во Франции непрошеные «защитники», а теперь? «Никто из вас теперь ни слова не говорит о Вознесенском. А знаете ли, где он сегодня? Он в Париже»[1]. Так имя советского поэта нечаянно оказалось в орбите острых политических столкновений.

Вернемся к коллоквиуму в Люксембургском дворце. Каждый из докладов — а было их около сорока — вносил в изучение Барбюса нечто новое: материалы, документы, свидетельства, наблюдения. Более отчетливой стала картина формирования автора «Огня» как человека и писателя. Коллективными усилиями была показана логика внутреннего движения Барбюса от смутной душевной тревоги, минорных настроений, выраженных в его первых книгах, к разрыву с буржуазным миром в итоге глубокой встряски военных лет, к тому духу протеста, которым проникнуты «Огонь» и «Ясность».

Мишель Декоден, тонко, с большим изяществом проанализировавший стихи молодого Барбюса, пришел к выводу: их автор отказывается «укрываться в мечте», он ищет выхода в самой действительности. В докладе Мадлен Ребериу (Франция) было выяснено место Барбюса среди французской интеллигенции его поколения перед первой мировой войной. Будущий создатель «Огня», не входя в радикальные писательские группировки, был глубоко затронут идейным брожением, нараставшим в кругу его литературных сверстников. Занимая, казалось бы, вполне прочное, благополучное положение в издательской и журналистской среде Третьей республики, он по-своему реагировал на кризис буржуазной культуры. В ту пору многие чувствовали, что в мире готовятся большие события, перемены. Подобные мысли, пусть в неясной форме, назревали перед войной и у Барбюса.

Доклад гостя из США Альберта Дж. Сельвена, профессора университета Браун, был посвящен сравнительному анализу «Ада» Барбюса и «Тошноты» Сартра. Из доклада следовало, что общность между обоими произведениями прежде всего — в остром критицизме, неприятии мещанской реальности, вместе с тем и в трагическом одиночестве героя. А в чем коренное несходство? Докладчик не сказал об этом достаточно ясно. Однако и его анализ наталкивал на вывод, что идея барбюсовского «Ада» никак не сводится к тотальному нигилизму: герой-поэт хочет жить, ищет смысла жизни в творчестве. В другой связи, уже на второй день, это произведение было затронуто в докладе Андре Пиччола (Франция) «Барбюс и колониальный вопрос». В романе «Ад» устами одного из персонажей высказан резкий протест против идеологии национализма, расизма, разъединяющего народы. Так обнаруживается

[1] "L'Humanité", 22.V.1973.

[1] "L'Humanité", 24.V.1973.

связь между ранней прозой Барбюса и страницами лирического романа «Взлет» (1930), проникнутыми страстным сочувствием угнетенным народам Азии и Африки, и антиимпериалистической публицистикой писателя.

Перелом в сознании и творчестве Барбюса, происшедший в годы войны, был подготовлен его опытом, размышлениями, поисками предвоенных лет — но все же это был перелом, и главное, что Барбюсом создано, возникло именно в результате этого перелома. И вполне естественно, что именно деятельность его, как писателя революционного, оказалась в центре внимания.

Французский поэт Жан Марсенак процитировал дарственную надпись, которую сделал Поль Элюар на своем первом сборнике стихов, посланном им автору «Огня»: **«Анри Барбюсу, написавшему самую полезную книгу на свете».** Это — одно из многих свидетельств того, каким моральным авторитетом стал пользоваться Барбюс после войны. Его как бы естественное предназначение было в том, чтобы стать организатором сил передовой интеллигенции.

Этот аспект жизни Барбюса был освещен в ряде докладов. Но мне тут хочется поделиться и некоторыми личными соображениями.

Анри Барбюс и Ромен Роллан: эти имена часто называют вместе. В годы всемирного империалистического побоища оба они мужественно подняли голос протеста, каждый на свой лад. Роллан одним из первых отозвался на выход романа «Огонь» щедрой, идущей из глубин сердца писательской похвалой,— они встретились после войны как друзья, это не могло быть иначе. И почти сразу же между ними стали нарастать разногласия, приведшие к затяжному идейному конфликту, сначала подспудному, а затем и открытому. Роллан не вступил в группу «Кларте», созданную Барбюсом: он поддерживал ее на первых порах, а затем от нее отдалился. Где истоки этого конфликта?

Как известно, «Дневник военных лет» Ромена Роллана хранится в виде огромной рукописи в Библиотеке им. В. И. Ленина. По-французски «Дневник» опубликован объемистой книгой, но все же с большими сокращениями — много интересных страниц осталось пока под спудом.

По «Дневнику» можно проследить ход споров между обоими писателями, которые сопутствовали рождению «Кларте». В ходе этих споров есть нечто парадоксальное. Роллан, казалось бы, был по натуре человеком более мягким, терпимым к чужим мнениям, чем Барбюс. Однако именно Роллан не хотел, чтобы «Кларте» стала массовой организацией. И ни в коем случае не хотел состоять в одной группе с людьми, которые во время войны поддавались шовинистическому поветрию (как это было, например, с Анатолем Франсом). Во всем этом сказывался и моральный ригоризм Роллана, и индивидуалистический склад его мышления.

В печатном тексте «Дневника» говорится, что Роллан 17 июня 1919 года получил письмо от Барбюса — и не согласился с ним. Это письмо приведено в рукописи «Дневника». В нем обосновывается мысль, крайне дорогая Барбюсу,— необходимость широкого, широчайшего объединения людей умственного труда. Комитет «Кларте», говорит Барбюс, будет руководить всей работой, выпускать журнал. «Члены, число которых мы не ограничиваем, составят нашу публику... Чем их будет больше, тем большим успехом увенчаются наши усилия. Надо пожелать, чтобы их число становилось все более значительным... Мы хотим выйти из стадии теоретизирования и творить практические дела. Для нас **действовать — значит убеждать неубежденных.** Если среди наших приверженцев и будут личности, поведение которых в прошлом не было безупречным... само их присоединение к нам будет означать, что они осуждают свою прежнюю позицию». (Публикуется впервые. Подчеркнуто мною.— **Т. М.**).

Этот документ представляется мне очень важным. Барбюс после войны хотел действовать, убеждать, бороться за прочный мир на земле и в более дальней перспективе — за революционное преобразование общества. Он видел в этом свой долг перед товарищами-фронтовиками, перед памятью погибших — да и перед самим собой. Ему хотелось сплотить во имя правого дела как можно больше людей — опираться не только на интеллектуальную или моральную элиту, но и на значительные круги интеллигенции.

Конечно, был свой резон и в доводах Роллана: «Нельзя построить Град будущего, привлекая весь Париж»[1]. Пестрота состава «Кларте», как впоследствии показала практика, таила в себе свои опасности. Однако Барбюс считал необходимым работать не только с единомышленниками, но и с инакомыслящими, как бы это ни было хлопотно и сложно. Он тем самым брал на себя немалый риск, открыто шел навстречу трудностям — но и надеялся, что многие разногласия, которые неминуемо возникнут внутри группы «Кларте», можно будет устранить или по крайней мере смягчить в ходе совместной работы.

Принцип, выдвинутый Барбюсом и страстно им отстаиваемый — объединять людей **разных** взглядов во имя **общих** целей,— оказался в конечном счете исторически плодотворным, он оправдал себя и в последующем развитии антивоенного, антифашистского движения и во Франции, и в международном масштабе. Актуальность духовного наследия Барбюса именно в этом плане сегодня совершенно очевидна. На коллоквиуме было сказано много верного о заслугах Барбюса именно как собирателя, объединителя прогрессивных сил; ораторы

[1] Romain Rolland. Journal des années de guerre. Paris, 1952, p. 1831.

Т. МОТЫЛЕВА

«ДЕЙСТВОВАТЬ — ЗНАЧИТ УБЕЖДАТЬ НЕУБЕЖДЕННЫХ»

цитировали его призыв: **«Все делать для объединения, ничего — для разъединения!»**

Понятно в этой связи принципиальное значение тех разногласий, которыми сопровождалось возникновение группы «Кларте». Однако Барбюсу бывало подчас нелегко отстоять в «Кларте» свою линию,— и он, как лидер группы, не всегда мог избежать промахов и просчетов.

Известная дискуссия в печати между Ролланом и Барбюсом, в которой приняли участие и другие писатели разных стран, была проанализирована, серьезно и с верных позиций, в докладе Жана Альбертини «Барбюс и Роллан: спор 1921—1922 гг. в свете того, что за ним последовало». Предметом этого спора были острейшие вопросы: революционное действие и революционное насилие, общественный долг деятелей культуры. Роллан смутно сознавал, с какими великими трудностями будет сопряжена борьба за социализм; Барбюс, возражая ему, иногда прибегал к упрощенным, слишком категорическим формулировкам. Но большая историческая правда все же была на стороне Барбюса — и Роллан впоследствии принял эту правду. Оба писателя и после дискуссии, не только в 30-е годы, но, как показал Альбергини, и раньше, в течение 20-х, выступали совместно против империализма, фашизма, колониального гнета.

О Барбюсе как собирателе передовых сил литературы говорил Ф. Наркирьер, вводя в обиход новые факты. Его доклад дал представление о тех препятствиях, на которые наталкивался в своей работе Барбюс. Известное письмо В. И. Ленина группе «Кларте» от 15 ноября 1922 года было впервые напечатано только в 1925 году — почему? Как выяснил советский исследователь, «левые» экстремисты, действовавшие в журнале «Кларте», положили это письмо под сукно и долгое время скрывали его от Барбюса. Только после смерти В. И. Ленина оно увидело свет.

Этот факт сам по себе дает представление о той напряженной обстановке, в которой жил и действовал Барбюс. Внутри «Кларте» были люди которые — задолго до того, как они стали прямыми врагами коммунизма,— вели дезорганизационную работу. Во время спора Барбюса с Ролланом и «ролландистами» эти люди как могли подливали масла в огонь. А затем, пользуясь занятостью Барбюса, его частыми отъездами, стали выживать из «Кларте» и его самого.

Уже после коллоквиума мне удалось в парижской Национальной библиотеке просмотреть комплект «Кларте» за несколько лет (в наших книгохранилищах он представлен далеко не полностью). Вначале это был единственный в своем роде интернациональный революционный литературный журнал — он сыграл немалую историческую роль. Но в 1922—1923 гг. его направление начало меняться. Ультралевые авантюристы, оттолкнув Роллана, повели кампанию против Анатоля Франса. В номере от 1.XI.1923 года помещена статья Троцкого — в свое время скандально известная,— где отрицалась способность пролетариата создать свою культуру. И тут же рядом — статья, подписанная Ивлин Рой: «Махатма Ганди—революционер или контрреволюционер?». Статья содержит резкие нападки и на Ганди, и на «бесплодный интеллектуализм» западных деятелей, которые его «колонизируют», тут рядом с Роменом Ролланом назван и Барбюс. Так острие экстремистской травли повернулось и против основателя «Кларте».

Судьба Барбюса полна драматизма: в сущности, он — с момента выхода «Огня»— непрерывно находился под идеологическим обстрелом. Сколь бы ни был велик международный успех его романа, увенчанного Гонкуровской премией за 1916 год, Барбюс сразу стал одиозной фигурой для реакционеров (интересные данные о борьбе мнений вокруг «Огня» приводит Катрин Клод в обстоятельном исследовании о лауреатах французских литературных премий, напечатанном в «Нувель критик» за май 1973 года). А потом, вступив на путь революционной общественной деятельности, Барбюс то и дело подвергался нападкам со стороны разнообразных идейных противников то «справа», то «слева» (любопытные факты о тех кампаниях против Барбюса, которые вели иные неистовые ревнители литературного «авангарда», а также ультралевые политические силы, сообщила молодая исследовательница Николь Расин).

И в то же время есть основание сказать, что у Барбюса — который провел последние десятилетия своей жизни в напряженнейшем труде, поисках, конфликтах — была счастливая судьба. Он действовал в полном соответствии со своими убеждениями, он знал, что к его голосу прислушиваются многие, к нему тяготел широкий круг друзей, соратников. Образ Барбюса — революционера, общественного деятеля — вставал перед участниками коллоквиума с разных сторон. Специальную, очень важную тему осветил видный деятель ФКП, руководитель Института имени Тореза, Жорж Коньо: он рассказал о связях Барбюса с работниками народного просвещения. Барбюс утверждал, что труд воспитателя сродни писательскому труду. Он участвовал в конгрессах учителей, защищал на страницах редактируемых им журналов их профессиональные права. И призывал учителей, как и другие отряды интеллигенции, бороться за социальный прогресс совместно с рабочим классом.

...Когда я вместе с другими участниками коллоквиума — уже после окончания его работ — побывала на кладбище Пер-Лашез, постояла в молчании перед могилой Барбюса, мне пришло в голову: он и здесь окружен друзьями, единомышленниками. В одном ряду — могилы Марселя Кашена, Мориса Тореза, Пьера Семара, Гастона Монмуссо, тех, кем по праву гордится авангард французского пролетариата. И тут же похоронены Анри Барбюс, Поль Элюар, Поль Вайян-Кутюрье — писатели-коммунисты. Они — рядом с руководителями своей пар-

тии после смерти, как были при жизни. Французская компартия за полвека с лишним своего существования вовлекла в свои ряды многих видных деятелей литературы и искусства: Барбюс был первым, старшим среди них.

С живым вниманием была выслушана всеми собравшимися в зале Медичи темпераментная, богатая фактами речь члена Политбюро ФКП Жака Дюкло, основанная на личных воспоминаниях. «Барбюс,— сказал он,— вошел в мою жизнь как сеятель правды», он оказал решающее влияние на многих рабочих-фронтовиков, помог им найти революционный путь. Дюкло высоко оценил энергию и мастерство Барбюса-публициста, участника идейных сражений с французской и мировой реакцией.

К сожалению, не состоялось (кажется, из-за болезни докладчика) одно из намеченных выступлений: «Барбюс и движение Амстердам — Плейель». Так во Франции называют международное движение против империалистической борьбы и фашизма — по имени Амстердамского антивоенного конгресса 1932 года и антифашистского конгресса 1933 года, состоявшегося в зале Плейель в Париже. Организация и этих и других конгрессов такого же типа, руководство Мировым комитетом борьбы против империалистической войны и фашизма и журналом «Фрон мондиаль» — важная область деятельности Барбюса в последние годы его жизни. Вот тут он осуществлял со всей энергией и страстью свою заветную идею — объединял разных людей во имя общих задач, убеждал тех, кто не убежден... Мне посчастливилось в свое время видеть и слышать Барбюса на одном из таких международных собраний — в Париже, в зале «Мютюалите», в сентябре 1933 года, на конгрессе молодежи против империалистической войны и фашизма, где присутствовала советская делегация, возглавлявшаяся Александром Косаревым. Я рассказала об этом в краткой статье, опубликованной к юбилею Барбюса на французском языке в советском журнале «Произведения и мнения». А в Люксембургском дворце незнакомая француженка окликнула меня по имени: «Ты меня помнишь? Я Ивонна Пло, мы виделись сорок лет назад на конгрессе молодежи».

Ивонна Пло, как не помнить! На конгрессе 1933 года эта тоненькая большеглазая девушка была одним из лидеров тех молодых сторонников мира, которые по призыву Барбюса вступили в сотрудничество с коммунистами, включились в движение против империалистической войны. Тогда, в течение нескольких дней, у меня была возможность наблюдать вблизи, как нелегко, не без трений, налаживалось это сотрудничество... Теперь Ивонна Пло давно уже коммунистка, награждена орденами Французской Республики за участие в Сопротивлении, преподает математику, активно участвует в работе общества «Франция — СССР». Я была рада встрече с французской сверстницей — одной из тех, чья молодость была озарена вдохновляющим влиянием Барбюса.

Авторитет Барбюса как общественного деятеля был тесно связан с его заслугами как писателя. Он жил единой нераздельной жизнью и как художник, и как борец — об этом не раз говорили в ходе международной встречи. И естественно, что немалое место в программе заседаний занял анализ его литературного творчества.

Тут были свои пробелы, к сожалению. Стоило бы поговорить о новеллистике Барбюса, отмеченной сюжетной напряженностью, остротой психологических ситуаций, стоило бы разобрать и его романы «Взлет», «Звенья» — это вещи художественно неровные, но и там есть сильные страницы. Сжатый регламент двухдневного собрания не давал возможности рассмотреть наследие писателя всесторонне. Но его главная книга «Огонь» была проанализирована пристально и всерьез.

Всемирная слава, которая пришла к Барбюсу благодаря этой книге, в свое время была неожиданностью для многих. Литератор, известный до войны лишь сравнительно узкому кругу соотечественников, создал роман, который жадно читался сотнями тысяч, если не миллионами, людей в разных странах. Конечно, «Огонь» завоевал признание прежде всего темой, материалом, беспощадной правдой войны. Но **как** удалось Барбюсу переплавить эту правду в произведение искусства? Это вопрос не праздный, более того — вопрос принципиальный. Об этом нам напомнила в связи с юбилеем статья газеты «Монд», построенная по той же испытанной методике, по какой строилось на протяжении многих десятилетий немало других подобных же статей: Горький был-де хорошим писателем только **до** того, как написал «Мать», Бехер — **до** того, как написал поэму «У могилы Ленина», Арагон — **до** того, как стал работать над циклом «Реальный мир», и т. д. и т. д. (Подтекст подобных утверждений — стародавнее общее место буржуазной критики: революционная идейность идет, мол, во вред таланту...)

Об «Огне» написано немало и у нас, и за рубежом. Доклады, сделанные на коллоквиуме, подкрепили новым материалом вывод, который складывается в течение ряда лет, в ходе коллективной исследовательской работы. Роман «Огонь», с его непритязательным подзаголовком «Дневник одного взвода», с его, казалось бы, фрагментарной, мозаичной композицией,— не фронтовая хроника, не вещь очеркового характера: в критике высказывались и такие мнения, но они неверны. «Огонь» — произведение цельное, новаторское по своей структуре, явление сложного и оригинального мастерства.

И тут пора сказать доброе слово о Жане Реленже, преподавателе университета в

Т. МОТЫЛЕВА
«ДЕЙСТВОВАТЬ — ЗНАЧИТ УБЕЖДАТЬ НЕУБЕЖДЕННЫХ»

Реймсе и вдумчивом исследователе Барбюса. Многие из нас, придя в Люксембургский дворец, впервые увидели этого скромного, деятельного человека, с которым раньше были знакомы заочно. В качестве ответственного секретаря юбилейного комитета он проделал громадную работу, чтобы всех нас собрать и подготовить нашу встречу; его организованность, такт, преданность делу все время чувствовались в течение заседаний. Жан Реленже не включился в серию докладов об «Огне», но давно уже внес весомый вклад в изучение этого романа.

...В 1916 году, когда «Огонь» только появился, молодой литератор Раймон Лефевр (ставший потом членом Комитета за присоединение к III Интернационалу и безвременно погибший в 1920 году) в заметках, опубликованных после его смерти, определил «Огонь» как «демократическую эпопею». Тезис об эпопейной природе «Огня» разработан, обоснован в большом исследовательском этюде Жана Реленже. Эта природа повествования сказывается прежде всего в том, что главный его герой — не отдельное лицо, а солдатский коллектив, за «одним взводом» стоит весь трудовой народ, вся Франция и даже все человечество, находящееся на крутом историческом переломе. Дух эпопеи здесь вместе с тем — в масштабности действия: из грубой прозы военных буден вырастет поэзия высоких чувств, сильных человеческих переживаний — частное, индивидуальное вливается в общенародное. «Эпическое дыхание возникает особенно в последних главах — все, что им предшествовало, поднимает их на высший уровень эмоционального напряжения. Перечитаем описание атаки в главе «Огонь»: Анри Барбюс обнаруживает здесь необычный эпический талант. Он умеет привести в движение солдатскую толпу и в ее общем безумном порыве, и во всем многообразии поведения отдельных людей... Он вместе с тем умеет приобщать и природу, и стихии к чудовищному человеческому страданию»[1].

В ряде докладов об «Огне» проявилась общая плодотворная тенденция — рассматривать эпическое мастерство Барбюса в единстве идей и стиля. Интересны были, в частности, наблюдения Б. Кёпеци над тем, как в самом языковом строе «Огня» сказывается устремленность мысли писателя в будущее, пафос революционного переустройства мира.

Автору этих строк было дано слово для доклада «Барбюс и Толстой». Сопоставительный анализ «Огня» с «Войной и миром» — произведением, которое французский писатель хорошо знал и любил,— дает возможность проследить и связь «Огня» с классической реалистической традицией, и то новое, что ему присуще. Опыт автора «Войны и мира» помог Барбюсу преодолеть инерцию приукрашивающих литературно-батальных условностей, показать войну в ее настоящем выражении — как «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие».[1] И помог вместе с тем выдвинуть на первый план эпического действия народную, солдатскую массу как движущую силу истории.

Понятно, сколь многое отделяет автора «Огня» от его гениального русского предшественника. У Барбюса складывается своя, непривычная для литературы прошлого столетия художественная концепция народа. В его романе народная, трудящаяся масса встает как сила, потенциально способная пересоздать мир, установить новый общественный строй, положить конец войнам. Понятно вместе с тем, что единство эпического действия осуществляется у Барбюса без толстовской широты, на сравнительно небольшом плацдарме (тут, естественно, возникает — и оно уже делалось в критической литературе — сопоставление «Огня» с одним из классических произведений советской прозы, «Железным потоком» Серафимовича).

В «Войне и мире» ход исторических, военных событий непосредственно направляет судьбы героев, и личное время каждого из них включено в поток исторического времени. У Барбюса трактовка художественного времени иная. Ход военных действий, передвижения армии — все это для романиста несущественно. На фронте время как бы остановилось, солдатам кажется, что нет конца-края ненавистной войне... Однако в романе есть связный сюжет, есть движение. Оно определяется духовным развитием солдат, пробуждением их протеста. Динамика этого пробуждения прослеживается с высоким психологическим искусством — то один, то другой из персонажей выделяется из общей массы, сосредоточивает в себе, пусть на короткое время, напряжение действия, становится носителем мятежного солдатского сознания. Новаторская сущность романа «Огонь» схвачена известной ленинской формулировкой: **превращение обывателя в революционера.**

Исследователям, наверно, пора более внимательно присмотреться к тому, как творческий опыт самого автора «Огня» преломился в последующем развитии реалистической литературы. Эрнест Хемингуэй, резко несхожий с Барбюсом по художественным вкусам, по способу письма, тем не менее свидетельствовал (в статье, написанной в 1942 году): «Единственно хорошая книга о войне, которая вышла во время последней войны,— «Огонь» Анри Барбюса. Он первый показал нам, юношам, которые пошли на эту войну прямо из школы или колледжа, что можно протестовать, и не только в стихах, против гигантской бессмысленной бойни... Суть всей книги — протест, отчетливая позиция—в том, что он ненавидел все это»...[2]. Ненависть Барбюса к империализму была выражена, по мнению Хемингуэя, слишком открыто и горячо. Однако приведенные слова Хемингуэя напо-

[1] Jean Relinger. "Le Feu" d'Henri Barbusse; une épopée réaliste? La Pensée, 1963, № 107, p. 103.

[1] Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 3.

[2] Ernest Hemingway. Introduction. In: Men at war. The best war stories of all time. New York, 1955. p. XV.

минают: создатели книг о «потерянном поколении» могли отклоняться от барбюсовского образца как угодно далеко — все же «Огонь» был для них **первой** антивоенной книгой, которую им, еще в юные годы, довелось прочитать. О том, как глубоко волновало это чтение молодых интеллигентов-фронтовиков, рассказал Арнольд Цвейг в своем романе «Возведение на престол»... Иной раз отдельные мотивы или эпизоды из «Огня» возрождались в литературе последующих лет в новых вариациях—даже и без влияния Барбюса. В главе «Стоянка» у Барбюса мимоходом показана деревенская семья: старший сын на фронте, а родители наживаются на продаже продуктов, и им хочется, чтобы война тянулась подольше. Тут как бы первоначальное зерно сюжета брехтовской «Мамаши Кураж».

Тема войны занимает громадное место в искусстве нашего столетия. «Огонь» Барбюса — книга, которая находится у истоков не только революционной, антиимпериалистической литературы XX века, но и шире того — новейшей антивоенной литературы в целом. Отблеск «Огня» по-разному виден в сотнях книг, написанных более чем за полстолетия на многих языках народов мира. Мировое значение Барбюса как художника до сих пор еще не оценено по достоинству, не изучено как следует.

Зато о международных связях Барбюса в личном и идейном плане, о тех отзвуках, которые вызывала в разных странах его деятельность, на парижском коллоквиуме было сообщено много нового. Связи Анри Барбюса с прогрессивной немецкой литературой осветили Лионель Ришар (Франция), Жанина Бюэнзо (Швейцария), Манфред Науман (ГДР). Популярность Барбюса в Польше засвидетельствовал писатель Леслав Бартельский. О Барбюсе как защитнике прав народа Македонии говорила Д. Тренчевска (Югославия), об откликах на его творчество в Венгрии — Т. Горилович. О связях Барбюса с передовой болгарской интеллигенцией обстоятельно рассказал известный общественный деятель Димитр Братанов. Кстати сказать, в Болгарии в ознаменование юбилея Барбюса вышло специальное издание — иллюстрированная, богатая содержанием газета на восьми страницах, со статьями или отрывками из книг Георгия Димитрова, Цолы Драгойчевой, крупных писателей и ученых.

Тема «Барбюс и Чехословакия» была разработана в монографии чешского ученого Владимира Бретта «Анри Барбюс, его путь к ясности, его движение «Ясность», вышедшей в Праге десять лет назад на французском языке. В своем докладе на коллоквиуме В. Бретт коснулся развития литературно-эстетических взглядов Барбюса, его роли как одного из основоположников социалистического реализма в литературах Западной Европы.

Взгляд Барбюса на литературу, его деятельность в качестве литературного критика — это еще одна область, которая требует дальнейшего изучения. Его «Статьи о литературе», опубликованные в «Иностранной литературе» № 5, 1973 года,— лишь небольшая часть его обширного литературно-критического наследия. Мысли Барбюса об общественном призвании писателя, об отношении пролетариата к художественному наследию, о перспективах обновления искусства в революционную эпоху—все это и сегодняшнему читателю интересно и важно. (Статьи Барбюса до сих пор не собраны, не изданы отдельной книгой ни на французском, ни на русском языке — и об этом стоит пожалеть.)

...Я побывала перед отъездом в редакции журнала «Эроп», тесной, прокуренной комнатке, заваленной рукописями и книгами, где всегда толпятся посетители и кипит работа. Руководители журнала, Пьер Абраам и Пьер Гамарра, уже начали собирать и готовить к печати доклады участников международной встречи — предполагается выпустить специальный «барбюсовский» номер «Эроп». Однако о Барбюсе еще есть что сказать исследователям. Его жизнь и борьба важны, интересны нам, людям 1973 года,— об этом хорошо говорил Жан Реленже, подводя итоги двухдневного собрания. Барбюс был первым деятелем культуры во Франции XX века, который нашел путь к рабочему классу,— он помог и Ромену Роллану, и Арагону, и другим собратьям по перу обрести свое место в социальных битвах времени. Его пример поучителен и для писателей наших дней.

В листовке, выпущенной АРАК к столетию Барбюса, приведены его слова: **«Мы, те, кто были тружениками войны, хотим теперь быть беззаветными тружениками мира».** Накануне всемирного конгресса миролюбивых сил заветы писателя-борца приобретают новую значимость для миллионов людей.

Писатель и время

БЕСЕДЫ УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА

Составление, перевод с английского и вступление И. ЛЕВИДОВОЙ

Американский литературовед, профессор университета Джорджии в Атланте, автор работ по современной прозе, преимущественно английской, на протяжении нескольких месяцев встречался со своим хорошим знакомым и вел с ним неторопливые философические беседы: о литературе и политике, о войне и уроках истории, о судьбе человека в современном мире, об искусстве и о многом другом. Профессор больше расспрашивал, собеседник больше отвечал. Имя профессора — Джек Байлс, его знакомый — Уильям Голдинг, английский романист, один из значительнейших западноевропейских прозаиков нашего времени. На русском языке появились произведения Голдинга: его первый и поныне наиболее известный роман «Повелитель мух» (1954) и «Шпиль» (1964), напечатанный в «Иностранной литературе» в 1968 году (№ 10). В том же номере журнала была опубликована статья А. Елистратовой, посвященная сложному творчеству этого писателя, тяготеющего — в отличие от большинства своих соотечественников — к жанру философского романа-притчи, романа-аллегории [1]. Уильяму Голдингу было уже за сорок, когда он, в прошлом преподаватель английской литературы, в годы войны — офицер морского флота, выступил со своей первой книгой, которая была встречена с необыкновенным интересом читателями и критикой. Вслед за «Повелителем мух» стали появляться другие его романы. В беседах с Байлсом Голдинг касается своих книг «Наследники» (1955), «Воришка Мартин» (1956), «Свободное падение» (1959); в 1967 году опубликована «Пирамида» — произведение несколько нового для Голдинга плана, социально-психологический роман, действие которого происходит в английской провинции.

Разговоры Байлса и Голдинга записывались на пленку, и то, что получилось в результате, Байлс издал отдельной книжкой, которая так и называется: «Беседа. Разговоры с Уильямом Голдингом»; сам Голдинг написал предисловие к ней.

Это небольшая книжка, состоящая из девятнадцати главок: каждая из них посвящена определенной теме, но, как во всякой свободной и обстоятельной беседе, часто возникают отступления, ассоциативные связи. Автор — составитель книги, он же интервьюер (а Байлс в данном случае, разумеется, не столько собеседник, сколько интервьюер) — дал этим главам свои названия.

Несколько главок публикуются ниже полностью, несколько — частично, в том же порядке, в каком они расположены в книге.

Для всех, кто знает усложненную, интенсивную и вместе с тем холодновато-рассудочную речь Голдинга-повествователя, помнит мир его книг — достаточно жестокий и построенный с четкостью, несколько дидактической, самый тон бесед с Байлсом представится неожиданным. Перед нами возникает человек, чуждый какой бы то ни было категоричности, у нас «на глазах» размышляющий над своими ответами, не боящийся быть неуверенным и даже противоречивым; человек веселый и удивительно дружелюбный. Говорит он чрезвычайно просто — подчас чуть ли не простецки,— и хотя это весьма «профессиональная», выразительная простота, веришь, что Голдинг руководствуется желанием не только складно

[1] О Голдинге писали также В. Ивашева в «Английских диалогах», М. Зинде в Ученых записках МОПИ им. Крупской. 1970. Том 268, вып. 27.

ответить интервьюеру, но и по возможности точно ответить самому себе. Потому что среди вопросов, которые обсуждают Байлс и Голдинг, есть и те самые «вечные» вопросы, которые человек решает всю жизнь,— они остаются неизменными, меняется сам человек. Меняется и Уильям Голдинг — с годами, с обстоятельствами, с ходом истории, творящейся на его глазах. Происходят сдвиги в его ощущении жизни, в его восприятии человеческой природы — этого он не раз касается в своих беседах. В какой-то мере обнаруживают «мобильность» и политические его взгляды. Определяя по просьбе Байлса свою позицию, Голдинг говорит:

«— По-моему, левее центра.

— Слегка левее? Или основательно?

— Немного левее центра. Мне это самому не нравится, но я отклоняюсь влево. Так мне кажется».

Голдинг считает себя не либералом, а скорее социалистом, хотя и не марксистского толка. Некоторый сдвиг «в сторону оптимизма», который наметился в нем по сравнению с послевоенной порой (именно тогда-то и был написан «Повелитель мух»), писатель связывает с изменением взгляда на организацию общества, на роль общества в жизни и самом формировании личности. Вот откуда и новые оттенки в отношении писателя к самой этой книге, первому опубликованному его роману, который критики столько раз объявляли концентрацией априорно пессимистического взгляда на человека. Для нынешнего Голдинга решающим, роковым обстоятельством, которое привело к моральному одичанию и анархии самых разных и вполне нормальных английских школьников, заброшенных на необитаемый остров, оказывается не тень «первородного греха» в человеческой душе, а отсутствие «упорядоченного общества». Без разумного «традиционного» «порядка вещей», без сдерживающих дурные инстинкты санкций, без социального организма, который способен «интегрировать» даже потенциально опасные стремления личности, направив их на благие цели, мальчики Голдинга (а они существуют в его книге «Повелитель мух» и как аллегория, и как настоящие живые мальчики) оказываются нравственно беспомощными перед злыми стихиями, таящимися в человеческой душе,— властолюбием, стадностью, жестокостью, трусостью...

Художник, поглощенный стремлением исследовать природу и истоки зла и насилия в современном обществе, Голдинг не раз возвращается к этой теме в своих беседах с Байлсом. Неизменными остаются его главные предпосылки: неприятие рационализма как философской основы социального бытия и убежденность в определяющей роли внешних обстоятельств в поведении людей. Эти свои мысли он высказывает настойчиво, резко, с полемическим темпераментом, порой прибегая к подчеркнуто упрощенным формулировкам, которые вызывают желание поспорить. Когда Голдинг говорит в главе «Война как пробуждение»: «То, что творили нацисты, они творили потому, что какие-то определенные заложенные в них возможности, склонности, пороки — называйте это как хотите — оказались высвобожденными, и они — такие же люди, как и мы, в иных обстоятельствах»,— то согласиться с заключительной частью этого рассуждения попросту невозможно. Нет, не каждый способен стать нацистом, охранником концлагеря, палачом. И какое бы место ни отводил Голдинг тени «первородного греха» в душе человека, можно предположить, что в высказываниях подобного рода больше желания растревожить добродетельную самоуспокоенность соотечественников, чем истинной убежденности в том, что зло — вездесуще и обезличено.

А теперь пусть Уильям Голдинг говорит сам — так, как он умеет это делать: с располагающей простотой, с глубокой серьезностью и не лишенным лукавства юмором. Все эти личные свойства писателя ощутимы и в предисловии к изданию его бесед с Байлсом, но здесь они уже явно «олитературены», отлиты в форму характерного английского эссе. Этим предисловием Голдинга мы и открываем публикацию.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Семь-восемь лет назад — я тогда развозил твой товар по различным американским университетам [1] — внезапно мне приоткрылась совершенно неожиданная сторона современной техники. Как-то после очередной лекции меня повели на встречу с преподавателями и студентами факультета. Так как разговор всегда легче чтения лекции, то для меня это была сравнительно спокойная передышка, и чувствовал я себя непринужденно и бодро. Я отвечал на вопросы в состоянии некоторой эйфории — словно участник длительных скачек с препятствиями, который

[1] У Голдинг был приглашен прочесть цикл лекций.

преодолел еще один барьер и уже различает впереди столбик финиша. Я был разговорчив и остроумен — так, во всяком случае, казалось окружающим: они все время смеялись, балансируя своими чашками кофе.

Но вот встреча подошла к концу, и я собирался уже распрощаться, как вдруг в комнату быстро вошел молодой человек; он направился прямо ко мне, не обращая на меня ни малейшего внимания, нагнулся, выхватил из-под стула, с которого я только что встал, магнитофон и снова тут же исчез с ним за дверью. И должен сказать, что в этом эпизоде подействовал на меня угнетающе не сам магнитофон, поскольку я уже привык видеть их на своем пути везде и всюду, но особое выражение лица молодого человека, его владельца. Он был, что называется, при деле. Решительный взгляд, решительно сжатые челюсти, решительная повадка. У него был вид человека, деловито шагающего к реке, чтобы набрать ведро воды. Я не встречал его прежде и ни разу не встретил с тех пор, но не сомневаюсь, что он и теперь продолжает черпать ведрами воду из всевозможных прудов, ручейков, речушек, а иногда, быть может, даже из какой-либо Миссисипи.

Вероятно, время от времени этот молодой человек сталкивается с людьми лицом к лицу, но в тот момент меня посетило кошмарное видение: я представил его опутанным, обкрученным с головы до пят милями поскрипывающей магнитофонной ленты, с которой сползают тусклые следы живого человеческого общения, не представляющие никакой ценности; а если слушатель не был сам участником этой встречи, то все это вообще — пустая трата времени и денег.

Этот молодой человек был сходен с вооруженным фотоаппаратом путешественником, который глядит только в объектив и в итоге накапливает такую уйму снимков, что их и пересмотреть-то некогда, и совершает таким образом недешево обошедшийся двухнедельный вояж, умудрившись ровным счетом ничего не увидеть. Витгенштейн [1] говорит, что в само понятие «содержание» («значение») включается и способ его передачи, а поскольку магнитофонная запись разговора не может показать вам блеск человеческих глаз, жест, выразительно вздернутые плечи, то с подлинной беседой, с общением она соотносится примерно так же, как живой динозавр с окаменелыми отпечатками своих лап. Молодой человек, пытавшийся запечатлеть событие, очевидцем которого сам не был, унес с собой, так сказать, окаменевший отпечаток моих шагов в обществе — довольно бесполезное приобретение. Вот оно, одно из разрастающихся зол нашего общества. Какое-то событие остается в виде записи — запечатленное навсегда, но не полностью; а разве следы наши не отражают порой шага небрежного, случайного, спотыкающегося — шага, который нам хотелось бы вычеркнуть из памяти? И стоит лишь мне мысленно помножить молодого человека со спрятанным магнитофоном на возможное число подслушивателей в одних лишь Соединенных Штатах Америки, как в мое внутреннее ухо врывается, подобное блеянию тысячи овец, собственное мое блеяние, кудахтанье, ослиный рев, бессвязное и бессмысленное бормотание... В литературе мода меняется столь же быстро, как и в одежде, и вполне возможно, что сегодня я прошел бы по американскому университету совершенно незамеченным; но если есть на свете нечто способное отпугнуть меня от такого визита — это мысль о том, что техника за последние семь лет основательно ушла вперед и кто знает, какими средствами располагает нынче любой студент для того, чтобы исказить правду и оскорбить человека.

Но писателя может утешить одно соображение. Подобно избыточным мемориальным материалам, накопленным неразумным туристом, писательский детрит — будь это письма, пленки, фильмы, заметки, дневники, случайные записи, кляксы и закорючки — растет и множится куда быстрей, чем число литературоведов, которые заняты сортировкой всего этого добра. Ведь литературовед должен пройти длительную профессиональную подготовку, тогда как писателю требуются лишь перо, лист бумаги, немного соображения и побольше удачи. Будем надеяться, что те из нас, кто отвечает этим четырем требованиям, сумеют поставить дело так, чтобы исследователи безнадежно увязали в необозримых массах материалов, пока политические сумасбродства человечества или какая-либо естественная катастрофа не покончат со всем этим полностью.

Ну вот, а теперь, когда я облегчил свою душу этой тирадой, мне, пожалуй, надо сказать несколько слов об этой книжке. Читатель может заметить, что я поступаю непоследовательно, соглашаясь на ее издание, и он будет совершенно прав. Я действительно поступаю непоследовательно. Но читатель, скорее всего, незнаком с профессором Байлсом, моим добрым другом, человеком, умеющим убеждать, и человеком, которому я никогда не умел сказать «нет». Он добивался своей цели с неотступной решимостью, достойной куда лучшего применения, и теперь — увы — читателю предоставляется судить, стоило ли это делать.

И все же я утешаю себя мыслью, что я — профессиональный писатель, а профессиональный писатель не обязан быть профессионалом в каком-то другом деле. Ведь вы не потребуете, чтобы он пробежал милю за четыре минуты. И не следует ожидать, чтобы он экспромтом, связно и последовательно отвечал на заданные тут же

[1] Л. Витгенштейн (1889—1951) — австрийский философ; с 1929 года жил в Англии, преподавал в Кембридже.

вопросы. Он обладает теми же правами, что и каждое человеческое существо,— в том числе и правом говорить утомительно, многословно и путанно, как и все его ближние. Умелых ораторов, мастеров словесных дискуссий — вот кого надо записывать на пленку, а вовсе не писателей, хотя, как романист, я не стану отрицать, что иной раз в разговоре возникают полезные для меня идеи.

Итак, перед вами — следы беседы двух друзей. Не хватает здесь живой теплоты, смеха, вина, ускользнуло своеобразие человеческой личности, утрачен самый тон добродушного дружелюбия. А главное — утрачено чувство летящего времени, непосредственности общения, чувство момента, как бы выхваченного для шутки и вот уже исчезнувшего. Но все же не совсем. Эти моменты остались на страницах книги — замороженные воспоминания о самих себе,— и оттаять они могут лишь от живого читательского тепла.

«ИДЕИ И ЧЕЛОВЕК». НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Б а й л с. У Кингсли Эмиса есть книжечка под названием «Новые карты ада». Помните ее?

Г о л д и н г. Да.

Б а й л с. Он говорит там, что Хаксли, Оруэлл и Уильям Голдинг — каждый на свой лад — время от времени совершают экскурсы в область научной фантастики. Я полагаю, он имеет в виду «Наследников» и «Повелителя мух»?

Г о л д и н г. Нет, нет! Вероятно, он имел в виду другую мою книгу — «Чрезвычайного посла».

Б а й л с. Может быть, и «Чрезвычайного посла». Значит, те свои книги вы не задумывали как научную фантастику и сейчас не причисляете их к этому жанру?

Г о л д и н г. Нет, ни в коем случае. Мне кажется, я писал их с абсолютной прямотой, как хочется писать в определенных обстоятельствах. Как бы это объяснить... в конечном счете «Повелитель мух» — это просто-напросто книга, которую я счел разумным написать после войны, когда все вокруг благодарили бога за то, что они — не нацисты. А я достаточно к тому времени повидал и достаточно передумал, чтобы понимать: буквально каждый мог бы стать нацистом; посмотрите, что творилось, какие страсти разгорелись в Англии в связи с цветными,— в некоторых наших пригородах появились тогда цветные, и там действительно творилось бог знает что. А возьмите вы Юг в Северной Америке, где постоянно кипят страсти вокруг негров. Возьмите историю любой страны — и вы неизбежно придете к выводу: нацистская Германия — это был особого рода нарыв, который прорвался в 1939 году или в 1940-м — неважно когда. Это была всего лишь особого рода болячка, от которых все мы страдаем... И вот я изобразил английских мальчиков и сказал: «Смотрите. Все это могло случиться и с вами». В сущности говоря, именно в этом — весь смысл книги.

Что же касается «Наследников»... Одной из самых больших книг моей юности — для меня, как, вероятно, и для большинства людей моего поколения,— был «Очерк истории» Уэллса, в ней заключался не только гуманизм, но и какой-то скрытый оптимизм — в наше время его высказывать нельзя, потому что мы от него избавились. Но это был оптимизм такого свойства, чуть ли не XIX века, знаете, когда кажется, что стоит лишь начать делать все большие и большие фасады в Манчестере и в конце концов люди придут к полному совершенству. Понимаете, подразумевалось, что в человеке заложена некая способность к социальному совершенствованию,— что, возможно, и так,— но в то время я этого не находил, вот почему я снова обратился к книге Уэллса, рассмотрел его предпосылки и решил, что я с ним не согласен. И вот я перевернул их вверх тормашками и постарался доказать, что ничего от этого не изменилось.

Таков в общих чертах смысл этой книги. Для меня, во всяком случае, это не научная фантастика. Для меня речь идет о вещах, которые очень органично связаны с моим воспитанием и человеческим опытом. По-моему, это совсем не научная фантастика.

Б а й л с. Но проблема связана с самим определением понятия научной фантастики, иными словами, что вы подразумеваете под этим определением? Вы говорите: «научная фантастика». Вы не считаете, что ваши книги относятся к этому жанру; значит, у вас есть какое-то свое представление, свое определение научной фантастики. Что же это такое?

Г о л д и н г. Ну что же, назовем это безответственностью — разве не так? Это — игра идеями, которые в реальности не имеют значения, а если что-то значат, то они привязаны к незначительным людям. Другими словами, если сама идея достаточно

важна, то персонажи оказываются картонными фигурками — попробуйте-ка найти хоть одно послеуэллсовское произведение научной фантастики, в котором люди хоть что-нибудь да значили бы. Всегда там приплетена красивая блондинка, потому что как же без толики секса, и профессора такого-то не отличишь от профессора такого-то, а Джо Смита от Джо Брауна — все они либо ходячая добродетель, либо отъявленные мерзавцы. В каком-то смысле это напоминает «вестерн», не правда ли? Там тоже невозможен настоящий характер, потому что тогда повествование приблизится к жизни и черное обязательно смешается с белым. (...)

Вы просите, чтобы я определил себя как писателя и ответил, бывают ли идеи для меня важнее людей. Пожалуй, это верно; надеюсь, что это не навсегда, но, пожалуй, сейчас дело обстоит именно так. Очевидно, идеи и впрямь значат для меня больше, чем персонажи, люди.

Байлс. Но, насколько я понял, критик, говоривший это, считал — ссылаясь на вас,— что в «Повелителе мух» вы стремились создать характеры. Вы намеревались изобразить настоящих живых мальчиков, вы писали о людях, а не просто об идеях — как, по-видимому, делал Хаксли в «Прекрасном новом мире»,— так что вопрос заключается лишь в том, удалось вам это или не удалось. Во всяком случае, таково было ваше намерение.

Голдинг. Да, пожалуй, это верно. И в связи с этим я хочу еще раз вернуться к другой своей мысли: мне думается, что о писателе следует говорить именно так: «Вот каково было его намерение. Посмотрим, удалось ли ему попасть в цель». Если люди говорят, что мне не удались характеры,— что же, значит это моя беда.

Байлс. И все же в «Повелителе мух» вы стремились создать характеры; относится ли это и к другим вашим книгам?

Голдинг. Если представить себе это в виде стрелки, показывающей плюс или минус, очевидно, можно будет сказать, что в моих книгах стрелка дрожит и колеблется, тяготея, однако, больше к идеям, чем к характерам. По-моему, это плохо, и я счел бы это своим основным дефектом или основным дефектом моих книг.

Байлс. Вы хотите сказать, что вас, очевидно, постигла неудача в этой книге?

Голдинг. Я бы даже этого не сказал. Я сказал бы, что это критическое наблюдение носит общий характер, и любой автор, который пишет подобного рода книги — как бы хороши и возвышенны ни были его идеи, а мне мои идеи представляются хорошими,— как писатель несовершенен, если идеи его не выражены в убеждающих образах людей. Если критики находят, что мои персонажи неубедительны — значит, в этом смысле меня постигла неудача. Я считаю, что в книге должны быть и настоящие люди, и настоящая идея — если таковая вам доступна. Но в книге должно быть и то и другое, а Хаксли в «Прекрасном новом мире» это не удалось. Если люди говорят мне, что в «Повелителе мух» нет настоящих идей, или характеров, или еще чего-то, мне остается лишь принять это.

Байлс. Конечно, есть и другая сторона вопроса: некоторые критики утверждают, что вы создаете характеры. Просто я привел мнение тех, кто это отрицает.

Голдинг. Я склонен согласиться с ними.

Байлс. Правда? Согласиться в общем?

Голдинг. Пожалуй, я согласился бы с ними в очень определенном смысле. В конце концов, одно из двух: если ваш замысел определяется идеей, сама мотивировка заключена в идее, то, значит, она уже не может заключаться в человеческом характере. И я полагаю, что это плохо.

Возьмем, например, «Путешествие пилигрима» [1]. Здесь уж никто не скажет: «Что за великолепные характеры!» С другой стороны, если взять «Генриха IV», то мы увидим, что автор начал с идеи, со средневековой идеи о Морали и Пороке. Фальстаф — олицетворение Порока, мне думается, что именно таким он зародился в уме Шекспира, но Фальстаф ускользает, Фальстаф становится человеком, потому что у Шекспира был этот самый божьей милостью дар по-настоящему оценить определенную человеческую личность. И пусть Шекспир начинает с изображения Порока — получается у него человек, которого, по замыслу, все должны были бы презирать и ненавидеть, но к тому времени, как Шекспир доходит до конца, выясняется, что только очень жесткий моралист может вообще испытывать к этому персонажу неприязнь. К концу вы обнаруживаете, что сам Генрих IV гораздо больше напоминает средневековую аллегорию Добродетели, но зато средневековая аллегория Порока — Фальстаф превратился в человека. Трагедия второй части «Генриха IV» — это падение Фальстафа.

Байлс. Разве это не душераздирающая трагедия?

Голдинг. Она действительно раздирает душу и до сих пор понятна. Да, я думаю, что именно так и обстоит дело: есть писатели двух родов. Есть люди, которым по-настоящему важно и дорого не то чтобы... человечество в целом, его удел, а сам человек, существо человеческое, и мне кажется, что и Диккенс, и Шекспир, и Гомер — все действительно великие писатели и вправду берут вот этим самым главным, насущным, тем, что идет по артериям. До мозга это чувство не доходит, вряд ли доходит.

---

[1] Аллегория Джона Беньяна.

Оно связано нерасторжимо с ценностью самой человеческой личности. Мне кажется, что в работе писателя или художника, если вам угодно, именно это — самое важное. Мне бы хотелось, будь это возможно, стать таким писателем, но если мне говорят, что этого нет,— что же, приходится согласиться, потому что я и сам подозреваю, что этого нет. Понимаете, к чему я клоню? Совсем не плохо начать со средневековой морали, но при этом иные писатели заканчивают созданием человеческого существа. А другие, увы, начинают с человеческого существа, а заканчивают средневековой моралью. И это — очень плохая работа.

ХРЮШКА [1]

Голдинг. Да, Хрюшка... Ну что же сказать о нем? Хрюшка — ученый. Технократ. Он был создан для работы в науке.

Байлс. Вы, наверно, назовете это рационалистической дотошностью, но у меня здесь есть заметочки, относящиеся к Хрюшке, и меня немного огорчает то, что вы сейчас сказали, потому что...

Голдинг. Потому что вы преклоняетесь перед учеными...

Байлс. Ничего подобного!

Голдинг. Вас очень тщательно и заботливо воспитали.

Байлс. Вовсе нет. Нет, сэр! Я — гуманист.

Голдинг. Неужели?

Байлс. Вот именно. Избави меня, боже, от Великого Бога Науки. Для меня Наука олицетворяется в Г. Дж. Уэллсе — если разрешите употребить имя, режущее ваш слух.

Голдинг. Но ведь он Выдающийся Романист, Великий Человек.

Байлс. Нет, серьезно, меня всегда как-то коробит покровительственный тон, в котором критики высказываются о Хрюшке. Он им неприятен, сам этот мальчик. Даже Фрэнк Кэрмоуд [2] говорит о нем в таких выражениях, как «скучный» и «практичный». Люди довольно презрительно отзываются о его «научной осведомленности». Я не уверен, что полностью согласен с таким взглядом на Хрюшку, и потому, когда вы покровительственно назвали его «ученым», я был несколько обескуражен. Ведь, что ни говори, вы же сами называли его «мудрым».

Голдинг. Я не называл его «мудрым».

Байлс. Черта с два не называли!

Голдинг. Это сказал Ральф.

Байлс. Нет, сэр! Этот номер не пройдет...

Голдинг. Кто написал книгу?

Байлс. ...потому что самый финал книги — не диалог.

Голдинг. «Верный, мудрый друг по имени Хрюшка».

Байлс. Правильно. «Верный», что не очень-то вяжется со всеми презрительными отзывами о нем.

Голдинг. Не знаю, как бы это получше выразить. Если вы решили, что это мой взгляд на Хрюшку, значит, я допустил техническую ошибку. Я хотел... Понимаете, в какой-то мере я нахожусь в черепной коробке Ральфа, а Ральф оплакивает утрату чистоты и наивности, и тьму, царящую в человеческом сердце, и гибель верного, мудрого друга по прозвищу Хрюшка. Все это увидено только глазами Ральфа. И ничьими другими. А кроме того, ему следовало бы оплакивать Саймона.

Байлс. Да, следовало бы.

Голдинг. Но этого он не делает.

Байлс. Он этого не понимает.

Голдинг. Да, этого он не понимает. Он понимает Хрюшку. Понимает Хрюшку и считает его мудрым. Хрюшка не мудр. Хрюшка близорук. Он рационалист. Вы ведь знаете, рационализм для меня проклятие, а он... он именно таков. Наивен, близорук и рационалистичен, как большинство ученых.

Байлс. Но разница заключается в том, что Хрюшка прав.

Голдинг. Ну, в таком случае мне больше нечего сказать.

Байлс. Разве не так?

Голдинг. Ну в чем же он прав? Ведь он обнаруживает полнейшее непонимание ситуации, рассуждая, что все ведут себя как сборище малых ребят, в то время как все ведут себя как толпа взрослых людей. Это он хочет, чтобы здесь очутилась его тетушка, это он считает, что люди могут собраться вместе и все обсудить, и прочее и прочее. Он — простак, он — полнейший простак. Он похож на ученых, которые и вправду воображают, что достигли чего-то в подлинной, реальной, человеческой жизни. Они становятся сложнее — и меня лично все это увлекает. Окажись у меня сейчас рак, я уверен, они, вероятно, сумели бы помочь мне лучше, чем

[1] Хрюшка (англ. piggy) — один из главных персонажей «Повелителя мух» У. Голдинга.

[2] Английский литературовед.

десять лет назад. Все это прекрасно, и все это, однако, наивно. Это даже близко не затрагивает проблемы человеческого существования по-настоящему. Хрюшка понятия не имеет о том, что происходит на острове. Он слушать не хочет о Звере и о маленьком Звереныше. Он утверждает, что никаких призраков нет и не может быть, не понимая, что их общество кишит призраками. Быть может, это призраки родителей, но все равно ведь — призраки. Они преследуют мальчиков повсюду. Пожалуй, никто не разбирается в жизни на острове хуже, чем Хрюшка. Одним словом — он ученый.

Байлс. Он, разумеется, практичен, однако...

Голдинг. Это другого рода практичность — он практичный ученый.

Байлс. Мне хочется, чтобы в Хрюшке было еще что-то, хоть немножко.

Голдинг. Ну, вы — сентиментальный человек.

Байлс. Да, пожалуй. Надеюсь, что в лучшем, а не в худшем смысле слова. Мы начали с этой предпосылки. Но вместе с тем Хрюшка говорит, что у них должно быть какое-то подобие порядка. Хрюшка хочет, чтобы Ральф защитил его от Джека, что можно понять. И при всех дискредитирующих его чертах Хрюшка, мне кажется, более стоящее существо, чем утверждают его противники. В конце концов, почти все, что он говорит,— правильно; пусть его мысли недальновидны, пусть они не затрагивают сути проблемы, но они, по крайней мере, правильны, не так ли?

Голдинг. Правильнее, чем у большинства других. Ведь существуют же разные степени правоты? Самая высшая точка правоты, достигнутая кем-либо на острове,— это мысль о том, чтобы подняться на гору и посмотреть, что там на вершине. Так думает Саймон, которого — что вполне естественно — не понимает никто. Кроме того, есть Ральф, имеющий некоторое представление о законе и порядке, и есть Хрюшка, который сознает, что самая главная задача — дождаться спасения, а вторая по важности задача — сделать убежище, что, впрочем, сознает и Ральф. Хрюшка обладает определенными техническими способностями, он в общих чертах знает, что сделать невозможно, но он не видит, что можно сделать,— а сделать можно многое. Нет, нет, я утверждаю, что Хрюшке следовало бы надеть белый халат — такой длинный, белый лабораторный халат — и разгуливать по острову, и, очевидно, писать разного рода научные труды и заметки, и в конце концов очутиться в Лос-Аламасе. Если я заложил в него нечто большее, могу лишь с удовольствием отметить это как один из тех случаев, когда Фальстаф вырывается за рамки средневекового олицетворения Порока.

Байлс. Я все время внутренне перебираю все доводы «за» и «против» Хрюшки и не собираюсь пока кончать этот спор. Я еще не готов к этому.

Голдинг. Ну что же, не забывайте также, что сам я книги не читал,— во всяком случае, после того, как написал ее. Я помню несколько ключевых фраз. Вот эту финальную, которая пришла мне в голову, пожалуй, раньше всего. Что еще? О, я помню беседу Свиньи и Саймона. А кроме этого — ничего, только общие контуры.

КОМЕДИЯ

Байлс. Хочу вас поругать.

Голдинг. За что?

Байлс. А за то, что вы сжигаете свои рукописи. Этого делать не надо.

Голдинг. Знаете, кто-то рассказывал мне, что где-то в Америке есть богатый университет, такой богатый, что по праздникам там запускают ракеты, а по будничным дням скупают у писателей все их бумаги, вплоть до железнодорожных билетов и ресторанных счетов. Вот такой именно университет я ищу, если набредете на него — сообщите мне сразу. Наверно, у них там — бесконечные ряды зеленых канцелярских шкафов — внизу, в подвале,— чтобы никакая бомба не достала, а в шкафах — полным-полно бумажных карнавальных шляп.

Байлс. Вы как-то высказали свое недовольство по поводу того, что все считают вас чертовски угрюмой личностью, но я должен заметить, что некоторые ваши очерки — юмористические — невероятно смешны.

Голдинг. Что ж, большое спасибо.

Байлс. Я серьезно говорю. (...) Вы написали несколько очень смешных вещей, но никто почему-то не упоминает об этом, вот что я хочу подчеркнуть. Критики замечают у вас только жесткий, горький юмор... Вы написали много смешного, собираетесь ли вы и дальше писать о смешном? Хочется ли вам писать комические вещи? Расскажите мне, что вы думаете о комедии.

Голдинг. Что я думаю о комедии? Я думаю, что взгляд у меня, наверно, антиаристотелевский — тот, что я сейчас попытаюсь высказать. Месяцев шесть назад один мой старинный приятель заявил: «Между тобой и твоими книгами — большой разрыв». А я ответил: «Черт побери, конечно, а ты как полагал?» А немного позже я услышал от Энн (жена Голдинга): «Дело в том, что ты никогда не вкладываешь себя полностью в свои книги». И вот, прогуливаясь вдоль берега реки, я стал размышлять: «Что бы это могло значить?» И вдруг меня осенило: «Ну, конечно же, все это совпадает с собственным моим ощущением, что в каком-то смысле глупо было так уж принимать на веру Аристотеля, что от этой концепции надо отрываться. Ведь есть

же возможность вместить все. Существуют — это очевидно — и романы, и пьесы, и другие вещи, в которые вошло все, в полном объеме. Ничего хорошего из этого не получилось бы, но, быть может, вышел бы более резкий отпечаток моего ощущения жизни». Я ведь, вы знаете, много смеюсь.

Б а й л с. Верно.

Г о л д и н г. И может статься, посреди громадной, зловещей вселенной, которую я изображаю, стоит крохотный, неприметный, довольно толстенький человек с бородой и смеется, и этот смеющийся человечек — больше сродни вселенной, чем мрачный, изможденный человек, карабкающийся на скалы.

Б а й л с. Иными словами, вы чувствуете, что в книгах ваших немного недостает комического. Означает ли это, что вы собираетесь ввести в них комическое начало?

Г о л д и н г. Нет, не означает. По-моему, дело здесь не в том, чтобы вводить то или другое. По-моему, суть в том, чтобы увидеть, что трагедия и комедия...

Б а й л с. Близнецы?

Г о л д и н г. Гораздо больше. «Близнецы» — это просто одна из гнусных литературных метафор. Не близнецы они, а одно и то же существо.

Вспоминаю вот о чем: во время войны я лежал в госпитале, и к нам в палату привезли раненого — отделали его здорово, живого места на нем не было. Его оперировали, а потом положили в нашу палату, и через какое-то время он стал приходить в себя. И пока он приходил в себя, он дышал жутко громко, устрашающе громко, потому что в горле у него была трубка. Потом все смолкло. А дышал он как-то очень смешно, звук был смешной, вот что главное. И при этом он все еще был без сознания, понимаете. Он в это время не страдал. И все, кто лежал в нашей палате, все время хихикали.

А затем вошла сестра, или это была санитарка, не помню, и вытащила у него из горла трубочку, и посадила его, прислонив к подушке. И тогда эти смешные звуки прекратились и раздались другие — точно его сейчас стошнит; у санитарки ничего не было, и она помчалась за тазиком. И вот мчится она с тазиком по натертому до глянца полу и, не добежав эдак пяти ярдов до его постели, падает со всего маха лицом вниз. А тазик взмыл вверх, пролетел по воздуху и опустился прямо на голову этого человека — и зазвенел! Дин-дин — вот так! И вся палата покатилась, хохот поднялся такой, что лопались швы.

И, конечно же, я узнал эту ситуацию, когда смотрел фильм «Большие гонки», где все подряд разбивают машины, сваливаются со скал и так далее. Смешной фильм, но опять же — весь он о боли и горестях. Я припоминаю, что сидел или, точнее, лежал тогда, на этой самой госпитальной койке и думал: «Ну что можно написать об этой палате?» И вдруг произошла эта история. И передо мной возникла совершенно законченная комическая ситуация с экстраординарной деталью: тазик падает человеку на голову. И звенит, как колокольчик. После этого я несколько лет ничего не писал — не мог.

СМЕШНЫЕ РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

Б а й л с. Во время войны вы были как-то связаны с научно-исследовательской организацией, руководимой лордом Черуэллом.

Г о л д и н г. Я начал войну как рядовой матрос, а затем прошел подготовку и сдал экзамены на звание офицера. Помню, на экзамене был задан, среди прочих, вопрос о различии между метательным взрывчатым веществом и другими его видами. А мне все эти дела были очень интересны, и вместо ответа из двух фраз, который требовался, я преподнес три страницы текста, да еще с разными чертежами и прочим. И вот в результате внезапно меня забрали с корабля и зашвырнули в глубокий тыл, в одно чрезвычайно секретное научно-исследовательское учреждение, которое возглавлял некий профессор Линдеман: он был научным советником Черчилля, и он-то стал, в конце концов, лордом Черуэллом.

Так я пробыл почти целый год в самом центре Англии, в полной форме морского офицера, пытаясь изобрести какие-то штуки, которые могут потопить подводную лодку. Это была фантастика. Я там получил массу удовольствий, все время устраивал грандиозные взрывы.

Б а й л с. А что вы делали в Нью-Йорке, когда вас туда послали? Это тоже относилось к вашей работе?

Г о л д и н г. Я покинул это учреждение следующим образом: мы все время работали над этой антилодочной штукой, и я делал массу опытов со взрывчаткой. И вот однажды я засунул в карман несколько капсюлей, а потом бросил на них батарейку для фонаря и взорвался. Ну вот, а когда я малость пришел в себя и меня выудили из госпиталя и привели в более или менее приличный вид, я сказал: «Ладно, пожалуй, отправлюсь-ка я устраивать взрывы в другое место, а если мне суждено взорваться, то пусть это сделаю не я сам». И вот я пришел в Адмиралтейство и говорю: «Ради бога, пошлите меня обратно в море, где все-таки есть некоторый покой!»

Они спрашивают: «А чем вы хотите заниматься?» Я им говорю, что узнал массу подробностей насчет взрывчатки. А они говорят: «Это уже все узнали». Мне хотелось на маленькое судно, потому что большие мне как-то не по душе. На них слишком много народа. Я сказал: «А как насчет того, чтобы тралить мины?» Они говорят: «Отлично» — и посылают меня в Шотландию учиться на тральщика. Выучили и послали из Шотландии в Нью-Йорк ждать, когда вы там, на Лонг-Айленде, построите для нас минный тральщик. Просидел я там бог знает сколько, месяцев, наверно, шесть, пока судно не было готово, а затем привел его в Англию. Но к тому времени с проблемой мин уже разделались, и все были наготове, чтобы начать вторжение в Европу.

И вот я говорю: «Послушайте, у меня ужасно скучная работа, нельзя ли мне подобраться поближе к настоящему делу?» Отвечают: «Можно, почему же нельзя?» И спрашивают, что я знаю, и я тут же выпаливаю: «Взрывчатку». И они говорят: «Ну, значит, вам надо заняться ракетами». И отправили меня на одно из этих проклятых ракетных судов, и там я закончил войну. Это было очень интересно.

Б а й л с. Я очень мало знаю о ракетных судах. К тому же они ведь были тогда засекречены. Как это у вас делалось: вы подплывали поближе и обстреливали берег, а потом возвращались и перезаряжали орудие? Что-то в этом роде?

Г о л д и н г. Требовалось вот что — в течение примерно двадцати четырех секунд вести обстрел, который иным способом вести было невозможно, потому что нельзя перезаряжать орудие с такой скоростью. К моменту высадки пехоты берег был уже сплошь пропахан. Едва лишь пехота достигала берега, как мы выкладывали перед ними этот самый узор. Выглядело это страшно драматично. Я производил большое впечатление на самого себя, но, должен сказать, что, к моему удовольствию, это была самая безопасная работа изо всех.

Б а й л с. Расскажите поподробнее историю, которая с вами произошла и которую истолковали совершенно превратно,— помните, как вы стояли на мостике и улыбались, словно Чеширский кот [1]?

Г о л д и н г. Именно так и было, буквально, и это единственное из военных происшествий, которое я действительно помню очень живо. Нам было приказано занять остров Валкерен, а поддержки с воздуха у нас не было. Мы знали, что у судна-прикрытия одна задача: пока остальные сидят в бетонных укрытиях, мы должны двигаться взад и вперед со свирепым и геройским видом, чтобы пойти ко дну в тот самый момент, когда десант высадится на берег. Я оценивал ситуацию весьма трезво и был очень, очень напуган. Незадолго до рассвета стал я натягивать на свою физиономию улыбку, потому что подумал: «Ну, что же делать, здесь ведь, что ни говори, флот, а я командую этой консервной банкой», и вот, чтобы показать всем, что беспокоиться не о чем, я и начал улыбаться. Я был в таком страхе, что улыбка прилипла к моему лицу и не слезала с него все утро. Нас, как положено, обстреливали, и повсюду летели разные снаряды, и гремели взрывы, и вздымались водяные каскады, а я все не мог избавиться от своей улыбки. Вся моя команда стала ходить вокруг меня и бормотать: «Значит, дела не совсем уж плохи, если Старик так радуется».

А потом наступил момент, когда нам предстояла уже самая настоящая пробежка за посмертной славой, а я все не мог перестать ухмыляться, и тут уж даже моя команда помрачнела — и все же люди смотрят на меня и говорят: «А вот Старик все улыбается, ему хоть бы что, для него это — сплошное удовольствие». А затем мы получаем сигнал — отменяется задание, которое было сплошной глупостью: мы должны были плыть к берегу в одиночку, на расстоянии трех миль от всех других, прямо в пушечное жерло.

Получаем мы сигнал об отмене приказа, и, понимаете, вдруг я подумал: «Бог ты мой, я буду жить!» — и улыбка моя соскочила сама собой. Я ничего не мог поделать со своим лицом. Оно просто-напросто провалилось и вытянулось. А команда говорит: «Нет, вы только посмотрите на старого мерзавца! Он разочарован, что нам не надо идти».

Это самое смешное из всего, что я запомнил о войне.

ВОЙНА КАК ПРОБУЖДЕНИЕ

Б а й л с. Этой весной вы говорили мне о том, что до войны были очень наивным человеком. По вашим словам, вы верили в способность человека совершенствоваться. Вам тогда представлялось невозможным поверить всему, что рассказывали о нацистской Германии. Вам казалось, что стоит лишь установить совершенный социальный строй — и результатом будет возникновение совершенного человека.

Но во время войны взгляд ваш изменился, а после войны вы написали «Повелителя мух». Теперь я хочу попросить вас разъяснить мне два вопроса. Один касается

[1] Персонаж «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла.

этой перемены во взглядах во время войны, не расскажете ли вы об этом чуть-чуть подробнее? О втором я знаю очень мало — известно, что после войны вы написали несколько романов, романов такого типа, который обычно называют «ходким». Это были книги, написанные на рынок. По вашим словам, вам казалось, что именно такие книги требуются сейчас людям, но вас постигла неудача. Так вот, если война оказалась для вас временем серьезной перестройки, почему вы не принялись сразу за «Повелителя мух»? Для чего вы написали эти романы другого рода? По чисто материальным причинам?

Голдинг. Нет, не по материальным. Очевидно, я попросту не верил, что сумею поднять эту книгу. Мне представлялось, что одно дело — когда ты размышляешь обо всех этих вещах и тебе твои мысли кажутся верными, а другое дело — люди, которые думают совсем о другом. Люди далеки от того, что думаешь ты. Это — твое собственное, личное убеждение. И только после того, как я написал три книжки, которые никто не хотел издавать — и я понимаю почему,— только тогда у меня открылись глаза. Видите ли, я всегда развивался замедленно. И в эту пору я, очевидно, только-только достиг юношеского уровня. В каком-то смысле — ну, разумеется, это зависит от того, сколько ты проживешь,— в каком-то смысле, мне кажется, это хорошо, потому что таким образом все растягивается и остается больше времени, чтобы поразмыслить о том, что происходит.

Но книги, которые я написал после войны, другой на моем месте, быть может, написал бы между восемнадцатью и двадцатью двумя годами.

Байлс. Вы имеете в виду неопубликованные ваши книги?

Голдинг. Нет, нет, все, что я тогда написал. Каждый из нас проходит через такой период, когда думаешь: я должен писать так, как пишут все,— только лучше. Я даже подумать, вообразить не мог, что способен вступить в общение с другими людьми. Начал я со стихов, а стихи мои очень плохи. Я не представлял себе, что стоит заниматься чем-либо, кроме поэзии или хотя бы стихотворной драмы. И только написав эти свои книги — в которых я подлаживался к чужим мнениям и верованиям,— я наконец сумел сказать себе: настало время написать книгу для себя, потому что все прочее, очевидно, никому не нужно. Я просто решил: «А ну-ка, попытай свою судьбу, возьми и напиши эту книгу». И тогда я написал «Повелителя мух» — и вложил в эту книгу все, к чему пришел во время войны.

Это тоже было своего рода возрастное, юношеское чувство необходимости высказать до конца свою особую идею. Теперь я вовсе не уверен в том, что это необходимо. Мне кажется, я сейчас знаю гораздо меньше, чем знал в послевоенную пору. Вот это-то я и называю замедленным развитием. Я убежден: человек должен пройти — после такого периода, когда он имеет твердое мнение обо всем на свете,— должен пройти через период, когда он знает лишь, что ничего не знает, когда он может только удивляться. Не знаю, суждено ли мне когда-либо достичь полного, окончательного представления о жизни, но постепенно я приобретаю способность видеть, что в прежних моих идеях заключена лишь часть правды. Вот почему я сказал, что книги мои были написаны как бы в пору затянувшейся, запоздалой юности. Но не надо недооценивать пору юности — даже запоздалой,— ведь в эти годы вы видите вещи очень отчетливо, и быть может, идеи, которым посвящены мои книги,— вполне достойные идеи. Но я не уверен в том, что настоящий писатель должен представлять их именно как идеи; может быть, они должны воплощаться в людях? Ведь, в конечном итоге, много ли толка в идеях, если нет человека? Мне думается, что мои книги вообще тяготеют к тому, что идеи важны, а люди — нет. Мы обо всем этом уже говорили, и я думаю, что это именно так. И, конечно, гораздо лучше смотреть на вещи совсем наоборот; важнее всего люди, а потом уже идеи. Вот видите, что значит переживать запоздалую юность,— полвека стукнуло, а ты все еще где-то в возрасте двадцати с небольшим лет.

Байлс. Фактически вы говорите сейчас о литературной технике, не правда ли?

Голдинг. Пожалуй, что нет, не об этом.

Байлс. Я хочу сказать — об искусстве воплощать и передавать идею в правдоподобном человеческом характере, поставленном в определенную ситуацию, что предпочтительнее простого изложения идеи?

Голдинг. Я не уверен, что дело обстоит так уж просто, потому что, по моему мнению, суть вопроса в том, кто является тут судьей, а кто — игроком. Одно из двух: либо идея — судья, который в любой момент может остановить игру своим свистком, либо судья — это персонаж, который может сказать: «Вы полагали, что играете в футбол, а на самом деле — совсем в другую игру».

Байлс. Может быть, обратимся в связи с «Повелителем мух» к делам военным? Какие события, происшедшие во время войны, заставили вас переменить образ мысли, если не считать того факта, что все мы в те дни немножко подросли? Если я правильно информирован — а информация моя может быть отчасти случайной,— вы участвовали в разных боевых операциях. Кажется, вы были очевидцем потопления «Бисмарка»?

Голдинг. Угу.

Байлс. Потом был этот самый неудобопроизносимый датский остров Валкерен.

Голдинг. Угу.

Б а й л с. Можно ли считать, что эти конкретные эпизоды сыграли решающую роль в изменении ваших взглядов? В оккупационных войсках вы не служили. По вашим словам, примерно до сентября 1939 года или несколько позже вы, как и все, слышали рассказы об ужасах, творящихся в Германии, но буквально не могли этому поверить. Но потом, когда война кончилась, вы этому поверили и, очевидно, как Хаксли, пришли к убеждению, что поскольку общество состоит из личностей, то какова личность, таково и общество. Именно так вы и думали, что полностью явствует из «Повелителя мух». Я хочу повторить свой вопрос: какие события военных лет оказались причиной того, что вы изменили образ мыслей?

Г о л д и н г. Не думаю, что я сумею ответить на этот вопрос, разве что в самом общем виде... могу лишь сказать так: во время войны мы как-то более отчетливо увидели, что п р о и с х о д и т. Все это не имело непосредственного отношения ни к нацизму как таковому, ни к прочему; больше всего это имело отношение к людям. Словно тебя ткнули носом в человеческую природу, в условия человеческого существования. Нельзя сказать просто, что, мол, до войны я верил в одно, а после войны убедился в другом,— это слишком легкое объяснение. Не так. Я постепенно сближался с людьми и научился разбираться в них чуть получше; и так же постепенно я узнавал, что рассказы, факты, которым я не мог поверить, которые я считал пропагандой, были действительно правдой. Вот, скажем, такой пример: я встречался с людьми, которых сбрасывали на парашютах в оккупированную Францию,— это происходило всего лишь в пятнадцати милях от нас, я был в той местности дважды и один раз встретил такого человека, а в следующий раз уже не встретил его, и мне сказали, что как раз сейчас его, скорее всего, замучивают до смерти. Вот таким образом постепенно начинаешь видеть и понимать происходящее, и к концу войны я уже убедился полностью в существовании нацизма — это было совершенно неизбежно. А потом появились документальные фильмы, и все стало абсолютно ясно. Мне предстояло как-то соотнести все, что я узнал о той стороне, со всем, что я знал о людях на нашей стороне. Конечно, очень лестно было бы предположить, что я вдруг прозрел и понял, какими страшными могут быть люди по сравнению со славными людьми, которых я узнал за последние пять лет (срок службы Голдинга в армии.— **Дж. Б.**); однако это было совсем не так. Я достаточно повидал за последние пять лет, и мне было известно, что эти «славные люди» тоже способны на такое, что в действительности это также относится к человеческой природе, и то, что творили нацисты, они творили потому, что какие-то определенные заложенные в них возможности, склонности, пороки — называйте это как хотите — оказались высвобожденными, и они — такие же люди, как и мы в иных обстоятельствах(...)

Б а й л с. Мне надо разобраться во всем этом до конца. Не хотите ли вы сказать, что в детстве вас, по выражению психологов, «сверхограждали»?

Г о л д и н г. Не знаю, как широко можно применять это слово. Знаю одно: когда я был ребенком, то, к примеру, одним из самых важных учреждений считалась Лига Наций — это была Великая Идея, эти слова сверкали неоновыми буквами, и такие вот понятия в некотором смысле значили больше, чем что-либо. Существование преступников, тюрем и тому подобного — всего, что относится к темным сторонам жизни,— допускалось, но все это пряталось где-то в глубине, во тьме, а вот идея всечеловеческого братства и прочего была всегда на поверхности, где-то близко, и тяготение к ней казалось нормальным для каждого из нас. Понимаете, тянулись не куда-то вниз, во тьму, а вверх.

Но когда меня швырнули, подобно миллионам других — я это говорю без преувеличений,— когда меня швырнули в самую гущу моих «родных братьев», в общении с ними я начал понимать, что это существа гораздо более сложные, чем казалось, и — что очень важно — часто сами себя не видящие. Мне приходилось слышать, как люди, о которых я доподлинно знал, что о н и - т о н а ц и с т ы, произносили слова «проклятые нацисты».

Понимаете, по сути они были нацистами, но им не довелось существовать в нацистской социальной системе. Разумеется, в своих размышлениях я дошел до такого вопроса: «Чем же объяснить тот факт, что в одном месте появилась система нацизма, а в другом — нет: ведь если здесь подействовали определенные социальные санкции или запреты, то социальные запреты существовали и «там»?» Так что возник и такой вопрос.

Но урок заключался не только в этом. В каком-то смысле я испытал как бы шокотерапию и, быть может, слишком близко принял все это к сердцу. Не знаю, как это выразить получше, могу лишь сказать, что во время войны — это не имеет никакой связи с тем, что ты стреляешь, и даже с тем, что в тебя стреляют,— начинаешь сознавать, как опасна жизнь; но это лишь часть дела, а главное именно то, что называют иногда «чувством локтя» — локоть к локтю, лицом к лицу, черт его знает как, в общем — впритирку с людьми, будь это в окопе или в корабельном гамаке. (...)

Байлс. Как вам пишется: легко или трудно?

Голдинг. Вот на этот вопрос я не способен ответить ни в шутку, ни всерьез. Мне... Энн, как я пишу?

М-сс Голдинг. Иногда очень легко. То есть, я хочу сказать, ты пишешь очень быстро. Да, стоит тебе очень увлечься, заинтересоваться чем-то, и работа идет быстро. Конечно, я не говорю, что с первого раза получается окончательный вариант.

Байлс. Ну, разумеется.

М-сс Голдинг. Я верно сказала?

Голдинг. Да.

М-сс Голдинг. Но ты способен сделать черновой вариант романа за три недели. Ты это делал.

Голдинг. Да. Да. «Наследников» я написал в три недели. Но беда в том, что после этого долгое, долгое время мне бывает нечего сказать. Можно в этот промежуток научиться играть на фортепиано, но не более того.

Байлс. Вы говорите сейчас о процессе созревания книги, не так ли? Вы размышляете над книгой, планируете ее, а когда наступит срок, книга приходит, и вы ее пишете быстро и легко. Примерно так?

Голдинг. Прошу прощения, но должен сказать, это немного напоминает Хрюшкин взгляд на вещи — одно прибавляется к другому, и все идет своим чередом. На самом же деле происходит вот что: долгое время я бываю совершенно убежден, что не напишу больше ни единого слова. Буквально. Понимаете, я даже представить себе не могу, как вообще можно написать хоть одно слово, и пытаюсь себя переубедить, и говорю себе: «Глупости. Конечно же все вернется». Но ничто не возвращается, и я совершенно падаю духом.

М-сс Голдинг. По-моему, ты сейчас сильно пережимаешь, потому что, мне кажется, ты не способен так впадать в отчаяние, как, говорят, это бывает с другими.

Голдинг. Вообще-то это верно, не способен.

М-сс Голдинг. Знаешь, по правде говоря, ты ведь не столько думаешь: никогда больше не напишу ни строчки! — сколько: вот что сказали бы другие, очутись они на моем месте.

Голдинг. Да, верно. Именно так. Все это очень вывернуто и сложно, но ощущение очень похожее. А потом вдруг — бах! Понимаете? Совершенно неожиданно. Например, «Повелитель мух». Я сидел по одну сторону камина, Энн по другую, и я только что кончил читать вслух кошмарную книжку — не тебе, Джуди (дочь Голдинга), а Дэвиду (сыну), ты еще была слишком мала,— книжку о мальчиках, оказавшихся на необитаемом острове, знаете, обычного типа приключенческая история. Нет, не «Коралловый остров» (роман Р. Баллантайна), что-то более низкопробное. И, помню, я сказал Энн: «До чего же мне надоело это чтиво. А что, если попробовать, смеха ради, написать книжку о мальчиках на острове и посмотреть, что из этого получится?» Она говорит: «Отличная идея. Садись и пиши». Я взял лист бумаги и разработал сюжет, а потом все пошло своим ходом, и никакой предварительной напряженности не было и в помине.

> Примечание Байлса. Отвечая на вопрос одного интервьюера о методе своей работы, Голдинг говорит о «разработке сюжета» следующее: «Перед тем, как начать писать, я разрабатываю план всего романа, с начала и до конца. В деталях. Книга представляется мне какой-то лукообразной формой, висящей в воздухе, длинной, отсюда и досюда (показывает руками), а затем начинают появляться детали, и я разрабатываю чуть не все решительно, вплоть до мельчайших движений. А потом уже принимаюсь писать — иду от одного конца к другому».

Голдинг. Перед «Наследниками» я был в страшно напряженном состоянии, потому что пытался написать три другие книги,— ни одной из них я не написал, и ни в одной из них не было ничего хорошего. И тогда я подумал — придя в отчаяние,— решил, что должен написать книгу, и, решив это, уселся и с грехом пополам написал «Наследников» за три недели. Вот так это бывает.

У меня нет чувства постепенности собственного развития, эволюции, нет такого чувства, что теперь, достигнув своего возраста, я должен написать свою книгу. Я не знаю, какова должна быть моя книга, не знаю, кто я такой, не знаю, что происходит с нами,— не знаю ничего. И потому не знаю, о чем мне писать дальше.

М-сс Голдинг. Это может быть и периодом вызревания. Вроде скрытой беременности.

Голдинг. «Вместилище гуморов» [1].

---

[1] "A trunk of humours" *(англ.)*. Согласно средневековой физиологии, человеческое тело состоит из четырех «гуморов», то есть элементов или жидкостей, отсюда — учение о заложенных в человеке темпераментах, использованное в творчестве Бена Джонсона («Всяк в своем нраве» и др.).

Б а й л с. В «Наследниках» вы явно что-то ухватили — или вас захватило,— раз книга была написана в три-четыре недели. Значит, писали вы в жестком темпе, не давая себе передышки. А сколько вы работали над «Повелителем мух»?

М-с с Г о л д и н г. От первого до последнего варианта прошло, вероятно, месяца три-четыре, как ты полагаешь?

Г о л д и н г. Что-то вроде этого.

Б а й л с. «Повелитель мух» написан за три-четыре месяца...

Г о л д и н г. Я переделывал его несколько раз... «Шпиль»... Забыл, когда я был в Америке,— года два назад? В Холлинсе? Или три года?

Б а й л с. Академический год 1961/62.

Г о л д и н г. Ну вот, в шестьдесят первом, когда я был еще в Англии, я немного поиграл с этим замыслом. Потом уехал в Америку и, пока жил в Холлинсе, написал начерно первый вариант — заняло это у меня... ну, скажем, три или две недели. Потом вернулся домой и принялся за работу над ним, и бросил, и снова принялся. Так что, как видите, все это продолжалось очень долго, можно сказать — несколько лет. Но по сути я работал над книгой как бы двумя вспышками, написал ее в два приема. Последний вариант, как и первый, был написан примерно в течение месяца...

ЯСНОСТЬ И ТЕХНИКА

П р и м е ч а н и е Б а й л с а. Интервьюер телевидения Би-би-си беседовал с Голдингом вскоре после выхода романа «Свободное падение». Журналист повторил высказывание Сэмми Монтджоя (героя романа): «Отчасти искусство заключает в себе сообщение, но лишь отчасти. В остальном — это открытие». Затем он спросил: «Кем вы считаете себя: человеком, который что-то сообщает или делает открытия?» Голдинг ответил: «Видите ли, я — живой человек. Завтра я стану в чем-то немножко иным, как и вчера был немножко иным. Взгляды мои меняются и будут меняться, пока я живу и воспринимаю жизнь. Не могу вам сказать с точностью, как соотносятся у меня оба эти начала в той или иной конкретной ситуации. Соотношение все время варьируется. В какой-то момент может возникнуть желание больше сообщить, чем открыть,— а в другой раз прилагаешь все силы, чтобы открыть нечто, сообщение отступает на задний план. И все же я — это может показаться вам странным — твердо верю, что искусство, не заключающее в себе сообщения, бесполезно. Нет, я не отрицаю, что такое произведение искусства может быть создано, но без сообщения оно останется бесполезным».

Б а й л с. Надо допустить хотя бы возможность двоякого ответа на этот вопрос, а именно: художник, у которого есть что сказать для блага — или предположительного блага — человечества, поставлен или должен быть поставлен перед моральным обязательством выражать свои мысли как можно доступнее, как можно яснее. Или, проще говоря, что художник не имеет права — на котором настаивал Т. С. Элиот в «Бесплодной земле» и других книгах — требовать, чтобы читатель, желающий понять его, освоил его особый словарь и приобрел доступные лишь посвященным знания. Как вы воспринимаете эти вопросы о моральном долге и ясности изложения?

Г о л д и н г. Мне кажется, в наши дни дело обстоит так, что любая мысль, которая не стоит того, чтобы ее высказывали, может быть высказана с предельной ясностью, а все, что стоит говорить, может быть донесено до людей лишь в особой манере мышления. Это такая манера мыслить, которая задевает сознание человека на разных уровнях и внушает ему: «Послушай-ка, это тебе не реклама кока-колы и не заявление сената, президента, королевы и т. п.; это — особым образом связанная между собой система сообщений, адресованных тому, кто сможет в них разобраться».

Я не слишком ясно выражаю все это. Наверно, я вот что хочу сказать: от ясности толку немного, потому что ясных высказываний никто не слышит. Любой может сказать: «Нельзя пить, когда ведешь машину. Пей кофе». Но ведь эта истина даже близко не касается причин, по которым люди пьют, когда ведут машину. Вы сами знаете, что единственный способ подействовать на тех, кто пьет за рулем,— это не разговаривать о вреде пьянства за рулем, а поставить человека в ситуацию, при которой он начинает понимать сам процесс происходящего, причем это может быть понимание эмоционального, а не интеллектуального свойства.

Б а й л с. Считаете ли вы, что если художнику есть что сказать для блага человечества, то он в какой-то мере обязан высказываться как можно яснее, каким бы сложным ни было содержание его слов, либо, по вашему мнению, он имеет право заявить: «Почему бы вам не освоить мой язык?»

Г о л д и н г. Не думаю, что он может сделать такое предложение, хотя бы потому, что никто не будет этот язык осваивать, если только не захочет сам. Е с л и сложность языка писателя возникает как результат хода его мыслей, е с л и люди

захотят освоить этот язык — что же, тогда он достигает успеха. Но если он просто впадает в сложность, пытаясь разъяснить сложное, а всем на это наплевать — ну, значит, он никуда не годится.

Все это неразложимо. Нельзя подвергнуть все это доскональному анализу, расставить по полочкам — слишком много места занимают здесь такие понятия, как «ощущение» или «в данный момент это так». Возьмем самый простой пример: когда вы развертываете сюжет, одно из технических средств заключается в том, чтобы немного недосказать. Потому что если вы подождете до соответствующей главы, то читатель воскликнет: «Боже мой, вот оно что! Автор ничего не сказал, а оказывается, вот что произошло!» — и сила этого сообщения в десять раз превосходит прямое: «А затем он пошел и сделал то-то».

Это — вопрос техники, за которую автор несет ответственность, ибо он стремится что-то высказать, стремится на кого-то воздействовать, и это его намерение, чувство ответственности дают ему право говорить: «Я д о л ж е н дурачить читателя в течение всего этого срока, потому что в конце я его так стукну, что он едва опомнится, вот увидите, как я его стукну. Потому что в этом месте читателя надо стукнуть как следует».

Вот почему этот самый вопрос о сложности и ясности так запутан. Все это действительно в воле писателя. Вот если отправляют с поручением посла, то, несомненно, вручая ему мандат, говорят: «Вам разрешено сказать то-то и то-то в таких-то пределах, потому что вы выполняете ответственную задачу». А писатель должен сказать: «Я стараюсь сообщить нечто важное, и, если мне придется поморочить этого человека, чтобы затем, в нужный момент, двинуть его в живот,— я это сделаю. А если он разозлится, что я его не предупредил, значит, я говорю не для него». Ведь он не писатель, а именно читатель. А читатель владеет секретами магии или должен ими владеть. Есть в этом какой-либо смысл?

Б а й л с. Именно это, этими словами я сказал бы по поводу всеобъемлющей, уходящей за пределы книги иронии ваших финалов — того, что Гиндин (критик) настойчиво именует «трюками». Упрямо называть трюком неожиданные иронические повороты в финале в ваших романах значит совершенно не понимать существа дела, которое вы сейчас излагали.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ «ШПИЛЯ»

Б а й л с. Расскажите о том, как создавался «Шпиль», о вашей подготовке к работе над ним. Я знаю, что одно время вы вели в Солсбери курс истории церкви, но это не имеет отношения к делу.

Г о л д и н г. Знаете, честно говоря, никакой подготовки не было. Понимаю, что это звучит по-идиотски, тем не менее это правда. Кстати, припоминаю, что Фрэнк Кэрмоуд написал мне — он тогда был в Гарварде или где-то в Новой Англии и как раз прочел «Шпиль» — и высказал свое мнение о книге. Он спрашивал меня, какую исследовательскую работу я проделал. Он даже ухитрился разыскать чью-то книжку на эту тему. А я ему ответил, что никаких специальных разысканий для этого романа не проводил. Это а б с о л ю т н а я правда. Все дело в том — если уж говорить точно,— все дело в том, что когда ты полвека прожил на юге Англии и по своему характеру интересуешься разными вещами, то тебя интересуют и церкви. Понимаете? Н и в к о е м е р е я не назвал бы себя специалистом по части церквей, но кое-какие познания у меня есть.

Не могу припомнить такого времени, когда, разглядывая ту или иную церковь, я не отмечал бы про себя: «Ага, здесь они не зря поставили упор. А крыша здесь потому такая широкая, что там ее поддерживает ряд колонн», и так далее. Я разглядывал норманнскую архитектуру и понимал, что в ней всегда есть некая ч р е з м е р н о с т ь. Рисковать они не желали, во всем этом было нечто гориллоподобное, в смысле силы, понимаете?

И вот так, мало-помалу, осваивалась технология этого дела, приобреталась сноровка — и появилась возможность срезать все больше и больше камня. Право, надо было бы вам поехать туда и посмотреть восточную сторону Вестминстерского собора. Вы увидите там часовню — кажется Генриха VII,— это действительно образец передовой строительной техники. Почти сплошное стекло и минимальное количество камня. Вся эта штука сработана с величайшей точностью и умением. Вот так и происходил переход от мертвой хватки мощных, гориллоподобных форм к этому техническому совершенству.

А книг об этом я совсем не читал. Я с этим жил, и для меня все это — просто. «Шпиль» писался легко.

Б а й л с. Ваш рассказ совпадает с одним замечанием Фрэнка Кэрмоуда, которое тогда показалось мне любопытным. Фрэнк сказал так: «О, Билл разгадал, как возводится шпиль».

Г о л д и н г. Верно.

Байлс. Он именно так выразился. А я подумал: «Как это похоже на Билла!»

Голдинг. Но ведь это единственный способ?

Байлс. Совсем нет. Вовсе не единственный, и большинство писателей поступило бы совершенно иначе. Для вас это, быть может, и единственный путь, но ведь вы — удивительный человек. Большинство раздобыло бы книги и стало бы досконально изучать все, что относится к летучим опорам, и перемычкам, и архитравам, и всему прочему, о чем я понятия не имею. Но всё это не для вас; вы становитесь перед собором, и упираетесь в него своей упрямой башкой, и говорите: «Так, давайте разберемся, как же этому ослу удалось такое сделать?» Это — ваш способ, и поэтому вы утверждаете, что он единственный. Он единственный только для вас.

Голдинг. Ну, я должен сделать оговорку. Одну книгу я все-таки просмотрел. Она была в библиотеке Солсбери, Уставы собора — о том, сколько раз в день монахи молились, и как они вели себя друг с другом, и так далее, и тому подобное. Я потратил на эту книгу примерно три четверти часа; в этом и заключалась вся моя исследовательская работа.

Байлс. Я прочел небольшую часть газетных рецензий и отзывов о «Шпиле», и кое-кто из критиков, видимо, немного покопал вокруг; оказывается, в действительности существовал настоятель по имени Джослин и еще что-то. Но ведь вы взяли имя Джослин просто потому, что в нем слышно средневековье?

Голдинг. Не только средневековье, и сейчас есть люди по имени Джослин. Одного я во всяком случае знал. Мне нужно было какое-то подходящее имя. И я совсем не хотел писать книгу о средневековье. Не хотел вообще, чтобы вышел исторический роман.

Байлс. Он и не вышел историческим.

Голдинг. Вот этого-то я и добивался.

Байлс. Ни одна из ваших книг не может быть названа историческим произведением, даже «Наследники».

Голдинг. Это произведение — доисторическое.

Байлс. А верно, что шпиль собора в Солсбери — самый высокий шпиль в Англии — воздвигнут без настоящего фундамента?

Голдинг. Верно. Ну, быть может, и не на все сто процентов, но ведь и в книге моей не обязательно изображен собор в Солсбери, правда? Я нарочно сбросил парочку поперечных нефов с собора в Солсбери, чтобы можно было с достоверностью говорить, что это написано не о нем.

Байлс. И еще одну вещь в этом же духе вы сделали, по моему предположению. На супере третьего издания «Воришки Мартина» (1961 г.) есть анонс: «Осенью 1962 года будет опубликован роман «Барчестерский шпиль», но заглавие оказалось просто «Шпиль» — значит, вы не хотели локализации. Барчестер Троллопа[1] можно локализовать. Вы действительно сначала собирались назвать роман «Барчестерский шпиль»?

Голдинг. Да. Я уж и не припомню, когда у меня возник интерес к шпилю в Солсбери, поскольку я преподавал под ним лет двадцать. Но помню, что однажды я подумал: как странно, Троллоп написал столько романов об этом крае — и ни в одном из них вообще нет ни слова о соборе. И ни слова о том, что делает его таким несообразным,— по-моему, так можно сказать, потому что шпиль — это действительно несообразность, это все равно как если бы этот, как его... Ллойд Райт...

Байлс. Фрэнк Ллойд Райт.

Голдинг. Фрэнк Ллойд Райт. Вот если бы он решил построить здание высотой в милю. При современной технологии это можно осуществить, но все же такой замысел был бы несообразным. И все же Троллоп, если даже и замечал шпиль собора, писать о нем не хотел, он хотел писать о миссис Прауди и епископе Прауди и тому подобное. Очевидно, первоначально у меня бродила мысль о романе в барчестерском духе и название «Барчестер» до поры до времени было удобно. А потом я его отбросил, потому что оно оказалось неподходящим; вряд ли можно догадаться, что я пишу о той же самой местности.

Байлс. А не было ли в вашем первоначальном замысле, который вы сейчас описали, полусознательного намерения «перевернуть Троллопа вверх тормашками»?

Голдинг. Нет, нет! Мне бы и в голову не пришло перевернуть Троллопа вверх тормашками. Троллоп — из числа таких порядочных, дружелюбных, надежных людей, и его надо оставить как он есть.

Байлс. Совершенно с вами согласен.

Голдинг. Не правда ли? У него есть социальный интерес к людям — в очень скромном плане. Нет, о Троллопе я не хочу слышать ничего плохого. Давайте, если угодно, договоримся так: в какой-то мере, но не полностью, «Шпиль» возник из мысли, что разные люди писали о Барчестере, и я находился в идеальной ситуации, чтобы написать свою книгу о Барчестере, а вышел роман, который никакого отношения к Барчестеру не имеет.

---

[1] Э. Троллоп (1815—1882) — английский писатель; фоном для цикла его романов «Барсетширские хроники» служит юго-западная провинция Англии — место действия «Шпиля».

НАСУЩНЕЙШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Б а й л с. В вашем эссе о Копернике есть такая фраза: «Насущнейшая человеческая потребность — искать связующие звенья между отдельными явлениями»; однако Сэмми в «Свободном падении» говорит: «Моста не существует». Я настаиваю на том, что пусть Сэмми и говорит «нет моста», но вы-то сами в это не верите, иначе вас не захватывала бы тема разрыва между рациональным и иррациональным, научным и духовным началом. Это подтверждается всем, что вы говорили о других вещах,— например, выступая в Нью-Йорке по телевидению, вы сказали: «Ни одно произведение искусства не может быть мотивировано безнадежностью, самый факт, что люди задают вопросы о безнадежности, указывает на существование надежды». Итак, о насущнейшей человеческой потребности. Можете вы хоть немного разъяснить это выражение — «насущнейшая человеческая потребность»? По-вашему, это означает самое важное в жизни человека?

Г о л д и н г. Да, я думаю так. Это — потребность чувствовать смысл любого отдельно взятого абстрактного феномена, на любом уровне действительности. Я сейчас не говорю о феномене в строго философском смысле; я говорю, быть может, скорее о событиях — но о событиях психологических, эмоциональных, религиозных, философских, даже мистических или научных, называйте их как угодно,— пусть даже событие заключается в том, что вы утром выходите из дома, чтобы взять доставленное молоко. Мне кажется, что вся ваша жизнь прошла попусту, если вы не в состоянии как-то сочетать, связать утренний выход за молоком с квазером и прочим, с новейшими достижениями астрономии и с самыми глубочайшими человеческими переживаниями. Все это о б я з а т е л ь н о должно составить некое единство. Если я исповедую какую-то веру, то лишь веру в единство. И мне кажется, что люди этого единства не видят... Мне кажется, что главное «дело» человека — назвать ли это «делом», или «инстинктом», или вот так: «насущнейшая потребность»,— мне кажется, что главное назначение его жизни вот в чем: он должен стараться, тем или иным способом, привести весь этот непостижимый хаотический мир к е д и н с т в у. Подчас что-то подскажет ему путь, подтолкнет,— а может быть, и нет,— но общее направление должно быть неизменно. Это похоже на то, как некоторые — нет, большинство растений тянутся к свету, несмотря ни на что. Может быть, никогда не доберутся, но все равно — тянутся, ползут. И в этом-то, мне думается, состоит назначение человека.

◆

Публицистика

ЖАН-ПЬЕР ДЕБРИ, АНДРЕ МАНРА

МЫ ОБВИНЯЕМ

Обжалованию не подлежит

Случилось так, что с книгой двух молодых французов Жан-Пьера Дебри и Андре Манра я познакомился еще до того, как взял в редакции «Иностранной литературы» русский перевод отдельных ее глав, представляемых сегодня читателю. Белую обложку, перечеркнутую тревожной красной полосой с двумя набранными черным словами «МЫ ОБВИНЯЕМ», я увидал впервые в руках у моего друга, известного южновьетнамского писателя Чан Хиеу Миня — человека, воевавшего на Юге, прошедшего школу сайгонского подполья и удостоенного за свою прозу литературной премии Национального Фронта Освобождения. Он похвалил книгу Дебри и Манра (отзыв его, для меня по крайней мере, в дополнениях не нуждался) и согласился оставить ее мне до следующего утра. Книгу — двести страниц с небольшим — я прочитал в тот же вечер и потом пролистал снова особенно заинтересовавшие главы.

Быть может, если оценивать ее мерками «высокой» публицистической прозы, в книге отыщутся литературные недочеты, но она подкупает возникающим с первых страниц ощущением абсолютной подлинности и лишенной какой бы то ни было позы, истинной человечностью.

Наверно, не просто было, зная и видя вблизи слепую оголтелую жестокость служителей сайгонского режима, решиться вот так — вдвоем, на свой страх и риск — поднять в самом центре Сайгона знамя освобождения. И этот, кульминационный, эпизод книги вызвал во мне вдруг оставшееся с детских лет, после «Трех мушкетеров» и «Сен-Мара», восхищение — пусть иногда и безрассудной — храбростью «ради чести», одной из самых привлекательных черт национального характера французов.

Нет, это был не просто каприз и не сумасбродство. Во время устроенного в Сайгоне судебного фарса и потом, в течение двух с половиной лет пребывания в тюрьмах (по разумению сайгонского диктатора Нгуен Ван Тхиеу, не менее полезных для общественного просвещения, чем школы), Дебри и Манра своим исполненным достоинства и стойкости поведением доказали, что действовали сознательно, во имя справедливости. И лучшее подтверждение этому — вьетнамские имена, данные французам Жан-Пьеру и Андре патриотами-вьетнамцами, их товарищами по заключению: Кюйет (Решимость) и Тханг (Победа).

Год назад, во время работы над фильмом, мне пришлось просмотреть кинодокументы о преступлениях гитлеровских фашистов, превративших массовый террор и человекоубийство чуть ли не в область «точной науки». И когда я читал повествование Дебри и Манра, передо мной снова и снова возникали те ленты тридцатилетней давности, сохраненные, казалось бы, для того, чтобы подобное никогда не могло повториться...

Разумеется, у господина Тхиеу не тот «размах» и не те масштабы, но ведь в конце концов варварство — категория не только количественная. Сегодня проблема

политических заключенных в Южном Вьетнаме переросла чисто гуманистические рамки. Это уже не просто сотни тысяч человеческих трагедий, исковерканных судеб и бессмысленных смертей, но цинично задуманный и поэтапно осуществляемый план подавления и уничтожения самой передовой и дееспособной части нации, попытка с помощью насилия и террора изменить соотношение сил на политической арене и повлиять на будущее целого народа.

Народ Южного Вьетнама избрал иное будущее. Право на это будущее южновьетнамский народ завоевал с оружием в руках и, освободив значительную часть своего отечества, создал для этого будущего зримое и прочное основание. Но в тех районах Юга, которые находятся под контролем сайгонской администрации, продолжается массовый террор; ежедневно, ежемесячно втаптываются в грязь свободы и права человека. И сейчас, когда человечество все полнее осознает общность своих судеб, люди, где бы они ни жили, не могут, не имеют права забывать об этом.

История не всегда вершит свой суд на заседаниях трибуналов, как было в сорок пятом году в Нюрнберге. Но рано или поздно она неизбежно отбрасывает в небытие всех, кто становится на ее пути. Документами обвинения на ее суде становятся и книги — такие, как свидетельство Дебри и Манра,— и вынесенный этим судом приговор обжалованию не подлежит.

МАРИАН ТКАЧЕВ

Предисловие

Мировое общественное мнение уже давно обеспокоено волной необоснованных арестов в Южном Вьетнаме. По сообщениям, дошедшим до нас окольными путями, число арестованных все продолжает расти.

И вот перед нами свидетельство очевидцев, вырвавшихся из сайгонской тюрьмы. Они рассказывают, они обвиняют. Жан-Пьер Дебри и Андре Манра повествуют о том, что они увидели и что пережили за время своего двухгодичного пребывания в Сайгоне в качестве военнообязанных специалистов и за те два с половиной года, которые им пришлось провести в тюрьме. Эти два нежелательных «свидетеля» были отпущены на свободу в результате кампании, «развернутой» Французским народным обществом взаимопомощи при поддержке мировой прессы и честных людей всей планеты.

Мы присоединяемся к их обвинениям, к их скорби, к их протесту.

Нам известно, что, подписав соглашение о прекращении огня, господин Тхиеу решил отметить окончание войны массовым истреблением ни в чем не повинных людей. Буддийский священник, преподобный Тхить Тьен Тяу, писал в газете «Монд» от 12 октября 1972 года: «В настоящее время в Южном Вьетнаме насчитывается более двухсот тысяч политических заключенных, к которым следует прибавить оппозиционно настроенных лиц (в том числе буддистов и католиков), насильно завербованных в армию».

С тех пор количество заключенных возросло: сайгонский режим прибегает к массовым облавам и арестам, мобилизует все усилия для того, чтобы полностью подавить оппозиционные течения.

Фальсификация тюремных документов, превращающая политзаключенных в уголовников, позволяет задерживать их в тюрьмах и концлагере Пулокондор либо попросту уничтожать.

Рассказ этих двух молодых французов, выпущенных на свободу 29 декабря минувшего года, содержит описания пыток, как физических, так и моральных, которые до удивления напоминают нам то, что творилось в фашистских концлагерях.

В некоторых отношениях Сайгон сделал даже «шаг вперед»: мы имеем в виду пресловутые «клетки для тигров» Пулокондора, лежа в которых заживо гниют скованные цепями узники и узницы, не имеющие возможности ни встать, ни вытянуться во весь рост.

У меня перед глазами находится брошюра под заголовком «Свидетельства и документы, собранные в Сайгоне в 1972 году», которая выпущена Комитетом по реформе тюремного режима в Южном Вьетнаме.

Содержащиеся в ней факты полностью совпадают с теми, о которых я говорил выше. В ней называются имена священников и мо-

нахов, буддистов и католиков, художников, писателей и студентов, ставших жертвами репрессий. Она повествует об условиях, в которых содержатся заключенные, и о применяемых к ним пытках.

Это сдержанный по форме и беспощадный по сути обвинительный документ.

Нужно спасти эти сотни тысяч жертв, сумевших сохранить человеческое достоинство, несмотря на бесчеловечные истязания, искалечившие их тела.

Мы должны присоединить свои голоса к голосам Дебри и Манра, чтобы помочь несчастным узникам сайгонских тюрем и лагерей снова обрести дороги свободы.

ЛУИ МАРТЕН-ШОФФЬЕ, академик

Воровской рынок

Перед тем как получить назначение в Дананг, где мы должны были, отбывая воинскую повинность, работать в качестве школьных учителей [1], нам пришлось провести неделю в Сайгоне.

В первые дни все кажется странным в этом городе: заграждения из колючей проволоки на каждом перекрестке, мешки с песком, небольшие укрепления, спаренные пулеметы, военные полицейские в защитной форме с автоматами наизготовку и вереницы армейских грузовиков, то и дело проносящиеся по улицам...

Мы столкнулись и еще с одним весьма любопытным явлением, сайгонцы называют его «воровским рынком». Прямо на тротуарах продаются товары, похищенные с американских военных складов или полученные контрабандным путем: роскошные кинокамеры, магнитофоны последней марки, такие как «Сони» и «Акай», и все это совершенно новенькое, в фабричной упаковке.

Полиция, разумеется, время от времени устраивает облавы; тогда тротуары мгновенно пустеют, торговцы подхватывают свои битком набитые мешки и перебираются на соседнюю улицу, где уже через несколько минут торговля снова идет полным ходом.

Позже мы узнали, что на этом рынке верховодят жены таможенников и полицейских, ворующих товары со складов при попустительстве своего начальства.

Нередко на сайгонских улицах можно было наблюдать и такое: вдогонку за американским грузовиком несется на мотоциклах несколько молодых вьетнамцев. Один из них прыгает в кузов и начинает скидывать с него ящики. Шофер-американец видит все это в ретровизор, но у него нет времени остановиться. Той порою остальные мотоциклисты собирают добычу. Южновьетнамский полицейский бесстрастно взирает на происходящее. Если же шофер вздумает затормозить и попытается высказать свое возмущение, полицейский кричит ему: «Проезжайте, не создавайте затора!»

Нищета

Основная масса населения Южного Вьетнама страдает от нищеты и лишений, порожденных войной. Каждый двадцатый вьетнамец получил ранения и тяжелые увечья. В сайгонском военном госпитале Конгхоа лежат сотни молодых вьетнамцев с ампутированными руками или ногами. На сайгонских улицах можно видеть целые семьи, ночующие прямо на тротуаре. Множество бездомных, не имеющих крова и пристанища детей, спят, свернувшись в клубочек, перед роскошным отелем «Мажестик».

По берегам реки громоздятся грязные лачуги. В единственной комнате, которая служит одновременно и кухней и спальней, нередко теснится семья человек в десять и больше. В нескольких сантиметрах от алтаря предков, на котором курятся благовония, к стене прикноплены фотографии голых красоток, вырезанные из журнала «Плейбой»,— гротескное сочетание импортированной из Штатов «цивилизации» и ужасающей южновьетнамской нищеты.

В Сайгоне полным-полно детей, влачащих полунищенское и нищенское существование: маленьких чистильщиков обуви, продавцов мороженого; многие из них изувечены войной. Нередко малыши служат поводырями у своих родителей, потерявших зрение или только притворяющихся слепыми. На груди у них плакаты, написанные по-английски: «Меня зовут так-то и так-то, моя мать ослепла во время войны на оба глаза. Подайте, пожалуйста, хоть что-нибудь, чтобы я смог поесть».

В квартале Кикон, неподалеку от многолюдного рынка, разместилась «школа», в которой детей учат побираться, притворяться слепыми, принимать позы, способные разжалобить прохожих. Там же ребятишки обучаются орудовать бритвой, вырезая карманы, в которых лежат кошельки.

[1] Нередко во Франции лица, могущие вести преподавательскую работу, вместо отбывания действительной военной службы направляются преподавателями в те страны, где обучение ведется на французском языке (в старших классах школ или в высших учебных заведениях). *Здесь и далее примечания М. Ткачева.*

Проституция

Проституция тоже была порождена иностранной оккупацией.

В Южном Вьетнаме все здоровые мужчины взяты под ружье. Людей насильно сгоняют на военную службу. Само собой разумеется, что трех-, четырех тысяч пиастров (около пятидесяти франков) в месяц солдату едва-едва хватает на сигареты и он ничего не может послать жене и детям. Таким образом, женщины вынуждены сами изыскивать средства к существованию. Они идут работать уборщицами на американские военные базы, потому что американцы платят чуть больше, чем вьетнамцы и китайцы, и там волей-неволей превращаются в проституток. А оттуда попадают в сети хорошо налаженной и разветвленной организации, которую сами американцы именуют «мясным рынком».

Взяточничество

Оно существует, так сказать, в силу необходимости. Даже высшие чиновники получают не более тридцати — сорока тысяч пиастров в месяц. Как прожить на эти деньги, если вокруг столько соблазнов: японские автомобили, транзисторы, магнитофоны, стереопроигрыватели? Должности в Южном Вьетнаме продаются и покупаются. Находясь в тюрьме, мы узнали, что нужно обладать определенным капиталом, чтобы получить тот или иной пост. Директор тюрьмы покупает свою должность, губернатор провинции — свою. В одной провинции это обходится дешевле, в другой, где не ведется крупных сражений и есть возможность нажиться на подпольной торговле, — дороже.

Когда в Дананг прибывают грузы из Америки, американцы не выбрасывают фанеру и картон, служившие упаковкой, а уступают их задешево вьетнамским городским властям. Те, в свою очередь, перепродают их беженцам, которые нуждаются в материалах для постройки бараков, но уже по гораздо более высоким ценам. Стоимость одного листа фанеры размером метр двадцать на два сорок равняется, например, трехдневной заработной плате рабочего.

Таким образом, вьетнамские власти покупают у американцев привилегию эксплуатировать своих сограждан-беженцев. А беженцы — привилегию жить в бараках, сколоченных из американских ящиков.

Смех сквозь слезы

Есть в Сайгоне улица Тызо, то есть улица Свободы. Спросите у любого вьетнамца, как понимать это название, и он вам ответит: «Свобода делать все что заблагорассудится». Ведь улица Свободы — это квартал публичных домов, где раскрашенные, словно куклы, вьетнамки в мини-юбках выглядывают из витрин, зазывая проходящих мимо американских солдат.

Другая сайгонская улица носит название Конгли, улица Правосудия. Ее пересекает проспект, названный именем Чан Хынг Дао [1], вьетнамского генерала, чей портрет украшает банкноты достоинством в пятьсот пиастров. Таким образом, иронизируют вьетнамцы, до Правосудия в Сайгоне можно добраться только Денежным Путем.

Зинь Доклап, дворец Независимости, где размещается резиденция президента Тхиеу, сайгонцы переименовали в Зинь колап, то есть «Дворец за семью замками», потому что он окружен плотными рядами колючей проволоки.

Бульвар Единства, на который, кстати сказать, выходит фасад американского посольства, разделен пополам, и та его половина, где находится Ботанический сад, недоступна ни одному вьетнамцу.

Слово «демократия» звучит по-вьетнамски «зэн тю», что в буквальном переводе значит «народовластие»; вьетнамцы переиначили и это слово, добавив к нему всего одну гласную, и получилось «зэн тюи» — «народное бедствие».

Сопротивление

Мы начали изучать вьетнамский язык, чтобы иметь возможность общаться с людьми, с которыми нам приходилось каждодневно сталкиваться. Нам необходимо было попытаться их понять. Малопомалу мы убедились в том, что вьетнамское Сопротивление вовсе не является делом рук небольшой кучки людей, как это пытается доказать сайгонская пропаганда. В самом деле, разве могла бы эта пресловутая «горстка людей» выдерживать натиск грозной военной машины, оснащенной новейшими видами вооружения? Вьетнамское Сопротивление — дело рук всего народа, маленького народа, наделенного безмерным героизмом. Это борьба, в которой участвуют и двенадцатилетний мальчишка, и седой старик. Это и пастушок, крадущий оружие у вражеских солдат и служащий связным между деревенскими подпольщиками и партизанами, ушедшими в лес; и уборщица с военной базы, достающая ее план и руководящая акцией саботажа во время очередного налета партизан; и старик, который сидит у ворот базы и подсчитывает, сколько транспорт-

[1] Чан Хынг Дао (1226—1300) — прославленный полководец и государственный деятель, отразивший в XIV в. китайско-монгольское нашествие; автор трактатов по военному искусству и знаменитого «Воззвания к военачальникам», выдающегося памятника средневековой литературы.

ных и военных грузовиков проезжает на ее территорию. Это не только патриоты, сражающиеся в глубине джунглей, но и те воины-невидимки, которых крестьяне кормят и прячут в тайниках, устроенных под домами. Это, наконец, сотни тысяч глаз, которые неусыпно, без устали следят за врагом. Это находчивость, сметка, храбрость, это неслыханные страдания, это дух самопожертвования, окрыляющий лучшую часть вьетнамского народа.

1 января 1970 года окончился срок нашей воинской повинности. Мы могли остаться на своих местах в качестве гражданских лиц. Но нам было невмоготу жить так, как мы жили раньше. Нам хотелось понять причины окружающих нас страданий, отыскать их корни; нам надоело влачить тусклое существование школьных учителей. Мы чувствовали, что при таком положении вещей мы становимся невольными пособниками ненавистного нам режима, этой прогнившей системы, при которой процветают взяточничество и спекуляция, растет нищета, развивается проституция, превратившаяся для многих женщин и девушек в единственную возможность прокормиться.

Нам нужно было решиться на какой-то шаг, предпринять нечто такое, в чем выразилось бы наше неприятие сайгонского режима, его осуждение. Нам необходимо было во всеуслышание заявить о нашей солидарности с вьетнамским народом.

Кроме того, нам было важно, чтобы наш голос дошел до наших учеников. Большинство из них были пацифистами; они хотели бы забыть о войне, хотя это было невозможно: ведь война шла на их глазах. Они ненавидели режим Тхиеу, но в то же время испытывали страх перед «вьетконгом» [1]. Нам хотелось доказать им на деле то, что раньше утверждалось словами.

Наш замысел

Он созрел не сразу. Мы начали обдумывать эту идею несколько месяцев назад. Мало-помалу наш план становился все отчетливей. Освободившись от военных обязанностей, мы решили проехаться по окрестным деревням. Нам хотелось сфотографировать то, что мы увидим. Но когда видишь вокруг одни бесконечные развалины, когда видишь малышей, попавших под колеса армейских грузовиков, которые проносятся дальше, не сбавляя скорости; когда видишь лагеря для перемещенных лиц, цинично именуемые «поселениями нового образа жизни», в которых мужчины и женщины, оторванные от своей земли, крова, хозяйства, вынуждены выпрашивать рис; когда видишь детей, которых учат владеть американским оружием; когда видишь проституцию; когда видишь, что лагеря для беженцев намеренно разбивают вблизи военных баз, чтобы от ракет «вьетконга» страдало мирное население (яркий пример психологической войны!); когда, наконец, читаешь недоверие и ненависть в глазах встречных вьетнамцев, принимающих тебя за оккупанта,— когда видишь все это, пропадает всякое желание делать снимки, какими бы неопровержимыми уликами они ни могли послужить.

Памятник

В центре Сайгона есть площадь Ламшон [1], названная так в честь победы вьетнамцев над чужеземными захватчиками. На ней высится памятник двум южновьетнамским морякам. Они направляют дула своих ружей на... Палату депутатов, которую сайгонцы именуют не иначе, как «балаганом». Один из моряков целится, другой как бы подталкивает его сзади; вьетнамцы уверяют, что подталкивающий — это не кто иной, как американский солдат.

Чтобы понять значение этого памятника, необходимо вспомнить, что Тхиеу и его приспешники тщатся перекроить на свой лад героическое прошлое вьетнамского народа. Они стараются, например, приспособить этот символ сопротивления китайским поработителям (пришедшим с Севера) к современной обстановке, заменив китайцев северовьетнамцами. Они пытаются использовать десятивековую историю борьбы вьетнамского народа сначала против китайцев, потом против французских и японских колонизаторов, чтобы доказать, что борьба эта велась извечно, только теперь вместо китайцев агрессорами являются якобы северовьетнамцы.

Все это показывает, каким важным символом служит эта статуя для сайгонских властей.

Знамя гнева

Мы решили взобраться на голову одного из этих моряков и поднять там знамя Национального Фронта Освобождения. Чтобы изготовить полотнище, мы купили на рынке, у разных торговцев, несколько отрезов ткани. Сшили их вместе и приклеили к ним звезду.

Подготовка к выступлению заняла у нас целый месяц. Чаще всего мы рабо-

[1] Так сайгонская и западная пропаганда называет вьетнамских патриотов, участников Сопротивления. Слово это буквально означает «вьетнамский коммунист», хотя, разумеется, в Сопротивлении участвуют не только коммунисты, но самые широкие слои общества, люди различных убеждений и взглядов.

[1] Название местности в провинции Тханьхоа (ДРВ), где в 1418 г. началось восстание против китайских захватчиков, завершившееся в 1428 г. изгнанием оккупантов.

тали по ночам. Нам пришлось купить ротатор, чтобы отпечатать на нем две-три тысячи экземпляров листовки, написанной нами по-вьетнамски. Мы намеревались распространить их в разных районах столицы, а также разбросать вокруг статуи. Мы жили в помещении, снимаемом у одного крупного чиновника правительственного аппарата Тхиеу, и нам приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Как-то ночью, когда готовые листовки сушились на столе, к нам постучал хозяйский сын. Пришлось моментально собрать их и спрятать в укромное место, прежде чем открыть ему дверь.

Заглавие листовки было «Хоа бинь», что значит «Мир». Вот ее текст:

«Тхиеу и его хозяева и приспешники обещают вам мир. В то же время они продолжают и развивают военные действия. Слова «Свобода» и «Демократия», которыми они пользуются, утратили на юге Вьетнама всякий смысл. Присутствие американцев повсюду влечет за собой разорение, страдания, взяточничество, коррупцию, проституцию.

Мир во Вьетнаме возможен только путем вывода американских войск и свержения марионеточного режима Тхиеу, Ки и Кхьема».

Накануне решающего дня мы сели в машину и развезли часть тиража наших листовок по разным кварталам Сайгона. Одну из пачек кинули в кузов грузовика, идущего в Далат, в четырехстах километрах от Сайгона, надеясь, что таким образом листовки попадут и туда.

На следующее утро мы отправились на площадь Ламшон. Знамя нам пришлось свернуть и сложить в специально для этой цели сшитый чехол; мы заказали его у одного портного, сказав ему, что он нужен нам для удочек. Перед тем как взобраться на памятник, мы попробовали связаться с журналистами. Андре зашел в ближайшее кафе и попытался дозвониться в агентство Франс Пресс, но линия оказалась занятой. Тогда мы пересекли площадь и направились к памятнику.

На вершине монумента

Мы вскарабкались по колоссальным фигурам двух моряков и, добравшись до самого верха, устроились на их головах, на высоте девяти метров. Здесь мы развернули наше знамя и принялись разбрасывать листовки.

Это было в половине первого. Мы рассчитывали, что в это время на площади будет больше всего народу и нас обязательно заметят. Сначала ничего не произошло. Никто не обратил на нас внимания. Наши сердца забились от волнения. Люди продолжали как ни в чем не бывало шагать по площади. Потом один из прохожих поднял голову. Подбежал полицейский в белой форме с автоматом в руках; он явно не знал, что ему делать, и решил ждать подкрепления. Потом люди бросились к подножию памятника и начали подбирать разбросанные нами листки. Подкатил какой-то велосипедист, поднял одну из листовок и погрузился в чтение. По его широкой улыбке было видно, что ему приятно читать текст на родном языке. Он спросил у нас, не кинуть ли нам чехол, упавший с памятника. Мы отказались, и он скрылся в толпе. При появлении полиции люди начали расходиться. В тот момент, когда полицейские оцепляли монумент, взрослые посылали ребятишек за последними листками, лежавшими на земле. В составленном позднее полицейском отчете указывалось, что на земле оставалось еще несколько сот листовок, таким образом, можно заключить, что подобрано их было свыше двух тысяч.

Какой-то американец в штатском, появившийся из отеля «Континенталь», подошел к статуе и, приняв нас за своих соотечественников, обозвал сукиными детьми. Зато другой, чернокожий в военной форме, проезжавший мимо на маленькой «хонде», остановился, посмотрел на нас и, улыбнувшись, поднял кулак в приветственном жесте Черных пантер. Теперь на площади было много журналистов. Они фотографировали нас, снимали на кинопленку. Мы решили продержаться на вершине статуи как можно дольше.

Тут мы увидели группу людей в штатском, которые, судя по всему, были представителями власти. Они протискивались сквозь толпу, собравшуюся на тротуарах довольно далеко от памятника. Теперь у подножия статуи осталось только десятка четыре журналистов и столько же людей в штатском, решивших, как видно, принимать крутые меры. Один из них вскарабкался на памятник и, вытащив из кармана револьвер, прицелился в голову Андре, но отступил, потому что снизу ему крикнули: «Не стреляй!» Другие кричали нам: «Спускайтесь!» Мы, естественно, отказались. Тогда они стали подбирать булыжники и швырять в нас изо всех сил. По нашим лицам потекла кровь. Вьетнамские «красные береты»[1] принялись с двух сторон взбираться на монумент. Одному из полицейских, которого мы не успели заметить, удалось вскарабкаться на статую и ухватиться за полотнище. Знамя затрещало, и мы отпустили его. Теперь нам не было никакого смысла оставаться на своих местах, и мы решили спускаться.

[1] Название отрядов специального назначения сайгонской армии, обучаемых и формируемых на манер американских «зеленых беретов»; используются в основном для диверсионно-полицейских акций.

ЖАН-ПЬЕР ДЕБРИ, АНДРЕ МАНРА
МЫ ОБВИНЯЕМ

Арест

Дальнейшие события разыгрались для каждого из нас по-разному.

Жан-Пьер: Когда я начал спускаться, один из «красных беретов», добравшийся до самой вершины, схватил железный прут, служивший древком для нашего знамени, и ударил меня. Падая, я вцепился в полицейского, спускавшегося впереди меня, и мы оба покатились на землю. Мне здорово досталось, но я успел заметить, что и полицейскому тоже пришлось несладко.

Начиная с этого момента все смешалось у меня в голове. Как видно на снимках, сделанных журналистами, меня волокли по земле. На меня сыпался град ударов. Я старался сдержать дыхание, зная, что, если разом выдохну воздух из легких, мне сломают ребра. Прошло какое-то время, показавшееся мне бесконечно долгим, и чей-то голос произнес надо мной: «Он уже готов». Полицейские в белой форме подняли меня и швырнули в джип.

Андре: Я не видел, как упал Жан-Пьер. Я высматривал место у подножия статуи, где было поменьше полицейских и была возможность проскользнуть между их рядами. Спустившись на землю, я получил удар по голове, но устоял на ногах и даже попытался парировать сыпавшиеся на меня удары. Меня перебрасывали из рук в руки, молотили кулаками. Один из полицейских в штатском (помню, на нем была оранжевая с голубым рубашка), грязно выругавшись, ударил меня в переносицу. Потом меня повели сквозь притихшую толпу. Только одна старуха вьетнамка чуть слышно всхлипывала. Двое полицейских с автоматами втолкнули меня в джип. Машина остановилась возле здания префектуры. Какой-то хмурый тщедушный полицейский заехал мне в челюсть, но я даже не почувствовал боли. Тут я увидел лежавшего Жан-Пьера. Он еле дышал. Я спросил, как он себя чувствует, но у него не было сил ответить. Нас снова затолкали в джип и отвезли в Народный госпиталь, где наскоро зашили наши раны.

И все же мы продержались на статуе добрых полчаса!

Допросы

Допросы длились целых пять дней. Каждое утро за нами являлись полицейские с носилками: ведь мы еще не были в состоянии ходить. Допросы чаще всего сводились к угрозам и оскорблениям. Особенно в тех случаях, когда мы выражали свое возмущение коррупцией и разложением правящих кругов Сайгона. Нас не пытали, но, в целях устрашения, заставили присутствовать при пытке одного арестованного, подозреваемого в связях с «вьетконгом». Его уложили на скамью, привязав к ней — садистская деталь — жгутами, скрученными из разорванного сайгонского флага. Сунули в зубы грязную тряпку, чтобы он не смог закрыть рот. Один из полицейских держал его за волосы, прижимая голову к скамье. Другой лил ему в рот мыльную воду и отработанное машинное масло. Тот, захлебываясь, тщетно старался выплюнуть эту смесь.

Больше всего нас поразило в арестованном его странное спокойствие и какое-то равнодушие, даже презрение к пыткам: каждый раз он сам, без принуждения, ложился на скамью. Словно бы эти пытки были для него само собой разумеющейся неизбежной формальностью, против которой не имело смысла возражать.

— Его взяли в деревне,— разъяренно прохрипел один из полицейских.— Он выходил из леса с автоматом в руках. Из него не вытянешь ни слова!

— Вы действовали по заданию Национального Фронта Освобождения?

Нам часто задавали этот вопрос. Следователь тайной полиции — один из тех, кто избивал нас у подножия памятника,— был явно не в состоянии поверить нашим объяснениям. Не может быть, чтобы эти двое молодых французов до такой степени отличались от людей, с которыми ему приходилось каждодневно сталкиваться, чтобы действовать не из корыстных побуждений!

— Сколько вам за это заплатили?

Его привычная злорадная ухмылка быстро сменилась недоверчивой гримасой, когда он услышал, как мы пересказали ему по-вьетнамски текст той самой листовки, которую мы разбрасывали и которая, по его разумению, не могла быть составлена никем, кроме наших вьетнамских «сообщников». Полковник Нгуен Мау, шеф тайной полиции, не меньше его озадаченный таким оборотом дела, заставил нас переписать от руки весь текст листовки. И, поскольку на все его вопросы мы неизменно отвечали, что у нас не было никаких вьетнамских сообщников, процедил сквозь зубы:

— Ну, раз вы не хотите с нами сотрудничать, вам осталась одна дорога — в тюрьму!

Прибытие в Тихоа

Впрочем, это была не тюрьма, ибо сайгонские власти предпочли заменить столь неблагозвучный термин другим, более изысканным выражением: нас доставили в Центр перевоспитания и приобщения к миру и согласию, сокращенно — Тихоа.

Если с бульвара Ле Ван Зюйет свернуть в тупик Хоахунг, перегороженный внушительной металлической оградой, за ней откроется огромный восьмигранник из железобетона, окруженный тройным кольцом стен, опутанный колючей проволокой и ощетинившийся сторожевыми вышками.

В тюрьме насчитывается семь секторов, AB. BC, ID (он разделен на две части: в одной — больница, другая предназначена для иностранных заключенных, спекулянтов и прочих), ED, FG и AH. За стеной находится так называемая «новая больница», служащая местом заключения женщин, обвиняемых в политических преступлениях. Самый старый из секторов — FG, он был возведен еще во времена японской оккупации. Остальные построены французскими колонизаторами. Снаружи к тюрьме примыкает площадка для казней, замаскированная под огород.

В центре тюрьмы высится водонапорная башня с бойницами и четырьмя громкоговорителями; над ней развевается сайгонский флаг. От нее расходятся восемь дорожек, которые в период дождей затопляет вода, проникающая в камеры цокольного этажа, предназначенные для политических заключенных. Дорожки эти усыпаны осколками битого стекла и обнесены стенами, увитыми колючей проволокой. Горизонт повсюду замыкают бутылочные осколки и проволока...

Сектор ED, если взглянуть на него со стороны дорожки, представляет собой слепую бетонную стену. В камерах этого сектора нет окон. Администрация тюрьмы отвела его для «нгоан ко», или «упрямцев», то есть тех, кто упорно не поддается лагерному «перевоспитанию». К числу «упрямцев» относятся и те, кто отказывается салютовать сайгонскому флагу, нарушая тем самым первейшую заповедь «перевоспитания»: каждое утро, едва из громкоговорителей раздадутся звуки сайгонского гимна, все заключенные обязаны застыть по стойке «смирно», обратившись лицом к флагу...

«Кинозал»

В том же секторе находится так называемый «зал безопасности» (фаунг аннинь), в который ведет одна-единственная дверь из внешнего тюремного коридора. На самом деле это застенок, где пытают заключенных. Узники прозвали его «кинозалом», ибо стоит появиться в тюрьме какой-нибудь официальной комиссии, как из него выносят и прячут все орудия пыток, а самому помещению придают вид кинозала: вешают экран и устанавливают кинопроектор. По обеим сторонам этого зала расположены крохотные клетушки на одного человека, совершенно лишенные освещения. Дальше — две большие общие камеры, «клетки для тигров», размером десять на двадцать метров; каждая из них освещена одной тусклой электрической лампочкой. Внутри этих «клеток», вдоль стен, на уровне пола укреплены двойные железные брусья, к ним приковывают за щиколотки сотни заключенных, мужчин и женщин, которым приходится лежать на боку с заломленными за спину руками, скрючившись в самой невыносимой позе. Чаще всего на них нет никакой одежды. Их мучает страшная духота, на них нападают несметные полчища клопов и москитов...

В Тихоа томится от восьми до десяти тысяч заключенных: это целый городок посреди большого города Сайгона.

Камера 2B10

За нами только что захлопнулась бронированная дверь камеры 2B10 (камера № 10, второй этаж сектора BC). К решетчатому окошку тотчас приникают вышедшие на прогулку заключенные. Они хотят узнать, кто мы, завязать с нами беседу. Их быстро разгоняют другие заключенные, которые, судя по всему, пользуются здесь весьма широкими правами. Мы с удивлением видим, что они свободно разгуливают по коридорам, что им доверены даже ключи от камер...

По соседству с нами, в камере 2B11, находится десятка два таких «подневольных надсмотрщиков». Это — уголовники, которых тюремная администрация использует точно так же, как нацисты использовали в своих концлагерях капо: им поручены надзор и слежка за «политическими», а при случае — и расправа над ними.

Эти южновьетнамские капо получили приказ изолировать нас от остальных заключенных, не допускать никаких контактов, никаких бесед с кем бы то ни было. Целых пять месяцев нам пришлось терпеть от них оскорбления, подвергаться всевозможным провокациям. Нам не разрешалось гулять, мы были лишены возможности бывать на солнце хотя бы несколько минут в день; даже воду нам выдавали в ограниченном количестве.

Прейскурант предательства

Капо сектора BC покупают свои должности у начальника сектора Нгуэн Данг Ана по ценам, которые колеблются в зависимости от важности поста, точно соответствуя доходу, который капо надеется извлечь из своей должности. С точки зрения капо и начальника сектора, тюрьма является не чем иным, как огромным рынком, нужно только уметь наладить торговлю. Капо, отпирающий камеры политзаключенных, надзирающий за ними во время прогулок и туалета, не может рассчитывать на большой доход; поэтому его должность можно купить за какие-нибудь три тысячи пиастров. У того, кто наблюдает за узниками во время свиданий с родными, более до-

ходное место: он может присвоить себе передачу или получить денежную мзду. Есть также капо, ведающие «службой безопасности», то есть занимающиеся обысками в камерах; им уступают часть своих барышей тюремные спекулянты. Самой дорогой должностью является пост тюремного старосты — за него приходится платить тридцать тысяч пиастров. Ведь староста, непосредственно подчиненный начальнику сектора, контролирует всю деятельность тюремного «черного рынка»: торговлю опиумом, героином, алкоголем, продуктами питания, сигаретами...

Само собой разумеется, что староста и капо не задумываясь прибегают к средствам устрашения и притеснения, чтобы терроризировать остальных заключенных. Такой порядок вещей способствует эксплуатации заключенного заключенным. Охранники нередко вступают в сговор с капо, становятся их партнерами по «черному рынку», что дает последним возможность при случае оказывать давление на своих собственных стражей, шантажируя их. Благодаря тому же обстоятельству капо превращаются в подлинных хозяев тюрьмы, наводящих страх даже на охранников.

Флакон с бальзамом

...И все-таки, несмотря на то, что мы находились под строгим надзором, несмотря на невероятные опасности, которыми грозило всякое общение с нами, с первой же недели нашего заключения мы почувствовали крепкие узы внутритюремной солидарности.

Однажды, когда мы лежали на циновках у себя в камере, кто-то поспешно бросил нам сквозь прутья решетки маленький сверток. Мы не успели разглядеть лицо этого неведомого друга, которому удалось тайком проскользнуть мимо нашей камеры. В свертке оказался небольшой флакон с вьетнамским болеутоляющим бальзамом, которым смазывают кровоподтеки. К флакону была привязана краткая записка на превосходном французском языке: «Спасибо за ваш поступок, спасибо от всего вьетнамского народа. Немедленно уничтожьте эту записку. Ваши братья по оружию».

Улыбка

Однажды августовским утром, когда мы, прильнув к решетке камеры, всматривались во двор, куда нам еще не разрешали выходить, нашим глазам открылась незабываемая картина. Она вовеки останется в памяти, словно выжженная раскаленным железом.

Мы увидели заключенного, одетого в черную арестантскую пижаму, изодранную и покрытую разноцветными заплатами; опираясь на костыли, он с трудом переступал босыми ногами, направляясь к центральной башне. Он шел вдоль стены, стараясь держаться подальше от солнца. Добравшись до границы тени и света, он вздрогнул всем телом и отшатнулся, словно ослепленный вспышкой молнии. Но обернувшись, заметил нас и улыбнулся. Он был совсем молод. За ним шли другие заключенные: как и он, они оборачивались и улыбались нам. Потом появились старики. Одни из них ползли по земле, других несли на своих спинах товарищи помоложе. У всех были помертвевшие лица, бесплотные тела с перебитыми конечностями. Но на губах у каждого светилась поразительная улыбка, нежная и естественная, в которой отражалась их любовь к нам. Позже мы узнали, что они только что вернулись из «клеток для тигров» Пулокондора.

Витамины духа

После суда (о нем будет речь ниже) мы получили, наконец, разрешение на несколько минут спускаться по утрам во двор. Описывая круги и замедляя шаг перед решеткой камеры ОВ1, мы успевали перекинуться несколькими словами с ее обитателями. Их было двадцать пять человек, и все они числились в «упрямцах» за то, что вот уже три месяца отказывались салютовать сайгонскому флагу. Среди них было много преподавателей французского языка, студентов и даже один переводчик с английского. Мы сообщали им о том, что творится в мире.

Начиная с этого времени нам была предоставлена возможность получать американские и вьетнамские газеты; мы переводили их, делали из них вырезки, короче, снабжали своих собратьев информацией о политических и военных событиях. Они называли эти сведения «витаминами духа» (тхуок бо)[1]. И, в свою очередь, рассказывали нам о борьбе, ведущейся внутри тюрьмы, о репрессиях, которые им пришлось испытать. Каждое из этих сообщений было плодом коллективной работы всей камеры и даже, как мы позже узнали, других камер. Личное свидетельство каждого из заключенных было тем вкладом, из совокупности которых вырастал окончательный обвинительный документ.

Основной целью этих подпольных связей было получение информации, которая не ограничивалась новостями из внешнего мира, но касалась также и событий, происходящих внутри тюрьмы. Эти сведения собирались буквально по крупице: кому-то, например, удалось, оставаясь незамеченным, подслушать разговор двух капо о готовящихся репрессиях или о состоянии больных и раненых в других секторах...

[1] Буквально — «тонизирующее средство».

Смерть президента Хо Ши Мина

3 сентября 1969 года скончался президент Хо Ши Мин. А утром 10 сентября свыше тысячи политзаключенных из сектора BC потребовали разрешения носить траур по президенту Хо, а также воздвигнуть в его честь поминальный алтарь согласно вьетнамскому культу предков. Они потребовали также у тюремной администрации, чтобы та немедленно отменила скандирование лозунга «Долой коммуниста Хо Ши Мина!». Не дожидаясь решения администрации, узники самовольно надели на рукава черные и белые траурные повязки, вывесили в камерах траурные флаги.

Тогдашний начальник тюрьмы полковник Люйен и начальник сектора Рон попытались заставить узников выкрикивать этот лозунг. Встретив сопротивление, они приказали капо убрать из камер флаги. Но заключенные снова оказали решительный отпор, и власти отступили.

Начальник сектора попробовал было навязать заключенным новый лозунг «Долой коммунистов-убийц!» — но снова натолкнулся на категорический и единодушный протест.

Тогда полковник Люйен решил начать расправу. Он организовал из капо «отряд по обеспечению безопасности», поставив во главе его лейтенантов Нги, Бонга и Лама, которые прежде сами были уголовниками.

25 сентября этот отряд принялся избивать заключенных. В камере 3F1 у заключенного Ньи была сломана рука; заключенный Суан рухнул на пол без сознания с разбитым черепом. Тогда остальные узники, скандируя лозунг «Долой репрессии!», вывесили перед решеткой своей камеры белую тряпку, чтобы оповестить заключенных из других секторов, что один из их товарищей находится при смерти. Полковник Люйен перепугался. Он приказал своему «отряду» прихватить носилки и вынести из камеры трех наиболее сильно пострадавших заключенных. Но «политические» отказались выдать своих товарищей и потребовали, чтобы врачебная помощь была им оказана на месте.

Полковнику пришлось принять не только это условие, он оставил и намерение навязать заключенным свои лозунги. Кроме того, политзаключенные добились отставки начальника «отряда по обеспечению безопасности». Победоносный исход этой схватки стал свидетельством духа солидарности, который царил среди политзаключенных, несмотря на то, что власти держали в строгой изоляции мужчин из сектора FG и женщин из сектора BC.

Пропагандистские фильмы

В каждом секторе тюрьмы время от времени демонстрируются фильмы, способствующие «перевоспитанию». Все они скроены на один фасон, например: «доблестный сайгонский солдат» покидает родную деревню, чтобы исполнить свой воинский долг и защитить родину. Тем временем злобный вьетконговец, появившийся из-за кустов, насилует его невесту. Или: дети выходят из школы, натыкаются на засаду, устроенную вьетконговцами, и падают, сраженные пулями. Вьетконговцы с факелами в руках поджигают соломенные хижины. Или: мать прижимает к себе младенца. Вьетконговец вырывает его у нее из рук, крича: «Этот ребенок — сын народа, он принадлежит не тебе, а нам». И так далее.

Подобные фильмы особенно часто показывают несовершеннолетним правонарушителям из сектора BC, на которых они, естественно, производят глубокое впечатление. Это подлинное насилие над детской психикой.

Но и политзаключенные тоже обязаны присутствовать при показе этих фильмов, даже если они этого не хотят. Ослушников ждет кара; так, вечером 21 декабря 1969 года банда хулиганов под предводительством капо Нги напала на заключенных камеры 2F3, сектор FG, отказавшихся от просмотра, тяжело ранив многих престарелых узников.

Радио

Другой формой постоянного насилия над сознанием, другой разновидностью психологической пытки являются радиопередачи. Их транслируют ежедневно начиная с половины одиннадцатого утра, посредством четырех громкоговорителей, установленных на центральной башне. Передачи эти чаще всего построены в форме диалога между мужчиной и женщиной, которые живут в какой-нибудь захолустной деревушке. Они превозносят воображаемые «великие победы славных сайгонских войск над злобными убийцами и грабителями, вьетконговцами». Или рассказывают о том, как «доблестный президент Тхиеу» посещает войска на Контумском фронте, а его супруга открывает родильные дома и детские приюты, жертвует миллионы пиастров беженцам из такой-то и такой-то деревни, пострадавшим от коммунистов.

Существуют и специальные радиопрограммы для «перевоспитуемых», составленные группой офицеров, специалистов по психологической войне. Эти «специалисты» часто разъезжают по «центрам перевоспитания», то есть тюрьмам, и устраивают там собрания, которые длятся нередко два-три дня подряд.

Прибытие этих групп всегда служит поводом для насилий и репрессий. Тюремная администрация неизменно пус-

кает в ход одну и ту же угрозу: «Раз вы сами не хотите подчиняться внутреннему распорядку центра перевоспитания, мы не можем вам потакать. Отныне прогулки будут запрещены, свидания с родными отменены, вода будет выдаваться в ограниченном количестве».

Усиление репрессий

17 августа 1970 года мы сами стали свидетелями подобной расправы. Утром во дворе тюрьмы собрались делегаты от заключенных. Они отказывались вернуться в свои камеры в знак протеста против усиления строгостей тюремного режима. Их окружили капо, угрожая им, пытаясь их запугать. Делегаты не поддавались на угрозы. Политзаключенные, оставшиеся в камерах, демонстрировали им свою солидарность: они вывесили перед зарешеченными окнами свои черные арестантские пижамы, на каждой из которых была выведена мелом какая-нибудь буква. Сочетание этих букв образовывало лозунг в поддержку делегатов, находящихся во дворе. На целых три этажа вдоль тюремного фасада протянулся этот поразительный импровизированный плакат. Сотни кулаков разом просовывались сквозь прутья решеток, сотни заключенных в один голос скандировали лозунг в защиту своих прав.

Вечером того же дня мы увидели, что капо нашего сектора, вооруженные дубинками, отправляются в соседний сектор FG. Некоторые из них несли мешки, в которых, как мы потом узнали, была негашеная известь. Взобравшись по оконным решеткам, они принялись высыпать содержимое мешков в камеры. Потом наступила ночь, и мы уже не могли видеть того, что происходит во дворе. Раздавались взрывы, слышались крики. Это капо бросали в камеры гранаты со слезоточивым и рвотным газом. Три, четыре, пять гранат в каждую камеру. Начальник нашего сектора, Нгуен Данг Ан, заглянув к нам, любезно предложил несколько долек лимона, чтобы приложить к векам — средство защиты от слезоточивого газа. Газ и в самом деле уже проникал в нашу камеру, хотя она была расположена в другом дворе. Мы с негодованием швырнули в лицо тюремщику его лимоны. Вся тюрьма содрогалась от крика. Целый сектор, в пятьсот или шестьсот глоток, выкрикивал лозунги: «Долой репрессии!», «Требуем переговоров с администрацией!»

Камеры сдавались одна за другой. Капо систематически избивали всех заключенных, которые скандировали лозунги или выстукивали их на бронированных дверях. Когда в какой-нибудь из камер стук смолкал, это означало, что в нее ворвались капо. Узники последней камеры держались дольше всех. Они продолжали выкрикивать лозунги до тех пор, пока не рухнули под ударами дубинок. Когда все смолкло, было четыре часа утра. На следующий день мы узнали, что все заключенные сектора FG отправлены по этапу в концлагерь Пулокондор.

Только теперь мы начали понимать, что происходило вокруг нас. Нам впервые пришлось стать свидетелями столь жестокой расправы, учиненной внутри тюрьмы. Будучи на свободе, просто невозможно себе представить, что творится за тюремными стенами. Впервые в жизни мы видели и людей такого мужества, такой закалки. Находясь в невыносимых условиях, они сражались как один человек, стремясь к единой цели и подчиняясь единой дисциплине.

Суд

В конце третьей недели нашего заключения нас посетил вьетнамский адвокат, приглашенный французским консульством. Целых пять месяцев, вплоть до самого суда, он служил единственным посредником между нами и внешним миром. Метод защиты, который он нам предложил, сводился к тому, чтобы мы постарались по мере сил приуменьшить значение наших действий. Другой его аргумент заключался в том, что «ни в Нью-Йорке, ни в Европе демонстрация под флагом Национального Фронта Освобождения не может служить поводом для ареста». Нам нужно было выбрать одно из двух: либо — как нам это советовали — приуменьшить значение нашего поступка и в скором времени обрести свободу, либо принять на себя полную ответственность за наши действия. 8 декабря 1970 года, в день суда, мы решили отказаться от адвоката.

Нас ввели в зал военного трибунала. Мы были в наручниках. Нас окружала толпа вооруженных солдат, державших на почтительном расстоянии представителей прессы. Полицейские демонстративно щелкали перед нами затворами своих пистолетов.

Суд был открытым, но большая часть мест в зале была занята полицейскими в белой форме, парашютистами, военными.

Председатель суда был в штатском, но по обе стороны от него сидели двое судей в военных мундирах. Государственный обвинитель, тоже военный, произнес суровую речь, требуя для нас от пяти до двадцати лет тюремного заключения за посягательство на безопасность государства и подрыв морального духа сайгонских войск.

Председатель снова предложил нам воспользоваться услугами адвоката. Мы согласились, но лишь при условии, что он не будет выступать, так как мы решили сами вести свою защиту. Судьи посовещались и объявили, что мы ведем себя неподобающим образом. Потом по-

требовали от нас, чтобы мы вытянулись по стойке «смирно» перед сайгонским флагом, висевшим за их спинами. Трое полицейских попытались заставить нас поклониться судьям. «Ну, хватит, хватит!» — крикнул председатель. Потом он кивком головы приказал вывести нас из зала. Начальник военной полиции набросился на нас с кулаками, нимало не смущаясь присутствием журналистов, которые снимали на кино- и фотопленку эту безобразную сцену.

Мы успели перекинуться несколькими словами с представителями прессы и телеграфных агентств. «Но это же форменное самоубийство! Вы с ума сошли!— крикнул один из них, а потом добавил:— Вам, наверное, хорошо заплатили?» «А вам никогда не приходило в голову,— ответили мы ему,— что можно сделать что-то не ради денег?»

Нас вызывали в зал еще три или четыре раза и почти тут же выводили, не давая сказать ни слова. Мы выслушали наспех написанную речь адвоката, приглашенного судом, в которой говорилось, что нас можно считать умалишенными, что мы отравлены коммунистической пропагандой, что мы ничего не понимаем в истории Вьетнама и что, исходя из всего этого, судьи должны проявить по отношению к нам снисходительность.

В знак протеста мы поднялись со своих мест, и тогда нас снова выдворили из зала, еще раз осыпав ударами перед объективами кинокамер.

Судейское совещание длилось добрых полчаса. Потом, в наше отсутствие, был оглашен приговор: три года одному, четыре — другому.

«Журналь д'Экстрем-орион», официальный орган французского консульства в Сайгоне, охарактеризовал нас как «полусумасшедших, представших перед весьма либеральным судом». Большинство южновьетнамских газет уверяло, что мы были подкуплены; но их мнения расходились: одни утверждали, что мы работали по заданию американского ЦРУ (!), другие — что мы агенты Ханоя.

Однако «Зан тю мой» («Новая демократия») и «Тин шанг» («Утренние новости»), газета католического депутата Нго Конг Дыка, позднее оказавшегося вынужденным под угрозой ареста бежать из Южного Вьетнама, посвятили нам приветственные статьи, в них приводились слова, которые мы произнесли, покидая зал трибунала: «Какая комедия! Какая пародия на суд!»

Новый год...

Тет — это первый день лунного календаря, вьетнамский Новый год [1]. Для всех вьетнамцев это традиционный и единственный в своем роде праздник, совершенно не похожий на встречу Нового года во Франции.

В мирное время с наступлением полуночи дети пускают в небо гирлянды ракет. Праздник встречают всей семьей. Собираются все родственники, невзирая ни на расстояния, ни на занятость. Первый гость — самый почетный: он считается предвестником счастья в будущем году. Родители дарят детям новенькие, только что из банка, бумажные деньги в красных конвертах с отпечатанными на них китайскими иероглифами [1]. Это тоже символ благополучия. И вот начинается праздничный ужин. К столу подают специально для этого дня приготовленные пирожные и печенья, кокосовые орехи, апельсины и другие фрукты. Затем разливают по крохотным чашечкам обжигающий и очень крепкий чай. Традиционный новогодний пирог называется «бань тет» [2]. Его приготовляют из клейкого риса и зеленого горошка с пряностями. И все это — Новый год, все это — праздник.

...В тюрьме

В тюрьме это тоже праздник. Или его подобие, не позволяющее хоть на миг забыть о войне.

Приближение Нового года чувствуется прежде всего по поведению капо. В эти праздничные дни им позволяется то, что обычно в тюрьме строго запрещено. Начинаются азартные игры, во время которых из рук в руки молниеносно переходят огромные суммы. Завязываются ссоры и драки. В тюрьме воцаряется анархия. Политические заключенные, на время избавившиеся от своих церберов, тоже могут вздохнуть свободней.

В ту пору заключенным еще разрешались свидания с родственниками, так что те могли передать им новогодние подарки. Многие камеры «политических» сектора В, три этажа сектора С, а также камера ОВ1 и женская камера ОВ4 послали своих делегатов, чтобы поздравить нас с праздником. Их нагрузили гостинцами, переданными с воли. Тут были и печенья, и пирожные, и даже новенькие банкноты в двадцать пиастров в традиционных конвертах, украшенных иероглифами. Мы понимали, что большинству заключенных, изнемогших от болезней, все эти витамины, фрукты, сласти были куда нужнее, чем нам, но разве

[1] Лунный Новый год приходится обычно на январь или февраль солнечного календаря.

[1] Имеются в виду традиционные пожелательные подписи, их пишут древневьетнамскими иероглифами.

[2] Пироги с начинкой из риса или бобов с мясом либо сладостями, завернутой в пальмовые листья. С ними связаны различные легенды.

могли мы отказаться от их дружеских подношений?

После долгих переговоров с начальником сектора нам было, наконец, позволено сделать ответные визиты. Мы спустились во двор сектора B, где нас поджидали наши друзья из камеры OB1. Мы стали в круг и затянули песню «Доан кет» («Единство»). Нас было всего человек двадцать; но скоро песню подхватили со всех сторон заключенные других секторов. Мелодия этой песни, вначале довольно медленная, все убыстрялась и нарастала под аккомпанемент ритмичных рукоплесканий, которые становились все громче и громче:

Наша сила в единстве,
Мы словно сплав железа и меди,
Как ни крепки медь и железо,
Мы крепче этих металлов.
Мы шагаем навстречу солнцу,
Чтобы построить новую жизнь,
Чтобы создать новую демократию...

Их видела вся тюрьма

В тот же день вся тюрьма в первый раз увидела, как во двор сектора ED, еле волоча ноги, спотыкаясь, спустились заключенные, вернувшиеся из «клеток для тигров» Пулокондора. В тюрьме воцарилась гробовая тишина. Сколько месяцев, сколько лет провели они в «клетках для тигров», в темных камерах, в долгой, бесконечной ночи? Их черные арестантские пижамы были изодраны и покрыты заплатами, лица мертвенно бледны, тела измождены. Они шли с закрытыми глазами, боясь ослепнуть от света, которого давно не видели. Рука одного направляла другого. У многих были перебиты суставы, парализованы конечности. Иные передвигались, сидя на маленьких тележках, которые смастерили собственными руками из случайных материалов. Тысячи глаз уставились на эту сцену, хотя ее было почти невозможно вынести. Тысячи ладоней судорожно вцепились в прутья решеток. Один заключенный, уголовник, бросил к ногам вновь прибывших печенье. Капо не осмелились протестовать; это зрелище тоже потрясло их. Другие уголовники, осмелев, стали кидать во двор кто что мог: сухари, апельсины. А один из заключенных, бывший американский солдат, разделся и швырнул вниз всю свою одежду. Все, чем он обладал. Ведь у него не было семьи, а потому не могло быть ни денег, ни съестных припасов. Позднее «политические» послали ему традиционную черную пижаму и шейный платок. Он с гордостью разгуливал в них по коридорам, к великому возмущению американского советника при тюрьме.

Пулокондор

Пулокондор — это архипелаг из четырнадцати островков, расположенный в восьмидесяти километрах от дельты Меконга.

Уже во времена французского колониального владычества там находилась знаменитая каторжная тюрьма. Все вьетнамские патриоты знают, что такое Пулокондор: кто понаслышке, а кто и по собственному опыту.

На Пулокондоре нет никакого гражданского населения. Только военные, полицейские чиновники и их семьи.

В нескольких километрах от этого «центра перевоспитания» и его печально известных «клеток для тигров», где медленно умирают вьетнамские патриоты, любит отдохнуть и поудить рыбу президент Тхиеу.

Прежде чем попасть в «центр перевоспитания», политзаключенным приходится вынести немало мучений. Обычно их отправка на Пулокондор является следствием жестоких репрессий. Их избивают и волокут к армейским грузовикам, стоящим во дворе сектора FG, возле кухонь. Сковывают одной цепью и, словно скотину, загоняют в кузов. Автоколонна отправляется к причалу, где узников уже ждет судно, совершающее рейсы между Сайгоном и Пулокондором.

Их везут в зловонном трюме, где кишат крысы, в цепях, как некогда возили свой «черный товар» работорговцы.

Наконец они высаживаются на Пулокондор. Двойная шеренга капо, вооруженных дубинками, поздравляет их с благополучным прибытием, осыпая градом ударов.

После избиения начинается тщательный обыск. У раздетых догола заключенных отбирают те скудные пожитки, которые они лишь изредка успевают с собой прихватить.

Потом ведут в большую общую камеру, где их встречает руководитель группы «специалистов» Тин Кхуонг. «Специалистами» называют здесь капо, отобранных среди самых отпетых головорезов. Их «специальностью» является пытка. Существование группы «специалистов» официально узаконено тюремной администрацией.

Тин Кхуонг обращается к вновь прибывшим с речью: «Пулокондор — это не Тихоа. Не забывайте, что вы теперь на острове. Здесь вы можете кричать, сколько вам будет угодно, и никто вас не услышит. Жизнь любого из вас стоит здесь не дороже, чем бланк, который нужно будет заполнить после его смерти. Но те, кто согласится салютовать флагу, еще могут на что-то надеяться. А теперь даю вам ночь на размышления».

На следующее утро дверь открывается и Тин Кхуонг рявкает: «Кто отказывается салютовать знамени, выходи!» И узники выходят навстречу стоящим наготове «специалистам», которые оглушают их ударами дубинок и волокут к предназначенным для них камерам.

«Клетки для тигров»

До 1969 года камеры эти назывались «клетками для тигров», но в результате волны протеста, вызванной сообщениями, просочившимися в международную, и особенно американскую, печать, они были переименованы (теперь они называются «клетками для буйволов»), а заодно и... усовершенствованы.

Эти клетки расставлены в помещениях, погруженных в полную темноту, так что заключенные, проведшие в них несколько лет, неминуемо теряют зрение. Длина каждой клетки — два с половиной метра, ширина — метр двадцать. Посреди пола устроен желоб, в который заключенные — пять-шесть человек на одну клетку — справляют свои нужды. Они лежат, скованные кандалами. Спать им приходится по очереди. Свой обед — четыреста граммов риса и щепоть соли — они должны проглотить за три минуты. Если заключенный требует добавки, ему бросают вместо риса негашеную известь, обжигающую кожу.

Вода выдается в ограниченном количестве, а иногда вовсе не выдается; тогда заключенные доходят до того, что пьют собственную мочу. Если кто-нибудь заболевает, санитар по прозвищу Господин Аспирин бросает в клетку одну-две таблетки этого лекарства, даже не поинтересовавшись, чем болен узник.

Это медленный путь к смерти: в большинстве случаев патриотов не убивают сразу, а стараются сломить физически и морально...

И, однако, те продолжают бороться. Их волю не удается сломить. Вот один из многих тысяч примеров этой героической борьбы.

Нашему другу Т. двадцать семь лет. Он родился в крестьянской семье в дельте Меконга. Его арестовали во время операции по прочесыванию. У него не нашлось двухсот тысяч пиастров, чтобы подмазать руку полицейскому комиссару. Он был допрошен на месте, потом препровожден в Сайгон и после бесчисленных издевательств и пыток попал в Тихоа. Оттуда был депортирован на Пулокондор, где провел пять лет в «клетке для тигров». Потом был снова привезен в Тихоа, якобы на излечение. Мы познакомились с ним в камере ОВ1. Когда нас однажды избили, он заявил тюремным властям протест. Тогда избили его самого и, продержав два месяца в карцере, вторично отправили на Пулокондор, в «клетку для тигров»...

Четыре дня среди сумасшедших

Начиная с 27 апреля 1971 года, когда поднялась новая волна репрессий, мы были изолированы от остальных заключенных и продолжали бороться единственным доступным для нас способом — объявив голодную забастовку. Мы требовали встречи с представителями политзаключенных, чтобы узнать об их судьбе; свидания с делегацией Международного Красного Креста, чтобы она могла убедиться в бесчеловечном обращении с узниками и обратила на это внимание общественности; перевода нас из сектора изоляции в более удобную камеру; разрешения на прогулки.

В течение первых пяти дней голодовки мы были лишены какого бы то ни было ухода; каждое утро в камеру врывались капо, избивая нас дубинками и требуя, чтобы мы отдали честь сайгонскому флагу.

На шестой день дверь нашей камеры отворилась, нас положили на носилки и в бронированном полицейском фургоне отвезли в психиатрический госпиталь.

Госпитальная тюрьма окружена высокой стеной, земля возле нее усыпана осколками битого стекла. Туда-то и перенесли нас, прихихикивая и приплясывая, какие-то странные типы. Это были работающие при тюрьме сумасшедшие.

Нас поместили в отдельные камеры, где мы провели целые сутки.

Стены этих камер были покрыты рисунками и бессвязными надписями, не оставлявшими ни малейшего сомнения в том, где мы находимся. Лежащим на голом цементном полу, отказывающимся от пищи, которую нам приносили,— ведь мы решили продолжать свою голодовку и здесь,— нам предстояло вынести визит «доктора», который поначалу принял нас за настоящих сумасшедших, но после короткой беседы удостоверился, что мы вполне нормальные люди, и пообещал вызволить нас отсюда.

Всю ночь нам не давали спать вопли буйнопомешанных. В соседней камере какой-то сумасшедший бился головой об стену. Мы слышали также крики, давно знакомые нам по «лазарету» Тихоа: это кричал один капо, жестоко избитый политзаключенными, когда он во время очередной репрессии ворвался в их камеру и получил отпор. Он свихнулся и беспрестанно истерически выкрикивал название своего сектора: «ВС! ВС!» Где-то неподалеку охранники смотрели телевизор, включив его на самую полную мощность.

В камерах кишели крысы и москиты. Мы спрашивали себя, долго ли нам удастся продержаться в таких условиях. Мы не имели возможности общаться друг с другом, а ведь стоит одному из нас отказаться от голодовки, как все наше дело пойдет насмарку.

На следующее утро, около десяти часов, дверь открылась, вошли сумасшедшие с носилками и понесли нас через сад, лужайки и аллеи в приемный по-

кой. С тех пор как начались репрессии, мы впервые очутились на солнце. После тюрьмы сад сумасшедшего дома показался нам безмятежным оазисом.

Нас любезно встретила и осмотрела женщина-врач, бельгийка по национальности. И посоветовала прежде всего принять пищу, сказав, что иначе нам долго не продержаться. Но мы отказались прервать свою голодную забастовку.

Нами занялись маленькие ласковые санитарки. В первый раз за полтора года с нами обращались как с людьми. Мы лежали на своих носилках в палате с зарешеченными окнами. В дверь то и дело заглядывали сумасшедшие из внутреннего дворика; потом, осмелев, стали один за другим входить. Первой была женщина с наголо обритой головой, которая время от времени вскрикивала и с выражением ужаса на лице смотрела на небо. Впоследствии доктор объяснил нам, что она сошла с ума, потеряв мужа во время напалмовой бомбардировки.

Старик с трясущимися руками в аккуратном черном халате; сидя возле нас на корточках, он по временам с отчаянием повторял: «Какое горе! Какое горе!»

Подросток, с которым мы быстро подружились. Он принес нам ломоть хлеба и был очень огорчен нашим отказом.

Старуха, угощавшая нас окаменевшими конфетами, залежавшимися в ее карманах.

Они ухаживали за нами, помогали нам умываться, выносили на солнце, следя, чтобы мы не оставались там слишком долго. Четыре дня провели мы среди этих людей, которых сделала безумными война.

А на пятый день нас снова отправили в Тихоа, в нашу камеру сектора BC, где мы продолжали голодную забастовку еще 17 суток. За это время один из нас потерял в весе 20 килограммов, другой — 18.

Мы прервали голодовку не столько по причине крайнего истощения, сколько потому, что наша смерть доставила бы слишком большую радость тюремной администрации.

Фукуок

С апреля 1971 года по январь 1972-го мы находились в секторе AB. Новогодний праздник дал нам возможность снова встретиться с несколькими друзьями, избежавшими отправки на Пулокондор, и завязать новые знакомства.

Фактически нам было запрещено покидать пределы нашего сектора. И, однако, в первый день Нового года мы почти беспрепятственно посетили сектор ID, предназначенный для иностранцев, в частности для военнопленных. Капо, стоявшие у входа, встретили нас угрозами, но мы решили проникнуть в сектор любой ценой. Это был праздничный день, и капо, опасавшиеся открытой стычки, заколебались. В конце концов они пустили нас при условии, что мы пробудем там не более десяти минут. На самом же деле мы провели там целый день. Тогда-то мы и услышали рассказ о концлагере Фукуок, где содержатся военнопленные.

Остров Фукуок, расположенный в открытом море неподалеку от вьетнамо-камбоджийской границы, славился некогда приготовлением рыбного соуса «ныок мам» [1], без которого во Вьетнаме не обходится ни один обед. Война превратила его в концлагерь: остров лежит вдалеке от любопытных глаз и ушей, туда нет доступа журналистам. Там можно применять самые решительные меры «ликвидации», не опасаясь, что кто-нибудь услышит свист пулеметных пуль и крики жертв.

Лагерь разделен на двенадцать секторов, в каждый сектор входят четыре «квартала», в каждом «квартале» находится примерно восемьсот заключенных.

Дневной пищевой рацион на один «квартал» состоит из четырех (!) килограммов рыбы и шестидесяти килограммов овощей, добрая половина которых непригодна в пищу. Дрова и вода, необходимые для приготовления пищи, выдаются в недостаточном количестве.

Каждую неделю «квартал» может объявить больными не более двадцати заключенных. Медикаментов едва хватает на один день лечения, к тому же они почти всегда доставляются слишком поздно. В августе 1971 года большинство заключенных переболело глазной болезнью, в результате чего 40% из них получили хронические осложнения. Во время новогодних праздников 1971 года 95% заключенных перенесли холеру.

При каждом визите делегаций Красного Креста сотни военнопленных, раненных или искалеченных в результате пыток и репрессий, увозят за пределы лагеря в лес, чтобы они не попали на глаза делегатам. Их возвращают в зону только после отбытия делегации. Лагерное начальство избивает и пытает военнопленных, которые осмеливаются обратиться непосредственно к представителям Красного Креста. В итоге визиты этой организации оказываются практически бесплодными.

Если заключенные отказываются от принудительных работ, предусмотренных лагерным регламентом, но противоречащих правилам о положении военнопленных, их подвергают истязаниям.

19 сентября 1967 года, вследствие отказа от работ, сто двадцать узников лагеря BI были выставлены на целый

[1] Рыбный соус, приготовляется из мелкой рыбы: ее круто солят, сдабривают пряностями и в больших глиняных кувшинах выставляют на солнце, где рыба растворяется в соли, превращаясь в густую солоноватую жидкость со специфическим острым запахом.

день под палящие лучи солнца или брошены в «клетки для тигров».

В октябре того же года лагерное управление использовало бригаду военных полицейских, вооруженных автоматами, дубинками и гранатами со слезоточивым газом, чтобы переместить двести заключенных в специальное помещение для пыток, где их истязали в течение двух месяцев. В результате этой акции тридцать военнопленных стали инвалидами.

В январе—марте 1968 года были выстроены два «сектора изоляции» в лагерях В2 и А3. В обоих секторах заключенные не имеют права передвигаться по территории, спят на голой земле, без циновок и одеял; им не разрешается иметь ни мисок, ни палочек для риса. Всего один раз в полгода им стригут волосы и выдают воду для мытья.

Вследствие всего этого за пять лет, с 1967 по 1971 год, в концлагере Фукуок погибло более трех тысяч человек...

Дезертиры

По внешнему двору сектора А движется длинная шеренга заключенных в военной форме, попарно скованных кандалами: это дезертиры из сайгонской армии. Каждый день перед нашими глазами проходит более трехсот таких горемык. Все они очень молоды, иные выглядят почти детьми: в мае 1972 года специальным декретом президента Тхиеу под сайгонские знамена были призваны семнадцатилетние подростки...

«Би бат лин» (быть взятым в армию) — эти слова стали кошмаром для миллионов юных вьетнамцев и их семей. У них нет денег, чтобы купить степень бакалавра, дающую возможность поехать за границу для продолжения учебы, как это делают сыновья и дочери высокопоставленных сайгонских чиновников, разглагольствующих о том, что необходимо до последнего человека сражаться против коммунистических агрессоров: ведь их собственные дети не знают, что такое война. А у простого вьетнамского парня нет денег даже для того, чтобы купить себе теплое местечко подальше от линии огня, сделаться «тыловой крысой».

Таким образом, существует два вида дезертирства: тот, у кого есть деньги, дезертирует «легальным» путем, тот, у кого их нет, попадает за это в тюрьму.

Молодые крестьяне, едва сошедшие со школьной скамьи, становятся дезертирами, потому что, как они сами говорят, у них нет никакой охоты сражаться, что они не хотят ни убивать своих соотечественников, ни умирать от их пуль. «Лучше уж попасть в Тихоа, чем погибнуть на фронте» — гласит распространенное солдатское присловье.

Проще всего отвертеться от призыва в армию, купив себе — по не особенно высокой цене — фальшивое удостоверение личности, в котором можно по желанию сбавить себе столько лет, сколько необходимо. Впрочем, вряд ли эти удостоверения могут считаться фальшивыми: чаще всего их поставляют официальные чиновники соответствующих государственных учреждений, желающие помочь своим землякам или просто немного поднажиться.

Камеры второго этажа сектора А полны семнадцатилетними юношами, отстрелившими себе пальцы на руках и ногах: их так много, что они образуют новую категорию заключенных. Их «преступление» карается тюремным заключением на срок от одного до трех лет. Один из «самострельщиков», Б., веселый восемнадцатилетний парень, рассказывает нам, как он тщательно закопал в землю гранату, поставил рядом ногу и сорвал предохранитель: осколки раздробили ему ступню...

Дети

В бесчисленных тюрьмах Южного Вьетнама содержатся многие тысячи детей; в одном только централе Далата их около восьмисот; в тюрьме Тихоа — сорок.

В большинстве своем — это дети крестьян. Они родились вместе с войной, ее трупами, ее бедами. Они выросли под бомбежками; они знают, что нужно бороться, чтобы не умереть с голоду. Что нужно помогать друг другу, чтобы выжить. Взаимопомощь стала для них необходимостью.

Каждый из них потерял отца или мать, брата или сестру, а у иных погибла вся семья. Одни были задержаны с оружием в руках; других арестовали только потому, что они имели несчастье родиться в районе, считающемся «подозрительным». Третьи угодили за решетку просто-напросто потому, что были арестованы их родители.

Самому маленькому узнику Тихоа семь лет; его зовут Сыеу. Мать его была убита во время бомбардировки в районе дельты Меконга. Отец, заподозренный в симпатиях к коммунистам, был брошен в Тихоа и взял с собой своего сына.

Последние дошедшие до нас новости о Сыеу относятся к 20 декабря 1972 года, когда он вместе со взрослыми узниками выкрикивал лозунги протеста против условий, в которых содержатся политзаключенные. Вместе с ними требовал отмены одиночного заключения. Добился права выходить на прогулки, бывать на солнце, умываться водой, а не собственной мочой. Получать хорошо

сваренный рис, а не отсевки пополам с гравием.

Мы познакомились и еще с одним маленьким узником, который смотрел на нас как на старших братьев, хотя сам, в свои двенадцать лет, успел побывать уже в трех тюрьмах. Преступление его состояло в том, что он пытался похитить у солдата автомат. Мальчика арестовали. Полиция хотела заставить его признаться, что он состоит в подпольной организации, занимающейся хищением оружия. Полицейским не терпелось узнать, где находятся склады этого оружия. Арестованного соблазняли деньгами, конфетами. Он молчал. Тогда на него, двенадцатилетнего мальчонку, посыпались удары... Но и тут он отказался подписать заранее сфабрикованное обвинение. Брошенный в камеру, оставленный без пищи, он продолжал молчать. Тогда его переправили в тюрьму Бьенхоа.

Так вьетнамские дети становятся политзаключенными.

Массовые аресты

Утром 12 августа 1972 года невероятное зрелище заставило застыть в напряженном молчании не только заключенных, но и тюремщиков: коридоры, ведущие от зарешеченных ворот к сектору АВ, были битком набиты женщинами и детьми. Растерянно озираясь вокруг, по стенам жались древние старухи с морщинистыми лицами; молодые женщины, отчаявшись унять припавших к ним детей, сами заливались слезами. Все они были одеты в грязное тряпье, на головах — соломенные крестьянские шляпы. Плач, стоны, крики то затихали, то нарастали с новой силой.

Невозможно было вынести их взгляд. В нем читалась чудовищная трагедия. Все — и заключенные, и тюремщики — потупили глаза. Сердца сжались от жалости. Вопросы, которые хотелось задать, замирали на языке. Нам было не по себе, нас мучил стыд, словно какая-то доля вины за то, что произошло со всеми этими женщинами и их детьми, ложилась и на нас. «Что же случилось?» — шепотом спрашивали мы друг у друга.

На первое время им решили отвести камеру ОВ1, которая, после очередной депортации на Пулокондор, сделалась тем местом, где вновь прибывшие заключенные проводят первую ночь, прежде чем их «рассортируют» по разным секторам. Но как разместить триста человек в камере размером десять на шесть метров? Решение было наконец найдено: длинная колонна заплаканных женщин вновь пересекла коридоры, направляясь к первой из внутренних тюремных стен. Их решили пристроить в... бывшем свинарнике. «Временно», как сказал заместитель начальника тюрьмы, свалив всю ответственность на вышестоящую власть, которая даже не позаботилась предупредить его о прибытии новой партии заключенных. Всем этим женщинам и детям пришлось провести две долгие ночи на сыром кирпичном полу, без циновок, на сквозняке, в разгар периода дождей.

Новость о прибытии столь необычных «преступников» мгновенно облетела всю тюрьму. Тотчас же был организован сбор средств в помощь этим невинным жертвам политики слепого террора и репрессий. Уголовники, «политические», буддийские монахи, студенты организовали складчину. Каждый нес то, что мог: один — немного денег, другой — банку сгущенки...

Сколько раз сайгонская пропаганда разглагольствовала о мирном южновьетнамском населении, которое, спасаясь от «коммунистических агрессоров», бежит под крылышко союзных войск. История, которую поведали нам эти женщины, служит наглядным опровержением подобных разглагольствований.

25 апреля и 9 мая 1972 года сайгонские войска вошли в несколько деревень провинции Тхыатхиен, блокировали дороги, оцепили рисовые плантации и, под предлогом проведения «общих собраний», согнали жителей в деревенские административные здания. Всего было арестовано 1250 человек. Их без суда и следствия отправили на Пулокондор, в лагерь № 2.

Они не успели захватить с собой ничего, кроме одежды, которая была на них в момент ареста. Все их имущество, как и сами дома, было брошено на произвол судьбы и впоследствии разграблено. Некоторые из семей были разрознены: так, например, Фыонг Лан — жительница деревушки Визиа смогла взять с собой только самого младшего из своих детей и ничего не знает о судьбе пяти остальных.

Две беременные женщины, бывшие среди арестованных, родили на Пулокондоре в условиях, которые нетрудно себе представить. Оба ребенка умерли.

По счастливой случайности, как раз в это время лагерь № 2 посетила официальная правительственная комиссия. Один из южновьетнамских сенаторов, г-н Нгуен Хюи Тиеу нашел в себе мужество сообщить об этом преступлении представителям агентства ЮПИ. 16 августа того же года в газете «Нью-Йорк таймс» появилась статья под заголовком «Сайгонские власти бросили в концлагерь 920 ни в чем не повинных людей».

Вот почему лагерное начальство Пулокондора было вынуждено переправить около трехсот из этих заключенных в Тихоа. Но их пребывание в этой тюрьме оказалось лишь краткой передышкой на бесконечном пути страданий. 20 августа они были погружены в самолеты и от-

правлены в неизвестном направлении. Позднее мы узнали, что все эти женщины до сих пор томятся в одном из концлагерей провинции Дананг...

Нам осталось неизвестным, действительно ли эти 1250 крестьян симпатизировали вьетконговцам до своего ареста. Но мы уверены в том, что теперь они симпатизируют им наверняка.

Наше освобождение

28 декабря 1972 года, через два дня после отправки очередной партии заключенных на Пулокондор, к нам явился французский консул и объявил: «Вы свободны, власти высылают вас из Вьетнама». Покинуть тюрьму? Это было для нас немыслимо, невообразимо. Мы не могли оставить наших братьев, наших товарищей по оружию, которые помогали нам, поддерживали нас, рискуя поплатиться за малейшее из своих действий трехмесячным пребыванием в пресловутом «кинозале»... Мы отказались покинуть тюрьму.

Тогда к нам обратилось несколько вьетнамских политзаключенных, которых еще не успели депортировать на Пулокондор: «Андре и Жан-Пьер, вам надо ехать! Вам надо ехать, чтобы рассказать о том, что вы видели здесь, в этой тюрьме, вам нужно поведать всему миру об издевательствах, пытках, убийствах. Вам надо ехать, чтобы разоблачить политику, направленную на медленное истребление патриотов. Все эти преступления творятся в Южном Вьетнаме уже много лет, но никто еще не рассказал о них на страницах печати. Вам нужно ехать, чтобы выступить в качестве свидетелей. Считайте себя посланцами вьетнамских политзаключенных, изнывающих в тюрьмах Тхиеу!»

■

Мы вышли на свободу, но десятки тысяч патриотов — мужчин, женщин, детей — остались в южновьетнамских тюрьмах, со дня на день, с недели на неделю ожидая расправы. Их судьба не зависит целиком от международных комиссий. Ответственность за нее лежит на честных людях всего мира. От нас с вами зависит их жизнь и смерть.

Перевод с французского Ю. СТЕФАНОВА

◆

Очерки

ГЮНТЕР КУНЕРТ

ПРЕКРАСНЫЙ ПЕЙЗАЖ С ОТЦАМИ

Если бы не название, местечко ничем не выделялось бы среди других. Но приблизительно одно поколение назад, во времена отцов, с ним сыграли скверную шутку, втянув его в историю. А история теперь не грядет, как в добрые старые времена, подобно грозе или землетрясению,— словом, стихийному бедствию. История теперь — цепь преступлений одних и страданий других. Место им найдется везде — и в обремененной традициями столице, и в захолустном городке с его скудным прошлым. В том, о котором пойдет речь, примерно с 805 года, когда о нем впервые упоминается в хрониках, и до нашего века, не произошло ничего примечательного. Сплошной туман — основная продукция болотистой местности.

В городке жил какое-то время писатель по имени Людвиг Тома [1], летописец здешних нравов, но для современников он давно уже далекое прошлое, эпоха их прадедов. В 1933 году почетным гражданином баварского города стал некий А. Гитлер.

Вы не знаете господина Гитлера?

Спросите своего отца: речь идет о господине, которого он (отец) чересчур уж основательно подзабыл. Гитлер? Гм... Гитлер? Не тот ли это «неизвестный ефрейтор» времен первой мировой войны?.. А может, дублер Чаплина? Или хлебный король Баварии?

У отцов что-то плоховато с памятью. И сыновья должны отнестись к этому с пониманием. Не за горами время, когда они сами захотят стать отцами, а это значит: кто сызмала начнет [2]...

Фрагменты из книги «В дополнение к бедекеру». Рисунки выполнены автором.

[1] Людвиг Тома (1867—1921) — писатель, автор сатирических рассказов и стихов, в которых высмеивал мещанские нравы; с 1899 года — редактор сатирического журнала «Симплициссимус».

[2] Фридрих Шиллер. «Вильгельм Тель»: «Кто сызмала начнет, тот мастер будет».

За последнее десятилетие в городке, имя которого мы пока еще повременим называть, произошло столько перемен, что здешние отцы за ними не поспевают. Ввергнутые в индустриальный век, подставленные под удары колеблющейся экономической экспансии, они с тоской оглядываются назад: куда подевались неторопливость, созерцательность и размеренный ритм милого сердцу девятнадцатого века? Когда-то взор отцов радовали строки в местном «Вестнике природы»: «Пусть американцы превыше всего ценят жизнь на колесах — идеалом для немца навсегда останется собственный домик на лоне природы, вблизи воды и леса. Мы хотим чувствовать под ногами родную почву, а не мощеную дорогу! Вот в чем наше различие». В результате имевшей место войны этого различия больше не существует. Обособленное местечко — настоящий коричневый рай в пору грехопадения — медленно засасывается местным Чикаго. В часы «пик», непатриотично именуемые сыновьями «rush hour», мимо чистеньких двухэтажных домиков и здесь теперь нескончаемым потоком несется четырехтактная лавина, выплевывающая угарный газ. Мюнхен всего в восемнадцати километрах, и он все разрастается, наступая на близлежащие городки, а те, разбухая, как колония полипов, в свою очередь тянутся ему навстречу. Вслед за Америкой, где города сначала срослись друг с другом так, что уже и швов не стало видно, а потом начали налезать друг на друга, гипертрофия промышленного и городского строительства охватила и Старый Свет. Субурбанизация — такова участь ранее самостоятельных местечек, становящихся пригородами городских предместий.

Прямой, как по линейке прочерченный, пробор на седеющей, строго, по-военному подстриженной голове отцов демонстрирует их приверженность к порядку, проявившую себя в интересующей нас местности в предприятии, бездействующем уже свыше двадцати лет. Именно оно играло главную роль в этой местности, а не сам городок, который сегодня выглядит довольно пестро: дома, напоминающие крестьянские хутора, перемежаются современными коттеджами на одну-две семьи, сверкающими алюминием, каркасами заводов, старинными зданиями, фасады которых, особенно в центре города, еще не утратили следов барокко.

Никто из тех, кто родился позже, иностранцев или заехавших сюда ненадолго туристов, что праздно шатаются вдоль витрин, удивляясь обилию магазинов игрушек, или заходят в пивные, чей внешний лоск и современный мировой стандарт, подкрепленный пестрыми этикетками всевозможных спиртных напитков и табачных изделий не «германского» происхождения, вступают в конфликт с давно загаженными сортирами, и никто из тех, кто поднимается к замку, «возвышающемуся на отвесной скале третичного периода над рекой Ампер», как сообщается в путеводителе Бедекера,— никто из них не заметит даже следов симбиоза, существовавшего между городом и предприятием, названным по его имени. В пределах населяемой ими территории отцы — в данном случае отцы города — старательно избегают малейшего намека на это обстоятельство. А папаша Бедекер, для которого мировая история вообще закончилась к началу века, естественно, умалчивает о главной достопримечательности этих мест. Вход туда, как и во многие другие достопримечательные места Германии, украшало отеческое наставление: «Труд делает человека свободным» [1]. Вместо этого путеводитель сообщает под звездочкой: «Здание в стиле Ренесс., по проекту арх. Генр. Шёттля. Из имевш. четырех флигелей (с угловыми башнями) сохранился только ю.-з., вполне импозант., остальные снесены в 1806—1809 гг...»

За чашечкой кофе с пирожным в сохранившемся и приспособленном под ресторан ю.-з. флигеле кажется, что старик Бедекер был прав и что с 1806—1809 годов здесь ничего существенного не происходило. Из открытого ресторана все тот же прекрасный вид на городок и окрестности; отцы и сыновья, матери и дочери чинно, в полном согласии едят ложечками мороженое, небо доказывает, что оно и в сентябре может выглядеть по-итальянски; а смрад и зловоние испускают только выхлопные трубы автомобилей, замешкавшиеся владельцы которых также жаждут испить чашечку кофе и потому тщательно прочесывают уже забитую машинами стоянку в поисках свободного пятачка. Обитатели вышеупомянутого заведения давно свободны. Но не благодаря труду. Труба, через которую они вышли отсюда, больше не дымит. Прекрасный пейзаж. Сверкание воскресного дня кажется бесконечным—будто время остановилось и мир навсегда пребудет в этой мечтательной истоме. Не хватает только телерекламного юнца фирмы «Зёнляйн» с бокалом шампанского, чтобы взвинтить воскресное настроение гостей; да еще отца отечества (твои архитектурные штучки и ты, Генрих, страх внушаешь мне [2]) в сопровождении Вильгельма II в женском платье, но играющего в этой паре [3] мужскую роль не только благодаря тождеству имен,— только их и не хватает в этом обманчиво-правдоподобном идиллическом мирке лжи и покоя.

Путешествующий во времени поэт находит тут и там приметы эпохи, в которую он попал: например, в приходской церкви св. Якоба—образец поздней готики,— сияющей внутри чистотой (а как же иначе, ведь здесь служит пастором сам Зауберман [4]), с микрофоном перед главным алтарем — вероятно, для тугих на ухо или сонливых прихожан; для тех же, кого слово не проймет

[1] Надпись над воротами гитлеровских концлагерей.

[2] Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст»: «Ты, Генрих, страх внушаешь мне».

[3] Намек на бывшего президента ФРГ Любке и его жену Вильгельмину.

[4] Игра слов: «заубер» — чистый *(нем.)*.

ГЮНТЕР КУНЕРТ
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕЙЗАЖ С ОТЦАМИ

и лишь палка прошибет, в профилактических целях спасения их души слева и справа от среднего нефа устремляются ввысь белые и золоченые апостолы, держащие в резных руках секиры, пилы и прочие устрашающие орудия их ремесла. В нише высшую степень благочестивого ужаса выставляет напоказ дамочка в стиле барокко: десять сабель торчат, ах, в ее груди [1]— повод, чтобы придать ее лику выражение радужного удивления, словно мученичество для нее — лишь приятная неожиданность. Правда, опыт, накопленный в здешних краях, говорит об обратном. Здесь — родина воинствующего благочестия, родственного садизму. Однако прямая параллель с упомянутой достопримечательностью могла бы привести к короткому замыканию.

А вот туристские объекты, не выделенные звездочкой, но достойные восклицательного знака. Перед церковью св. Якоба памятник воинам, погибшим в 1914—1918 годах. На высокой колонне — цементный святой Себастьян; из его плоского туловища в духе «новой вещности» торчат толстые железные стрелы, словно антенны для прямого приема радиопередач от самого господа бога. У его ног — свежий венок с трехцветной лентой; революционный смысл этих цветов давно поблек, а на черно-красно-золотом фоне увековечил себя местный «Союз изгнанных»—организационно оформленная тоска по родным землям, мечта превратиться из изгнанных в изгоняющих. Чтя память своих героических предков, сгнивших за кайзера, Круппа и конфитюр из брюквы, изгнанные, но не изгонимые отцы рассчитывают на готовность сыновей во имя любви к пародителям удобрить собственной кровью землю, пахотный слой которой уже насквозь пропитан человеческой кровью и пеплом. И совсем не случайно в одной из витрин выставлен в траурной раме портрет господина Ганса Христофа Зеебома [2], уже достаточно мертвого и в то же время достаточно живого для тех, кто мыслит в границах 1937 года.

Путешествующие потомки покупают в писчебумажных и книжных лавках (ассортимент венчает Бергенгрюн [3]) почтовые открытки и пишут: «Дорогой Рейнгард! Здесь можно дожить до девяноста лет, вопрос только — зачем?» Здесь ничего не меняется. Все те же застывшие в высокомерии и низкопоклонстве верноподданные и вернопроданные лица, которых минует все, что способно просветить умы. Часы-счетчик на стоянке автомашин на косоугольной Шранненплац перед церковью св. Якоба, проглотив монету, не исполняют божественных мелодий, а утробно рычат и алчно хрипят, подобно лакированной японской шкатулке в борделе «Belle de jour» [4].

Поток автомашин.

Спортивные самолеты над головой.

Радиофицированные полицейские: «Добрый день!»

«Пожалуйста, два кофе и пирожные!»

И кругом лица, как в позавчерашний день, упорно преданные только что ушедшему палеолиту.

Напрасно было бы искать эти лица среди посетителей упомянутой достопримечательности, которых бывает не больше 6500 человек в день; напрасно было бы искать их у печей крематория, перед мемориальными памятниками трех религий, в музее или заново отстроенных бараках,— да, напрасно, и вряд ли стоит этому удивляться. Тот, кто входит в мемориал 30 000 человек, для которых это место было не музеем, а пересыльным пунктом перед их навечным изгнанием с родных земель в небытие,— тот, кто входит сюда, отваживается взглянуть в чудовищное лицо прошлого. Но соотечественники из поколения тех, кто ответствен за это прошлое, а сегодня заявляет, что его подпись подделана, бывают здесь довольно редко. Добрая половина посетителей — это иностранцы: греки, югославы, американцы, итальянцы; другая половина набирается главным образом из сыновей, пришедших сюда в поисках наглядного материала по эпохе своих отцов, к которой они не имеют доступа, но пытаются подобрать ключи, разыскивая факты. Однако факты, если таковые и будут найдены, все равно ничего не раскроют: воображение, опирающееся на цифровые данные, фотодокументы и диаграммы, не может преодолеть колючего барьера, заслонившего вчерашний день от сегодняшнего,— оно, как всегда, намного бледнее реальной действительности.

Прибыв сюда и заплатив на стоянке свои семьдесят пфеннигов в кассу Красного Креста, в пользу которого идет плата за все стоянки автомашин в Баварии, посетитель попадает на территорию лагеря через проход между забором, лагерной стеной и камерой хранения для вещей заключенных, в которой теперь размещается музей: Дахау — давно уже опознанный читателем — был первым концентрационным лагерем Германии, по образцу которого затем устраивались все остальные лагеря. На фоне знойной, удушливой синевы неба, расчерченного, словно гашеная марка, белыми полосами самолетов, белизна стен вышек хозяйственного корпуса с боковыми пристройками кажется удивительно привлекательной. Ни тени стеснения, ни подавленности в груди. Ни следов, ни признаков того, что происходило когда-то на этой территории. Да и у кого из посетителей хватит фантазии представить себе, во что обошлась бы в свое время одна лишь попытка заглянуть сюда, в лагерь? Хотя старая газетная вырезка свидетельствует об этом с предельной ясностью:

---

[1] Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст»: «Ах, две души живут в моей груди».

[2] Бывший министр транспорта ФРГ, председатель «Союза изгнанных».

[3] Вернер Бергенгрюн (род. в 1892 г.) — плодовитый буржуазный писатель, автор религиозно-нравственных романов на исторические сюжеты.

[4] Название фильма Луиса Бюнюэля «Дневная красавица».

«Предупреждение!

30 мая у заградительной стены концентрационного лагеря в Дахау были замечены двое, пытавшиеся заглянуть внутрь. Разумеется, они были тотчас же арестованы. Задержанные объяснили, что ими руководило любопытство, желание узнать, как выглядит лагерь изнутри. Чтобы удовлетворить их любознательность и предоставить им эту возможность, они были оставлены в концентрационном лагере на одну ночь. Полагаем, их любопытство полностью удовлетворено, хотя и несколько неожиданным для них образом. На случай, если найдутся еще любопытные, которые, несмотря на запрет, приблизятся к лагерной стене, то для удовлетворения их любопытства заранее сообщаем: им предоставят возможность изучать лагерь в течение значительно более длительного срока. Настоящим еще раз предостерегаем всех любопытных.

Уполномоченный Верховного командования штурмовых отрядов, зондеркомиссар Фридерихс».

Цинизм и немецкая канцелярщина — фирменное блюдо третьего рейха — и то и другое одинаково плоско и грубо и ни в чем не уступает друг другу. Те, кому удавалось вырваться на свободу — понятие весьма относительное в тогдашней Германии,— молчали о пережитом, скованные хроническим страхом. Только те, кому посчастливилось бежать за границу, рассказывали миру о Дахау, как, например, Ганс Баймлер [1], который за несколько минут до объявленной ему «ликвидации» чудом спасся из лагеря и из третьего рейха, чтобы умереть, как поется в песне, на «баррикадах, под Мадридом», сражаясь против исполнителей плана по превращению всей Европы в гигантский Дахау.

Узники лагеря, стоя обеими ногами в могиле, готовой каждую минуту сомкнуться над ними, сопротивлялись как могли «новому порядку» в Европе. Пожарная команда, составленная из наиболее физически сильных заключенных, под началом одного из борцов за свободу Испании, кстати той же национальности, что и господин Гитлер (Гитлер? Знаете такого? Не он ли был величайшим зодчим всех времен?), выезжала после воздушных налетов под усиленной охраной в охваченный огнем Мюнхен. Городская пожарная служба состояла из одних стариков, всю молодежь мобилизовали, и заключенные боролись с огненным смерчем, помогали пострадавшим, тушили, не щадя своей жизни, пожары. Но вот однажды, «несмотря на огромные усилия с их стороны», все-таки дотла сгорело одно здание: дворец Виттельсбахов — местная резиденция гестапо.

[1] Немецкий коммунист, участник вооруженной защиты Баварской советской республики в 1918 году, политический комиссар батальона немецких добровольцев имени Тельмана во время антифашистской войны в Испании.

Позабыть все, предать забвению — к этому умышленно и неумышленно стремились после 1945 года различные анонимные силы. После освобождения Дахау был превращен сначала в тюрьму для военных преступников, потом в лагерь для беженцев, существовавший до тех пор, пока впитавшие в себя столько человеческого горя и страданий бараки не были снесены и одна крупная фирма не приобрела эту территорию, чтобы покрыть пропитанную кровью землю бетоном и бизнесом. Международный протест заставил правительство земли Бавария откупить эту землю и восстановить лагерь как мемориальный музей: колючая проволока на новеньких изоляторах и столбах сверкает новизной вдоль новой стены. На бывшем плацу работают строительные машины: здесь сооружается по югославскому проекту монумент, часть его экспонируется в одном из (тоже реконструированных) бараков,— стилизованные бронзовые цепи, к которым подвешены огромных размеров нарукавные знаки заключенных, изготовленные из цветной эмали; по мнению посетителей, эти цепи с тем же успехом могли бы украсить здание Дрезденского банка [1] или авиакомпании «Люфтганза». При дальнейшем осмотре мемориального ансамбля посетитель встречается с еще более скверными образцами современной художественной продукции. Следуя от плаца вдоль по лагерной улице, где по обеим сторонам стояли бараки (основания их обозначены бетонными рамками, а внутренняя часть выложена светлым гравием, в который врыты бетонные столбики с номерами стоявших здесь прежде бараков), провожаемый слева и справа шелестом тополей, уроженцев этих немых мест, попадаешь в северную часть лагеря, где возведены символические памятники трех религий. Католическая часовня Страстей Христовых — распиленная по фасаду башня, «символизирующая» собой виноградный пресс и уподобляющая тем самым десятки тысяч загубленных людей виноградным гроздьям, переработанным на вино. Таким «символическим» напитком можно захлебнуться. Башню венчает непонятная и бесформенная путаница из металлических прутьев; внутри — крест и Христос, снаружи — колокол на голых железных стропах.

Справа — памятник иудейской веры с входом в подземелье, простой, начисто лишенный украшений; слева (хоть в этом и нет никакого символа) — евангелическая церковь, тщеславно пытающаяся конкурировать с бункером «линии Зигфрида». Внутри ее мощной, словно бомбоубежище, коробки разместилось несколько образчиков искусства ваяния, которые, однако, свидетельствуют лишь о традиционном пренебрежении протестантизма к искусству. Из бетона торчит квадратная медная глыба, накрест раз-

[1] Банковский концерн в ФРГ. Учрежден в 1872 году в Дрездене.

ГЮНТЕР КУНЕРТ
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕЙЗАЖ С ОТЦАМИ

рубленная топором и заткнутая посредине железной затычкой, дабы не улетучилась вся символика.

А вот еще нечто: бесформенная патинированная бронзовая стела выше человеческого роста, которая не столько предостерегает живых об опасности со стороны им подобных, сколько туристов от повторной встречи с такого рода художеством. Позади тройной символики — монастырь, построенный по проекту того же архитектора, что и рассеченная часовня-труба, на святой крови кармелитов Дахау.

«Строительство монастыря и церкви,— говорится на последней страничке единственной продающейся в музее брошюры,— а также их внутреннее оформление потребуют, вероятно, больших средств. Всех, у кого преступления, совершенные в концлагере Дахау, вне его и в других бесчисленных лагерях, и вообще все зло, содеянное во второй мировой войне другом и недругом, вызывают не только чувство скорби и отвращения, но и желание искупить вину, мы просим помочь нам превратить место нечестивых человеческих заблуждений в место моления и покаяния».

Подзаголовок этой брошюры, написанной бесспорно достойным уважения мюнхенским викарием Иоганном Нейхойзлером, бывшим узником Дахау, звучит весьма скромно: «Попытка приблизиться к истине».

Жаль только, что попытка эта направлена в противоположную истине сторону. Уже в предисловии выдвигается сомнительный принцип — не называть имен убийц и не касаться личностей, ибо «установление факта преступления и определение кары за него мы предоставляем судьям». Определение кары — само собой разумеется, но чтобы установить факт преступления, нужны свидетели, которые обязаны говорить правду; сокрытие преступника повсеместно карается законом, не говоря уже о моральной ответственности каждого члена общества за его правопорядок.

Но попытка приблизиться к истине, уходя от нее, продолжается: «Мы не смеем и не хотим забывать, к чему ведет отказ от христианской религии, на что способен человек, если он теряет веру в бога и думает, что не предстанет перед судом Всевышнего. Поистине он может превратиться тогда в зверя, в сатану». Или в великого инквизитора Торквемаду, который, не в пример мало заботившемуся о небе Гиммлеру, свирепствовал на земле во имя Всевышнего и католической церкви, сжигая на кострах «еретиков». А священные крестовые походы средневековья, жертвой которых пала бóльшая часть еврейского населения Европы, или «окончательное решение» индейского вопроса в ходе конкисты, почти истребившей коренное население Южной Америки,— так распространяла свою власть христианская церковь, которая, как известно, всегда твердила о боге, а думала о деньгах. Коммунисты и социалисты, то есть безбожники, составляют большую часть среди политических жертв. А сколько убийц гордо именовали себя «немецкими христианами»?! Но при такой трактовке коричневые дьяволы вышли не из дьявольской кухни «И. Г.-Фарбениндустри», а из преисподней. И всему виной «нечестивые человеческие заблуждения», а не насилие со стороны господствующих классов. Демонология вместо социологии.

Сатана, с которым папа, однако, заключил конкордат, отправился в ад (Знаете вы господина Сатану по имени Гитлер?) и оставил после себя кое-кого из своих подручных и много «заблудших душ». Поистине благая весть для профессионалов, специализировавшихся на убийствах за письменным столом и утонченных методах репрессий! Они могут и впредь беспрепятственно заниматься своим ремеслом: сам мюнхенский викарий, их высокопоставленная жертва, оправдывает их.

Потомок! Листая книги посетителей Дахау, постигни самое простое — беспомощность в ее графоманском проявлении. Дирекция музея еще в 1965 году вынуждена была отказаться от дальнейшего ведения этих книг. Не только из-за глупых записей, которые то и дело попадались там, некоторые даже на английском языке (например, «Let now the niggers be next» [1]), но и потому, что было просто бессмысленно коллекционировать многократное выражение умственной и духовной несостоятельности. Растроганные реставрированными остатками террора, посетители охотно запечатлевают свое недомыслие на бумаге. Они пишут, что человек зол. Что все мы должны стать лучше. Что подобное никогда не должно повториться. Что все мы должны молить бога об этом. И ничто не свидетельствует об осознании исторической сути именно здесь раскрывшей себя системы, о понимании социальной природы насилия и гнета. Ни слова о земном проявлении «сатанизма», если уж пользоваться этим термином. И — о, горе тебе, потомок! — ни слова об отцах, оставивших в наследство своим сыновьям отрицание человеческих ценностей в виде груды человеческих трупов.

Прячась от палящего солнца в тень, где тоже никак не меньше двадцати девяти градусов, измученные экскурсанты пристраиваются на ступеньках под крышей музея — пешие туристы, пришедшие издалека, усталые пилигримы, узревшие здесь зловещий облик бренности человеческого бытия. Все они сидят здесь, и неизвестно, понимают ли, как объяснить себе все это.

Правда, существует инструкция баварского министерства культуры, изданная с благими намерениями и гласящая, что ученики старших классов должны перед окончанием школы посетить один раз мемориальный музей; но либо из тысячи учеников только тридцать изъявляют желание принять участие в (добровольном) посещении музея (а в этом году, как выяснилось, оно вообще не состоялось по «организационным» причинам), либо по лагерю их ведет учитель, сам одержимый в прошлом «сатаной» и умеющий, вероятно, рассказывать басни о зем-

[1] Теперь очередь за неграми.

ной жизни Мефистофеля и «фаустовской» натуре немцев. Если же он поведет своих учеников к утопающему в зелени и цветах Лейтенбергскому кладбищу, месту массовых захоронений, любые его объяснения теряют смысл: слева у входа — изречение из Библии, через несколько шагов — высокий деревянный крест, грубоватый, покрытый с четырех сторон бронзовыми барельефами библейского содержания, а за кустами — выложенная из камня шестиконечная звезда Давида. И это все. Те, кто погребен здесь, все еще не отомщены, и их духовное завещание все еще не выполнено в той части Германии, где камни над их сомкнутыми устами молчат, их же именем скрывая правду.

В самом музее собраны главным образом фотодокументы, другие же экспонаты, такие как ленты от венков у печей крематория, постоянно пропадают — их растаскивают охотники за сувенирами, чтобы потом, испытывая приятную дрожь, показывать дома свои трофеи: кусочек концлагеря в уютной гостиной. Да, случается и такое — случалось, мой потомок, мой правнук, ты, которому все это будет казаться еще более неправдоподобным, чем нам.

На увеличенных фотографиях нацистских главарей одного лица, как правило, нет совсем, так старательно его соскребали и царапали — это лицо Гитлера. (Вы знаете господина Гитлера? Не он ли та знаменитая модель, позировавшая придворному фотографу Гофману?)

А дело в том, что страсть к писанине, одержимость и зуд маньяков пера не знают никаких преград. Несмотря на запрет, вывешенный в каждом помещении, свежепобеленные, здесь даже «обеленные» стены властно манят к себе любителей настенных каракулей. Стремление оставить свой автограф около печей, где сжигали людей, буквально увековечить себя на стенах камер, где вешали и убивали заключенных,— не показатель ли это эпидемической болезни нашего века, когда на мир смотрят глазами туриста, как на аттракцион, чтобы через магическую связь с ним (никакого другого смысла в сделанных наспех надписях нет) возвысить самого себя, придать себе больше значимости, приобщив хоть как-то свою заурядную личность к незаурядной достопримечательности. Смотрите, те, кто придет сюда после меня, это я, Эдуард Мюллер, был здесь лично, собственной персоной! А не какой-то там Мёллер!

На первом месте по языкам среди настенных надписей в Дахау стоит греческий, за ним сербско-хорватский и английский: Killroy was here![1]

And he still is![2]

Подозревают ли вообще американские sightseemen[3], различимые в общей толпе по характерному ежику волос, болтающемуся на запястье фотоаппарату марки «Polaroid Swinger» и двигающимся челюстям, что их соотечественники сидят в качестве заключенных нового типа в старых лагерных карцерах? Часть лагеря «occupied»[1], и осужденные военным трибуналом штрафники отбывают свое наказание именно в том самом месте, где их отцы освобождали узников концлагеря. Такова ирония истории и тупость армейских властей, усердно старающихся приобрести себе дурную славу осквернением территории мемориального музея, вместо того чтобы полностью предоставить ее тем, ради кого они якобы когда-то вступили в войну и кто по собственной инициативе создал этот музей — сейчас единственное место в лагере, которое не стало добычей церковников и потому не уводит от действительности в метафизику.

Присутствие в Германии Киллроя (фамилию можно заменить аналогичной другой) для защиты «свободы и democracy»[2] обеспечило свободу в первую очередь тем, кто бежал сюда из других немецких земель, более сурово и враждебно настроенных к «отцам», и нашел в Баварии надежное убежище. Один из них — д-р Юлиус Липперт, обер-бургомистр города Берлина с 1933 по 1945 год,— чувствуя себя в безопасности под крылышком федеральной птички (гибрида германского орла и американского whitehead eagle[3]), беспрепятственно изливает душу в своей книге о сооружениях типа Дахау, озаглавленной «Улыбайся... и скрывай слезы»:

«В 1945 году они заявили о своих правах, которые и были им, «жертвам нацизма», столь широко предоставлены. Их якобы систематически пытали. В этом не было ни слова правды. В крайнем случае бывало, что тот или иной заключенный получал несколько пощечин за свое наглое поведение».

Словом, жертвы были виноваты сами. Не будь они такими наглыми, они благополучно прожили бы до ста лет благодаря доброте и человеколюбию почетного гражданина города Дахау, который, ну конечно же, ни о чем не знал, да еще построил отличные автомобильные дороги. Логически из этой позиции следует вывод, что виновные нацисты — на самом деле невинно преследуемые жертвы. Так, некий граф Бернгард Платтенберг бесцеремонно заявляет в «Немецкой газете для преподавателей высших учебных заведений» (№ 3/4 за 1965 г.): «Его Высокопреосвященство господин кардинал Фрингс справедливо назвал в свое время «денацификацию» инквизиционным судом над Германией и сказал, что она кладет позорное пятно на германскую историю, потому что людей судят только за их политические убеждения. Этого, Ваше

[1] Киллрой был здесь! *(Англ.)* Киллрой — популярный герой комиксов, никогда не показывавшийся, но всюду оставлявший записки с этим текстом.
[2] И он все еще здесь! *(Англ.)*
[3] Туристы *(англ.)*.

[1] Занята *(англ.)*.
[2] Демократия *(англ.)*.
[3] Белоголовый орел, изображенный на американском гербе.

ГЮНТЕР КУНЕРТ
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕЙЗАЖ С ОТЦАМИ

Высокопреосвященство, не делали даже национал-социалисты, когда они пришли к власти! Наоборот, еще задолго до того они приняли в партию своих бывших противников, а те лишь испортили то хорошее, что в самом начале было в партии. Теперешнее противозаконное продление срока давности преступлений — это уже вторая инквизиция в Германии!»

Короче говоря, господин Гитлер был добр. И только из-за приема Тельмана в национал-социалистскую партию да из-за вступления Томаса Манна в члены имперской палаты по печати весь национал-социализм потерпел крах... А это означает лишь одно: нужно повторить этот опыт, только на сей раз в более чистом виде. Уж господин Платтенберг знал бы, что надо сделать с мемориальным музеем Дахау, чтобы привести его в соответствие со своим представлением об истории: просто заново пустить в ход старое предприятие.

Дойдет ли когда-нибудь до этого?

Среди «сыновей» от Альп до островов Халлиген ходят странные слухи. Автору этих строк, прежде чем он посетил мемориальный музей, посоветовали пошире раскрыть глаза: зачем-то восстановлена там канализационная система, а заодно и электроустановки; лагерь можно открыть вновь, и в короткий срок.

Э-э, все это болтовня!

Одни только разговоры!

Так говорят, хотя сами эти слухи — уже симптом страха, симптом неуверенности перед лицом будущего, которое представляется в виде ящика Пандоры.

Э-э, все это только слухи!

Однако посетитель, подготовленный таким образом к более острому восприятию окружающего, никак не может понять, зачем вверх по вновь возведенной стене из-под земли тянется сильноточный кабель, чуть-чуть не доходя до колючей проволоки и заканчиваясь распределительной коробкой. Достаточно было бы кусочка провода длиной в тридцать сантиметров, чтобы пустить по (новой) колючей проволоке электрический ток. Насколько нужны были для реконструкции памятного места детали, подобные этой, посетитель, находящийся здесь проездом, не берется судить — более определенные выводы могут навести его на грустные размышления, а также на вопрос, на который едва ли есть ответ: как все здесь будет выглядеть через пять, через десять лет? Вытеснение памяти о «непреодоленном» прошлом таит в себе опасность, что будут вытеснены и даже стерты с лица земли косвенные улики именно этого прошлого, как это было предусмотрено в Дахау и как это происходит сегодня во Флоссенбюрге, где, как говорят, под строительство жилых домов полностью заняли всю территорию лагеря и где свидетельства былых преступлений исчезают бесследно, так что в один прекрасный день господин Платтенберг сможет сказать: «Концлагерь? Все это сплошные выдумки!»

На пути домой смешиваются и наслаиваются одно на другое все впечатления, которые путешествующий во времени поэт и испытывающий недостаток оного может взять с собой бесплатно. Задыхаясь от удушья в сплошном потоке машин, направляющихся на Мюнхен,— о святая Варвара, покровительница и водительница странствующих поэтов, помоги нам! — он увозит с собой одну фотографию. Ее оригинал висит в восстановленном бараке и показывает один из внутренних отсеков не в воссозданном, а в его первозданном виде — забитый до отказа людьми, наголо остриженными, отощавшими от голода, с огромными глазницами. Среди них — на верхних нарах лицо, которое кажется до ужаса знакомым. С крутым изломом нос, угловатые скулы, этот монашеский, аскетический вид,— и вдруг вспыхивает молниеносная ассоциация: да ведь это двойник молодого Б. Б.[1]! Сам же он, не предоставь ему Дания своевременно убежища под одной из своих соломенных крыш, тоже наверняка бесследно исчез бы в родных краях.

За окном мелькают пестрые бензоколонки. Гостиницы. Прощайте, господин Гитлер! Цыгане, кочующие в своих домах-фургонах. Радиофицированный полицейский патруль. Красный свет. Зеленый свет. И кардинал Фрингс того же мнения. Телевизионная башня: да здравствуют Олимпийские игры 1972 года! О чем будут вспоминать, если когда-либо опять...

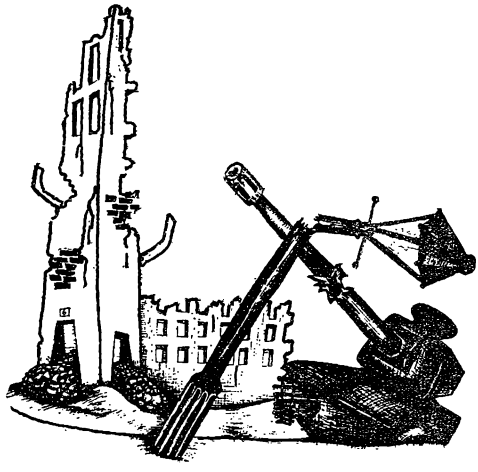
Конечно, о прелестной чистенькой местности (откуда в хорошую погоду видны Альпы), запятнанную репутацию которой никто уже не отмоет; о городке, чье имя навсегда останется символом концлагеря. И все же Дахау не только Голгофа Германии и арена позорного падения «отцов», это еще и место героической победы, которая, возможно, и была первым толчком для создания лагеря именно в этом месте — запоздалая месть побежденных одержавшим победу. Именно здесь в апреле 1919 года Красная Армия Баварской советской республики наголову разбила белых. Командующим войсками под Дахау был известный литератор Эрнст Толлер[2] (правда, в дальнейшем он пал духом и отчаялся). Перед церковью св. Якоба, где стоят урчащие и хрипящие часы-счетчик,— прекрасное место для памятника ему. Будет ли он воздвигнут — зависит от исхода партии между мертвым Гансом Баймлером и чересчур живым господином Платтенбергом.

---

[1] Бертольт Брехт.

[2] Эрнст Толлер (1893—1939)—поэт и драматург; после поражения Баварской советской республики был осужден к пяти годам тюрьмы; в 1933 году эмигрировал в США. В 1939 году покончил жизнь самоубийством.

ИЗРЯДНО ЗАБЫТЫЙ ДЕНЬ



Ненадежная память упорно приписывает первому дню уже окончившейся войны и еще не начавшегося мира события более поздних дней и окрашивает их эмоциями того первого дня, так что начинает казаться, будто это действительно случилось в тот знаменательный день, а может, и на самом деле все произошло тогда, и только недоверие к человеческой памяти, не способной провести между событиями резкую грань, переместило их в более поздние времена. Что касается ночи, предшествовавшей тому дню, то тут память абсолютно уверена в себе. Среди дремлющих и ожидающих конца событий полутеней-полупризраков появляется дежурный орангутанг — уполномоченный по дому с квадратными, как у фюрера, усиками, штатный полицейский на газовом заводе, где он изо дня в день избивает согнанных туда «восточных» рабочих — рабов третьего рейха на ближайшую тысячу лет. Через неделю после описываемого дня он бесследно исчезнет, а сейчас он сообщает приглушенным голосом, что в подвале в котельной разожжен огонь и если кому надо кое-что сжечь, то можно сейчас же это и сделать! Более деликатное возвещение о надвигающемся конце «эпохи» трудно себе представить. Явно стараясь остаться незамеченными, поднимаются рьяные поборники расползающегося по швам режима, партийные чиновники — представители высшей расы, у которых заплетаются и подкашиваются ноги из-за отсутствия тренировки в требующих «деликатности» делах. Роясь во внутренних карманах, они исчезают в котельной. Последними поднимается супружеская чета, сын которой — «мученик» во имя идеи национал-социализма — якобы убит коммунистами на Арнсвальдерплац, а посему площадь до послезавтра (а это уже далекое будущее!) носит его имя. Сначала седовласая валькирия, за ней ее тощий, как жердь, очкастый супруг и, наконец, карликовый пудель, страдающий несварением желудка. По этой причине мать национального героя в паузах между боями, когда пропитанный гарью и дымом воздух свободен от смертоносного металла, до тех пор массирует и мнет в руках крошечное животное на жалком клочке двора перед летним флигелем, пока оно наконец-то полностью не опорожнится. Когда же на следующий, уже знаменательный день жители дома, разобрав танковые заграждения на углу Велауэр- и Эльбингерштрассе, ссыпают ведрами песок и щебень — начинку бессмысленной теперь баррикады — в огромную воронку, то так внезапно лишившиеся своих привилегий родители национального героя стоят в одной цепочке со всеми, уже без собачки, и передают одно ведро за другим из рук в руки дальше: пустое — в одну, наполненное — в другую сторону. На сей раз память уверена в себе: в ведре, поданном старухой, лежит почти новенький, хорошо смазанный, с полной обоймой пистолет, сверкающий синевой вороненой стали, но прежде чем я успел им налюбоваться, развенчанная и разоруженная старуха настойчиво теребит меня, требуя передать ведро дальше. Если кому нужен заряженный пистолет калибра 7,65 мм, то пусть взломает асфальт на Велауэрштрассе и поработает там лопатой.

Но прежде чем события того первого дня настолько развернулись, что вступили в самую раннюю фазу строительства новой жизни, то есть разрушения старой, из вестибюля нашего дома должны были еще убраться фольксштурмисты, где они засели, чтобы, вцепившись в темно-коричневые отполированные перила, до последнего драться на ступенях бельэтажа за обещанный «поворот в борьбе». Тем более что одно нападение, оказывается, уже успешно отбито — память сохранила и это воспоминание,— а именно, неким портным, самым старшим среди довольно юных фольксштурмистов. С помощью трофейной чересчур длинной русской винтовки и патронов от французского карабина (они, впрочем, не входили в затвор винтовки) он отбил у входа в дом атаку советского офицера, который не то вылез из своего танка, не то хотел вылезти или только выглянул из него. Так как свидетелей его подвига маловато, то храбрый портной, имитируя выстрел, рассказывает обо всем самолично. Память точно сохранила этот эпизод — импровизирующий паяц в действии.

В памяти сохранились также и дальнейшие события: рано утром, на рассвете знаменательного дня, вскоре после того, как один из жителей дома поймал по детекторному приемнику сообщение, что Гитлер мертв и Дениц назначен его преемником, в подвале в котельной уже вовсю полы-

хали огнем нацистские партийные билеты, на углу Грейфсвальдер- и Эльбингерштрассе горела картотека полицейского участка, а портной и его «подмастерья» вдруг исчезли, словно их ветром сдуло. Даже само их присутствие здесь казалось уже нереальным, как и их смехотворная миссия: отсюда, из вестибюля этого дома отстоять и отвоевать столицу третьего рейха (минус сам третий рейх). От них осталось лишь несколько фауст-патронов, не пригодные к употреблению винтовки с чужими патронами да несколько стальных касок; все это вдруг сразу стало хламом, выброшенным, помнится, в противопожарный прудик на заднем дворе, да и сам-то прудик в какой-то из последовавших затем обычных дней засыпали и сровняли с землей.

Все решилось еще до рассвета — ждали только финального свистка. Шел ли тогда мелкий, смешанный с пеплом дождик, который, бывало, так часто после сильных пожаров, когда горели целые кварталы города, заштриховывал все пространство от неба до земли? Или в то прохладное майское утро светило солнце? Память, как и последние части вермахта перед наступающей Красной Армией, капитулирует перед погодой — все это уже позабыто.

Укрывшись в подворотне, еще можно было изредка услышать отдельные далекие выстрелы. Зная, что их ожидает, кучка эсэсовцев где-то пытается отсрочить хоть на четверть часа свою собственную казнь. Уже не свистят больше ни снаряды, ни мины. Беспомощно, словно ветви плакучей ивы, повисли оборванные трамвайные провода, наводя на грустные мысли: когда это еще здесь опять прогромыхает 4-й трамвай, поднимаясь от Франкфуртер-аллее и Балтенплац к Пренцлаер-аллее и Гезундбруннен? Забегая вперед и опережая день, который еще не прожит, фантазия обращается к грядущему, рисуя картину хоть и радужную, но совершенно расплывчатую. Занимается новый день.

Троглодиты двадцатого века, чуя опасность, лихорадочно снуют, норовя прошмыгнуть от логова к логову, тревожно озираясь, потом постепенно смелея: вот уже кое-кто из них стоит в подъездах домов, вот они уже кучками собираются под арками ворот, курят и энергично жестикулируют.

Вспоминаю, как я впервые залез на чугунный столб, служивший опорой фонарю и дорожному указателю, чтобы повесить одну из (не утопленных в пруду) касок на торчащую, как перекладина виселицы, эмалированную стрелку с названием города, вероятно в тот день уже названного Эльблонгом, и тем самым символизировать конец. Видимо, и у других была потребность зрительно подчеркнуть, что со старым покончено: там и сям с балконов и окон свешиваются белые флаги—скорее тряпки, чем флаги,— вывешенные незаметно. Капитуляция происходит так же анонимно, как и агрессия шесть лет назад. Тогда мы проснулись посреди ночи от рева моторов и, выглянув на улицу, увидели колонны бронетранспортеров, до отказа набитых человеческим «материалом», израсходованным потом ради того, чтобы в один прекрасный день представилась возможность повесить на фонаре стальную каску — акт бессильного возмездия от имени всех недееспособных, ибо виновные были либо мертвы, либо попрятались по своим норам, либо в спешном порядке удрали на Запад, в то время как мини-Каины, одержимые безумной надеждой на спасение, остались и делают вид, будто каждый из них в душе всегда был Авелем и, само собой разумеется, жертвой фашизма.

Вспоминаю девушку в очках, с одутловатым, мучнистым лицом, только что вернувшуюся домой из эсэсовской школы для немецких матерей — «источника жизни» понацистски,— словно затем, чтобы пережить здесь этот день, о котором теперь слишком редко помнят. В пять минут первого она выбежала из дома навстречу советскому солдату, радуясь, что пришло наконец освобождение. Невозможно забыть, как она обнимала солдата, пытавшегося понять, что происходит, не ожидавшего да, по-видимому, и не желавшего столь бурного проявления признательности.

Воспоминания подбираются уже к середине дня и не могут обойти молчанием двух советских солдат, появившихся на углу Грейфсвальдерштрассе со стороны Александерплац. Оба они очень молоды, почти дети по сравнению со стариками из отряда фольксштурма, которые стоят тут же, на углу, перед забаррикадированной пивной — она и по сей день находится там,— ожидая своего ареста: усталые, мрачные, безучастные ко всему, что произойдет. А между тем ничего не происходит. Оба паренька, заткнув пистолеты за мягкие голенища сапог и ведя за руль велосипед, идут себе разудалой походкой прямо посреди мостовой, лихо сдвинув на затылки свои фуражки, веселые и возбужденные, как после хорошего анекдота. На вопрос, откуда они, звонко кричат в ответ: «Москва! Москва!»—и показывают при этом большим пальцем назад, как будто Москва находится тут же, за углом. Но вот они замечают среди фольксштурмистов человека в коротенькой маскировочной куртке и светлом кепи Африканского корпуса: «Офицер?» Тот, к кому относится этот окрик, мобилизованный под худой конец булочник или оптовый торговец сигарами, который из чистого тщеславия «организовал» себе столь щегольское обмундирование и пижонское кепи, чтобы производить именно то впечатление, которое для него теперь так нежелательно, энергично отнекивается. Впервые в истории Германии невыгодно быть принятым за офицера. Поистине великий день!

Отобрав у мнимого офицера пистолет и спрятав его за голенище сапога, оба паренька, так не похожие на настоящих вояк, успокаиваются. Война, судя по всему, окончена: «Гитлер капут!» С каждой минутой на перекрестке собирается все больше на-

роду: не пригодные к военной службе, имевшие броню или отсрочку, инвалиды и другие официально освобожденные от участия в войне лица. И солдат уже не видно за грязным, серым живым кольцом любопытных. Из бездонных карманов солдатских штанов они извлекают махорку и раздают ее окружившим их людям, которые не знают, что с ней делать дальше. Тогда те двое скручивают из обрывков «Правды» маленькие фунтики, насыпают туда похожий на соломенную крошку табак, закуривают и с наслаждением затягиваются своей «козьей ножкой», едкий дым от которой дерет и саднит горло и легкие так, что заходишься в кашле.

Воспоминания текут дальше и ведут по бывшей Эльбингерштрассе к Книпродештрассе, мимо солдат, которые с кошками на ногах и катушками на спине тянут от дерева к дереву телефонные провода, а внизу, как раз под ними, на скамейке бульвара спит вечным сном какой-то старик с широко раскрытым ртом, такой неестественно восковой и желтый, словно это плохо сработанный бутафорский труп.

Следующее воспоминание — даровые покупки того первого дня: входишь в лавку, давно уже взломанную голодным населением, берешь с полки три-четыре банки стручковой фасоли и выходишь на улицу. Так «покупали» все. Какой-то старик катит по мостовой круг швейцарского сыра размером с колесо от грузовика, другие везут на тарахтящих тачках штуки форменного сукна с казарменных складов или тащат в наспех помытых пожарных ведрах мармелад.

На углу Книпродештрассе, прямо на тротуаре около сгоревших дотла домов, валяется изящная фигурка, словно опрокинутая скульптура Джакометти, только ее гладкая полированная поверхность отливает черным блеском; лишь со второго взгляда понимаешь, что это не скульптура из черного дерева, а обгоревший труп, пол которого уже неразличим. Обоняние хранит свои собственные воспоминания — запахи пожарища: фосфор, чердачные балки, жженая резина, асфальт, горелое человеческое мясо.

И, наконец, нагромождение черных саркофагов — сожженных танков,— поперек мостовой и прямо на тротуаре: остатки танкового сражения. Их назначение резко изменилось — они превратились в игрушки. Ибо мальчишки, которые все на свете — и войну, и ее конец — воспринимают лишь как необыкновенное приключение, уже карабкаются по гусеницам и колесам на блестящие безжизненные махины и, сладко замирая от страха, заглядывают через пробоины и люк внутрь мертвого танка. Так как булочные пока бездействуют, то к вечеру взрослые размалывают в ручной кофейной мельнице пшеничные зерна и пекут на плите из полученной таким образом муки без дрожжей и закваски странный, но удивительно вкусный хлеб — первый хлеб изрядно забытого, но незабываемого дня, первый хлеб никем не объявленного мира.

Перевод с немецкого Г. КОСАРИК

Культура и современность

НОВОЕ В ЖИЗНИ — НОВОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

Издревле книга считается в Монголии самым большим богатством. До революции даже бедные араты стремились иметь ее, чтобы и в их юрте хранилась «шкатулка мудрости». Только ключ от нее для большинства народа был недоступен из-за неграмотности.

Сейчас новая жизнь принесла на древнюю землю Монголии новую литературу, которая активно служит трудящимся, помогает им осознать свою роль и место в борьбе за социализм. Монгольская литература переживает в настоящее время период поиска. Исходя из развития страны, из фактов действительности, она стремится создавать произведения на мировом уровне, внося достойный вклад в сокровищницу литературы социалистического реализма.

Определяя перспективы развития литературы, IV съезд Союза писателей Монголии в 1967 году поставил перед ней задачи освоения крупных жанров, поиска новых художественных форм, выдвижения в качестве главного героя человека труда, нашего современника.

Эти задачи успешно выполняются. Такой вывод сделал V съезд монгольских писателей, проходивший в июне этого года в Улан-Баторе. Документы его опубликовала газета «Утга зохиол урлаг». На торжественном открытии съезда присутствовали члены Политбюро ЦК Монгольской народно-революционной партии во главе с первым секретарем ЦК МНРП Председателем Совета Министров МНР Ю. Цеденбалом, зарубежные гости. Союз писателей СССР представлял секретарь Правления Н. Т. Федоренко.

С отчетным докладом на съезде выступила председатель Правления Союза писателей МНР Сономын Удвал. Ее доклад, как и выступления писателей, дает развернутую картину тех больших изменений, которые произошли в жизни народной Монголии и в ее литературе.

Стала краше жизнь на гобийских просторах, выросли такие новые города, как Эрдентийн-обо и Дархан. В плодородной долине Халхин-Гола организованы новые госхозы, вступил в строй угольный карьер Утдуг-Худук, значительно улучшился быт, расширились культурные горизонты трудящихся.

Коллектив писателей пополнился многочисленным отрядом молодых талантливых авторов, которые существенно обогатили монгольскую литературу, вписав ряд ярких страниц в ее историю. Работа литераторов протекала под постоянным и действенным руководством Союза писателей, чья организационная деятельность подробно рассматривалась в докладе С. Удвал и выступлениях участников съезда. Союз писателей МНР считает организационную работу одним из важных факторов своей деятельности, способствующих развитию литературы на принципах партийности и народности, повышению художественного мастерства писателей, воспитанию молодых талантов. Участие писательской организации в литературном процессе, привнесение в нее элемента плановости, отмечает С. Удвал, отнюдь не сужает творческую свободу каждого отдельного писателя.

> «Понятно, что творческую работу нельзя спланировать на определенный период. Но, зная конкретные недостатки и упущения, тематические и жанровые, можно заранее обдумать меры по их преодолению и в конечном счете исправить недостатки».

В последние годы расширились международные связи Союза монгольских писате-

лей. Представитель Союза был избран членом Постоянного бюро Ассоциации писателей стран Азии и Африки, членом редакционного совета литературного журнала «Лотос». В столице Монголии состоялось, в частности, очередное, десятое по счету, совещание руководителей Союзов писателей социалистических стран.

Развивалось и укреплялось сотрудничество между писательскими организациями Монголии и Советского Союза, связанными давними прочными узами дружбы и братства. Отмечая вместе со всем миром 50-летие образования СССР, монгольские писатели подготовили к этой дате ряд книг. Одна из них — сборник «Лучший друг», состоящий из наиболее значительных произведений о Советском Союзе и советско-монгольской дружбе.

Выпуск специальных художественных сборников монгольских авторов, посвященных датам всемирно-исторического значения, стал хорошей традицией в работе Союза монгольских писателей, полезной формой творческой деятельности.

За отчетный период Союз писателей вел широкую пропаганду литературы среди народа. В докладе С. Удвал говорится, что при Союзе было создано специальное бюро пропаганды литературы, которое упорядочило и значительно расширило проведение мероприятий, связанных с таким популярным в стране праздником, как Дни изящных слов. В общей сложности в Днях изящных слов участвовало более 300 тысяч человек — почти каждый четвертый житель республики. На этих празднествах писатели выступают перед трудящимися с чтением своих произведений, делятся с ними творческими планами, разъясняют содержание правительственных и партийных документов. В последние годы в проведении Дней изящных слов все шире участвуют артисты и мастера художественной самодеятельности, которые пропагандируют лучшие литературные произведения в сценической форме. Как отмечено в докладе и ряде выступлений, содружество писателей и артистов расширило саму идею Дней изящных слов, разнообразило формы их проведения.

Наряду с Днями изящных слов Союз писателей Монголии иногда с участием писателей из социалистических стран широко проводил конкурсы книголюбов и мастеров художественного чтения, встречи писателей с передовиками производства в Дни высокой производительности труда, устраивал книжные базары. Эти формы работы не только обогащали, но и во многом определяли культурную жизнь — в первую очередь в сельских и отдаленных районах.

> «Мы, писатели,— отметила С. Удвал,— несем особую ответственность перед современными читателями, потому что наша литература призвана сыграть важную роль в коммунистическом и эстетическом воспитании масс».

Союз монгольских писателей проводил также большую работу среди творческой интеллигенции Монголии. Доклад С. Удвал дает тому обилие примеров. В частности, Союз неоднократно проводил встречи писателей и работников театра для подготовки новых драматических произведений, которых, по мнению руководства Союза, создается пока явно недостаточно.

Каждой весной и осенью устраивались творческие дискуссии. На них широко обсуждаются произведения начинающих и молодых авторов, затрагиваются вопросы художественного мастерства, воспитания писательской смены.

О широких контактах творческих организаций Монголии говорят и совместные пленумы — в частности, Союза писателей и Союза композиторов,— на которых решаются вопросы сотрудничества в создании новых произведений для театра и кино.

Организационные мероприятия Союза писателей явились важным стимулом в развитии монгольской критики и литературоведения. Собственно, задача усиления влияния критики и литературоведения на весь литературно-творческий процесс находилась постоянно в поле зрения Союза писателей. Монгольские товарищи высоко оценивают постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» и творчески используют его положения в своей практической работе.

Если литература призвана сыграть свою роль в воспитании народа на принципах социализма и коммунизма, то критика и литературоведение — в повышении качества литературы. С другой стороны, по словам С. Удвал, одной из важных задач является

> «достойная отповедь и умелый отпор наскокам буржуазных идеологов на успехи социалистической литературы, защита ее принципов и позиций от реакционного влияния».

Монгольская литература широко связана со своими читателями. Наряду с традициями, основанными на устном народном творчестве, когда между сказителем и аудиторией возникало непосредственное прямое общение, современный этап, в основе которого лежит активное приобщение масс к культуре, также предполагает тесную связь писателя с читателем, хотя и в новых, современных формах. В качестве примера можно привести литературные кружки. Они осуществляют первичные формы литературного творчества, организуют вечера и встречи, широко пропагандируют литературу.

> «В двадцатые годы членами кружков были люди, едва одолевшие грамоту. В тридцатых — сороковых годах основную массу кружковцев составляли люди с начальным образованием. А ныне,— с удовлетворением отметила С. Удвал,— в

объединениях молодых писателей занимаются в основном люди, имеющие высшее образование».

Это свидетельствует об успехах развития Монголии в области образования и показывает, что к современным кружковцам можно предъявлять высокие требования. В их среде, по мнению С. Удвал, формируется основное пополнение монгольских писателей. Воспитанию его Союз писателей уделяет пристальное внимание. При Союзе работали краткосрочные курсы молодых писателей. Ежегодно издается альманах «Подснежник», в каждом номере которого публикуются до 50 начинающих авторов. Дважды в год проводится неделя консультаций для молодых писателей.

И тем не менее официальные мероприятия, отмечалось на съезде, как бы ни было велико их значение, не могут заменить индивидуальной опеки старших над младшими, внимательного, заботливого шефства и терпеливого воспитания, которое можно сравнить с воспитанием сына отцом. В заботе о своей достойной смене должны видеть гражданский долг как Союз писателей в целом, так и каждый писатель в отдельности — таково единодушное мнение всех выступавших.

В последние годы монгольская литература добилась немалых успехов. В ней «должное место заняли крупные эпические формы, несущие в себе все черты реалистической литературы». Высокую оценку в Монголии и за рубежом получили романы Ж. Пурэва «Три узла», Л. Чойжилсурена «Стук копыт», Б. Нямаа «Нас трое», трилогия одного из старейших монгольских писателей Б. Ринчена «Заря над степью» и ряд других.

Большой популярностью пользуются поэмы Д. Пурэвдоржа «Черный снег», У. Гайгавы «Страна Советов», Д. Тарва «Солдат революции» и многие другие, посвященные как историко-революционной тематике, так труду и жизни социалистической Монголии.

Успех у читателей повести С. Эрдэнэ «Жена охотника», Ч. Чимида «Монгольская легенда», С. Удвал «Редкий человек», Л. Тудэва «Полярная звезда», ряда очерков и новелл говорят о том, что и в малых жанрах монгольские писатели добились важных сдвигов к лучшему. Всего за последние 10 лет в стране опубликовано 500 наименований художественных произведений тиражом 4,5 миллиона экземпляров.

Вместе с тем в докладе отмечено, что не все произведения монгольской литературы отличаются высокими художественными достоинствами и не всегда актуальны по теме. В ряде произведений герои отличаются друг от друга только именами, замечает С. Удвал, потому что

«из-за неумения создавать убедительные художественные образы некоторые из нас заполняют свои произведения безликими штатными единицами».

Председатель правления Союза писателей Монголии призвала к «созданию образов положительных героев, достойных подражания». А это всегда многогранные образы.

«Если мы пишем о хорошем человеке,— сказала она,— но жалком и беспомощном в жизни, он в лучшем случае может вызвать лишь сочувствие, но никогда — желание быть похожим на него, подражать ему».

И в то же время С. Удвал предостерегла писателей от примитивного, учебно-инструктивного навязывания образа положительного героя:

«Читатели требуют от нас произведений, которые питали бы их ум, расширяли кругозор, заставляли задуматься над сложными проблемами современности».

Большие перемены происходят в Монголии. Страна успешно строит социализм, создает новые города, строит электростанции, прокладывает дороги. Чей труд лежит в основе всего этого? Кто главный герой сегодняшней Монголии? Трудящийся человек. И герой жизни должен стать героем литературы.

«Вчерашний ученик, а нынешний шахтер, добывающий руду в глубинах земли, первый монгольский ученый, раскрывающий тайны атома, молодой скотовод, прибывший с путевкой ревсомола в отдаленный район, рядовой пограничник, председатель СХО, цеховой мастер — у каждого из них биография, полная борьбы, успехов и противоречий, все они имеют свое собственное слово, которое им хотелось бы сказать другим. Если наши писатели не будут создавать в литературе их образы, то звание писателя во многом утратит по отношению к ним свое значение»,—

так сказала С. Удвал, призывая писателей чаще обращаться к современной тематике. При этом она отнюдь не отвергает произведений на историческую тему. Такие произведения дополняют широкую панораму жизни и помогают еще лучше осознать современность.

«Возможно, писать о прошлом легче,— допускает С. Удвал,— все-таки истинное значение событий отчетливо вырисовывается лишь со временем. Однако ожидать над событиями только суда времени — значит обречь себя на пассивное к ним отношение, что в конечном счете приведет к притуплению боевых качеств литературы — утрата, об очевидности которой нет смысла много говорить».

Современность подразумевает оперативное ее отражение. Поэтому особое значение для монгольской литературы приобретают сейчас, по мнению С. Удвал, малые жанры: рассказ, очерк, повесть, которые

> «важны еще и тем, что на них можно успешно оттачивать писательское мастерство. Ведь они требуют филигранной работы. Именно в них особенно заметны погрешности и ошибки писателя».

Призывы чаще пробовать себя в малых жанрах были обращены на съезде преимущественно к молодежи. Некоторые начинающие авторы слишком поспешно и легко берутся за крупные литературные формы, почему-то считая роман «наиболее податливым» жанром.

В современной монгольской литературе идет широкий процесс освоения жанрового разнообразия, и тут, по понятным причинам, возможны, так сказать, «издержки роста». Но это относится прежде всего к молодым авторам, которые не всегда хотят внимательно изучать уже накопленный опыт и торопятся сказать свое слово, проложить собственный путь в литературу.

Но новаторство, как сказано в докладе, полезно только тогда, когда помогает лучше отразить правду жизни, все ее многообразие. В качестве одного из положительных примеров творческого поиска на съезде приводился роман Д. Даржаа «Товарищи». Автор долгое время жил со своими героями, прежде чем написать о том, как в гуще рабочего класса зародилось движение за социалистический труд. Ценность таких в определенном смысле документализированных произведений, по мнению С. Удвал, с годами будет возрастать, потому что именно они наиболее правдиво отображают действительность.

Большое внимание съезд уделил детской литературе Монголии. За последние 6 лет издано 136 книг для детей. Тираж некоторых из них достигал 40 тысяч экземпляров — для Монголии очень высокий, хотя и он уже не отвечает потребностям сегодняшнего дня.

Несмотря на заметные успехи в развитии детской литературы, в ее адрес прозвучали и критические замечания. Писатели порой «увлекаются скучными, бьющими в лоб дидактическими проповедями на темы морали и этики». Набор образов детской литературы все еще крайне ограничен. Это традиционные коты, мыши, собачки, лисицы, набившие оскомину «косые». Д. Даржаа, особенно резко критиковавший недостатки творчества детских писателей, призвал расширить тематику, привнеся в содержание современность, которая может заметно освежить детскую литературу. Он предложил дифференцировать книжную тематику, исходя из возрастных особенностей детей, их склонностей и интересов.

> «Надо создавать образы, могущие захватить ум и сердце современного ребенка,— сказал он.— Уделять больше внимания созданию детских пьес, кинофильмов, театральных постановок».

Серьезной критике подверглась на съезде работа в области научной фантастики, популярность которой в современном мире постоянно возрастает. К сожалению, для монгольских писателей она в основном остается еще нетронутой сферой деятельности.

К съезду писателей заметные сдвиги произошли в издательском деле страны. Вот цифры: в 1967 году опубликованы книги 32 наименований общим объемом 250 печатных листов. В 1972 году — 54 наименования объемом 320 печатных листов. Около половины из них составляют произведения отечественной литературы. Улучшилось полиграфическое исполнение книг, их художественное оформление.

Докладчик рекомендовал расширить права Союза писателей в том, что касается издания монгольских авторов и установления тиража их книг.

На съезде отмечалась огромная роль советской литературы и советских писателей в становлении монгольской литературы. В частности, вспоминали о Максиме Горьком, внимательно следившем за первыми шагами монгольских писателей, за приобщением трудящихся к культуре и литературе. В письме министру просвещения Монголии Эрдени Батухану Горький писал в 1925 году, что монгольскому народу «наиболее полезна была бы проповедь принципа активности». Поэтому

> «переводить следует именно те европейские книги, в которых наиболее ярко выражен принцип активности, напряжения мысли, стремящейся к деятельной свободе, а не к свободе бездействия...»

На съезде отмечалось, что через русскую и советскую классику монгольский читатель открыл себе путь в мировую литературу. Наряду с национальными героями Павка Корчагин стал тем образцом для подражания, который содействовал утверждению в Монголии «принципа активности». И вот сейчас в прошлом кочевой народ перебросил мост в XX век и социализм.

Монгольская литература, сохраняя свою самобытность, идет в ногу с эпохой. Как отметил выступавший на съезде секретарь ЦК МНРП Д. Чимнддорж, сила монгольской литературы состоит в ее народности и партийности, и эти принципы всегда будут питать ее как самые чистые родники.

В. ПЕРЕХВАТОВ

ФАУСТ — МЕФИСТОФЕЛЬ, СДЕЛКИ НЕ БУДЕТ

Более сотни лет назад французский исследователь А. Токвиль писал о жителе Америки: «Чтобы быть счастливым и свободным, ему достаточно этого пожелать. У человека в Новом Свете нет врагов, кроме него самого».

Много воды утекло с тех пор, и сами американцы — впрочем никогда не верившие в эту идиллию,— пишут о своей стране по-другому. Пишут об одиночестве человека в условиях «всеобщего благоденствия», об отсутствии идеалов, о разнообразных формах социального протеста в обществе «равных возможностей». Больше того, в последнее время все чаще стали всерьез задумываться над тем, что в «великом обществе» есть все, кроме... человека, так сказать, «идеального человека», который по всем статьям устраивал бы хозяев «народного капитализма». Примером тому может служить статья американского журналиста и писателя Антони Хартли «Ни бюрократ, ни хиппи. Об идеале человека в массовом обществе», опубликованная в журнале «Энкаунтер». Своеобразие концепции Хартли состоит в попытке сочетать американский прагматический подход к человеку с морально-этическим (ценностным), причем критериями оценки оказываются не столько этические нормы современного общества, сколько времена Корнеля.

Проблема человека — это, естественно, проблема и общества, дома, в котором он живет. Имя этому дому у Хартли, как и у многих других даже более маститых американских специалистов,— массовое общество.

Точнее, имен много — целый набор, и Хартли в статье им широко пользуется: «индустриальная система», «бюрократическая система», «организация», «сверхразвитое общество». Однако в подзаголовке им упоминается «массовое общество». Этот термин, широко принятый в американской социологии, для Хартли — универсальная отмычка, которая должна раскрыть сущность современного общественного развития. Проблема для Хартли заключается в том, что «массовому обществу» не хватает человека, «приспособленного к его нуждам». Что касается анализа самого общества, путей его развития, то о позиции Хартли можно судить по взятым им в качестве эпиграфа словам Токвиля:

«Придем ли мы, как нас уверяют в этом другие пророки — впрочем, столь же бесплодные, как и их предшественники,— к более полному и более глубокому переустройству общества, которого так хотели и предсказывали наши отцы? Что касается меня, то я ничего не могу сказать об этом. Я не знаю, когда же кончится этот длинный путь. Я устал без конца принимать миражи за долгожданный берег, и я часто спрашиваю себя о том, существует ли вообще эта твердая земля, которую мы так долго ищем, или наша судьба вечно бороться с морем?»

Хартли комментирует:

> «Они (эти слова.— *В. С.*) остаются классическим выражением головокружения, которое будет у всякого, кто задался целью предугадать процесс изменения современного общества. Одна индустриальная революция успешно сменила другую; электричество заменило пар, а атомная энергия — уголь; компьютеры помогают человеческому мозгу, которым, в свою очередь, можно управлять при помощи наркотиков и средств нейрохирургии».

В условиях столь быстро меняющегося мира всякий прогноз кажется Хартли галлюцинацией, причем в «бешеном» XX веке оснований для оптимизма, по сравнению с временами Токвиля, еще меньше. Отсюда вывод: нужно исходить из того общества, которое есть; необходимо изменить человека.

Уподобившись древнему философу, Хартли откровенно вопрошает: «Где ты, человек?» С чисто американской деловитостью, как будто речь идет о новой мебели для вновь отстроенного дома, Хартли рассуждает о том человеке, который должен жить в нем. Он откровенно признает, что практика массового общества неблагоприятна для формирования искомого типа человека.

> «Наш декадентский утилитаризм — он сводится к экономической эффективности, обеспечивающей все повышающийся уровень материальной жизни и воспроизводство довольного рабочего, который, в свою очередь, увеличивает эту экономическую эффективность,— предлагает не оптимальную модель человеческой жизни, а только искаженные типы. Больше того, он ложен по самой своей сути».

Критика Хартли уничтожающая:

> «Аппарат современного управления и индустрия может оказывать сильнейшее воздействие на человека, но для формирования подлинного идеала человека явно недостаточно тех ценностей, которые они вырабатывают».

Иными словами, сама атмосфера массового общества — антигуманна, она пропитана «ценностями», которые направлены «против самой человеческой натуры». В част-

ности, идеалом не могут служить даже те, кто стоит на вершине социальной иерархии; их поведение, как отмечает Хартли, «в большей степени жестоко и индивидуалистично, чем требуется социальным этосом». Казалось бы, вывод из сказанного может быть только один: необходимы какие-то существенные изменения в самой социальной системе. Однако Хартли, как мы видели, рассуждает иначе. Проблемы замены общественных отношений для него не существует. Есть два полюса: совершеннейшая индустрия и несовершенный человек. Создав высокоиндустриальное общество, человек отстал от него в своем собственном развитии. Задача первостепенной важности — подогнать человека под это общество.

Каким же образом сделать это? Хартли считает, что современная наука приблизилась к разгадке тайны «человеческой конструкции».

«С точки зрения физиологической пересадка сердца, легких, печени, почек и глаз — знак того, что вмешательство в человеческую структуру не является более достоянием «фильмов ужаса». Однако... вызывает опасения тот факт, что передовые индустриальные общества второй половины XX века исключительно плохо подготовлены к решению, по какому же идеальному образцу они хотели бы сделать человека».

Хартли предлагает свою модель человека. Массовое общество порождает два типа личности: конформиста, «человека организации», полностью подчиненного обществу и не свободного ни в чем — ни в производстве, ни в потреблении, ни дома, ни на улице,— и хиппи, бегущих из общества. При всей разнице в общественной позиции их объединяет одно — пассивное отношение к существующему порядку вещей.

«Больше того, пассивное отношение хиппи и «человека организации» к окружающему их миру отличает их от индивидуалистического и аристократического типов идеального человека в западной традиции. И те, и другие далеки от желания понять мир или изменить его, а бормотание и несвязная речь хиппи выдают их явное нежелание утруждать себя мышлением...»

Ни тот, ни другой тип Хартли не устраивает. Он предлагает свой путь:

«Альтернативы, которые перед нами открывает век компьютеров и электронной памяти, пожалуй, разнообразны, как никогда: тотальный конформизм по отношению к обществу, уход из него и наконец путь, который всегда выбирали те, кто разделяет западное мировоззрение,— путь активной жизни, постоянного стремления жить таким образом, чтобы привносить в общество максимум истинно человеческих ценностей, стремиться к тому, чтобы общественная жизнь способствовала наиболее полному развитию личности. Сейчас, как никогда, сильно давление общества на личность в сторону конформизма. Однако современный Фауст, хотя он и способен заключить пакт с бюрократом Мефистофелем, спасет свою душу путем утоления жажды творчества и стремления испробовать все возможности, отпущенные ему природой».

Итак, Хартли за компромисс. Он хочет свободы для человека, не освобождая его от пут массового общества. Он вспомнил, что человек — мыслящий тростник. И поскольку бюрократическая система массового общества не оставляет ему времени мыслить, Хартли прописывает рецепт: надо дать возможность человеку осознать свое положение в этом мире.

Как же Фауст обретет свободу, если ему рекомендуется не отвергать требования современного массового общества? В целом Хартли не оригинален, констатируя факт полнейшей зависимости личности от сверхбюрократизированной системы массового общества. Об этом пишут давно и многие. В свое время О. Хаксли призывал уравновешивать монотонный мир работы массового человека сексуальной свободой и свободой потребления. Хартли считает, что на сегодняшний день эти средства перестали быть эффективными. Сексуальная революция приелась и, кажется, идет к концу,— таков его диагноз. Современному Фаусту Хартли советует занять позицию стоика.

«Так как не может быть и речи ни об открытом сопротивлении системе, ни о ее полном приятии, остается только внутреннее несогласие, которое предохраняет индивида от рабства и позволяет ему, с одной стороны, позитивно сотрудничать с режимом, а с другой — оставляет ощущение самостоятельного выбора в тех ситуациях, где во всех других отношениях он бессилен. Будущая бюрократия индустриальной и государственной власти будет слишком сильной, чтобы ей было оказано сопротивление, и слишком проникающей во все сферы жизни в своих требованиях конформизма, чтобы можно было ее принять.

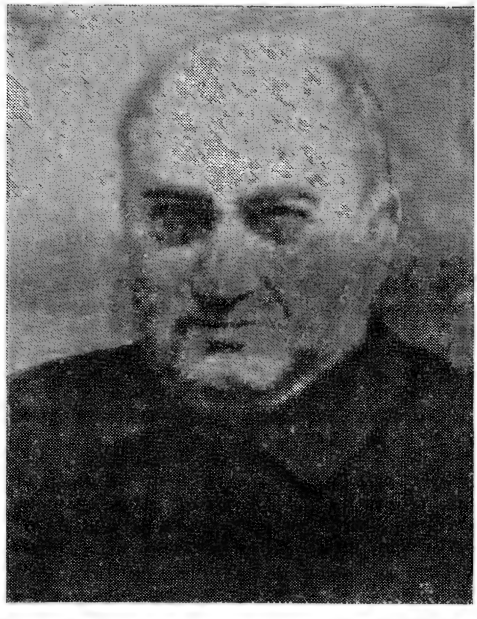
Если при этих условиях потомок западного человека захочет сохранить свое достоинство и избежать кастрации, которую добровольно принимает «человек организации», он вынужден будет уйти в себя, чтобы заняться самопознанием

и осознанием своего места в истории, и это осознание, в свою очередь, породит в нем юмор и иронию, столь необходимые для сохранения его внутренней свободы. Подобная свобода даст ему возможность осудить современное индустриальное общество... избежать наиболее грубых форм его давления и направит общественное развитие в более гуманное русло. Он и его товарищи, находясь на службе обширной бюрократической системы, должны будут трезво смотреть на вещи: то, что они делают, это только гипотеза (рабочая гипотеза), а не псевдорелигия. Их задача — не переносить навязываемые сверху ценности в свою внутреннюю жизнь и не соглашаться на какие-либо «подачки» Организации».

Идеальный человек массового общества, по Хартли, должен, таким образом, построить внутри себя своего рода Телемскую обитель. Принимай общество таким, какое оно есть, выполняй все его предписания, а внутри себя можешь делать что угодно! Самоусовершенствуй себя, а потом, может быть, ты усовершенствуешь и общество. Объективно положение человека в массовом обществе трагично. Но чувство осознания своего трагического положения да спасет человека, подобно тому как идея смерти спасает человечество. По Хартли, человек своему страданию должен противопоставить терпение, осознание этого страдания. И Хартли открыто призывает «новых левых» и студентов не бунтовать, а примириться с тем, что есть. Путем познания и самопознания человек может обрести уверенность, он может сказать о себе словами одного из героев Корнеля: «Я хозяин самого себя и мира». Такой хозяин мира, конечно, нужен его настоящим хозяевам. Ссылка на Корнеля у Хартли не случайна. Современный человек, которому Хартли предписывает руководствоваться в своей жизни современными ценностями, внутри себя должен выработать противоядие. Это противоядие, по Хартли, в ценностях прошлого, из которых складывался традиционный тип западного человека, индивидуалиста и аристократа. Однако эти ценности «растеряны» в современном мире, и их необходимо собрать, подобно тому как собирают разбитую вазу или расколовшуюся на куски скульптуру. Не цементируемые в настоящем ни религией, ни серьезными этическими основаниями, эти ценности, как с сожалением констатирует Хартли, в значительной мере обесценены господствующим в западном мире релятивизмом и индифферентизмом в вопросах морали. Поистине, задача, которую ставит Хартли перед современным человеком, по трудности своего выполнения не очень отличается от задачи Сизифа: ведь человек должен порождать в своем внутреннем мире то, что практика жизни постоянно обесценивает. Но Хартли это, вероятно, не очень волнует. Главное для него — убедить читателя в том, что все люди по природе индивидуалисты, «несмотря на то, что они трудятся в обществе как муравьи, вместе проводят досуг и т. п.». Конечно, пишет он в заключение, мы верим в то, что человек победит общественные силы, которые покушаются на его личную свободу. Однако этот вывод звучит фальшиво, ибо как можно в одиночку, спрятавшись в свою скорлупу, переделать общество? Да, собственно говоря, сам Хартли, как это видно из его статьи, не слишком доверяет «внутреннему тормозу» человека. Он несколько раз повторяет, что человек — существо иррациональное, от которого всего можно ожидать. Гораздо большие надежды он возлагает на нейрохирургию, чем на внутренний юмор и иронию «мыслящего тростника». Когда можно будет осуществить пересадку мозга или вообще парализовать его, когда можно будет установить над человеком полный генетический контроль — мечта Хартли,— тогда Мефистофель полностью задавит Фауста, тогда будет настоящая социальная стабильность. А пока Хартли призывает их к сделке.

В. СКИБА

◆



ПУТЕШЕСТВИЕ К ТЕБЕ

(Турецкий поэт Фазыл Хюсню Дагларджа — в «Иностранной литературе»)

Родившись однажды —
Живем.
Однажды, думать начав,
Рождаемся снова,
Чтобы узнать,
Зачем родились в первый раз[1].

Фазыл Хюсню Дагларджа

«Поэт, которому не хватает ни мира, ни вселенной...» — так сказал о Фазыле Хюсню Дагларджe его соотечественник, известный поэт Джемаль Сюрейя.

Турецкие критики, хорошо знакомые с творчеством Дагларджи, всегда с интересом ждут выхода в свет его очередной книги: опять все будет по-новому, опять не похоже на то, что было прежде... Кажется, все просто, все слова понятны, но за общедоступным смыслом угадывается какой-то подтекст, в каждой строке заложена «дагларджаевская» мудрость — удивительно емок, многозначителен и непривычен мир представлений и образов Дагларджи.

«Фазыла Хюсню Дагларджу нельзя сравнить ни с одним поэтом, он ни на кого не похож, он стоит в стороне, особняком. Да и не имеет смысла сравнивать его ни со старыми, ни с новыми поэтами, потому что у него иные темы, иные формы, иной язык и ищет он в поэзии и жизни — иное»,— сказал о Даглардже турецкий критик Нуруллах Атач.

К сказанному о Даглардже можно добавить, что он обладает редким даром — даром непосредственного восприятия мира. Эта особенность его таланта проявилась и в стихах для взрослых, и в стихах для детей, хотя детям он стал писать сравнительно недавно. Дагларджа говорит с детьми не как наставник и воспитатель, а как друг, хорошо понимающий, что нужно детям, чем они живут.

В редакции «Иностранной литературы» был затронут вопрос о работе международного форума детских и юношеских писателей. Вот что сказал Дагларджа:

— Я приехал в вашу страну с двумя чемоданами подарков, а уеду с целым контейнером литературного опыта. Я обогатился сведениями о вашей детской литературе, которая имеет свои неповторимые особенности. Я заметил, что в вашей стране существует, если так можно выразиться, целая промышленность детской литературы с очень узкой специализацией: один пишет стихи для детей, другой — повести, третий — рассказы, четвертый — пьесы. По возвращении на родину я попытаюсь создать какое-то малое подобие этой промышленности, хотя в моем распоряжении всего лишь один ручной станок.

[1] Перевод Фазиля Искандера.

Дагларджа много и упорно работает. Иногда одновременно выходят из печати несколько его сборников. Но это результат не только его редкого трудолюбия.

— Многие писатели не начинают новую книгу, пока не кончат предыдущей,— объясняет поэт.— Я же работаю над несколькими сразу. В папках на полке лежат мои заготовки. Я подхожу к этим папкам, оглядываю их и провожу день с той, которая меня позовет. У меня привычка всюду носить с собой незаконченные рукописи, персонажи их постоянно в моем воображении, и по мере того как я попадаю в разные места, книги мои путешествуют вместе со мной. У меня есть любимый уголок в Стамбуле на морском берегу, я довольно часто бываю там, и мне кажется, что нет ни одной книги моих стихов, которая вышла, не повидав моря.

Дагларджа не сразу посвятил себя литературе. Родом он из военной семьи, все его предки были военными. Кстати сказать, до недавнего времени не только в Турции «быть мужчиной» означало «быть военным». Но наряду с военным духом в семье Дагларджи была ощутима поэтическая атмосфера.

— Бабушка и сестра любили стихи и много читали,— рассказывает он.— Я с самых ранних лет мечтал стать поэтом. Я думал, что все грамотные пишут стихи, и очень хотел скорее пойти в школу, чтобы научиться записывать свои мысли на бумаге. Я окончил школу, лицей и все время сочинял стихи. Когда заходила речь о моей будущей профессии, я просил отца, чтобы он позволил мне стать врачом и не делал из меня военного. Отец молчал. Но как-то он пришел домой и сказал: «Завтра пойдешь в военную школу!» Я взял Коран, поцеловал его и произнес решительно: «Я не пойду в военную школу!» Отец взял Коран побольше, трижды поцеловал и повторил: «Пойдешь!» Я смирился, но сказал тогда отцу: «Ты можешь послать меня в военную школу, но не убьешь во мне поэта». Это было моей клятвой, и я сдержал ее: ко дню выпуска из военного училища у меня уже был опубликован первый поэтический сборник. Я долго служил в армии, и мне удавалось совмещать военную службу с поэтической работой. Потом поэт одержал во мне верх...

Во время беседы в журнале три года назад Дагларджа рассказал о том, как он знакомит читателей со своими поэтическими новинками — каждые две недели он вывешивал в витринах своей книжной лавки новые стихи. Они привлекали тогда большое количество народа.

— Но с того времени,— заметил сейчас Дагларджа,— произошло так много событий и столько перемен, так изменилась общая атмосфера в стране, что я вынужден был отказаться от этого предприятия, потому что реакционеры грозили сжечь мою лавку, если я буду выставлять стихи в витрине.

Когда я вернулся из прошлой поездки по Советскому Союзу, я написал очень много стихов и стал издавать какое-то подобие газеты. Я размножал эту газету, печатая ее довольно крупным шрифтом, и рассылал по стране. Название ее — «Путешествие к тебе». Иногда вместе с газетой я посылал в какой-нибудь районный центр телеграмму, что, дескать, в такой-то день и час к вам прибудет поэт Дагларджа и будет читать свои стихи. Я нанимал машину и выезжал в намеченные места. Приехав, я шел обычно в учительский клуб, куда направлял перед этим телеграмму. Как правило, все было подготовлено, и минут через пятнадцать всюду, куда я приезжал, можно было видеть такую картину: клуб украшен стендами со стихами; в комнаты и на улицу выведены репродукторы, которые транслируют запись моих стихов. А внутри в клубе я устраивал выставку своих книг. У меня их было 35. Иногда выступал кто-то из критиков с лекцией о поэзии, а потом я читал свои стихи. За один день мы успевали побывать в нескольких местах. Так продолжалось две недели, мы объездили семь районов Турции. Я завел даже тетрадь, куда люди записывали свои отзывы. Потом выяснилось, что мои поездки вызвали недовольство властей, и я вынужден был прекратить свою деятельность.

Хотя Дагларджа уже не молод, ему шестьдесят лет, возраст не помеха его творческой активности.

— Готовлю к публикации две книжки стихов для детей и две для взрослых,— рассказывает поэт о своих планах.— В одной из этих книг собрано около двух тысяч четверостиший о смерти, в другой — столько же о любви. Я рассудил так, когда задумал первую книгу: человек, который прочтет мою книгу, не будет бояться смерти. Кроме того, у меня еще есть заметки в стихах, которые я начал вести в день переворота 12 марта 1971 года. Они называются «Календарь событий 12 марта». Но над ними еще надо работать.

Творчество Фазыла Хюсню Дагларджи известно довольно широко за пределами Турции. Советский читатель знаком с ним по публикациям в периодике, в частности в журнале «Иностранная литература» (№ 3, 1972). Кроме того, вышел сборник стихов Дагларджи в Эстонии на эстонском языке, готовится сборник стихов в Латвии, издательство «Детская литература» в Москве планирует выпустить книжку его детских стихов.

Каждая новая встреча советского читателя с произведениями Дагларджи — хороший подарок любителям поэзии.

В. ФЕОНОВА

Маска для танца «Тигр».

Декоративно-прикладное искусство Мексики

Народная индейская роспись на древесной коре.

Палочки для индейских ритуальных танцев.

Коврик.

Фигуры из камыша.

Подсвечник.

Тарелка из соломки.

Наши гости

«КТО МЫ ТАКИЕ...»

(Беседа с малайзийским писателем Усманом Авангом и сингапурским писателем Го Бо-сеном)

ГО БО-СЕН

Го Бо-сен

Скажите, пожалуйста, как вам удалось добиться такой огромной читательской аудитории в Советском Союзе? Мне приходилось бывать за границей, в странах с количеством населения, равным вашему, но ничего подобного в этом плане я не наблюдал.

УСМАН АВАНГ

Н. Т. Федоренко

Многие явления нашей жизни — и это в том числе — восходят к Великому Октябрю. Именно Октябрь позволил осуществить давнюю мечту русских революционных демократов о широком читателе, народном читателе, о том, чтобы литература перестала быть достоянием одной лишь элиты. Наш народ упорно шел к этой цели, и сейчас действительно Советский Союз является выдающейся читающей державой. Мы вправе гордиться этим.

Должен сказать, что читатель у нас весьма взыскательный и с каждым годом предъявляет все более высокие требования к литературной продукции. Что же касается писателей, то они в нашей стране в высшей степени уважаемые люди.

Го Бо-сен

Это очень интересно. Писатель должен соответствовать своему назначению, оправдывать возлагаемые на него народом надежды. Ведь в определенном смысле писатели играют в обществе роль первооткрывателей. Во многих странах, недавно получивших независимость, они следуют примеру советских писателей. Это касается не только национально-освободительного движения, но и мер по раскрепощению языка, перехода с языка элиты на язык народа и некоторых других вопросов культуры. Но, конечно, здесь пока нельзя говорить о росте читательской аудитории, здесь надо говорить о проблеме народного образования, о подготовке читающей аудитории.

Н. Т. Федоренко

Безусловно, книгу нельзя сделать достоянием народа, если он к ней не подготовлен. Поэтому у нас с самых первых дней революции начался процесс приобщения народа к знанию. Ликвидация неграмотности проводилась постепенно: сперва было обязательным четырехклассное образование, потом семиклассное, теперь мы подошли к обязательному десятилетнему образованию. Все это и создало огромную читательскую аудиторию.

Го Бо-сен

Для нас на нынешнем этапе необходимо, очевидно, комплексное развитие культуры: системы народного просвещения, высшего и среднетехнического образования, театра, кино, книгоиздания и т. п. Поэтому я был бы рад получить какие-нибудь материалы об аналогичном периоде развития культуры в вашей стране, материалы, которые проливали бы свет на наши проблемы.

У. Аванг

Одна из таких проблем — проблема развития национальной культуры и литературы на малайзийских языках. Степень их развития, естественно, неодинаковая. У одних литератур есть богатые традиции, другие находятся в стадии становления.

Го Бо-сен

Я думаю, что основная проблема литературы и сингапурской и малайзийской — это поиски ответа на вопрос: кто мы такие? И в связи с этим — на вопрос: что нас ждет в будущем? Так уж сложилась наша история, что мы являем собой центр смешения разных культур. Вообще у нас, как и у всякого молодого, да еще многонационального государства, великое множество проблем. Если говорить широко, то наша литература стремится к установлению принципов демократии, равенства, справедливости и социализма. Это то, во что мы верим. По крайней мере, в это верю я.

У. Аванг

Для Малайзии серьезную угрозу может представить расовая проблема. К сожалению, у нас есть много политических деятелей, которые пытаются играть на национальных чувствах разных этнических групп, а еще больше таких, которые стремятся к тотальной малайизации.

Го Бо-сен

Одна из основных опасностей, которым подвергается литература Сингапура, это прагматизм. Хотя без здорового элемента прагматизма нет прогресса, все же постоянная погоня за максимальным коэффициентом полезного действия нередко дает обратные результаты. Я не верю в то, что писатель, сидя за своей пишущей машинкой, может изменить мир. Я отнюдь не против практического подхода к жизни, я никогда не брезговал никакой работой, если мне казалось, что она полезна, я за здоровый прагматизм. Но чего нам следует опасаться? К примеру: власти решили, что Сингапур должен быть чистым городом, что он должен быть превращен в город-сад. Но как это осуществлялось? Кое-где администрация ограничилась тем, что просто прикрыли заборами старые хижины, развалины — все неприглядное — вместо того, чтобы на их месте построить красивые дома. Заборами ограждается то, чего хотелось бы не видеть. Предполагается, что если это не будет бросаться в глаза, наше молодое поколение придет к убеждению, что у нас нет нищеты, что нищета — это удел других, менее состоятельных стран. Я не из богатой семьи — моя бабушка и мой дед живут в хижине,— и мне бы не хотелось, чтобы мой племянник и мои дети выросли в хижине, огороженной нарядным заборчиком.

И еще одна опасность. Сингапур — это открытое общество, оно распахнуто навстречу любым воздействиям, и левым и правым влияниям. А наше телевидение — это инструмент, с помощью которого создается потребительская психология. Телевидение с его рекламой настолько вторгается в частную жизнь каждого из нас, что постепенно человек приходит к убеждению, что он не может быть «счастлив», если у него нет самой быстроходной машины, самой красивой девушки и чего-то еще самого, самого...

По профессии я врач, но сколько я себя помню, я писал всегда. Начал писать стихи, еще будучи студентом, и продолжаю писать до сих пор. Когда я вернулся из-за границы, где учился, я написал три пьесы. Это пьесы социальные, но в то же время и психологические. Я создал театральную труппу в Сингапуре. Там ставились мои пьесы и пьесы иностранных авторов. Пьесы и статьи печатались в журнале, который выходил двумя тысячами экземпляров. Назывался он «Тумасик». Это старое название Сингапура. Но постепенно меня все больше и больше затягивала общественная деятельность. Я был избран председателем Совета по искусству, работал в молодежной организации, теперь тоже готовлю молодежь для работы в профсоюзах.

Я надеюсь, что Сингапур доживет до того времени, когда там будут театры, музеи, картинные галереи, танцевальные группы и пр. Недавно я закончил роман о Вьетнаме. Для того чтобы написать его, я побывал в Южном Вьетнаме. В основе романа — история молодого человека, который из сайгонской армии переходит в Народные вооруженные силы освобождения.

У. Аванг

Я родился в маленькой малайзийской деревне Котенги, что означает — Рыбачья.

Окончил там начальную школу на малайском языке. А потом началась война с Японией. Во время японской оккупации был просто крестьянином. Когда же вернулись англичане, пошел работать в полицию. Пять лет был полицейским. В 1943 году, когда компартия возглавила движение против англичан, я находился в полицейской школе в джунглях и участвовал в подавлении партизанского движения. Но постепенно я начал сознавать, кто мои истинные враги. Я понял, что мы боремся с партизанами не для того, чтобы защитить от них народ, а для того, чтобы сохранить рудники, которые принадлежат колонизаторам. И я увидел, как малайзийские коммунисты вместе с партизанами борются против английских колонизаторов. Поэтому, когда кончился срок моего контракта, я ушел из полиции и стал работать в газете. Сначала я был полицейским репортером, а через некоторое время стал редактором литературного отдела. В 1960 году мы объявили забастовку и нас всех выгнали из газеты. Очень долго ходил без работы, а потом меня взяли в Совет по языку и лингвистике, это такое своеобразное литературное учреждение. Прошло время, и теперь я главный редактор двух журналов — один называется «Литература», а второй «Общество». Первый занимается вопросами чисто литературного характера, а второй — общими вопросами культуры и общества.

Я целиком согласен с тем, что сказал Го Бо-сен. Разумеется, писатель не может отгородиться от жизни и лишь сидеть за своей пишущей машинкой. Он должен выйти на улицу и быть в гуще жизни.

Мы иногда выезжаем в сельскую местность, проводим беседы с крестьянами, нередко устраиваем вечера поэзии. Иногда у нас пишут стихи о крестьянском движении, которые потом используются как лозунги. Но журнал, в котором мы печатали эти произведения, запретили, нужно открывать новый.

В 50-е годы писатели моего поколения создали группу, девизами которой были «Искусство и общество», «История и народ». И хотя сейчас эта группа как таковая не существует, мы продолжаем руководствоваться ее программой, стараемся приблизить к себе молодых писателей, заинтересовать их нашей деятельностью, чтобы они помогали крестьянам, рыбакам бороться за свои права.

Новый этап развития нашей литературы начался в послевоенные годы, когда стала появляться литература протеста. Но в этой литературе форма пока не соответствует высокому уровню содержания. К сожалению, писатели моего поколения плохо образованны. Молодые гораздо лучше образованны. Мы знаем только малайский язык, и поэтому наше стремление к совершенству формы наталкивается на отсутствие словарного запаса в рамках малайского языка и литературы.

Интерес к советской литературе у нас очень велик, но если бы ваши книги приходили к нам на малайском языке! Это помогло бы развитию нашего общества и нашей культуры.

Н. Т. Федоренко

Хорошо ли известна у вас советская литература? Какие авторы?

У. Аванг

Что касается малайцев, то в больших городах они, как правило, не живут, а туда, где они живут, советская литература не попадает. В больших же городах живут в основном китайцы и индийцы, которые читают по-английски. Малайцы же знают только свой малайский язык. Я был бы счастлив, если бы знал английский язык и мог читать литературу, издаваемую на этом языке, я был бы рад знать даже эскимосский язык, если бы на нем можно было читать мировую литературу.

Го Бо-сен

Я читаю по-английски и по-китайски. Те, кто интересуется, знают вашу классическую литературу, начиная с Пушкина, знают блистательную литературу девятнадцатого века: Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, знают Блока, Маяковского. Из современных писателей известны у нас немногие. Должен сказать, что у нас большой пробел в знании советской литературы, особенно современной. Кроме того, если мы еще более или менее знакомы с переводами русских авторов, то литературу на языках других народов вашей страны вообще не знаем. Нам бы очень хотелось получить библиотеку хорошей советской современной литературы. Наши писатели, и я в том числе, испытали в своем творчестве сильное влияние Толстого, Достоевского. Знакомство с их творчеством поистине изменило мою жизнь.

Я хотел бы поблагодарить за предоставленную нам возможность побывать в вашей стране. Мы приехали к вам с большой радостью и считаем, что такие контакты могут быть очень полезны. Что касается меня, я буду всемерно стараться их поддерживать.

У. Аванг

Я надеюсь на расширение наших культурных связей. Нас очень интересует ваша литература, особенно ваши молодые писатели.

Н. Т. Федоренко

Мы все благодарим вас за интересное и полезное собеседование. Уверен, что контакты наши будут продолжаться. Надеемся на новые встречи.

Записала А. ЧУГУНОВА

Среди книг

Издано в СССР

КНИГА О МУЖЕСТВЕ

Гюнтер Вайзенборн. Мемориал. Перевод с немецкого Вс. Розанова. Предисловие А. Дымшица. Редактор И. Млечина. Москва, «Прогресс», 1973. 205 стр.

«...Если когда-нибудь родившиеся после нас прочтут главу о времени, которое было нашим временем, то я, не боясь показаться нескромным, настойчиво прошу не забывать о тех сотнях тысяч людей, которые с высоко поднятой головой сражались против кровавого террора и, сражаясь, погибли на эшафотном фронте». Так обращался к тем, «кто родится после нас», немецкий писатель-антифашист Гюнтер Вайзенборн. Участник Сопротивления, член подпольной группы «Красная капелла», приговоренный гитлеровцами к смертной казни, писатель оказался на свободе благодаря приходу советских войск. Он участвовал в восстановлении разрушенной Германии, был одним из первых бургомистров, на долю которых пришлась самая трудная, черная работа.

Вайзенборн известен советскому читателю своими романами «Мститель» [1], «Построено на песке», пьесой «Семья из Невады». Недавно на русском языке вышел «Мемориал» — книга его дневниковых записей, потрясающий документ, написанный «свидетелем обвинения».

На обрывках оберточной бумаги, из которой заключенные клеили пакеты, родилась эта книга. И лишь потом писатель обработал то, что написал в заключении. Как он сам объяснял в предисловии к книге, все, что касается его жизни в тюрьме, написано позднее. Тогда ему удалось набросать лишь ряд отрывков, относящихся к жизни на свободе. Здесь и воспоминания о детстве и юности, и бытовые зарисовки, и картины природы, и встречи с людьми в странах, где он побывал. Повествование строится в двух планах, которые как бы дополняют друг друга, создавая «представление о жизненном пути человека того времени». Так, рядом с рассказом об аресте — спокойное описание прекрасного вечера: «Тихо спустился вечер. Лодка мирно покачивается на воде... Неслышно на тысяче серых лап к озеру подполз туман. Над ним тускло мерцает Орион. Тишина...» И тут же в следующей главке: «В нашей квартире... раздался громкий стук в дверь. Мы проснулись, было еще темно, пять часов утра. Я открыл дверь. Ворвались четверо, в гражданском, руки в карманах».

Все чаще в рассказах о жизни на воле начинают звучать тревожные ноты. Призраки третьей империи то и дело вклиниваются в описания жизни в Италии, Аргентине, Америке, в воспоминания о том, что было в той, другой жизни. «Я сижу в торжественном зале мюнхенского Дома художников... среди нескольких сот артистов и художников... а там, на диване, сидит он. Рядом с ним — серолицые нацистские палладины: Гиммлер, Эпп, Геббельс, Шиеер и другие... арийская машина Германии, исполнительный нацистский аппарат того гладко-

[1] Печатался в «Иностранной литературе» № 1, 1963 г.

выбритого варварства, которое ведет свое происхождение от ледникового периода... Передо мной на диване сидело проклятие Европы, наряженное в мундир, отвратительный и коварный паша — серенький, обмякший, с полуопущенными веками...»

Когда в Германии к власти пришли фашисты, писатель сразу оказался в оппозиции. Положение его было трудным, на какое-то время он решил уехать за границу, но затем вернулся, чтобы завязать связи с подпольным движением. Больше трех лет продолжалась деятельность Вайзенборна в «Красной капелле». Об этом рассказано в книге очень скупо и сдержанно, как и обо всем, что касается лично писателя. Ночная работа над листовками, связь с антифашистскими радиостанциями, работа в отделе известий имперского вещания, где по заданиям руководства «Красной капеллы» писатель передавал информацию в несколько «подправленном» виде. Лишний нуль, «случайно» продиктованный машинистке, или другая подобная «мелочь» делали свое дело: всему миру становилась ясна лживость гитлеровской пропаганды.

«Красная капелла» была разгромлена, Вайзенборна и его жену Джой арестовали. Потянулись страшные дни. Допросы, минуты отчаяния, ожидание казни — и огромное мужество и сила. С большой любовью пишет Вайзенборн о своих товарищах по заключению. Вот каким предстает перед нами один из руководителей «Красной капеллы» Харро Шульце-Бойзен: «Высокий, стройный, лицо очень бледное. Что-то стальное и веселое было в его лице... Вот он стоит передо мной в гестаповском подземелье, молодой, талантливый, чистотой веет от него, он, словно вестник грядущего, прошедший через нацистское чистилище. Накануне рождества немцы повесили его в Плётцензее». «Вальтер Х. был великолепен! Никогда больше не видал я такого мужественного человека, подлинного героя... В одно январское воскресное утро он что-то крикнул в окно. Ветер уносил слова, но я все же расслышал: «Гюнтер... если выйдешь отсюда... скажи всем... я умер, смеясь»,— так рассказывает писатель о другом своем товарище.

Тема дружбы, товарищества, взаимной поддержки, помогавших перенести кошмар фашистских тюрем, проходит по всей книге. В нечеловеческих условиях люди сохраняли огромное достоинство, любовь к жизни, уважение друг к другу. «Я не состою на службе в полиции»,— говорит в последнем слове лингвист доктор Шеффер, которого обвинили в том, что он «не донес на подпольную организацию». Высвистывает ночью свои песенки «молодой, так любивший посмеяться светловолосый студент», мелодию подхватывают другие заключенные, и этот своеобразный хор, смолкавший, как только приближались шаги охранников, давал людям какую-то надежду и облегчение. По всей тюрьме ходила слава о Франце-пекаре: дополнительными кусочками хлеба ему удавалось помогать своим товарищам, и многих людей он буквально спас от голодной смерти. Писатель вспоминает о людях, с которыми вместе провел недолгое время в одной камере. «Жили мы в своей небольшой камере, примерно три на пять метров, дружно. Много спорили, учились друг у друга... Пожалуй, это был самый хороший период за все время моего заключения — только благодаря двум товарищам. Привет им».

И еще одна тема проходит через всю книгу — тема любви к жене. Глубокие, сильные чувства двух людей как бы бросают вызов страшному времени, мрачным тюремным стенам. В письмах Гюнтера Вайзенборна к Джой, мужественных и поэтичных,— большая нежность, забота, мысли о будущем. Вернувшись в камеру после процесса, на котором прокурор потребовал для него смертной казни, Вайзенборн пишет Джой о том, что он совершенно спокоен и все время думает о ней, «женщине его судьбы». «Не нам одним, миллионам туго приходится...— пишет он в другом письме.— Сейчас и тебе тяжело, не только мне, но ты справишься. А я всегда с тобой. Мужества желаю тебе и еще раз мужества!»

Случилось чудо — оба остались живы и встретились, когда уже потеряли надежду на встречу, встретились в тот самый момент, когда Вайзенборн пытался отыскать хоть какие-нибудь следы Джой. «...Кто-то дал мне велосипед, и я поехал в Потсдам, где когда-то жила сестра моей жены. В Потсдаме я обратил внимание на молодую женщину, ехавшую тоже на велосипеде впереди меня. Что-то заставило меня посигналить. Женщина обернулась: лицо бледное, строгое. Она. Велосипед ее полетел налево, мой — направо, и мы вдруг очутились... на небе».

Последние дни третьей империи. Лихорадочно спешат гестаповцы уничтожить политических заключенных. Казни следуют одна за другой. Людей в наручниках грузят в машины, машины стремительно отъезжают. «Остальных девятерых — завтра»,— кричит перед отъездом один из гестаповцев. Среди этих девятерых был Гюнтер Вайзенборн. «Но когда настало это завтра, пришли русские».

Заново надо было начинать жить. Из тридцати шести политических заключенных, в числе которых в тюрьме Шпандау начинал свой путь политического заключенного Гюнтер Вайзенборн, осталось в живых всего шесть. Из них и был организован Комитет заключенных. Им предстояло навести порядок в тюрьме, обеспечить людей питанием, лечить больных. Они трудились день и ночь и справились: «Мы были сами себе хозяевами, ключи мы носили при себе, мечта стала действительностью». Постепенно люди начали привыкать к тому, что они могут ходить без сопровождения надзирателей, могут идти туда, куда хотят, принимать решения. «Какое это наслаждение — открывать самому дверь!» — восклицает Вайзенборн в одной из последних главок.

После того как некоторое время он прора-

ботал сельским бургомистром, писатель вернулся в Берлин, где вместе с режиссером Мартином создал Театр имени Геббеля. Он много писал, возвращаясь к своей теме — борьбе с фашизмом. В послевоенные годы с успехом прошла премьера его пьесы «Подпольщики», тоже посвященной «Красной капелле». В 1947 году вышла и книга «Мемориал».

Вскоре после войны, на I съезде немецких писателей (общем для всех частей Германии) под лозунгом «Смерть и надежда» состоялось торжественное заседание, посвященное памяти немецких писателей, погибших в тюрьмах и концлагерях или умерших в эмиграции. Это заседание открыл писатель Гюнтер Вайзенборн. Он начал свою речь такими словами: «Говорят, что в дни катастрофы нашли расстрелянным поэта Альбрехта Гаусгофера; он сжимал в руке стихи. Пришлось разжать залитую кровью руку, чтобы взять стихи». ...В образе мертвого поэта, сохранившего свои стихи для живых, Вайзенборна потрясла трагическая символика. «Будем ли мы, помня о погибших, делать то, что надо?» — обратился он к собравшимся писателям.

Ответ на этот вопрос — его жизнь, жизнь человека, остававшегося до конца борцом, его книги, обращенные к «тем, кому выпало жить», книги — памятники погибшим в борьбе.

Л. ХАРЛАП

ПОЭЗИЯ ДОБРА

Донат Шайнер. Сорванец. Повесть. Перевод с чешского Ю. Преснякова. Москва, «Детская литература», 1973. 109 стр.

Донат Шайнер, автор романов «Минувшее» и «Ветка добра», сборников стихов «День у источника», «Куда уходят дни», «Напоминания» и других произведений, родился в 1914 году в Собеславе на юге Чехии. Там средневековые городки, деревушки и замки, прилепившиеся к склонам низких холмов среди полей и перелесков возле тихих прудов и речек, по сию пору хранят память о гуситских временах и могущественных некогда родах Витковицев и Шварценбергов...

Говорю об этом потому, что южная Чехия имеет характерную природу, отличающуюся особой мягкостью и приветливостью, свою славную историю, обычаи, даже собственный диалект,— и все это не могло не сказаться на индивидуальности родившегося и выросшего здесь писателя. А еще потому, что повесть Д. Шайнера «Сорванец» — произведение автобиографическое. Главного героя и одновременно рассказчика, которому в повести не больше десяти лет, зовут Донатом Шайнером. И действие, относящееся к самому началу двадцатых годов, протекает в южночешском городке, на берегах притока Влтавы, «большой реки Лужницы». Большой, впрочем, по понятиям маленького героя. А вообще-то и Лужница невелика река. Летом в иных местах растущие берегами деревья образуют здесь, смыкаясь над медленной водой, высокие зеленые своды, в просветы которых, будто в витражи старых костелов, косо бьют солнечные лучи и ложатся на воду серебряными бликами.

Детство, о котором рассказывает Шайнер, типично для мальчика, родившегося в бедной семье в буржуазной стране. Неизбежная нужда и ранний труд ради куска хлеба — таковы его отнюдь не оригинальные приметы. И вряд ли повесть могла бы претендовать на серьезное внимание нынешнего читателя, ограничься автор простым описанием того, как отца мальчика, когда тому исполнился год, забрали на фронт первой мировой войны, и он погиб «где-то там, на чужой земле», как заболела и умерла мать, потому что «денег не было, лекарств тоже», и как мальчик стал жить сиротой на попечении работавшей «по людям» бабушки.

Словно учитывая это обстоятельство, Шайнер говорит о лишениях своего героя скупо, не пытаясь нас разжалобить. Лишь мельком будет сказано, что в десять лет мальчик заработал себе на первые в своей жизни ботинки. Не много места занимает и эпизод, связанный с мечтой мальчика о губной гармошке.

Мечта кажется неосуществимой: ведь у героя нет даже пары крепких чулок. Но, заглянув накануне рождества в бабушкин сундучок, Донат видит там приготовленные ему в подарок не одни только чулки и рубашку, но и губную гармошку. И как ему хочется тоже сделать приятное бабушке! Он снабжает рождественскими елочками всех соседей, зарабатывая по геллеру на чулки для нее. И действительно, бабушка обрадовалась, а потом... заплакала. «Может быть, надо мной,— отметит рассказчик,— но скорее всего — над жизнью, полной нищеты, тяжкого труда и несправедливостей... Напрасно я обещал ей, что стану мясником и буду класть ей под рождественскую елочку пакет сарделек. Бабушка улыбнулась, но не поверила...»

В этом эпизоде, словно в капле воды, отразился гуманистический пафос повести Шайнера. Даже слезы здесь, как летний дождь солнцем, просвечены доброй и сердечной улыбкой. В них нет отчаяния. И хотя герои не питают никаких иллюзий относительно грядущего богатства, они не испытывают и чувства безысходности.

«А была она в жизни счастлива?» — спросит однажды Донат про бабушку своего дядю Франтишка, работающего конюхом у богатой крестьянки. «Как бы тебе сказать...— ответит дядя.— Ведь бедный и несчастный только тот, кто сам берет, а другим ничего не отдает». Вся повесть — наглядное подтверждение этой простой и вечной мудрости. Хотя маленькому «сорванцу» и предоставлен максимум самостоятельности, ни вечно занятая работой бабушка, ни дядя

Франтишек не обделяют мальчика главным — богатствами своей души, щедростью сердца, любовью. Наставляя племянника никогда не брать того, что принадлежит другим, дядя Франтишек поясняет, однако, что «есть вещи, которые можно брать в любом месте и в любое время. Бери не руками, а глазами и ушами все, что увидишь и услышишь,— все бери в свое сердце! От этого никто не обеднеет, а сам ты станешь богаче!»

Нравственное обогащение юной души — вот смысл, идея шайнеровской повести. Растущий герой широко и открыто внимает окружающей его жизни. Мир, природа полны для него загадок и радостей. Со всем доверием и непосредственностью детства относится он и к людям, видя в их поведении хорошее и дурное, справедливое и несправедливое, и оценивает поступки людей в свете того жизненного примера, какой дают ему бабушка, дядя, школьный учитель Горжейш, вообще все те, кто честно зарабатывает свой хлеб, кто добр и справедлив. У них учится маленький Донат сочувствовать и помогать людям, таким, например, как старая и одинокая пани Фиалова, помогать бескорыстно. У них учится ответственно относиться к любому делу.

Примечателен в этой связи разговор о главном, который ведут меж собой Донат и дядя Франтишек. Дядя говорит: «Главное — чтобы ты любил то, что делаешь».— «Почему?» — спросит Донат. Да потому, ответит дядя, «что работа, которую ты делаешь без любви, вроде как больной человек. Вечно у нее что-нибудь не в порядке». Тут важен не так смысл разговора, как реакция юного героя. На обратном пути в город Донат «вглядывался в каждое дерево, в каждую избу, в одежду на людях, пытаясь угадать, с любовью ли они сделаны». Больше того, он испытал нечто похожее на укор совести, подумав, что чистит обувь у господина директора без любви. «Для бабушки я бы делал это с любовью, но для чужих людей...»

Не с таких ли укоров совести, сомнений и вопросов к самому себе начинается в маленьком человеке рождение гражданского сознания?

Эти сомнения тем более замечательны, что приходят к мальчику, который растет в мелкобуржуазной стихии торгово-ремесленного городка, где каждый человек на особицу — будь то сапожник Мелихар, кузнец Кубин, маляр Ганобил, ткач Трчка, лесничий Трнка или полицейский, лавочник, староста, пан директор школы... В маленьком Донате угадываются задатки не пассивно-благотворительной, а деятельно-активной, общественно-осмысленной доброты, составляющей отличительное свойство коллективиста и революционера, человека нового времени.

Вот почему, читая повесть Д. Шайнера, невольно думаешь о том, что не только нынешний, но и завтрашний день какой-то своей важной частью заключен в дне вчерашнем, подобно тому как в семечке заключена возможность будущего растения. Рассказывая о прошлом, автор «Сорванца» хорошо чувствует эту возможность и талантливо раскрывает ее сегодняшнему читателю. Потому что этому читателю важно не просто знать, как плохо жилось при капитализме, но и строить новый мир — умный и справедливый.

«Сорванец» — первая книга Д. Шайнера, изданная в нашей стране. И в том, что знакомство советского читателя с этим интересным чешским писателем начинается с его автобиографической книги о детстве, я вижу доброе предзнаменование. Ибо те, кого узнаешь и полюбишь с детства, обычно становятся друзьями на всю жизнь.

ИГОРЬ МОТЯШОВ

НЕТ ВОЗВРАТА К ПРОШЛОМУ

Манохар Малгонкар. Излучина Ганга. Роман. Перевод с английского В. Кунина. Предисловие и примечания И. Серебрякова. Москва, «Молодая гвардия», 1972. 396 стр.

Бомбей. Я хожу по пустым тихим залам картинной галереи. Стены художественного салона не впустили сюда разноцветье и многоголосье предпраздничного дня — Индия готовилась к двенадцатой годовщине своей Независимости. Но для художника Саджи Хурала мир звуков исчез двенадцать лет назад: именно в тот день, когда решалась судьба его родины, он был избит толпой мусульман, требовавшей смерти индусу — иноверцу. Художник оглох. С тех пор на картинах Саджи Хурала — обезображенные, искалеченные существа, его соотечественники индусы и мусульмане, сполохи красных красок — их кровь.

Вечером того же дня мне посчастливилось быть среди гостей поэта Али Сардара Джафри. Участник национально-освободительного движения, Джафри говорил о надеждах и разочарованиях, постигших борцов за освобождение Индии после получения ею независимости, о горькой радости победы. Действительно, первым результатом обретенной свободы было разделение страны по «плану Маунтбеттена» на Индию и Пакистан. Индийцы добились независимости ненасильственным путем, «но зато насилие — по словам Джафри,— которым сопровождалось завоевание этой свободы во время разделения страны, превзошло все пределы». В трагедии, разыгравшейся в 1947 году на Индостанском полуострове, особенно остро обнажилась суть колониализма. Религиозный фанатизм, разжигаемый англичанами, достиг апогея. Религиозное ослепление обернулось гибелью полумиллиона людей, исповедующих индуизм и ислам. Страна распалась на Индию и Пакистан. В поисках родины два многомиллионных людских потока устремились с севера на юг и с юга на север.

Прошли годы. Индийские писатели не перестают обращаться к истории национально-освободительного движения. Осознание опыта прошлого, постижение настоящего с его надеждами и разочарованиями — такова насущная потребность прогрессивных индийских писателей, стремящихся изжить последствия колониализма. Среди произведений, посвященных национально-освободительному движению в Индии,— «Излучина Ганга» Манохара Малгонкара.

Жизнь писателя Малгонкара мозаична. После окончания Бомбейского университета Малгонкар — профессиональный охотник в государственных заповедниках, во время второй мировой войны — в звании подполковника служит в англо-индийской армии. Затем — журналистика, работы по истории маратхов, народа, к которому принадлежит Малгонкар, и один за другим — несколько крупных романов, принесших ему известность.

...«Излучина Ганга». Внимание писателя к переломным событиям эпохи, которые изменили социально-политическую историю страны, его анализ пробуждения революционного самосознания молодежи из буржуазных и интеллигентских кругов, осуждение неистовства индивидуалистического бунта, нетерпимость к британскому колониализму — вот то, что принесло популярность роману в Индии и за рубежом.

В центре романа — история террористической группы «Борцы Свободы». Страстность и патриотизм членов организации, индусов и мусульман, жестокий аскетизм, полное подчинение авторитету руководителя Шафи Усмана, максимализм и самоотречение во имя единственной цели — освобождения родины — все это было характерно для террористических группировок того времени — одной из составных частей национально-освободительного движения.

Молодые люди, одетые в модные европейские костюмы, образованные, импульсивные, умышленно пренебрегающие кхаддаром — дешевой самотканой одеждой сторонников ненасильственного сопротивления, мечтали о свободе. Мусульман, индусов, сикхов — людей разных верований объединила ненависть к англичанам. Религиозные различия игнорировали демонстративно. «Джай-Рам!» и «Джай-Рахим!» — приветствовали они друг друга, соединяя священные для индусов и мусульман слова в единый символ равенства. Кровью подписанная присяга, неизменные трапезы-кэрри с равными долями говядины и свинины, ставшие ритуалом, доходящие до самоистязания занятия дзю-до.

Шафи Усман ненавидел англичан ненавистью особого рода. Еще ребенком попал он на ставшую известной всему миру Джаллианвалу — площадь в Амритсаре. Сейчас над этим крошечным пространством, стиснутым домами и торговыми лавчонками, плавает в горячих воздушных волнах голубиный пух, неподалеку, в Золотом храме сикхов, столетние старцы день и ночь читают Вечную книгу жизни... Но тогда, в апреле 1919 года по приказу генерала Дайера свинцовый дождь уложил на щербатые от времени каменные плиты площади около четырехсот участников мирной демонстрации. Шафи ползал среди убитых, разыскивая тело отца, и страх сжимал его маленькое сердце, страх, который по мере того как Шафи взрослел, привел его к безотчетной ненависти, жестокости и, наконец, слепой вере в силу террора.

Но что может быть страшнее слепо верующего? И Малгонкар, задавшись целью высказать собственное отношение к террористическим организациям, наносящим вред революционной борьбе, умышленно гиперболизирует отрицательные качества Шафи. Он наделяет его всеми лежащими на поверхности атрибутами упоенного властью руководителя: тут и пристально-проницательный взгляд, и многозначительность фразы, и безмерное тщеславие. Писатель словно выжидает, пока Шафи жонглирует собственными убеждениями, чтобы, наконец, развенчать своего героя, показать его полную капитуляцию перед жизненными обстоятельствами.

По приказу Шафи на аэродроме в Дарьябаде был взорван военный английский самолет. Полиция с помощью Текханда, служащего в английской строительной компании отца Деби-даяла, тоже участника группы, нападает на след террористов. Группе грозит провал. Шафи первым узнает об опасности. И если раньше в нравственном облике Шафи уживались прямо противоположные качества (например, «невинные» развлечения с проститутками Чандни-Чоука, торговой улицы Старого Дели, и тайные сходки аскетов-террористов в спортивном клубе), то теперь перед надвигающейся опасностью это раздвоение приобретает строгую конкретность — мусульманин Шафи выдает полиции имена всех индусов — участников группы. Так, с предательства, и начинается полное саморазруше-

ние личности Шафи. Демагогические разглагольствования о единстве Шафи легко меняет на убеждения религиозного фанатика.

Другой герой романа, Деби-даял, попав после предательства Шафи в тюрьму на Андаманские острова и ощутив на себе ужас и унижения застенков, наивно думает о том, что в борьбе с англичанами можно рассчитывать даже на поддержку фашистской Германии и милитаристской Японии. Не один раз задает себе Деби мучительные вопросы: «Что принесут с собой японцы? Что станут они делать в Дели, когда захватят Красный Форт? Провозгласят ту самую «свободу», какую навязали Бирме и Андаманским островам? Сможет ли он, Деби, высоко держать голову, если японцы будут править Индией?»

И Малгонкар проводит своего социально незрелого героя через жестокий быт тюремного заключения, заставляет размышлять о бессмысленности попыток изменить ход истории собственной страны руками чужеземцев.

Индус Деби с невестой-мусульманкой гибнет в кровавые дни резни. Погибает от рук Шафи и мать Деби. В многотысячной толпе беженцев теряется его отец.

На зловещих Андаманах мы встречаем еще одного героя романа — сторонника ненасильственного сопротивления Гьяна, сосланного за самосуд над убийцей своего брата. Его попытки идеализировать мир, его философия ненасилия разбиваются о жестокую действительность. Гьян не может быть последовательным в своих поступках, иллюзорные представления о мире, пассивность перед сложностью жизни, приводят его к полной капитуляции.

И Деби и Гьян отнюдь не являются подлинными представителями национально-освободительного движения. Разные причины увели их в сторону от истинных путей борьбы. Обостренное чутье писателя к социальной справедливости подсказало основную причину несостоятельности героев — разрушительную силу, растлевающее влияние на человеческую личность колониального угнетения. Вспомним ужасающие сцены резни: «Две огромные людские реки текли навстречу друг другу, сжимаясь, сталкиваясь, оставляя умерших и умирающих на земле вдоль не способных вместить эти потоки шоссе и железных дорог... Вся страна была залита кровью своих сыновей, опалена огнем религиозной ненависти. На дорогах Индии гнило столько трупов, что их хватило бы для любой большой войны».

Гьян и Сундари, сестра Деби, мечутся в этом потоке страдания и насилия. Они, подобно героям эпоса «Рамаяна» Раму и его жене Сите, остановившимся у излучины Ганга, чтобы бросить последний взгляд на покидаемую ими родину, тоже покидают ее.

Автор предисловия к роману «Излучина Ганга», индолог И. Серебряков, отмечая литературные достоинства романа Малгонкара, обращает внимание на социальный, объективно-исторический смысл этого произведения: «После всего пережитого ни его героям, ни самой стране нет возврата к прошлому... Что ждет их и их страну в будущем, герои не знают. Да они никогда и не задумывались о том, каков должен быть социальный облик независимой Индии, никогда не шли дальше мечтаний о «своем деле»...»

Да, герои Малгонкара не представляли себе, куда пойдет их родина после освобождения, какой выберет она путь. Этот вопрос заботит писателя Манохара Малгонкара, чему свидетельство — роман «Излучина Ганга», правдивое, талантливое произведение.

С. ПОЧИВАЛОВА

Издано за рубежом

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ

Volodia Teitelboim. El oficio ciudadano. Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1973.

В нелегкие для Чили дни, когда силы реакции ведут ожесточенную борьбу против правительства Народного единства, появилась новая книга известного чилийского писателя и политического деяте-

СРЕДИ КНИГ

ля Володи Тейтельбойма. Для этой книги автор отобрал некоторые свои публикации в печати, а также речи в сенате, произнесенные в последние годы.

Двум основным темам, правда тесно переплетающимся между собой, посвящены эти статьи и парламентские выступления: защита национальной литературы и защита прав народа.

Литература, литературоведение и политическая деятельность для автора книги неразрывно связаны — литературное дело он рассматривает как часть, неотъемлемую часть своей партийной работы. Один из руководителей Коммунистической партии Чили, уже давно уделяющий особое внимание проблемам идеологии, он говорит о позиции, о гражданском долге писателя в битве идей, достигшей в его стране исключительного накала. Один из виднейших литераторов, сенатор, он говорит о жгучих, большой важности вопросах общественной, политической жизни своей родины. И потому свою книгу он назвал «Гражданская обязанность».

Эта книга — словно боевое оружие. Оружие не оборонительного, а скорее наступательного боя, ведь речь идет о том, чтобы не только отстоять существеннейшие интересы чилийской нации, но и — в идейном контрнаступлении — разбить атакующего противника, пытающегося отравить сознание народных масс.

Предпринимая прямые или замаскированные атаки против народного правительства, Народного единства, классовый враг пытается использовать все — даже то, что многие десятилетия погребено на свалках истории. И в этой связи сколь, кстати, характерна патетичнейшая цитата, взятая эпиграфом к предисловию, открывающему книгу В. Тейтельбойма:

«То было в годы усатых Фордов, джентльменов в гетрах и с тростью, дам в шляпах с плюмажем. Погасло пламя войны, которую посчитали «последней»; полной грудью вздохнули люди, плененные иллюзиями и не отдавшие себе отчет в том, что мир рожден уже пораженным раковой болезнью большевизма и ею предназначалось заразить бродяг, лентяев, тупиц, невежд, злоумышленников, озлобленных, обанкротившихся, завистливых и жестоких. Негативное меньшинство рода человеческого, его бесполезное бремя, вставало, заявив о своем чудовищном притязании управлять всем светом».

Нет, так написано было не пятьдесят, не сорок лет назад, когда буржуазная пресса Запада, много не мудрствуя, изображала большевиков непременно с ножом в зубах! Явно позаимствовав мыслишки и терминологию из обветшалых подшивок, крупнейшая реакционная газета «Эль меркурио», выходящая в чилийской столице, 17 декабря 1972 года (!) такими архимрачными напоминаниями рассчитывала еще раз нагнать ужас на обывателя.

Процитировав «Эль меркурио», Пабло Неруда, автор предисловия к книге «Гражданская обязанность», вполне справедливо отметил, что подобные высказывания могут свидетельствовать лишь «об интеллектуальном уровне наших противников, которые рисуют собственный портрет, не признавая действительность, пребывая в своей окаменелости, в своей преднамеренной безграмотности, в своей психической антропофагии».

Среди имен тех, на кого с такой действительно патологической ненавистью обрушивался рупор чилийской реакции, Пабло Неруда напомнил имена многих деятелей международного коммунистического движения, коммунистов — борцов за демократию и прогресс, представителей мировой культуры, науки и техники, первых советских космонавтов... «Смиренно и я обретаюсь в числе этих, по выражению сочинителя из «Эль меркурио», зараженных,— пишет Пабло Неруда.— И, разумеется, здесь же находится чилийский писатель Володя Тейтельбойм, выдающийся гражданин, безупречный публицист, сенатор разума».

Тейтельбойм вместе с некоторыми другими чилийскими писателями-реалистами принадлежит к так называемому «поколению 1938 года», сыгравшему большую роль в истории литературы Чили нынешнего века. Вполне объяснимо, почему сборник «Гражданская обязанность» начинается с текста давнего выступления автора на встрече чилийских писателей в университете города Консепсьон.

В этом выступлении — «Поколение 1938 года в поисках чилийской действительности»,— отнюдь не утратившем своей актуальности (речь идет о серьезных проблемах, стоящих и сегодня перед чилийскими поэтами и прозаиками, которые «не хотят быть отделенными от народа»), Тейтельбойм, в частности, говорил: «Мы... вложили в нашу борьбу частицу своей души, чувствовали себя частью народа. Нас вдохновляло страстное, хотя и нечетко выраженное стремление изменить жизнь нации; крестьянину и рабочему, а также писателю и художнику предоставить достойное место под солнцем». От имени своего поколения, «родившегося в ту пору, когда в Европе гремела первая мировая война, когда большевики брали власть в России», и вступавшего в литературу в годы прихода к власти Народного фронта в Чили (1938—1946), Тейтельбойм заявлял: «Чили будет не объектом, а субъектом истории».

С тех пор как были произнесены эти слова, прошел какой-то десяток лет. И Республика Чили, встав на путь социалистического развития, заявила о своей решимости быть «субъектом истории», действующим самостоятельно, независимо, в соответствии с собственными национальными интересами. На президентских выборах три года назад чилийский народ высказался за революционные преобразования в стране.

В условиях обостренной идеологической борьбы, когда реакция стремится подчинить своим целям также область литературы и искусства, особое значение приобретает приобщение трудящихся к достижениям национальной культуры, возрастает необходи-

мость отстаивать духовные ценности, прогрессивные традиции.

Оправданно, что в книге Тейтельбойма затрагивается широкий круг этих и других проблем, актуальность которых весьма возросла. Еще в упоминавшемся выступлении в Консепсьоне Тейтельбойм говорил: «Нас воодушевляет идея, что в книгах своих мы рассказываем о корнях, о людях и камнях, отражаем страсти, горе и радость, из этих книг завтра можно будет узнать не только о чилийской литературе, но также и о жизни всего народа».

Имена и образы, своего рода портреты ряда виднейших деятелей чилийской—и не только чилийской — культуры предстают со страниц книги Тейтельбойма. Своим духовным присутствием эти деятели как бы подтверждают мысль автора, что и сегодня они стоят на стороне чилийской революции, хотя их физически уже нет среди ее защитников. О других автор считает нужным сказать слово правды, развеять ложные, тенденциозные представления, освободить от «мифотворцев».

Мы словно заново знакомимся с Мариано Латорре, с Габриэлой Мистраль, с Хоакином Эдвардсом Бельо, Пабло де Рокой, Хосе Сантосом Гонсалесом Верой; теплыми красками автор рисует образ Антонио Кинтаны, вступившего среди первых деятелей культуры в Коммунистическую партию Чили и находившегося в ее рядах свыше сорока лет,— узнав о его смерти, президент Сальвадор Альенде сказал автору книги: «Ушел один из лучших».

Отдельное эссе посвящено Пабло Неруде, «который со всей своей поэтической силой участвует в великом преобразовании Чили и всего мира».

Несколько неожиданным может показаться включение в эту — столь чилийскую — книгу исследования о Ф. М. Достоевском, уже входившего в предыдущий труд В. Тейтельбойма «Человек и человек», изданный в Сантьяго в 1969 году; автор рассматривает не только само по себе творчество великого русского романиста, но и его влияние на чилийских и других латиноамериканских писателей. Еще одним нечилийским писателем, о котором говорит Тейтельбойм, явился Рубен Дарио, но, как известно, литературная деятельность знаменитого никарагуанца началась на земле Чили, и автор, поддерживая точку зрения Мигеля Анхеля Астуриаса, полемизирует с теми, кто хотел бы «офранцузить», «обыспанить» поэта Латинской Америки.

Автор книги «Гражданская обязанность» делится с читателем раздумьями о миссии, об ответственности писателя перед своим временем, перед своей страной. Он ставит вопросы о свободе художественного творчества, о тематике и о герое латиноамериканской литературы, о многом ином, что волнует литературную и читательскую общественность.

Глубоко содержательна помещенная в книге работа автора «Марксистский гуманизм», написанная еще в 1965 году. Подробно излагая философские взгляды Маркса, автор подвергает критике буржуазных идеологов, проповедующих среди творческой интеллигенции Чили, и всей Латинской Америки вообще, идеи отчуждения, пессимизм, антигуманизм. «Мы верим в человека,— подчеркивает автор.— У нас есть теория и практика, основываясь на них, мы можем изменить и улучшить мир, чтобы он стал действительно гуманным. Таким его сделают сами люди — не созерцающие зрители, а творцы». Автор приводит высказывания крупнейших латиноамериканских мыслителей — аргентинца Анибала Норберто Понсе, перуанца Хосе Карлоса Мариатеги и чилийца Луиса Эмилио Рекабаррена, много лет назад возвестивших о неизбежности наступления перемен в своих странах, свидетелями чего мы являемся ныне.

В. Тейтельбойм вызывает в памяти и события недавние. Он отмечает значение визита Фиделя Кастро в Чили для дальнейшего развития и укрепления солидарности прогрессивных сил Латинской Америки. Значительное место в книге уделено рассказу о борьбе чилийского народа за национальное освобождение, о преступных действиях реакции против Народного единства, отравляющей страну «культом ненависти», замышляющей развязать гражданскую войну, не остановившейся перед злодейским убийством главнокомандующего чилийской армией генерала Рене Шнейдера.

Борьба не легка, но «в Чили народ показал непоколебимо, что он способен претворить в жизнь социализм,— заявляет автор книги.— Чилийская революция не только выживет — она крепнет, с каждым днем становится все сильнее, победит окончательно... Народ защитит свою революцию».

Литературные, политические, социологические выступления Володи Тейтельбойма привлекают к себе внимание уже давно. Помнится, как три десятка лет назад пишущий эти строки впервые услышал имя автора «Гражданской обязанности». В Мехико, в доме одного из основателей Мексиканской коммунистической партии, известного художника Хавьера Герреро мне посчастливилось встретить выдающегося борца за дело чилийского рабочего класса, председателя ЦК Компартии Чили Элиаса Лафферте. В ходе беседы, коснувшись прошлого латиноамериканского континента, Элиас Лафферте посоветовал мне прочесть работу «Рассвет капитализма и завоевание Америки», принадлежащую перу одного молодого, но талантливого исследователя; им был Володя Тейтельбойм. Случилось так, что через десять лет мы читали и написанный в подполье роман Тейтельбойма «Сын селитры», главным героем которого был Элиас Лафферте. Советскому читателю знаком второй роман Тейтельбойма, «Семя на песке», повествующий о борьбе чилийских коммунистов против диктатуры, о концентрационном лагере Писагуа, куда вместе с другими патриотами правительством «национальной измены» диктатора Гонсалеса Виделы (кстати

и сегодня яростно атакующего Народное единство) был брошен Володя Тейтельбойм.

Высокую оценку дал ему и его книге Пабло Неруда: «Не прекращая литературное творчество — вначале поэзия, затем художественная проза,— теперь он срывает несколько листков со своего многолистного древа размышлений, вручает нам ветвь сверкающей мудрости... Я раскрываю это гражданское свидетельство Володи Тейтельбойма с чувством глубокого уважения и большой любви: мое уважение — интеллектуальной честности замечательного товарища, моя любовь — тому делу, которому мы оба с гордостью служим».

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

ПТИЦЫ-МЫСЛИ, ПТИЦЫ-ВОСПОМИНАНИЯ

Alexandru Ivasiuc. Păsările. Bucuresti, Ed. Eminescu, 1973.

«Птицы прилетают всегда, когда он мысленно листает толстые страницы атласа... Птицы угрожают ему — не со страниц, а с неба,— застилают горизонт, летят, летят, мучительно закрывают даль, птичьи тучи заполоняют небо, им негде лететь, они тяжело провисают в воздухе и лишь глухо хлопают неуклюжими, грузными крыльями. Он узнает их, конечно же узнает». Таков символ прошлого, связанный с историей одного из героев романа Александру Ивасюка «Птицы».

Еще мальчишкой отыскал Ливиу Дунка в старом дедовском доме среди книжного хлама большой атлас морских птиц. В тот день — он это хорошо помнил — повесилась из-за несчастной любви двоюродная сестра Штефания. С тех пор в минуты возвращения к прошлому птицы прилетают к нему, кружат над головой, бьют крыльями по лицу, неотступно преследуют. Птицы-мысли, птицы-воспоминания.

«Птицы» — четвертый роман Ал. Ивасюка, имя которого вошло в румынскую литературу в последние годы. Это как бы своеобразное продолжение его романов «Вестибюль», «Интервал», «Знакомство одной ночи». Книга новелл «Охотничий рог» и сборник статей и эссе «Радикальность и назначение», вышедшие в 1973 году, пока завершают перечень его произведений.

В центре романа «Птицы» — традиционный любовный треугольник: двое мужчин и женщина, три жизненных пути: Дунки, Вини, Маргареты.

Много лет спустя после несправедливого осуждения возвращается в родной город Ливиу Дунка. Начинается очная ставка героя с прошлым, вторичное узнавание дедовского гнезда, провинциальных улочек, домов, полузабытых родственников. О дне сегодняшнем Ливиу Дунки, о его настоящем мы знаем мало. Пожалуй, только то, что он — геолог, немолодой уже человек с несложившейся личной жизнью. Зато сразу же сталкиваемся с его прошлым, к которому герой возвращается снова и снова.

Неожиданное знакомство с Маргаретой, женой директора местного завода Думитру Вини, взаимное увлечение, наконец поездка в горы. Несколько дней они живут в крестьянском доме. Дневные прогулки, бесхитростные трапезы, ночи любви — чудилось, так могло быть вечно...

Но вдруг над головой Ливиу снова закружили птичьи стаи. Он знает: вот-вот им опять безраздельно завладеют мысли, воспоминания о прошлом. «Остров любви» оказывается призрачным для обоих, потому что Ливиу Дунке не нужна любовь Маргареты. И он превращает Маргарету из возлюбленной в собеседника, соучастника своего прошлого.

Исповедь главного героя предваряется его же словами о том, что он «испытал несправедливость... Был участником значительных событий начала новой эпохи в стране, работал с энтузиазмом и, возможно поэтому, проник больше других в смысл происходящего, ибо лишь участники могут наиболее заинтересованно судить о фактах и делах, лишь участники могут быть истинными революционерами». То были 50-е годы.

Перед героем встает проблема: как вернуться в жизнь? И он ее не разрешает. Раздвоенный, надломленный, Ливиу ставит себя над людьми, считает себя единственным «носителем правды». Рассказывая о прошлом, Ливиу Дунка не пытается освободиться от него, включиться в нынешнюю жизнь. Нескончаемое наслаждение болью, рефлексия, выливающаяся в «самоистязание», подменяют подлинную жизнь и настоящее дело. В этом драма героя, его жизненное поражение. Не забудь, даже не прости, говорит писатель, борись, чтобы несправедливость не повторилась, но жить только прошлым нельзя. Человек новой эры — человек действия, ибо социализм — это постоянная устремленность вперед.

Директор завода Думитру Виня тоже по-своему терпит поражение. Этот человек настолько сросся с «директорским креслом», что превратился в своего рода «бюрократического робота»: он ловко манипулирует телефонами, автоматически отдает приказания, заученно распекает начснаба и подчиненных, сноровисто подмахивает бумаги. И здесь писатель использует средства гротеска, чтобы развенчать духовную нищету, проявления общественного нездоровья: бюрократизм, косность, рутину, мешающие гармоническому развитию нового, социалистического мира, который рождается в муках, но рождается навсегда, навечно.

Когда в одном из заводских цехов произошла крупная авария, директор неожиданно для всех признает себя виновником несчастного случая. Навещает пострадавших, пытается помочь семье погибшего Данду. Словом, совершает поступки, которые не вяжутся с прежним директорским обликом.

Постепенно внимание читателя переключается с аварии на заводе на душевный кризис, надлом Вини.

Все выше возносясь по служебной лестнице, заботясь лишь об упрочении своей власти на заводе и личном преуспевании, директор утратил связь с реальной жизнью завода, стал чужаком в мире рабочих, которые представляются ему однообразной массой в синих халатах, одинаковым рядом лиц. Директора окружают приспособленцы, карьеристы, циники. Но Ал. Ивасюк показывает и ту здоровую силу, которая противостоит «людям директора». Здесь и рядовая масса рабочих, и сменные мастера, и прежде всего молодой коммунист Домиде. Энергичного, честного, работящего инженера, вопреки воле директора и его приспешников, заводской коллектив избирает секретарем парторганизации. Это было победой нового на заводе, утверждением силы коллектива и коммунистов.

После несчастного случая на заводе, когда директор неожиданно для всех признает себя виноватым, после потери директорского поста и смерти жены (поняв, что она не нужна Ливиу, Маргарета покончила жизнь самоубийством) «робот» сломался. Ожил человек. Виня тянется к людям, пытается строить жизненные планы. Намеревается уехать из города, зажить по-новому. Ал. Ивасюк оставляет своего героя в финале романа на распутье, погруженным в нелегкие раздумья о минувшем, о будущем. Румынский критик Николае Драгош видит особую заслугу автора «Птиц» именно в этом умении правдиво показать, что лишь «при социализме возможно со временем возрождение человеческой личности».

Однако общее впечатление от образа Вини — двойственное. В романе Виня убедителен как социальное явление. В то же время директор-человек обозначен лишь мазками. Оттого образ несколько проигрывает.

И, наконец, Маргарета. Автор не дает здесь развернутого или стройного жизнеописания. Это скорее эскиз, набросок к ее портрету. Маргарета нужна писателю, с одной стороны, чтобы сильнее оттенить пассивность, созерцательность Дунки, равно как и душевную очерствелость, «автоматизмы» Вини. С другой — образ Маргареты отражает авторские поиски идеальной женщины, идеальной любви.

Недаром, читая о первом знакомстве Ливиу с Маргаретой, вспоминаешь рассказ о юноше Аратове из «Клары Милич» Тургенева, попавшем под таинственную, магическую власть любви провинциальной актрисы, покончившей жизнь самоубийством.

При встрече с Маргаретой Ливиу поразили ее глаза, светлая копна волос. Он уже знал эти глаза, эти волосы. Постепенно в сознании появилась другая женщина, которая играла какую-то роль в его жизни. В памяти всплыли летние вечера его детства, высокие распахнутые окна, выплескивающие на улицу потоки света, переливчатые каскады женского смеха. Пронзительный свет глаз, смех повторили в Маргарете ее умершую мать, в которую подростком Ливиу Дунка был мучительно и тайно влюблен. В Маргарете он как бы обрел ту, умершую, так и оставшуюся для него загадочной.

Маргарета — своего рода тургеневская героиня, та идеальная женщина, которую автор ищет в реальном, а не потустороннем мире. Как правило, женские образы у Ал. Ивасюка — светлые, несущие в себе позитивное начало. Их объединяет неудовлетворенность жизнью, протест против обывательщины, пустого прозябания, стремление к высокому и прекрасному. Это выливается порою в протест против собственных преуспевающих мужей, против родственников-мещан, против власти вещей. Импульсивность, незаурядность его героинь, неожиданные порывы, дух протеста сочетаются с жертвенностью, поисками любви и нередко трагическим завершением жизни.

Таков роман Ал. Ивасюка «Птицы». Социальная тематика, обращение к непростым подчас сторонам действительности выделяют его прозу. Очевидно, этим и привлекает книга Александру Ивасюка, отмеченная в 1971 году литературной премией и вышедшая на родине писателя уже третьим изданием.

Л. ДОЛГОШЕВА

УРОКИ АРЧИБАЛЬДА МАКЛИША

Archibald MacLeish. The Human Season. Selected poems 1926—1972. Boston, Houghton Mifflin Company, 1972.

Свое 80-летие один из крупнейших американских поэтов XX века — Арчибальд Маклиш — отметил сборником избранных стихов «Пора человеческая», который вышел в конце 1972 года. Отбор произведений был очень тщательным — поэт сам говорит об этом в предисловии. Что же оказалось для него сегодня наиболее близким и ценным в огромном здании собственной поэзии, которое строилось почти шесть десятилетий?..

В сборник включены стихи начиная с 1926 года. А ведь у Маклиша к тому времени вышло уже несколько книг, причем в известные свои сборники 1952 и 1963 годов поэт включал и стихи из ранних книг. Теперь же он от них отказывается. Говорит ли это о чем-нибудь? Безусловно.

Во многих произведениях Маклиша 20-х годов проявились характерные черты эстетики модернизма — эстетики, уводящей искусство в искусственность. И особенно за-

метно это было в стихах книги «Счастливая женитьба» (1924). В сборнике 1963 года, например, было двадцать три стихотворения из этой книги. От них-то и отказывается Маклиш. Как и от стихов из еще более ранней книги, «Башня из слоновой кости», само название которой является символом замкнувшегося в себе искусства эстетов. Таков первый принципиально важный урок Маклиша.

Хотя стихи в новом сборнике (в отличие от предыдущих) расположены не в хронологическом порядке, а по тематическому принципу, нетрудно установить, что начиная с 1926 года все поэтические книги Маклиша в той или иной степени здесь представлены. Но целиком сохранено содержание лишь одной — «Фрески для рокфеллерова небоскреба», вышедшей в 1933 году. Что же за стихи в этой книге, столь очевидно ценимой сегодняшним Маклишем?

Не совсем обычное название книги имеет свою историю. В Нью-Йорке в то время заканчивалось строительство большого комплекса общественных зданий, так называемого Рокфеллеровского центра, которое было начато и велось в самый разгар экономического кризиса. Для росписи центрального зала в Доме радио был приглашен Диего Ривера. В решении предложенной ему темы «Человек и современный прогресс» Ривера воплотил свои коммунистические убеждения, изобразив на одной из центральных фресок портрет В. И. Ленина, символизирующего единение пролетариев всех стран. В итоге Риверу отстранили от работы, а фрески его спустя некоторое время были уничтожены.

Эта политическая акция вызвала негодование прогрессивной Америки. Откликом на события явился и сборник стихотворений Арчибальда Маклиша, который, словно бы взамен уничтоженных, предложил свои поэтические «Фрески».

Развивая в них основную тему поэмы «Конкистадор», опубликованной годом ранее и повествовавшей о гибели и разрушениях, которые несут с собой колонизаторы,— Маклиш во «Фресках» делает предметом художественного исследования действительность самих Соединенных Штатов Америки. Он подвергает острой социальной критике деятельность капиталистических монополий, разоблачает их антинародную сущность, с болью, горечью и сарказмом говорит о губительных последствиях капиталистического хозяйствования — губительных для отдельных людей и для страны в целом:

Они ее сжали в тисках семилетнего
кризиса.
Они ее покупают по дешевке, как старую
шлюху.
Они высосали акциями ее грудь до
кровинки...

(Перевод М. Зенкевича)

Это строки одной из «фресок» — стихотворения «Строители империи» — сатиры на финансово-промышленных королей Америки.

Другая «фреска», «Дикий Запад»,— о жестоком уничтожении индейцев, о захвате их земель, к которым с особой жадностью тянулись строители железных дорог. За короткими, непритязательными фразами индейца, от лица которого ведется рассказ, встает образ человека, чье имя стало легендой.

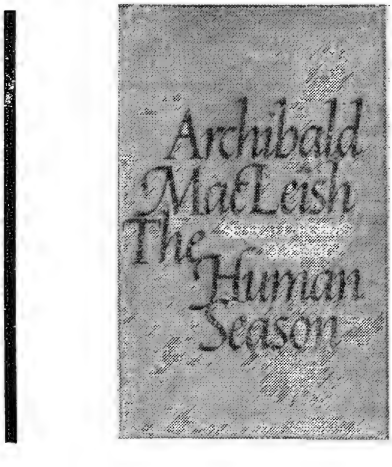
Крэйзи Хос (1849—1877) был вождем одного из индейских племен сиу. Деревню, где он жил, уничтожила карательная экспедиция правительственных войск. Индейцы вынуждены были сопротивляться с оружием в руках. Ими руководил Крэйзи Хос. 25 июня 1876 года восставшие разгромили карательный отряд из 263 человек под командой полковника Кастера, отличавшегося особенной жестокостью. Ни один из карателей, включая командира, не ушел с поля боя живым. Заметим, что позже на этом месте (недалеко от города Биллингса, штат Монтана) американское правительство установило памятник палачу Кастеру. Поэтическим памятником народному заступнику, индейцу Крэйзи Хосу, стало стихотворение Маклиша:

...Крэйзи Хос победил не числом.
И роста он был небольшого.
И был он всегда задумчив.
. . . . . .

Когда за рекой появились солдаты,
В деревне все закричали:
«Хоука Хэй! Крэйзи Хос не сдастся!..»

Они бились в реке. Лошади, люди тонули.
А затем помчались на плато—пыль
застилала солнце.
Хоука Хэй! Сколько там полегло на
кровавую землю...
И некому было сказать, кто же из них
был Кастер...
. . . . . .

Вы спросите — почему он сражался?
Но за землю своих отцов
разве он не должен был драться?
Ведь это была его родина, его страна.
Но уже пропадали стада,
и не стало охоты и мяса...[1]



[1] В тех случаях, когда переводчик не указан, стихи даются в переводе автора статьи.

Но «Дикий Запад» Маклиша — это к тому же лаконичное и емкое определение жизненных норм буржуазного мира. И вот уже захваченные у индейцев земли правительство щедро раздает железнодорожным компаниям, которые, не гнушаясь средствами, пытаются перехватить друг у друга этот источник баснословных прибылей:

Потом некий мистер Перхэм из Мэна
получил здесь задаром почти всю
землю — он строил
Северную тихоокеанскую железную
дорогу...

Но позже мистер Кук перехватил это
дело в свои руки,
а затем и его самого
выкурил мистер Морган...

В стихотворении «Кладбище у шпал» — из той же книги «фресок» — тема строительства железных дорог развивается в несколько ином аспекте. Здесь звучат голоса погибших — негров, португальцев, венгров, поляков, шотландцев, китайцев — рабочих-строителей многих национальностей, тех, кто «проложил рельсы от океана к океану», тех, на чьей крови и костях пролегла печально знаменитая, первая трансконтинентальная железная дорога страны — «Юнион Пасифик». Ропот погибших, слышимый из-под земли, перерастает в грозное обвинение миру имущих:

Ге-эй! Земле тяжелы наши кости.
Не для того мы шли сюда, чтоб лежать
Под шпалами в глиняной выемке.

Все лучшее в мире скупили себе богачи.
Все липнет к сальным кредиткам —
Даже целый континент, даже новое
небо...

(Перевод М. Зенкевича)

Стихотворение «Кладбище у шпал» примыкает к великой традиции уитменовской поэзии, в которой героями были простые труженики.

Гражданственность творчества, антиимпериалистическая его направленность — таков второй урок Маклиша, лучшие произведения которого отмечены неизменным вниманием к важнейшим социальным проблемам века.

Поэт-антифашист, в послевоенные годы он выступал с критикой маккартизма, а совсем недавно резко осудил политику США в Индокитае. Но, может быть, самый примечательный день в творческой биографии Маклиша — это 4 июня 1937 года, когда он председательствовал на открытии Второго съезда американских писателей, проходившего под лозунгом сплочения всех прогрессивных сил Америки в борьбе против реакции, фашизма и войны. Тот период творчества Маклиша представлен в новом сборнике одним из лучших созданий поэта — стихотворением «Слово к тем, кто говорит: товарищ», замечательным своей публицистической страстностью и интернациональным пафосом.

А теперь — о заглавии нового сборника и еще об одном уроке Маклиша. «Пора человеческая» — это определение осени (дважды повторенное) в чудесном стихотворении Маклиша «Бессмертная осень». Не только названием, но и светлой своей печалью, высоким спокойствием и чувственно-конкретными образами, земной весомостью и несколько замедленной мелодикой это стихотворение напоминает знаменитую оду «К осени» Джона Китса. Китсовские ассоциации вызывает и сам пафос стихотворения Маклиша. Гармоническая картина осенней природы рисуется Маклишем как подлинно гуманное, созидательное, жизнеутверждающее начало, поэт противопоставляет ее той дисгармонии, губительной сущности и хаосу бытия, из которого он долго и мучительно искал выхода.

Но век, разделяющий поэтов, прошел не даром. Маклиш не только использует поэтический опыт прошлого, он обогащает стих завоеваниями поэзии XX века, часто выступая как смелый новатор и экспериментатор. Его «Осень» многопланова. Это и реальная картина любимого автором времени года, и ощущение в нем динамики жизни, неизбежной смены времен, где осень — лишь самая человечная, совмещающая признаки лета и зимы пора. Это и восприятие осенней поры как чего-то переломного, неустойчивого, тревожного, поры, вызывающей тоскливое чувство одиночества в безграничных, пустынно-обнаженных горизонтах бытия. Это и ассоциация с тяжелой личной трагедией, смертью близкого человека. В голосах осенней природы автору слышится плач *той* осени и зов мертвого из *той* дальней поры... Наконец, сейчас, в контексте заглавия сборника — «Пора человеческая» — у этого стихотворения появился и новый, еще более обобщающий смысл.

Поэзия нередко бывает близка философии. Однако у Маклиша многоплановость поэтического образа, глубокий философский подтекст произведения, стремление к универсальности, к обобщенности, к раскрытию не отдельного эпизода, а самой сути явления составляют одну из основных и наиболее характерных особенностей творчества. Он остается философом и в стихах гражданского звучания, и в любовной лирике, и оттого даже интимнейшие его стихи обретают вдруг ясно ощущаемый социальный подтекст, как, например, стихотворение «Последняя встреча»:

И холодно,
и ветрено,
и сыро.
В осеннем сумраке почти не видно лиц.
Лишь каркает ворона сиротливо
Да слышен
дальний лай лисиц.

Года меняются унылой чередою,
И мы меняемся...
Но снова вижу я —
Дух отчужденности витает над тобою,
Грех отчуждения преследует меня.
О, как давно узнали мы друг друга,

Узнали страсть,
где снисхожденья нет.
Страшимся мы грядущих лет,
А где-то близко —
вьюга,
вьюга...

Стих Маклиша неизменно отличается высокой поэтической культурой, завершенностью. Такие его стихотворения, как «Бессмертная осень», «Конец мира», «Вам, Эндрю Марвелл», давно стали хрестоматийными в американской поэзии. Они настолько емки и многоплановы, оркестровка их так богата, а поэтическая идея столь органично реализуется в ритмической системе звуков, слов, синтаксических конструкций и создаваемых образов, что практически чрезвычайно трудно хотя бы удовлетворительно перевести их на другие языки...

Есть у Маклиша стихотворение «Поэт», посвященное Эрнесту Хемингуэю. По существу оно является автопортретом самого Маклиша, неутомимого, взыскательного, самозабвенного художника слова:

Наверно, есть мгновения, когда
Мы видим все насквозь,
хоть сами
Не признаемся в этом...

Рыбака
Я знал, который мог,
склоняясь над волнами,
Смотреть невидяще в искрящуюся вязь,
И вдруг
багром
в морской ударить пламень —
Куда-то вглубь —
и, сильными руками
Лесу освобождая
и смеясь,
Откинуться назад в блаженном
предвкушенье,
И в нужный миг
звенящую лесу
Чуть подобрать,
и, вставши на колени
И долго оставаясь на весу,
Вдруг руку опустить
в морскую глыбу —
И выхватить
сверкающую
рыбу...

Карл Сэндберг, бывший близким другом Маклиша, однажды сказал: «Трудно определить точно понятие «истинный поэт», но я знаю, что Арчибальд Маклиш является таковым».

Истинная поэзия... Пожалуй, в этом и состоит еще один, может быть самый главный, урок Арчибальда Маклиша.

И. ПОПОВ

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«ЛЕТО ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ ТЬМЫ»

Так назвала свой новый роман английская писательница Дорис Лессинг. В связи с его выходом еженедельник «Таймс литерари сапплмент» поместил подборку высказываний видных писателей и критиков о творчестве Дорис Лессинг, свидетельствующих о том, что она — «один из самых серьезных, интеллектуальных и честных писателей послевоенного поколения».

Основная тема творчества Дорис Лессинг — духовный мир человека, «внутренние» проблемы, которые писательница решает в неразрывной связи с политическими и социальными. «Ее книги обычно не только создают ощущение значительности происходящих исторических событий, но и передают атмосферу конкретного исторического момента»,— указывает рецензент ее нового романа на страницах американского еженедельника «Нью Йорк таймс бук ревью».

Проблемы «женской революции», столь характерные для идейной жизни современного Запада, занимали писательницу давно. Однако Дорис Лессинг далека от экстремистских взглядов современных «революционных» феминисток. Героиня ее романа Кейт Браун сталкивается с вполне реальными проблемами, которые существовали не только в жизни Анны Карениной или Эммы Бовари. Роман Лессинг рассказывает о том, что являет сегодня собой обычный, внешне вполне счастливый буржуазный брак.

Кейт Браун сорок пять лет. Ее муж, известный невропатолог, много времени проводит вне дома, в разъездах по многочисленным международным конгрессам. Дети выросли и не нуждаются в матери. Еще не старая, интересная женщина начинает сознавать себя «лишней» в своем доме. Впервые в жизни она решает пойти работать. Работа, общение с людьми приносят ей моральное удовлетворение. Однако конгрессы, на которых Кейт работает переводчицей, быстро кончаются, и она снова остается не у дел. Приобщившись к экономической, социальной свободе, героиня делает следующий шаг — к свободе сексуальной. Ее недолгий роман со смертельно больным человеком значительно моложе ее — роман трагический и безрадостный. После смерти своего возлюбленного, опустошенная, постаревшая, она возвращается домой, как на пепелище.

Писательница проводит свою героиню через безумие, духовная зрелость покупается ценой трагического «очищения» в духе современных психиатрических теорий. «Читатель не убежден,— пишет рецензент,— он должен принять подобный оборот событий на веру». Однако возможен и другой взгляд на концовку романа: чуткий художник Дорис Лессинг уловила ограниченность тех решений серьезных человеческих проблем, которые предлагает современная «сексуальная революция». Думается, не случайно героиня романа находит себя в работе и, пережив потрясение, возвращается в прозаический, но социально еще очень устойчивый мир семьи. Героиня переживает не столько чисто женскую, сколько человеческую трагедию. Именно общечеловеческие проблемы волнуют сегодня Д. Лессинг. Об этом свидетельствуют и слова, сказанные писательницей в одном из ее недавних интервью: «Я продолжаю думать, что единственно разумное общество — общество социалистическое. Будущее, как мне представляется, таит угрозу новой войны, массо-

Катрин Денёв и Речел Уэлч — исполнительницы женских ролей в фильме «Три мушкетера». Уэлч — актриса, которую зритель привык видеть в ролях роковых и отчаянных авантюристок,— играет кроткую Констанцию Бонасье, а исполнительница «голубых» ролей, ангелоподобная Катрин Денёв воплощает коварную Миледи. В этом фильме все будет не так, как в романе Дюма, ибо это комедия и ставит ее английский режиссер Ричард Лестер, мастер эксцентриады, получивший известность своими абсурдно-эксцентрическими кинокомедиями (в частности, фильмом с участием битлов). В роли Д'Артаньяна снимается актер Майкл Йорк, в других ролях — известные английские и французские актеры. Мужа Констанции Бонасье, доверенного человека герцога Ришелье, играет Шарль Азнавур.

(Газета «Унита»)

вого голода, других катастроф. Совершенно очевидно, что сегодня мир переживает период существенных перемен и наш долг — попытаться предотвратить хаос...»

РОМАН НОРТКОТА ПАРКИНСОНА

Известный английский писатель-социолог Норткот Паркинсон, автор столь популярной книги «Закон Паркинсона», с которой журнал «Иностранная литература» познакомил своих читателей в № 6 за 1959 г., вновь привлек внимание английской критики. Его новое произведение явилось для всех полной неожиданностью. Известный сатирик, чьи многочисленные читатели во всех концах земного шара привыкли находить на страницах его книг меткую и остроумную критику современной общественной системы Англии, обратился к жанру приключенческого романа. Более того, он перенес его действие в далекое прошлое — 1794 год.

Герой романа Н. Паркинсона «Дьявол ждет платы», молодой морской офицер Ричард Деланси — романтик и карьерист в одном лице. Как указывает рецензент английского еженедельника «Таймс литерари саплмент», он временами очень напоминает современных молодых прагматиков, хорошо знакомых с «законом Паркинсона». По мнению американского рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», Паркинсону не всегда удается держать читателя в напряжении, однако, надеется рецензент, писатель сумеет исправить этот недостаток и устранит некоторую вялость повествования в последующих романах. Роман «Дьявол ждет платы» открывает приключенческую серию романов Норткота Паркинсона.

БОЛГАРИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА И САТИРЫ

В болгарском городе Габрово проводится единственный в своем роде праздник — фестиваль юмора и сатиры. В этом году главным в программе фестиваля было открытие международной выставки карикатуры, на которой было представлено 467 произведений 352 авторов из 22 стран. Эти произведения останутся затем в будущей экспозиции Дома юмора и сатиры в Габрово.

На открытии выставки присутствовали карикатуристы Жан Эффель, Херлуф Бидструп, Эрик Липинский и многие другие гости фестиваля — художники, писатели, кинорежиссеры, артисты, журналисты.

Первая премия «Золотой Эзоп» была присуждена карикатуристу Эрдогану Бозоку из Турции.

Красочное карнавальное шествие, выставка картин болгарского художника Стояна Венева, показ новых фильмов, многочисленные выступления и встречи участников фестиваля сделали интересными и содержательными каждый из его дней. «Я не видел другого праздника, столь остроумного и изобретательного»,— сказал Жан Эффель корреспонденту газеты «Отечествен фронт».

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

Пею Яворов (1877—1914) — выдающийся национальный поэт, его имя стоит в одном ряду с классиками болгарской поэзии. Исполнительный комитет го-

родского народного совета города Чирпан (родины поэта) учредил с 1973 года премию его имени в области поэзии.

Литературная премия имени П. Яворова присуждается за все творчество в целом поэтам — создателям произведений, представляющих собой существенный вклад в культурную сокровищницу страны.

Жюри, в состав которого войдут члены Союза болгарских писателей и представителей городского народного совета, будет присуждать премию имени П. Яворова с периодичностью в пять лет.

ВЕНГРИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Известного венгерского литературоведа и критика, члена-корреспондента венгерской Академии наук Миклоша Саболчи советские читатели знают по многим статьям, печатавшимся в советской периодической печати. На страницах журнала «Иностранная литература» были опубликованы его статьи и рецензии.

Недавно в издательстве «Магвете» вышел сборник избранных статей критика «Изменяющийся мир — социалистическая литература», куда вошли статьи, написанные Саболчи за последние десять лет.

Тематически сборник делится как бы на два больших раздела. Один посвящен проблемам становления и развития социалистической литературы в Венгрии. Читатель может познакомиться здесь с работой о творчестве Аттилы Йожефа, со статьей об антифашистских мотивах в поэзии Яноша Пилински, с эссе монографического характера о путях развития творчества известного современного поэта Ференца Юхаса, с исследованием «Литература и рабочее движение», с рядом критических очерков о развитии художественного метода и стиля.

Второй раздел составляют статьи о современной французской литературе. Здесь работы, посвященные как отдельным писателям, так и литературным проблемам, среди которых ведущей является проблема национального и интернационального.

Критика положительно встретила выход этого сборника и единодушно отметила, что главная характерная черта новой книги Саболчи — это марксистский подход к анализируемым явлениям. Через всю книгу Саболчи, отмечает критик Ласло Иллеш, красной нитью проходит мысль о том, что в процессе создания произведения решающую роль играет мировоззрение, что именно оно является краеугольным камнем единства содержания и формы. Акцентирование внимания Саболчи именно на этой проблеме, указывает далее критик, несомненно, поможет исследователям современной литературы правильно ориентироваться в сложных художественных вопросах эпохи.

ДОБРЫЙ МИР МАРГИТ КОВАЧ

Есть в Венгрии художница, работы которой экспонируются не только на выставках, они как бы присутствуют в повседневной жизни людей: произведения Маргит Ковач являются органической частью архитектуры венгерских городов и сел.

Скульптурный образ легендарного сказочного героя, борца за народное счастье Яноша Витезя установлен на одной из площадей города Дунаварошa, керамическое панно «Дегустация вина» украшает дом правления государственного хозяйства в Кишкунхаломе; недавно Маргит Ковач передала в дар городу Секешфехервару в связи с его тысячелетием еще одно керамическое панно, на котором воскрешен один из эпизодов из истории Венгрии: князь Геза передает правление страной королю Иштвану, претворившему в жизнь идею об основании венгерского государства.

«Человек и работа» — мотив многих барельефов, выполненных на стенах зданий. Огромная любовь к жизни в ее разнообразных проявлениях воплощена в этих произведениях. Красота воссоздаваемых художницей образов — это красота ощутимого мира, и, по справедливому замечанию критика «Непсабадшаг» Иштвана Тамаша, все творчество художницы вызывает ощущение радости, придает силы.

Но особенную теплоту и обаяние излучают ее рабо-

Работа Маргит Ковач «Воскресенье».

(Журнал «Нёк лапъя»)

ты в малой пластике. Они тесно связаны с народным творчеством. Богаты и неистощимы сюжеты этих произведений.

Доверчивым, ясным взглядом смотрит на нас «Изумленная мадонна», держащая на руках младенца. Наступит ночь, и она, совсем как земная женщина, снимет тяжелый венец и с себя и с младенца, чтобы отдохнуть от дневных забот.

Изгнанные из рая Адам и Ева горько плачут, как обычные люди из плоти и крови: но со временем они поймут, что должны завоевать жизнь без помощи бога. В этом сюжете воплощена мудрая жизненная философия: человек может быть счастлив только в созидании.

Внешняя выразительность произведений Маргит Ковач всегда определена внутренним содержанием. Вглядитесь в образ старой женщины, поглощенной раздумьями над смыслом уходящей жизни. На ее лице и грусть и удовлетворенность тем, что она Мать и что жизнь продолжается.

А вот юная девушка мечтательно смотрит на небо, и думается ей о чем-то очень хорошем — так целомудренно чисто и одухотворенно ее лицо.

Правда и вымысел, радость и горесть слиты воедино в творчестве художника. «Добр и оптимистичен мир Маргит Ковач,— пишет на страницах журнала «Нёк лапъя» критик Жигмонди,— он свидетельствует об огромной ее одаренности и творческой изобретательности. Как-то я спросил у художницы, из каких глубин души черпает она такое светлое отношение к жизни. Маргит Ковач ответила: «Я верю в доброе в людях».

Вдохновенный труд Маргит Ковач отмечен высокой наградой: она — лауреат Государственной премии Кошута и обладательница нескольких почетных дипломов всемирных художественных выставок. Недавно ей исполнилось 70 лет, но у художницы много-много планов.

ГДР

НОВЫЙ РОМАН ГЕРБЕРТА НАХБАРА

«Темная звезда»—так называется новый роман Герберта Нахбара, выпущенный издательством «Ауфбау».

Место действия романа— городок Вангелин на побережье Балтийского моря. Перед читателем проходит красочная мозаика судеб разных людей: тут и мелкие торговцы, и рыбак, учитель со своим неудачным сыном-авантюристом. Много внимания уделено истории Мартина — доверчивого и приветливого мальчика.

«В своей оригинальной, поэтической манере рассказывает Нахбар о маленьких людях и их жизни летом 1938 года»,— отмечает еженедельник «Зоннтаг».

Юмор и большая жизнеутверждающая сила перемежаются в романе с глубокой грустью, серьезные размышления — с элементами сказки. «Нахбар предпочитает полутона, многослойность,— пишет журнал «Биненшток».— Он заставляет читателя думать вместе с ним».

Новый роман Нахбара тематически связан с двумя предыдущими: «Свадьба на Леннекене» (см. «ИЛ» №№ 11, 12, 1961) и «Луна имеет венец». Автор сам рассматривает эти три книги как своеобразную трилогию.

ФРГ

В ПОИСКАХ ОБРАЗЦА

Западногерманское издательство «Гофман унд Кампе» сразу стотысячным тиражом выпустило новый роман Зигфрида Ленца «Образец».

Действие романа происходит в Гамбурге в конце 60-х годов. Три учителя: старый педагог-пенсионер Валентин Пундт, молодой насмешливый Жан Хеллер и молодая учительница Рита Зюсфельд — решили вместе составить хрестоматию для чтения. Первые ее два раздела — «Труд и праздники», «Родина и чужие края» — не доставили особых хлопот. Но когда дело дошло до третьей главы, названной «Жизнеописания и примеры для подражания», то возникли затруднения. Что считать жизненным образцом?

Трое учителей рассматривают биографию за биографией — но никак не могут прийти к единому, бесспорному решению. Одновременно с этими поисками им приходится решать и собственные жизненные проблемы. Старик Пундт пытается разобраться в причинах самоубийства своего сына; Жан Хеллер, внешне ироничный и неуязвимый, страдает от предстоящего разрыва с женой. Рита Зюсфельд задумывается над тем, что даже самоотверженность может быть бесполезной. Молодая учительница, казалось было, уже нашла достойный пример — жизнь Люси Беербаум, известного биолога. В знак солидарности со своими греческими друзьями, которые после установления диктатуры полковников оказались в тюрьме, Беербаум объявила голодовку и умерла; однако протест этот оказался бесплодным, реальной пользы он не принес.

Проблема, в конечном счете, остается открытой. Учителя признают себя не способными ее решить. Но автор предлагает задуматься над ней читателям.

«Пусть они думают о времени,— пишет рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне»,— о моральных ценностях, об этой книге, в которой запечатлено так много характерных черт нашего времени».

ДАНИЯ

ИНТЕРЕСНОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ КЛАССИКА

Датский писатель-реалист Хенрик Понтоппидан (в СССР его знают по роману «Счастливчик Пер» до сих пор один из популярнейших писателей в стране.

Издательство «Гюльдендаль» недавно выпустило сборник его рассказов «В хижинах», первая публикация которого была осуществлена в 1887 году. Автор описывает нелегкую жизнь хуторян, рыбаков, крестьян. Один из рассказов так и называется «Крестьянин», его главный герой Пер Бонде вынужден против своей воли продать родной хутор, чтобы разделить наследство между всеми детьми. История Пера типична для многих крестьянских семей Дании конца прошлого века.

Все рассказы Понтоппидана — это реалистическое, «очень земное», по выражению рецензента «Ланд ог фольк», изображение повседневного труда бедняков, их нищенского, безрадостного существования.

«Приниженные» сюжеты рассказов вызвали в свое время резкое осуждение датской критики, которая упрекала писателя в «серости» и «черствости». А иные «ценители искусства» вообще отвергали произведения Понтоппидана как литературу, а с ними заодно и реализм — как литературное направление.

«Социальная направленность и гражданская заинтересованность рассказов Понтоппидана очевидны,— пишет рецензент.— Разумеется, многое изменилось с тех пор, ведь прошло 90 лет, но и сегодня правомерно говорить о современности рассказов Понтоппидана, потому что, написанные с мастерством настоящего художника, они обличают ту же социальную несправедливость, которая порождает скрытую нищету в сегодняшней Дании, в обществе так называемого благополучия».

«КОГДА УМИРАЕТ МАРИЯ»

Недавно по датскому телевидению был показан спектакль «Когда умирает Мария», поставленный по пьесе Кирстен Торуп. Героиня пьесы, молодая женщина, стремится найти в жизни иные ценности, а не те, что предлагает маленьким людям современное буржуазное общество. «Однако ее попытка вырваться из обыденности мелкобуржуазного существования,— пишет газета «Ланд ог фольк»,— приводит к еще большему жизненному разочарованию. Мария вынуждена вернуться в привычную колею благополучной обыденности, с чего начинается ее духовное умирание».

Мален Крог и Горбен Хундаль в главных ролях в телеспектакле «Когда умирает Мария».

(Газета «Ланд ог фольк»)

Пресса высоко оценила спектакль, вызвавший большой общественный резонанс и затронувший проблемы брака и семьи в современном буржуазном обществе.

ДРВ

НОМЕР ЖУРНАЛА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОЭЗИИ

Вышел сдвоенный номер научного и литературно-критического журнала «Ван хаук» («Литература»), целиком посвященный проблемам поэзии. С ответами на анкету журнала и своими размышлениями о поэтическом творчестве выступили на страницах номера такие известные мастера лирической поэзии, как Те Лан Виен (о творческом восприятии опыта национальной и мировой поэзии), Те Хань (о влиянии мастеров Востока и Запада и принципах современной поэзии), Суаи Зиеу (о роли вьетнамского классического наследия). Интересную статью о народном песенном творчестве и новых формах напечатал поэт Бан Тай Доан, представитель народности ман. Проблемам фольклора посвящена и работа критика Чан Динь Как. В номере опубликованы статьи о творчестве поэтесс ДРВ Ханг Фыонг, Суан Куинь, а также выступления мастеров сатирического жанра Ту Мо, Тхо Жена, Сить Диеу.

НОВЫЙ РОМАН ФАН ТЫ

Недавно ханойское Молодежное издательство 30-тысячным тиражом перепечатало выходивший ранее на Юге в издательстве «Освобождение» роман известного южновьетнамского писателя Фан Ты «Ман и я». На фоне судеб главного героя романа Тхиема (повествование ведется от первого лица) и его любимой, по имени Ман, автор рисует широкую панораму народной войны, показывает ге-

роизм и мужество патриотов Южного Вьетнама. Рецензии на новый роман Фан Ты отмечают его художественную и жизненную достоверность, интересные психологические решения и поэтическую атмосферу книги.

ИНДИЯ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Как свидетельствует пресса, в современной индийской кинематографии началась полоса увлечений экранизацией лучших художественных произведений, принадлежащих различным национальным литературам Индии, что, по словам одного из рецензентов, «связано со стремлением глубже проникнуть в творческую лабораторию ведущих писателей современной Индии».

Среди экранизаций литературных произведений — картины, представленные различными студиями страны.

В числе экранизаций — много фильмов, созданных по произведениям писателей хинди и урду. Большой успех выпал на долю картин «Тем не менее» и «Поселок с дурной славой», представляющих собой экранизацию повестей известного писателя хинди Камалешвара.

С успехом прошла по экранам страны картина «Горячий воздух», в основу которой легла новелла известной писательницы урду Исмат Чугтали. Главную роль в этом фильме играет недавно умерший выдающийся индийский киноактер Балрадж Сахни (известный советскому зрителю по фильму «Два бигха земли»).

«Значение этих фильмов,— пишет рецензент,— заключается в том, что они предоставили индийскому кино необозримый материал и идейное богатство в то самое время, когда оно в наибольшей степени нуждалось в них. Как отмечает критика, своим успехом эти картины обязаны не только традиционному для индийских фильмов музыкальному сопровождению и игре отдельных актеров, но и в значительно большей степени — гуманистическому содержанию, динамическому сюжету, мастерски вылепленным образам. «Поэтому нет ничего удивительного,— продолжает рецензент,— в том, что эта новая волна не только развивается, но и обретает еще большую силу, еще больший размах». В частности, режиссер и постановщик Кайлаш Капур за основу нового фильма «Жил-был Чандар, жила-была Судха» взял роман «Божество грешников» известного прозаика и поэта хинди Дхармавира Бхарати. Воодушевленный успехом фильма «Стук в дверь», Раджендра Синх Беди взялся за экранизацию другого своего произведения «Месяц пхагун». Для съемок нового фильма Кумар Сахни избрал рассказ Нирмала Вармы «Зеркало мечты»; Сурендра Шайладж остановил выбор на рассказе Рахи Масума Резы «Горстка риса»; Радж Наватхе приступил к съемкам фильма по рассказу Сатьендры Шарата «Резвушка», а Басу Чаттерджи решил экранизировать роман «Раджни и Гандха» известной писательницы хинди Манну Бхандари.

«Открыв для себя такую поразительную по богатству сокровищницу сюжетов, индийская кинематография совсем не собирается отказываться от нее»,— пишет критик, сообщая далее, что среди индийских кинематографистов оживленно обсуждается вопрос об экранизации еще целого ряда произведений литературы хинди. В их числе — романы «Грязное покрывало» Пханишварнатха Рену, «Гнилая вода» Шани, «Капля и океан» Амритлала Нагара (все три вышли в переводе на русский язык), «Твоя крошка» Манну Бхандари, «Прошение об отставке» Джайнендры Кумара, повести Камалешвара «Почтовое бунгало» и «Третий», рассказы Раджендры Ядава, Нирмала Вармы, Рахи Масума Резы,

Балрадж Сахни и актриса Гири в главных ролях в фильме «Горячий воздух».

(Газета «Дайник джаран»)

Махавира Адхикари и ряда других.

«Экранизация произведений литературы,— заключает рецензент,— является важным шагом в развитии искусства кино в современной Индии».

ИРАК

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ

В конце апреля этого года в Багдаде состоялся Первый съезд работников изобразительных искусств арабских стран, в котором приняли участие в качестве членов-учредителей Ирак, Сирия, Египет, Алжир, Тунис, Марокко, Йеменская Арабская Республика, Ливан, Кувейт и делегация Палестины. Судан и Иордания прислали на съезд своих наблюдателей. Съезд провозгласил создание Всеарабской федерации работников изобразительных искусств.

В связи с созданием Всеарабской федерации бейрутский журнал «Аль-Адаб» поместил в одном из своих последних номеров специальную подборку материалов под общим заголовком «Современное со-

стояние арабского изобразительного искусства». На страницах журнала выступили со статьями художники, скульпторы и искусствоведы из различных арабских стран, рассказавшие о современном состоянии изобразительных искусств в своих странах и о задачах, стоящих перед арабскими деятелями искусства на нынешнем этапе.

ИТАЛИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ «ПРАТО»

Собравшееся в городе Прато жюри литературной премии «Прато» присудило эту премию за 1973 год Камилле Равера — автору книги «Дневники за тридцать лет. 1913—1943», изданной издательством «Эдитори риюнити» («Объединенные издатели»). Камилла Равера — одна из старейших итальянских коммунисток, вместе с Грамши и Тольятти участвовала в создании Коммунистической партии Италии. Жюри указывает, что в этом году большинство представленных на конкурс произведений составляли книги публицистического и мемуарного характера — их было 53, причем многие заслуживают высокой оценки. Однако из всех этих значительных книг выделяются «Дневники» Камиллы Равера: это необычайная история революционерки, члена партии, пронесшей через всю жизнь неослабевающую веру в свое дело, отличающейся прямотой, мужеством и вместе с тем крайней скромностью. Все это нашло отражение на страницах книги, написанной просто, честно, по-человечески тепло. Жюри подчеркивает высокие моральные достоинства «Дневников», их поэтичность и вместе с тем большой исторический интерес, так как Равера повествует о многих до сих пор мало известных эпизодах истории итальянской компартии, о встречах с ее руководителями. «Дневники за тридцать лет» тепло встречены прогрессивной критикой и читателями.

ЛЮБОВЬ ОДНОГО КАРАБИНЕРА

Монте Марио — один из новых районов итальянской столицы. Такое же название носит только что вышедший роман Карло Кассолы, произведения которого — «Рубка леса», «Девушка Бубе» и другие — были изданы в Советском Союзе. В новом романе Кассолы всего два действующих лица, они живут в районе Монте Марио. Место действия романа тоже ограничено — это не район, не улица, а всего лишь крохотный мирок, замкнутый стенами маленькой квартирки.

Писатель концентрирует внимание на анализе психологии и сложных взаимоотношениях своих героев, отравленных буржуазными предрассудками и лицемерием. Манера письма Кассолы по-прежнему очень изящна, ясна, традиционна, однако вряд ли история этого «затянувшегося тет-а-тета», как называет роман критик Витторио Спинаццола, может удовлетворить почитателей его таланта. В рецензии на этот роман в газете «Унита» критик пишет, что последующие книги Кассолы покажут, идет ли речь просто о неудаче писателя, «несчастном случае», или же этот претенциозный камерный роман означает окончательный поворот в творчестве Кассолы.

МАРОККО

ПРЕМИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ АФРИКИ — ДРИССУ ШРАЙБИ

Международная ассоциация франкоязычных писателей наградила известного марокканского прозаика Дрисса Шрайби (его повесть «Осел» была напечатана в «ИЛ» № 3 за 1973 год) «Литературной премией Средиземноморской Африки».

В жюри вошли французские писатели Эмманюэль Роблес, Морис Дюрозуа, Робер Корневен, являющийся президентом Ассоциации, тунисский писатель Альбер Мемми, профессор Ксавье Ясоно и журналист Макс Жалад.

В своем решении жюри указало, что Дрисс Шрайби награждается за свою литературную деятельность в целом. Шрайби «победил» в соревновании с двумя претендентами: Махфудом Каддашем, автором книги «Алжир в античности», и Набилем Фересом, известным своим романом «Песнь олив».

МОНГОЛИЯ

«ПРОЗРАЧНЫЙ ТАМИР»

Недавно на студии «Монголкино» закончились съемки третьей серии фильма «Прозрачный Тамир». (Первая серия демонстрировалась на советских экранах.) В основу сценария лег одноименный роман Ч. Лодойдамбы.

Режиссер Мауро Болоньини снимает фильм «Либера». Либера, что значит «свободная»,—женщина из народа, гордая и непокорная, самоотверженно участвующая в борьбе против фашизма. В роли Либеры—Клаудиа Кардинале.

(Газета «Унита»)

Кадр из фильма «Прозрачный Тамир»,

(Журнал «Экран»)

Молодой талантливый режиссер Равжой Доржпалам создал эпический фильм, охватывающий почти четверть века монгольской истории. Это драматический, полный острейших коллизий период, когда Народная революция, победив влияние религии, веками угнетавшей сознание простых аратов, пробуждает в них решимость «драться до последнего вздоха, пока в Монголии останется хоть один мужчина, хоть один конь».

История двух братьев-пастухов Эрдэнэ и Тумура — это история их сложного, трудного пути к революции. В третьей серии героем фильма становится последующее поколение, сын Эрдэнэ продолжает дело отца.

Критика оценивает фильм Доржпалама как незаурядное явление, свидетельствующее о том, что монгольская кинематография набирает силу.

НОРВЕГИЯ

ГОГОЛЬ НА НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ

В Норвегии изданы «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Сюда включены «Шинель», «Невский проспект», «Нос», «Записки сумасшедшего».

«Гоголь, представленный в серии «Классики», выпускаемой издательством «Углебук»,— отмечает книжное обозрение «Норск букхандлер тиденде»,— большое событие. Гоголь — крупный представитель русского реализма и в то же время один из самых загадочных писателей России; нашему читателю будет интересно познакомиться с его творчеством».

ПОЛЬША

КНИГА К ЮБИЛЕЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИТВЫ

В памятном 1943 году на советско-германском фронте против фашистов сражалось несколько соединений иностранных войск: знаменитая авиационная эскадрилья «Нормандия», батальон чехословацких солдат и, наконец, Первая пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко, ставшая впоследствии ядром армии Народной Польши — Войска Польского.

В нынешнем году исполняется 30 лет со дня исторической битвы у белорусской деревни Ленино, где костюшковцы впервые выступили против гитлеровцев бок о бок с советскими солдатами. Это было 12 октября 1943 года. Польская дивизия потеснила гитлеровцев, выполнив поставленную ей тактическую задачу.

О битве под Ленино написано уже немало исследований. К юбилейным дням польские читатели получили еще одну документальную книгу, «Ленино», написанную Чеславом Подгурским. Три года назад он выпустил исследование «Поляки под Ленино»; нынешняя публикация — его расширенный и переработанный вариант.

Рецензент еженедельника «Политика», характеризуя описываемые в книге исторические события, пишет: «Во многих публикациях, в общем, справедливо обращается внимание на политическое значение битвы костюшковцев. Автор данной книги также правильно подчеркивает огромное значение, которое имела битва под Ленино для решения польской проблемы. Присутствие польских регулярных войск на фронте, где решались судьбы войны

в Европе и откуда открывалась самая короткая дорога в Польшу, привело к новому подходу в решении судеб польского государства».

День 12 октября отмечается в Народной Польше как день Войска Польского, которому в нынешнем году исполняется 30 лет.

Сцена из спектакля «Дзяды» в Старом театре в Кракове.
(Журнал «Театр»)

«ДЗЯДЫ» — 1973

В Кракове, в Старом театре им. К. Моджеевской режиссером Конрадом Свинарским поставлена драма А. Мицкевича «Дзяды». Спектакль стал выдающимся событием культурной и театральной жизни Польши.

Обратившись к «Дзядам» сегодня, Свинарский имел дело с драматическим материалом, обросшим наслоениями многих постановочных традиций. Но, по мнению критика еженедельника «Литература», этот режиссер как никто другой умеет читать и прочитывать текст произведений польских романтиков.

Еженедельник «Политика» подчеркивает высокое нравственное звучание краковских «Дзядов», которое характерно для таких поста-

В ролях: Ежи Трэля — Густав Конрад, Ежи Штур — Дьявол, Анджей Козак — ксендз.
(Журнал «Театр»)

новок Конрада Свинарского последних лет, как «Небожественная комедия» Красинского, «Сон в летнюю ночь» и «Конец—делу венец» Шекспира. «Это атака режиссера на безразличие, на компромиссы. Это сценическое произведение Великого Моралиста, хотя, казалось бы, время великих моралистов давно уже миновало, и не только в театре. Но надо быть действительно Великим Моралистом, чтобы сегодня с такой силой браться за пробуждение совести».

Критика отмечает огромный труд всех участников этого сложного, необычного спектакля (действие его продолжается четыре часа), в особенности — достижение молодого актера Е. Трэли в роли главного романтического героя «Дзядов». Польская общественность восприняла краковскую постановку как спектакль о трудном становлении в процессе поиска животворной идеи, как поэму о человеке, высвобождавшемся из неволи страстей через борьбу. «Герой Мицкевича испепелял себя в бунте. Свинарский показывает человеку возможность другого пути, бунт превращает в борьбу, доказывая, что есть ситуации, в которых именно борьба является главной обязанностью человека», — писала «Культура».

Историзм мышления в исходном замысле постановщика отмечает газета «Трибуна люду» в статье «Традиция и современность». «Свинарский ставит «Дзяды», трактуя их как своеобразное, не свободное от диалектических противоречий единство. Сакральный, язычески-христианский облик спектакля-зрелища создан им на основе поэтики Мицкевича, но этот облик сегодня содержит в себе глубоко современную идейно-художественную суть. Спектакль Свинарского — это не история шляхетско-царских «счетов». Этот спектакль — прежде всего философские размышления о человеке и о судьбах мира. Речь в нем идет об ответственности человека, о его нравственном долге перед обществом.

СЕМЬ ТРУДНЫХ ЛЕТ АНДЖЕЯ ЧЕХОВИЧА

О капитане Анджее Чеховиче и его многолетней работе по заданию польской разведки на радиостанции «Свободная Европа» в Польше писалось достаточно много. Изданная после возвращения на родину его книга «Капитан Чехович выполнил задание» пользовалась большим спросом.

Новая книга Чеховича «Семь трудных лет», вышедшая недавно в издательстве МОН, уже гораздо шире, чем предыдущая, рассказывает о деятельности радиостанции «Свободная Европа», о ее структуре, ее методах.

Фотографии, документы и другие материалы, приводимые автором, свидетельствуют о том, что острие подрывной работы радиостанции направлено против Польши и других социалистических стран.

Книга написана в форме дневника. Автор рассказывает о людях, работающих в польской секции РСЕ: в большинстве это — беспринципные, продажные личности. Есть среди них и изменники родины, но есть и такие, которые легкомысленно попалась на удочку западной пропаганды о «роскошной» жизни в «свободном мире». А. Чехович описывает затхлую атмосферу эмигрантского мирка, обитатели которого морально деградировали.

Работая на радиостанции, капитан Чехович имел доступ к разным материалам, в том числе и помеченным грифом «совершенно секретно», что дало ему возможность показать, как мюнхенская радиостанция занимается идеологической диверсией, но что главная ее функция (на это расходуются основные средства и энергия) — это функция разведывательная.

Отдел пропаганды, распространяя мощную «информацию», старается сеять замешательство и беспокойство среди населения социалистических стран, восстанавливать народ против органов власти, вызывать трения между странами и разжигать антисоветские настроения.

Очень подробно капитан Чехович рассказывает о связях радиостанции с разведками других империалистических стран, особенно стран, входящих в НАТО, и о методах сбора разведывательной информации.

«Все, что увидел Чехович, — пишет рецензент журнала «Новы ксёнжки» Генрих Михальский, — передано не только достоверно, но и увлекательно, язык живой и красочный». Капитан выполнил задание «не только как офицер разведки, но и как автор отличной и интересной во всех отношениях книги».

РУМЫНИЯ

«ДОРОГА В ПОЛУТЕНИ»

Рецензенты единодушно называют этот фильм «бенефисом» артистки Маргареты Погонат, исполнительницы главной роли. Крупнейшие киноработники Румынии подтвердили этот вывод: Маргарете Погонат присвоена премия Союза киноработников за лучшую женскую роль года.

Маргарета Погонат в главной роли в фильме «Дорога в полутени».

(Еженедельник «Контемпоранул»)

Как отмечает рецензент «Контемпоранул», «в фильме подняты вопросы широкого гражданского звучания, касающиеся положения женщины в нашем обществе, нравственных основ семьи».

Успех фильма — это успех и сценариста, молодого романиста Петру Попеску, автора двух нашумевших книг: «Пойманный» и «Слаще меда пуля родины».

ПИСЬМО БЫВШЕМУ ПРОКУРОРУ...

В небольшой книге Александру Сенковича, опубликованной издательством «Эминеску», нет вымысла— это и делает ее поистине волнующим человеческим документом.

Старый коммунист, переживший трудный и долгий период подполья, обращается с письмом к одному из бывших прокуроров буржуазно-помещичьей Румынии, человеку, искренне полагавшему, что его назначение состоит в защите тех порядков, против которых восставали бойцы коммунистического подполья.

«Я помню те времена, помню наши «беседы», «встречи», которыми вы почтили меня, обвиняемого, непримиримого врага тогдашнего режима, — пишет Сенкович.—В то время у меня не было возможности сказать вам все, что я думал и чувствовал. Мы не были равны... Я был простым рабочим, одним из миллионов товарищей по классу, преследуемым, подвергаемым кровавой эксплуатации. Но я был свободен, и это не пустая фраза, потому что я мог независимо мыслить, хотя часто оказывался физически несвободным... Вы же были свободны только физически...

Сегодня положение коренным образом изменилось. Вы можете говорить все, что думаете, и я тоже...»

И читатель начинает постепенно понимать, что диалог этот нужен старому революционеру отнюдь не для того, чтобы возобновить давний драматический спор с новых, более выгодных для него позиций. Он нужен ему для того, чтобы с высоты достижений социалистического общества обратиться к тем, кто еще сомневается, кто еще не нашел своего места в строю созидателей нового. Вот почему вспоминает он тяжкие тюремные годы, вспоминает погибших соратников, их нравственную чистоту, их самоотверженность.

«Нельзя спокойно читать страницы, посвященные описанию отношений между автором и его отцом, старым рабочим»,— пишет рецензент «Эра сочиалистэ». Глубокочеловечна встреча между ними в условиях подполья после долгих лет разлуки. И как просто выражена радость их взаимного открытия: «Он сказал мне, что и сам изменился, что он всей душой наш, что он стал нам товарищем».

С огромным волнением читается глава, повествующая о короткой и яркой жизни сестры автора, прекрасной девушки, замученной палачами Сигуранцы. «Эти страницы, насыщенные драматическими событиями и завершающиеся трагическим финалом,— продолжает рецензент, — могут лечь в основу серьезного романа».

В конце своего «письма» Ал. Сенкович замечает: «Сознание долга и ныне зовет нас вперед: задачи, стоящие перед нами, и ныне торопят нас. Многое предстоит еще сделать и, сколько бы мы ни трудились, нас постоянно преследует вопрос: достоин ли наш вклад того, чего ожидает от нас народ?»

Как пишет рецензент «Скынтейи», «здесь в синтезированном виде передан символ веры коммунистов. Читая эту волнующую книгу, убеждаешься еще и еще раз, что служению нашему великому делу стоит отдавать всего себя, всю свою жизнь».

США

ЧИВЕР-РАССКАЗЧИК

Последний сборник рассказов Джона Чивера «Мир яблок» получил высокую оценку критики. Чивера часто сравнивают с Чеховым, и в этот раз его мастерство рассказчика (книгу считают равной по значительности его лучшему роману «Буллет-парк», см. «ИЛ» № 8, 1970) заставило рецензентов вспомнить А. П. Чехова. Как писала американская газета «Интернэшнл геральд трибюн, «думается, что Чивер — единственный современный писатель, способный создавать классические произведения малой формы, которые переживут время...»

В сборник вошли десять новых рассказов писателя. В них говорится о бесконечных несчастьях, трагедиях и болезнях многочисленных супружеских пар. Причина одна — недостаток любви, неумение, нежелание и невозможность понять друг друга. Некоммуникабельность, безумие — основные темы Чивера-рассказчика. И не только внутри семьи; в одном из рассказов сборника служанка становится причиной смерти своей старой хозяйки, которую она ненавидела и обворовывала всю жизнь, и лишь после она узнает, что это была ее мать. Герой лучшего, по мнению критики, рассказа сборника, давшего название всей книге,— 82-летний писатель, автор множества книг и лауреат бесчисленного количества литературных наград. Его лучшая книга — сборник стихов «Мир яблок», в котором старый поэт вспоминает бесконечно дорогую ему родину, Северную Англию, где он не был уже сорок лет. Теперь он живет в Италии, и тоска по родине мучит его все сильней. Однажды звук водопада в лесу заставляет его вспомнить, как в далеком детстве он сидел на берегу лесного ручья и увидел, что из леса на противоположный берег вышел человек с такими же седыми волосами, как у него сейчас. Человек быстро разделся и вошел в воду. Омыл лицо, руки, постояв, вышел на берег, вытерся своими полотняными штанами, оделся и исчез в лесу. И вдруг мальчик понял, что это был его отец. Невозвратимость утраты самого дорого и близкого в жизни — «все это могло бы звучать

Эстер Андерсон и Сидней Пуатье на съемках фильма.
(Газета «Юманите»)

гнетуще, но в книге этого не ощущается... Чивер пишет о человеческих трагедиях бесстрашно. И это помогает ему вселить в читателя надежду...

Проза Чивера наполнена воздухом, светом, запахом листьев, шумом воды и добротой», — заключает рецензент.

РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ СИДНЕЯ ПУАТЬЕ

Имя популярного американского актера Сиднея Пуатье известно у нас по картине режиссера Стенли Крамера «Скованные одной цепью». Им сыграно еще немало ролей в разных фильмах, где неизменно поднимается жгучая расовая проблема. С. Пуатье — один из активных борцов в США за равноправие негров.

Недавно стало известно, что С. Пуатье — подобно ряду других крупных актеров мирового кино, которые перешли «на другую сторону кинокамеры», то есть стали постановщиками, — решил самостоятельно поставить картину о неграх. Он снял в Лондоне фильм под названием «Жаркий декабрь». В главной женской роли — артистка из Ямайки Эстер Андерсон.

ФРАНЦИЯ

ПЕРВЫЙ РОМАН ЭЖЕНА ИОНЕСКО

Драматург Эжен Ионеско, один из основоположников «театра абсурда», впервые обратился к жанру романа. Роман «Отшельник» вышел в издательстве «Меркюр де Франс».

Повествование ведется от первого лица. Рассказчик — мелкий служащий 35 лет— жил более чем скромно, ютился в жалкой комнатушке, пока не получил большое наследство. Он уходит со службы, приобретает собственную квартиру, предается праздности, но живет по-прежнему скучно и одиноко. Отношения с консьержкой, с экономкой, посещения ресторана, недолгая любовная связь — вот все, что составляет его жизнь.

Внезапно начинается гражданская война: происходят уличные бои между «фанатиками», принадлежащими к различным лагерям. Наблюдая все это, герой романа приходит к выводу: единственная причина политических столкновений — агрессивные инстинкты. Он решает не принимать никакого участия в событиях. Забаррикадировавшись от соприкосновения с насилием, «отшельник» остается один с мыслями о неизбежности смерти и ненужности своего существования. Но у него есть утешение — воспоминание о лучезарном рае, являвшемся ему в светлых детских снах. Отшельник живет надеждой, что эти видения где-то, когда-то должны стать явью.

По мнению критика «Монд» Бертрана Пуаро-Дельпеш, Ионеско, обратившись к новому для себя жанру, ничего нового сказать не смог. Герой «Отшельника» — лишь очередное превращение Беранже — главного героя пьесы «Носорог». А его рассуждения воспроизводят мысли самого Ионеско, давно высказанные в эссе и дневниках: мир чудовищен, все идеологии стоят одна другой, так как ни одна из них не может освободить нас от страха неизбежной смерти. Маленькая серебряная лестница из детского сна значит для будущего больше, чем все политические программы. Рассказчик сам понимает, что подобные причитания не могут продолжаться до бесконечности, и вставляет иногда самокритичные замечания: «Не следует философствовать, если ты не великий философ» или «Ах, если бы у меня был философский талант!» Можно было бы

В ознаменование 100-летия со дня рождения Анри Барбюса в Париже состоялся международный научный коллоквиум. В президиуме — старые друзья Анри Барбюса: член Политбюро ФКП Жак Дюкло, писатель и общественный деятель Пьер Параф (в центре), главный редактор журнала «Эроп» Пьер Абраам. Снимок сделан советским участником коллоквиума Ф. Наркирьером.

посочувствовать наивному отчаянию персонажа, если бы оно не приводило к отнюдь не невинному аполитизму. Исходя из того, что изначальная абсурдность порождает все существующее зло и что никакое общество не может исправить этот первородный грех, герой утверждает, что экзистенциальная тоска остается неизменной независимо от материальных условий жизни и от социального строя. Мы видели, к чему приводили таких любителей Апокалипсиса, как Дриё Ля Рошель, разоблачения исторических иллюзий! — восклицает Б. Пуаро-Дельпеш, имея в виду известного писателя, сотрудничавшего с гитлеровцами во время оккупации.

Стиль романа критик находит банальным, лишенным силы и убедительности первых, драматических произведений Ионеско. В заключение своей статьи о первом романе Ионеско Б. Пуаро-Дельпеш вносит в свой суровый приговор долю снисходительной иронии. «Честно говоря,— пишет критик,— политический критерий неприменим к такому автору. Не имеет значения, как используют его реакционеры, даже если он все более сознательно предоставляет им такую возможность. Можно ли сердиться за это на человека, который постоянно находится под угрозой смерти? Ведь именно об этом идет речь: Ионеско и его дубли постоянно испытывают ужас агонизирующих. Роман подводит к теизму. «Признаюсь, что я верю в Бога»,— говорит рассказчик. В «Отшельнике» сосредоточено все то, что осталось на Западе от религии в пору, когда в нее уже не верят».

«ЗДРАВСТВУЙ, ПИКАССО!»

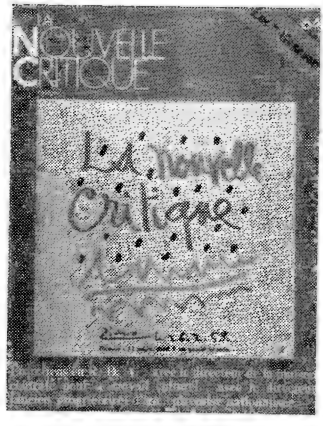
Журнал «Нувель критик» посвятил специальный номер памяти Пабло Пикассо. Обложка номера воспроизводит рисунок, который художник сделал для журнала четырнадцать лет назад; номер иллюстрирован многокрасочными репродукциями картин Пикассо, созданных в разные периоды его деятельности,— от портрета его сына Поля (1923) до одного из полотен, предназначенных для выставки в Авиньоне (1973).

В коротком редакционном введении «Здравствуй, Пикассо!» редакция «Нувель критик» с благодарностью вспоминает о той помощи, которую Пикассо оказывал журналу, о тех дружеских чувствах, которые он к нему проявлял. В специальном номере перепечатаны статьи, отрывки воспоминаний о Пикассо, принадлежащие крупным деятелям французской культуры — Арагону, Максу Жакобу, Леону Муссинаку,— а также текст Поля Элюара к фильму Алена Рене «Герника», посвященному знаменитой картине Пикассо.

Подборка материалов о Пикассо открывается статьей члена Политбюро ЦК ФКП Ролана Леруа «Художник настоящего и будущего». Р. Леруа говорит о Пикассо как о коммунисте, глубоко преданном делу своей партии. Широко известны во Франции слова Пикассо о том, что он пришел к коммунизму, как идут к источнику. Леруа приводит и другое признание художника, относящееся к октябрю 1944 года: «Если я до сих не вступал в партию официально, это только из простодушия, потому что я думал, что достаточно моего творчества, моей сердечной привязанности,— ведь это была моя партия».

Жизнь Пикассо-художни-

Обложка журнала «Нувель критик», посвященного Пикассо.



ка, пишет Леруа,— постоянный поиск, творческое беспокойство, недовольство собой, непрерывное обновление. «Он был коммунистом, борцом по своей творческой сути. Познать действительность ради того, чтобы преобразовать ее,— такова генеральная линия творчества Пабло Пикассо. Жадность к новому, смелое исследование форм, использование новых материалов не проистекали у него от «культа новизны ради новизны», как иногда бывает. Нет, это было непрерывное, ничем не смягчаемое столкновение старого и нового. Это отказ от спокойного принятия очевидности, поиски истины, которая не всегда видна простым глазом».

ШВЕЦИЯ

«МЫ ПРОТИВ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЧТИВА...»

Шведский писатель Пер Валё, автор знаменитой «Гибели 31-го отдела» — остросоциального романа, написанного в жанре фантастики и детектива, переведенного на многие языки, в том числе на русский, давно уже известен не только у себя на родине, но и за ее пределами. В США книга «Смеющаяся полиция», написанная Пером Валё в соавторстве с Май Шёвалл, была удостоена премии Эдгара По.

Сейчас Пер Валё и его соавтор Май Шёвалл — самые популярные в Швеции мастера детективного жанра. В чем причина их успеха? Что отличает их книги от массового потока детективной литературы, столь популярной на Западе?

— Писатели - «детективисты» — типично буржуазное явление,— говорит Пер Валё корреспонденту журнала «Фолькет и бильд».— Они рисуют мир буржуазии и имеют определенный круг читателей, которые требуют развлекательного чтива, соответствующего их вкусам и запросам. Мы нарушаем эту традицию, пытаемся создавать детективные романы, несущие серьезную социальную и политическую нагрузку.

Заслуга Валё и Шёвалл в том, что они, следуя сюжетным рамкам традиционного классического детектива, затрагивают серьезные проблемы современной шведской действительности, поднимаются до социальных обобщений. Каждая их книга, будь то первая — «Розеанна» или «Последняя комната», изданная в 1972 году, доказывает, что жанр детективного романа позволяет выдвигать острые и актуальные проблемы сегодняшнего дня.

ЮГОСЛАВИЯ

ИНТЕРВЬЮ МИХАЙЛО ЛАЛИЧА

В последних номерах черногорского журнала «Стваранье» публикуется новый роман одного из крупных югославских писателей, Михайло Лалича, «Боевое счастье». По замыслу автора, этот роман должеи быть частью задуманной им эпопеи «Панорама Черногории в XX веке». Из опубликованных глав видно, что книга обещает быть интересной, серьезной и познавательной.

Корреспондент газеты «Политика» взял у Лалича интервью. На вопрос о том, кто и как влиял на его творчество, Лалич ответил, что его учителя в литературном деле — Андрич, Крлежа и Горький.

«Первый рассказ Горького, который мне попался, был словно о нашей деревне: дома с крышами из соломы и дранки, кого-то ведут полицейские — точно так же, как и у нас тогда. Когда я узнал, что Горький — русский, я сделал вывод, что русские села похожи на наши и что крестьяне и вообще люди всюду похожи. Под влиянием Андрича и Горького мне захотелось и самому написать о том немногом, о чем они не сказали в своих книгах.

С Крлежей я познакомился несколько лет спустя. Я прочел «Хорватскую рапсодию» и сделал вывод, что литература — это не пустые слова, не критика ради критики, а п р и з ы в к действию.

Социальная литература положила конец застою, который охватил нашу литературу и общественную жизнь в годы шестоянварской диктатуры; она ввела в художественные произведения те слои и классы, о которых до сих пор и не упоминалось, будто они не существуют на свете. Она расширила круг читателей и способствовала появлению десятков новых авторов. Значительна ее заслуга в деле ориентации на содружество, братство и товарищество всех наших народов и их литератур. Мы услышали голос македонского народа в стихах Кочо Рацина и узнали о страданиях словенского народа из произведений Кранеца и Клопчича.

Кроме того, на меня уже более конкретно влияли Иован Попович, Джордже Иованович, Стеван Митрович, Янко Джонович и другие писатели — творцы социальной литературы, с которыми я лично познакомился и чье живое слово я слышал. В то время я кое-что уже опубликовал в студенческой печати и в газетах, и эти писатели приняли меня как младшего товарища. Иован Попович и Джордже Иованович организовали тогда нелегальные художественные и литературные кружки, и они остались для меня единственным курсом литературного творчества. Если у писателя не будет высших моральных принципов и ответственности за каждый свой поступок — ни к чему ему талант и знания,— это я усвоил тогда на всю жизнь».

◆

Авторы этого номера

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — ERWIN STRITTMATTER (род. в 1912 г.).

Известный немецкий писатель (ГДР), автор многих романов, повестей, рассказов, стихов, пьес, лауреат нескольких литературных премий, в том числе Национальной премии. Книги Э. Штриттматтера хорошо знакомы советским читателям, в русском переводе вышли его романы «Тинко», «Чудодей», «Оле Бинкоп» (№№ 7 — 10, 1965 «Иностранной литературы»). В нашем журнале были также напечатаны поэтические миниатюры «Листки календаря» (№ 10, 1967) из книги «Шульценхофский календарь всякой всячины», рассказы (№ 8, 1968; № 6, 1971).

Мы знакомим читателей с новой книгой Э. Штриттматтера «Синий соловей, или Так это начинается...» («Die blaue Nachtigall oder Der Anfang von etwas». Berlin, Aufbau-Verlag, 1972).

■

АННА СВИРЩИНЬСКАЯ — ANNA SWIRSZCZYNSKA (род. в 1909 г.).

Польская поэтесса, драматург. Окончила филологический факультет Варшавского университета, дебютировала в 1930 г. томиком стихов «Плющ» («Bluszcz»). В 1936 г. вышла ее книга «Стихи и проза» («Wiersze i proza»). В период варшавского восстания работала санитаркой в госпиталях. После войны живет в Кракове.

А. Свирщиньская — автор ряда пьес, которые вошли в репертуар польских и зарубежных театров, многих книг для детей и юношества.

Публикуемые стихи взяты из книг «Лирика» («Liryki zebrane», Warszawa, PIW, 1958), «Ветер» («Wiatz», Warszawa, PIW, 1970), «Я — баба» («Jestam baba», Kraków, Wydawnictwo, 1972).

Стихи из нового цикла «Я строила баррикаду» получены от автора в рукописи.

■

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ — WILLIAM GOLDING (род. в 1911 г.).

Известный английский писатель. Автор романов «Повелитель мух» («Lord of the Flies», 1954), «Наследники» («The Inheritors», 1955), «Свободное падение» («Free Fall», 1959), «Пирамида» («The Pyramid», 1967) и др.

На русский язык переведены романы «Шпиль» («ИЛ» № 10, 1968), «Повелитель мух».

Мы публикуем главы из книги «Беседа. Разговоры с Уильямом Голдингом» (Jask I. Biles. «Talk: Conversations with William Golding»), составленной американским литературоведом Джеком Байлсом и вышедшей в Нью-Йорке (Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New York, 1970).

■

ЖАН-ПЬЕР ДЕБРИ — JEAN-PIERRE DEBRIS (род. в 1944 г.).

АНДРЕ МАНРА — ANDRÉ MENRAS (род. в 1945 г.).

Французские педагоги. Призванные в 1968 г. в армию, они попросили направить их во Вьетнам, куда и были откомандированы для прохождения военной службы.

«Бежавшие с сайгонской каторги, МЫ ОБВИНЯЕМ» («Rescapé des bagnes de Saigon NOUS ACCUSONS». Paris, Les Éditeurs français réunis, 1973) — так называется их книга, в которой они рассказали о том, что видели и пережили в сайгонских застенках. Отрывки из нее мы печатаем в этом номере.

ГЮНТЕР КУНЕРТ — GÜNTER KUNERT (род. в 1929 г.).

Немецкий поэт и прозаик (ГДР), лауреат премии имени Генриха Манна. Учился в Институте прикладного искусства в Берлине. Начал печататься в пятидесятые годы: писал стихи, рассказы, сценарии, радиопьесы, либретто, пародии, фельетоны. Стихи Г. Кунерта составили несколько сборников, в том числе «Честные песни» («Das kreuzbrave Liederbuch», 1961), «Незваный гость» («Der ungebetene Gast», 1965), «Невинность природы» («Unschuld der Natur», 1966). В последние годы вышли сборники его прозы «Рыться в ящиках» («Kramen in Fächern», 1967), «Дневной сон» («Tagträume in Berlin und anderswo», 1972) и др.

Стихи и рассказы Г. Кунерта на русском языке неоднократно публиковались в нашей периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе».

Мы печатаем очерки из его книги «В дополнение к бедекеру» («Ortsangaben», Berlin, Aufbau-Verlag, 1971).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**
Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 6/VIII 1973 г. Подписано к печати 7/IX 1973 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,67.
Тираж 580.000 экз. (1-й завод 1 — 380.000 экз.) Зак. 2585.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

Подписывайтесь на «Вопросы литературы»

В 1974 году журнал будет, как и в предыдущие годы, уделять особое внимание вопросам литературной критики и теории. На страницах «Вопросов литературы» освещаются актуальные проблемы литературного развития — социалистический реализм в мировом литературном процессе, образ героя современности, политика и искусство, научно-техническая революция и искусство и др. Журнал широко информирует читателя о новых эстетических концепциях у нас и за рубежом.

Большое место журнал уделяет освещению современной советской литературы. С первых номеров будущего года начинается дискуссия на тему: «Современная поэзия: проблемы, перспективы, поиски — истинные и мнимые»; будут рассмотрены, в частности, поэма «Василий Буслаев» С. Наровчатова, сборник Е. Евтушенко «Поющая дамба», новые стихи В. Соколова и А. Кушнера. Состоится также обсуждение произведений мемуарного жанра: воспоминаний писателей и о писателях, рассказов о своей жизни видных военачальников, дипломатов, общественных деятелей. Журнал напечатает статьи об историко-революционных романах: Ю. Трифонова «Нетерпение», В. Красильщикова «В начале будущего», М. Колесникова «Все ураганы в лицо», В. Аксенова «Любовь к электричеству» и др. В коллективных обсуждениях, проводимых журналом, принимают участие критики и писатели, деятели производства, науки, искусства.

«Вопросы литературы» регулярно помещают материалы, посвященные зарубежной литературе. В портфеле редакции — статьи о литературном развитии в социалистических странах, о так называемой «массовой культуре» в буржуазном обществе, о творчестве Джеймса Олдриджа, Франсуа Мориака, Робера Мерля, Курта Воннегута.

«Вопросы литературы» систематически ведут специальный раздел «В творческой мастерской». Печатающиеся здесь выступления известных прозаиков, поэтов, драматургов предназначены и тем, кто начинает свою творческую работу, как форма литературной учебы, и тем опытным литераторам, которые заинтересованы в профессиональном обмене опытом, и, наконец, читателям, которых привлекают «секреты» писательской лаборатории. В этом разделе будут опубликованы статьи и интервью Г. Маркова, И. Авижюса, Ю. Бондарева, С. Сартакова, В. Шукшина, М. Карима, В. Бокова, Ф. Абрамова, П. Проскурина, А. Нурпеисова и др.

В разделе «Публикации. Сообщения. Воспоминания» печатаются материалы архивов, рассказывается о поисках и находках исследователей. Под этой рубрикой в журнале появятся рецензии А. Серафимовича, заметки А. Твардовского, воспоминания А. Белого, переписка М. Исаковского с Н. Рыленковым, письма И. Эренбурга, М. Зощенко и др.

Журнал продолжит публикацию статей, посвященных современному прочтению классики, работ критиков — революционных демократов; борьба с реакционными эстетическими и историко-литературными концепциями в литературе XIX — начала XX века — одна из задач этого раздела.

Подписная цена на год 7 руб. 20 коп.
На 6 месяцев — 3 руб. 60 коп.
На 3 месяца — 1 руб. 80 коп.